МАКС ФРАЙ + АМФОРА = ФРАМ

фрам представляет

78

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

С одной стороны, это просто большой сборник хороших рассказов. С другой стороны, эта книга может быть использована как отличный инструмент для гадания, воспользоваться которым сможет каждый желающий. И наконец, эта книга может быть интересна энтузиастам мантических практик как чрезвычайно интересная и неожиданная импровизация на тему Таро Тота Алистера Кроули.

- 78
  - 0 Шут
    - ■
    - ■ Кэти Тренд
  - I Маг
    - ■
    - ■ Евгения Шуйская
  - II Верховная Жрица
    - ■
    - ■ Анна Кузьминская
  - III Императрица
    - ■
    - ■ Некод Зингер
  - IV Император
    - ■
    - ■ Роджер Дж. Роджер
  - V Иерофант
    - ■
    - ■ Алексей Шеремет
      - ■
      - ■ II
      - ■ два с ниточкой
      - ■ два с иголочкой
      - ■ III
      - ■ три!
      - ■ один
      - ■ два
      - ■ минус один
  - VI Влюбленные
    - ■
    - ■ Алексей Карташов
  - VII Колесница
    - ■

- Александра Тайц
- VIII Правосудие / Равновесие
  -
  - Сап Са Дэ
- IX Отшельник
  -
  - Юля Севан
- X Колесо Фортуны
  -
  - Рая Полонская
- XI Сила / Страсть
  -
  - Макс Фрай
- XII Повешенный
  -
  - Соня Пиреш
- XIII Смерть
  -
  - Ольга Гренец
- XIV Умеренность / Искусство
  -
  - Вик. Рудченко
    - 1. Купе
    - 2. Коридор
    - 3. Тамбур
- XV Дьявол
  -
  - Феликс Максимов
- XVI Башня
  -
  - Лина Рэкут
- XVII Звезда
  -
  - Артур Вилье
- XVIII Луна
  -
  - Александр Шуйский
- XIX Солнце
  -
  - Мария Станкевич
- XX Аркан. Страшный Суд / Эон
  -
  - Лена Элтанг
    - Март, 18

- Март, 24
- Март, 24. Вечер
- Апрель, 3
- Апрель, 12
- Апрель, 17
- Апрель, 20
- Апрель, 28
- Апрель, 28, вечер
- Апрель, 28, продолжение вечера
- Апрель, 29, первый час ночи
- Апрель, 29, утро
- Апрель, 29, 04.45

- XXI Мир / Вселенная
  -
  - Виктория Смирнова
- Рыцарь жезлов
  -
  - Эли Курант
- Королева Жезлов
  -
  - Юлия Грешнова
- Принц Жезлов
  -
  - Мария Вуль
    - I
    - II
    - III
- Принцесса Жезлов
  -
  - Лея Любомирская
- Рыцарь Чаш
  -
  - Ирина Мирзуитова
- Королева Чаш
  -
  - Марина Воробьева
- Принц Чаш
  -
  - Дарья Булатникова
- Принцесса Чаш
  -
  - Ольга Гребнева
- Рыцарь Мечей
  -

- Джеки Картер
- Королева Мечей
  -
  - Ханна Таупекка
- Принц Мечей
  -
  - Юлия Зонис
- Принцесса Мечей
  -
  - Марат Марцион
- Рыцарь Дисков
  -
  - Ольга Лукас
- Королева Дисков
  -
  - Динни Аксельрод
- Принц Дисков
  -
  - Иван Матвеев
- Принцесса Дисков
  -
  - Н. Крайнер
- Туз Жезлов
  -
  - Ася Датнова
- Туз Чаш
  -
  - Ксения Коваленко
- Туз Мечей
  -
  - Андрей Эмов
- Туз Дисков
  -
  - Ирина Чуднова
    - I
    - II
- 2 Жезла
  -
  - Татьяна Замировская
- 3 Жезла
  -
  - Аленаш Тавуш
- 4 Жезла
  -

- Яр Тэнр
- 5 Жезлов
  -
  - И. Зандман
    - интермедия
- 6 Жезлов
  -
  - Рустам Гаджиев
    - I
    - II
- 7 Жезлов
  -
  - Наталья Иванова
- 8 Жезлов
  -
  - Марта Кетро
- 9 Жезлов
  -
  - Виталий Авдеев
- 10 Жезлов
  -
  - П. Бормор
- 2 Чаши
  -
  - Фекла Дюссельдорф
- 3 Чаши
  -
  - Гала Рубинштейн
    - 1
    - 2
    - 3
- 4 Чаши
  -
  - Ольга Ольховская
- 5 Чаш
  -
  - Татьяна Хейн
- 6 Чаш
  -
  - Тикки Шельен
- 7 Чаш
  -
  - Таня Сазанская
- 8 Чаш

- Ася Андреева
- 9 Чаш
  - Ольга Морозова
- 10 Чаш
  - Ольга Недорубова
- 2 Меча
  - Лора Белоиван
- 3 Меча
  - Юлия Боровинская
- 4 Меча
  - Эс Эфэлти
- 5 Мечей
  - Сергей Кошкин
- 6 Мечей
  - Михаэль Штраух
- 7 Мечей
  - Вадим Калинин
- 8 Мечей
  - Карина Шаинян
- 9 Мечей
  - Юлия Бурмистрова
- 10 Мечей
  - Юкка Малека
- 2 Диска
  - Сергей Гришунин
- 3 Диска
  - Марина Богданова, Оксана Санжарова
- 4 Диска
  - Дмитрий Дейч
- 5 Дисков

- Дина Суворова
- 6 Дисков
  -
    - Ольга Эмдин
- 7 Дисков
  -
    - Ю. Каюк
- 8 Дисков
  -
    - Светлана Букина
- 9 Дисков
  -
    - Алексей Толкачев
- 10 Дисков
  -
    - Александра Володина
      - женская версия
      - мужская версия

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Авторы идеи: Н. Крайнер, Гала Рубинштейн, Макс Фрай

Координатор, оракул, составитель и автор комментариев Макс Фрай

При составлении комментариев были использованы некоторые материалы цикла лекций Е. Н. Колесова "Таро Тота" и результаты личных наблюдений составителя.

0 Шут

Основные значения этого Аркана таковы:

— балбес безмозглый, которого одни демоны толкают вечно в пропасть, а другие хранят зачем-то.

— человек, чей внутренний ребенок сильнее внутреннего взрослого, гений и клоун в одном лице.

— живое воплощение хаоса, от которого случается великий дискомфорт, но и великая польза.

— юный бог, нацепивший ради баловства человечью шкуру, на худой конец — посредник между небом и землей, курьер из Небесной Канцелярии, на полставки.

Это, с одной стороны, удивительная внутреняя свобода, но не анархия, обещающая вседозволенность, а природная готовность к смирению (я — пыль на дороге, зато счастливая пыль).

А с другой стороны — инфантильность, нерешительность, капризы.

Какая тенденция победит, никогда заранее не известно.

Но обычно выходит, что обе эти тенденции причудливым образом сочетаются.

Самое прелестное из сочетаний дает вечного ребенка, мудрого, как старик, но открытого миру, как подросток. Но это — идеал, редко достижимый. Вершина его — смех бессмертных, описанный Германом Гессе в "Степном волке".

Пабло там, к слову сказать, идеальный Шут. Квинтэссенция. "**Я просто играю**".

При гадании значение карты, как и во всех иных случаях, зависит от положения карты и ее окружения. Начиная от рекомендации немедленно прийти в сознание и активизировать умственную деятельность, заканчивая телеграммой из Небесной Канцелярии: "Добро пожаловать домой".

Кэти Тренд
Повелитель Крокодилов

На берегу кто-то был.

Вот обидно-то.

Я всегда ухожу на берег — не слышать сестёр, не попадаться под ноги братьям, не попадаться на глаза маме, заставит ведь, конечно, что-нибудь делать, это же ненормально, когда десятилетняя девочка просто бродит или сидит. Ее всегда можно отправить качать люльку младшего, или помочь маме наматывать нити на челноки, или помыть миски, или… Да мало ли. Всегда найдется что-то. Но когда в семье четырнадцать детей, так легко потеряться.

И на берег.

А на берегу — кто-то. Вроде, моего возраста, только непонятно, мальчик или девочка. Рубашка длинная и яркая какая-то. Цветные нитки — это не для рубашек. Это для ковров, которыми застилают пол. Еще для лошадиной упряжи. Может быть, еще для вышивки, которой украшают одежду насиха, моего, кстати, отца. Но детям цветных рубашек не ткут, кому, как не мне это знать. Если уж у дочки насиха нет цветного платья, то откуда бы взяться такой одежде у кого-то еще? Зеленое, и красное, и желтое, такое яркое, что кажется — и небо над рекой стало желтым.

— Ты кто, мальчик или девочка? — прямо спрашиваю я.

— Я? — задумывается надолго, и кажется, что будто и не над моим вопросом. — А, я мальчик.

— А звать тебя как?

— Как хочешь, так и зови.

— Это грубо, — говорю, — я вот — Хави. Мой отец — насих. А ты откуда взялся?

— Я с той стороны. Да не важно, — смотрит на меня голубыми глазами. — Гляди, какие.

И на воду показывает. А на воде мечутся золотые солнечные блики. Ой, нет, это не блики, это в глазах рябят мелкие золотистые жучки, так и скользят по воде, с бликами играют.

Никогда не видела, чтобы кто за жуками-водомерками наблюдал. Глупости какие-то.

— Ты что, дурак? — говорю и тут же вжимаю голову в плечи, потому что любой мальчишка в ответ на такой вопрос стукнет. А этот и не думает.

— Ага, дурак, — отвечает спокойно и глаз от жуков не отрывает.

С нашей стороны реки — узкая полоска низких и толстых деревьев, оплетенных пышным вьюнком, дальше — город, а еще дальше — гористая пустыня. А на ту сторону реки никто из нас не плавал, потому что в реке живут крокодилы. Но отсюда видна какая-то зелень, деревья, кусты — далекая красота, до которой не дотянуться. Здесь-то у нас только просяные поля, оливковая роща, да те несколько деревьев, что на берегу. Мы их не рубим, а отец рассказывал, что на древесном стволе можно переплыть реку. Попробовать бы. Только оливы рубить вообще нельзя, а эти, что на берегу, они реку держат.

Маленький дурак остался жить у нас. Ну, то есть, не совсем у нас, а в нашем городе, потому что оставлять его за стеной жалко. Снаружи бывают пыльные бури, а он все-таки ребенок, хоть и дурак. Но красивый, не зря же я его за девочку приняла: волосы пушистые, ресницы длинные. А имени своего он так никому и не сказал. Так что назвали его у нас Шоте — попросту дурак, какой он и есть. Пристроили его пасти овец на пологих пустынных холмах, поросших желтой травой. Всего-то и дела, что выгнать их с утра за стену, а на закате загнать обратно. Так он и делает обычно: выгоняет овец и сидит на холме, трубит монотонно в свою деревянную дудку. Или просто сидит.

Мальчишки наши плохо его приняли. Ну, как плохо — чужих всегда так принимают. Сначала камешки кидали, а потом подстерегли за выходом из ворот и давай пинать. А он только улыбается, как девчонка, и молчит. Брат мой там был, говорит — надоело им его пинать, не избить же хотели, а так, узнать, кто такой, как дерется, а этот и не дерется вовсе. “Ты что, дурак?” — спросил его наконец Хазак, старший в компании брата, а тот отвечает, как и мне, спокойно: “Дурак, конечно”. Ну и отступились от него. Что с дурака возьмешь.

А вот еще старый пастух, дедушка Роэ, рассказывал: пошел он

как-то проверить, как у мальчишки дела на холме. А у мальчишки овца пала. Так он вместо того, чтоб старика позвать, сидит поодаль и смотрит на овцу, словно насмотреться не может. Старик медленно ходит уже, пока он до дурака и овцы добирался, на овцу гриф прилетел. Тут, говорит, встает дурак, подходит к грифу и руку ему протягивает. И птица поднимает голову и на мальчика смотрит внимательно. “Сгони его, дурень, укусит же!” — кричит ему старый Роэ, а Шоте дотягивается до головы грифа (голой, противной) и нежно так его по голове оглаживает. “Не зря говорят, что дикие звери дураков любят, — говорил тут обычно старик, — гриф-то дурака нашего и не вздумал кусать, так к нему потянулся, будто хочет, чтоб ему шейку почесали. Потом голову наклонил и улетел”. “Ты что, дурак?” — спросил тогда запыхавшийся пастух. Нетрудно догадаться, что тогда ответил Шоте. Как всегда, наверное.

Звери вообще его любили. Вот у нас сука ощенилась, все щенки, как обычно, серые, а один белый. То есть, одна, тоже сука. И вот она-то Шоте и досталась. Сама его выбрала, как увидела, так и побежала за ним на разъезжающихся лапках. И потом много лет за ним ходила, овец с ним пасла, а когда шли они с пастбища в город, всегда держалась у его ноги. Лавана он ее назвал — простое, дурацкое имя.

Рос наш Шоте все таким же красавчиком. Девочки на него заглядывались. Правда, только посмотреть, другого он не понимал. Одна такая предложила ему встретиться у ворот, пойти погулять в пустыню, а он только плечами пожал: “А зачем? Я каждый день туда хожу, с овцами. Что там интересного?” “Ты что, и вправду дурак?” — возмутилась девица. Это, кстати, Перах была, не подружка мне, но моих лет. “Я все еще дурак, — сказал он ей, — меня и зовут Дурак”.

Лошади, наверное, тоже его любили бы, но отец воспротивился. Лошади для нас — святое, так что за лошадьми сам отец ходит, да еще конюх по прозвищу Парса. Однажды я только видела, как конюх вывел любимого отцовского коня проездить, а конь Шахор, надо сказать, норовистый у нас, только отца к себе подпускает, а Парсу кусает иногда, ну, а что делать, отец часто бывает слишком занят, и вот Парса ведет его в поводу, а Шахор ярится, то в сторону прянет, то копытом в Парсу нацелится, а конюх наш ох как этого боится, не зря же он прозвище свое получил, и тут проходит мимо Шоте, говорит коню, глупо улыбаясь что-то вроде “Ну ты же славная коняшка” и

дальше идет, а конь стоит спокойно, глаза у него озадаченные, и конюха больше не лягает, пошел за ним спокойно, по кругу, как кобыла какая-нибудь. Ну, Парса, конечно, прогнал дурака, еще и дураком назвал напоследок.

Так оно все и шло лет пять, пока не начала подниматься вода.

И снова хотела я выйти на берег, только на этот раз затем, чтобы поразглядывать в воде, достаточно ли уже подросли мои груди. А там — снова Шоте. Стоит по колено в воде, словно и крокодилы ему не указ, смотрит зачем-то на воду и головой качает неодобрительно. И одежды подобрал высоко, и я вижу, что ноги у него уже по-мужски волосатые, крепкие такие ноги, и чувствую, что от пяток к самому сокровенному местечку движется жаркая река, и хочется мне, чтобы он яркую свою джеллаби подобрал еще повыше. Но он поворачивается ко мне и говорит озабоченно:

— Вода поднимается, вот чего.

— Что? — переспрашиваю я непонимающе и краснею, потому что вдруг кажется мне, что он прочитал мои тайные мысли на моем лице.

— Река, говорю, поднимается. Надо сказать насиху.

— Да ну тебя, дурак, — говорю. Не понял, о чем я думаю, надо же, и правда дурак! — Не видно ничего. Смотри, она там же, где и была, — и на корни показываю, где они к воде спускаются.

Правда, что ли, что вчера больше корней было видно? Или это ему показалось?

— Говорю тебе, вода идет. Ну ты как хочешь, а я пойду, скажу. — и пошел.

А я осталась.

И что-то мне расхотелось грудь свою разглядывать. Никакой от этого пользы. Все равно он ее в упор не видит. Уселась я на берегу, коленки подобрала под платьем к самой груди, подбородок на коленки положила, сижу, грущу. И вижу, что там, где он только что стоял, ходят под солнечными бликами зеленые тени крокодилов.

Назавтра было уже хорошо видно, что река поднимается. Да и вообще все было не так: пришел хамсин, и небо стало желтым, и на зубах скрипел песок, и Шоте не повел своих овец в холмы, потому что овцы сами не пошли, овец он никогда не бил, они обычно сами за ним бежали, куда бы он ни шел. А тут забились испуганно в загон, скучились в глубине, у дальней стенки и стоят.

Дурак наш развернулся и пошел прямо к реке, ну как назло, к моему месту. Снова в воду зашел, это уже совсем просто было, вода уже все корни покрыла и перелилась на траву. Вошел Шоте в воду, а я за деревом прячусь — сама не знаю почему: то ли потому, что он еще мальчишка, а я уже девушка, то ли потому, что как его ни спроси, все он по-своему повернет. А он стоит в воде, и с моего места хорошо видно, как подплывает к нему крокодил, потом другой, а потом вся река уже кажется твердой, бугристой и зеленой, и я закусываю палец и думаю, что скоро река станет красной — ан нет, не кусают они его красивые ноги, он словно бы с ними говорит. Ну точно дурак, говорит с крокодилами, словно они могут повернуть реку вспять.

А они, понятное дело, не смогли. Вода поднялась еще, и еще, и еще, а из пустыни задул такой ветер, что все мы перестали выходить из домов. Шоте на глаза совсем не показывался, наверное, овец успокаивал. Мы от скуки напряли всю шерсть, что нашлась в доме, и мама устроила красильню. Достала каких-то трав, развела в очаге огонь побольше, поставила котел, и сварила что-то черное и пенистое. Мы, сестры, собрались вокруг котла: такого мама еще не варила, а заняться все равно нечем. А она послала старшую из тех, кто еще замуж не вышел, за мотками самой тонкой шерсти и принялась один за другим складывать мотки в котел. И меня помешивать поставила. Я подцепила палкой один моток, а он тоже уже какой-то стал не то черный, не то серый. И зачем в такой цвет красить? Но раз мама так решила, значит надо: помешала я шерсть сколько положено, потом вытащили мы ее из котла и развесили вокруг очага. Всю ночь шерсть сушилась, а мы лежали и слушали, как с одной стороны воет ветер, а с другой — река. А мне казалось, что я слышу сквозь бурю немудреную дудку Шоте.

Наутро оказалось, что шерсть мама покрасила в ярко-зеленый цвет. Ярко-ярко зеленый. Я вообще такого не видела никогда.

— А зачем такой цвет? — спросила я, — такое только дурак носить станет.

— Догадалась! — улыбнулась мама, — дурак и попросил.

— За так?

— Ну так один же он, кто ж ему еще одежку сделает?

— А можно я?

Мама посмотрела на меня пристально — ну, мама-то не дура, обо всем догадается — и ткать позволила. Сама я снарядила

станок, посадила малыша Намуха мотать мне челноки и соткали мы с ним ярко-ярко зеленую ткань, да еще стащила я у мамы желтый моточек, которым она папе джеллаби вышивала, и вплела я в ткань желтые пятнышки, как солнышки. Или как весенние цветы. Еще день я ему рубаху шила. Только когда дошила, заметила, что буря-то все продолжается. Приоткрыла дверь, да так и остолбенела: вода-то была совсем близко, уже в городе. Накинула на голову покрывало от ветра, выскочила из дома, оглянулась в сторону пустыни, а и там неладно. Весь песчаный холм на стену нашу навалился, и из нее уже камни вываливаются, накренилась она, похоже, чудом держится или крепким словом каменщика Эвена. Захлопнула я дверь и побежала маме рассказывать и рубашку показывать. А мама сидит у себя, на любимом ковре, и лицо у нее чернее тучи. “Отец говорит, уходить надо отсюда, Хави. А уходить некуда. Где не пустыня, там вода”. Нечего мне было ей сказать, и пошла я Шоте рубашку отдавать.

А Шоте рубашку взял, будто так и надо. Тут же скинул джеллаби, потом белую нижнюю рубашку, прямо у меня на глазах, я чуть не сгорела, но он тут же нырнул в новую, зеленую и сверху джеллаби накинул, и быстро так, словно торопится куда-то.

— Хорошая рубашка, — наконец, говорит, — словно поёт всему телу про весну.

И тут снаружи как загрохотало, Лавана как залает оглушительно, овцы как заблеют — в общем, шум, крик и полный ужас. Мы выскочили из овчарни, а стена-то наша рухнула, и на ее камни уже весь холм наполз. Весь город из домов повыскакивал, и тут отец объявил на площади собираться. Ну и мы туда побежали — только овчарню притворили, стены-то нет больше, а ну как овцы разбегутся.

Тут-то отец и сказал всем, что надо уходить, только никто не знает, куда. Потому что где не пустыня с рекой, там отвесные скалы, идти некуда, разве что на дальний берег, где деревья и трава, но ходить по воде никто из нас не умеет. Так что стоит попробовать переждать бурю на крышах. У всех у нас крыши плоские, летом, когда река пересыхает, мы на них дождевую воду собираем, а весной хорошо сидеть наверху, оттуда через стену видно, как распускаются цветы меж пустынной травки. И тут Шоте говорит, сначала тихо так:

— Я могу перевести через реку.

Только я его и услышала, и ушам своим не поверила. А остальные за шумом и внимания не обратили. Тогда он громче сказал:

— Я могу перевести через реку!

Два-три лица обернулись к нему, но, похоже, дурак наш ждал, когда же насих его услышит. Тогда он подпрыгнул, весь, как весенняя ветка, и заорал что есть мочи:

— Я — МОГУ — ПЕРЕВЕСТИ — ЧЕРЕЗ — РЕКУ!

Тут уж все его услышали. И поверили сразу, потому что вспомнили, что он только что говорил то же самое. Может быть, кто-то слышал, что даже дважды говорил. А сказанное трижды — истинно. И никто даже не спросил его, как обычно: ты что, дурак?

Когда мы бежали по домам за самыми важными вещами, мы уже шлепали по воде. По грязи, прямо скажем. Ох, как жалко мне было маминых ковров. А мама так не хотела с ткацким станком прощаться, а что делать, его с собой не возьмешь. Но похватала все-таки бердышек мешок, а еще дощечки, пояса плести и упряжь, а еще разной шерсти насовала по всем нашим детским котомкам, да мы и сами с усами, хватали все, что под руку попадется: иглы, нитки, рулоны уже сотканных тканей, потому что ремесло — это главное, а остальное найдем на месте. Старший брат даже красильный котел маме прихватил (потом, уже на другом берегу, это обнаружив, мама аж расплакалась от счастья у него на плече).

Вот так мы и собрались — хотела сказать, на берегу, да только берега никакого уже не было, только грязная вода. Там, где она была по колено, стоял Шоте, дудочкой себя по ноге похлопывал, и жесткий желтый ветер бил его пушистые волосы. Вот дурак, и голову не покрывает. Каждый в городе тащил котомку, а в котомке — самое главное: у каменщика — молот и набор зубил, у кузнеца мех подмышкой, скорняк стопку выделанных шкур на голову положил и несет, ну и у всех так. А дедушка Роэ нашу отару гонит прямо по воде, и Лавана ему помогает.

“Крокодилы, — пронесся по народу страшный шепот, — крокодилы идут!!!” — и правда, я-то это видела уже, а другим в

новинку, как крокодилы собираются вокруг ног Шоте — и не кусают.

Уцепились два крокодила за столбики ворот, а между ними еще четыре, и все лапы сплели. А за ними — следующие шесть, и еще, и еще.

— Это же мост, — сказал отец, — я видел, как строят мосты из лодок. Это мост!

Шоте только кивнул, ничего не говоря. Он и всегда-то говорил немного, а теперь словно надеялся: мы сами все поймем. Кто-то и понял уже, ну, отцу положено, он насих, да и бывал много где, по лошадиным делам всяким. Но чтоб мост из крокодилов строили — такого и отец не видал. А мост тем временем дотянулся уже до того берега, и Шоте просто ступил на него и пошел, как по траве. Овцы его, и собака его — ринулись за ним, хотя скажи той же собаке подойти к крокодилу — в угол забьется и руки тебе искусает, если попробуешь вытащить. А люди посмотрели, что животные идут и не боятся — тоже ступили на чешуйчатые спины вместе со всем своим скарбом, с детьми на руках и стариками под руку. Людей отец повел, верхом на черном своем Шахоре, лошади, кажется, больше всех боялись, но тоже пошли, конечно — вода и песок все равно страшнее.

Последним на тот берег дедушка Роэ перешел. Шоте оглядел весь народ, словно бы пересчитывал, махнул рукой — и крокодилы мигом расцепились и исчезли, как и не бывало. Наш берег было не очень хорошо видно, да и смотреть было не на что: холм сцепился там с рекой, и, где был наш город, теперь плескалась желтая грязь.

На новом месте было много работы. Нашлось здесь и дерево, и камни, и оливы здесь росли, и шалфей, и розмарин. Овцы наши здесь отъелись и разжирели, а люди, наоборот, похудели по первости, тяжелая это работа — новый город строить. Только новый город был уже не город: не наступала здесь на нас пустыня, так что построила себе каждая семья новый дом, маме новый станок справили, кузнец кузню раскочегарил, конюх хорошую конюшню сложил, а строить стену никто не стал. Так все были заняты, что никто и не заметил, куда делся дурак. И я не заметила, а уж, казалось бы, только на него и смотрю.

И вот — странное дело — думаю о нем, и думать приятно. Говорю себе: “Он ушел. Он бросил тебя. Да он и раньше тебя не

любил” — а это все слова, пустые, как сухой колодец. Ушел? Бросил? Не любил? Не понимаю. Но говорю себе “Дурак” — и сразу чувствую, что это слово полное, как река, как мама и отец, как бесконечное небо.

И мне хорошо.

I Маг

Наиважнейшее из значений этого Аркана — воля.

Все наконец-то зависит не от какой-то абстрактной «судьбы», не от обстоятельств, не от окружающих близких-далеких, а именно от вашей воли. **Хотеть** (осмысленно и искренне одновременно) — **значит мочь**.

В такой ситуации чрезвычайно важно разобраться в себе. Как только человек поймет, чего он на самом деле хочет, и начнет действовать в нужном направлении, все у него получится. И обстоятельства покорятся, и ближнее окружение поменяется соответствующим образом, и так далее. Личная воля и намерение в данном случае действительно решают все. Перекладывать ответственность не на кого.

Еще одно ключевое слово для Мага — самостоятельность. Формула "я сам" для него — нечто естественное, само собой разумеющееся, ее даже вслух нечасто произносят, как не начинают всякое знакомство с объявления: "Я — человек, хожу на двух ногах…"

Кроме того, Маг — карта ученичества, причем такого, когда учатся не ради процесса, а ради результата, немедленного применения новых знаний на практике.

К самым типичным для Первого Аркана проблемам относят эгоцентризм и недостаток толерантности. Если, конечно, мы готовы всерьез считать эти качества "проблемами".

В неблагоприятном окружении Первый Аркан указывает на недостаток воли, неумение (нежелание) хотеть, несамостоятельность, вялость и тупость (неспособность усваивать новые знания).

Евгения Шуйская
Билет

Поставив машину в ремонт в промзоне за Лиговкой, выбирался на трамвае, вспомнив номер по институтским еще дням, когда он много на этом трамвае в этих местах ездил. Отвык он от трамваев, и сколько стоит билет — не знал.

Вагон был старый и почти пустой, но сиденья почему-то новые. Через три остановки подошла, наконец, кондуктор, сухая старушка с совершенно гладким лицом и прозрачными глазами, взяла протянутые деньги, отсчитала сдачу, протянула билетик.

Он взял билетик, разделил числовой ряд пополам, сложил цифры. Почему-то ему очень хотелось, чтобы билет оказался счастливым, хотя он и не верил во всю эту хрень.

Слева шестнадцать, справа семь. Одним шевелением мысли он сложил цифры в шестнадцати. Семь и семь. Он довольно хмыкнул и, сунув билет в рот, тщательно сжевал. У него сосало под ложечкой, и он загадал желание.

Над метро почти зримо плыл запах расплавленного сыра. Ему все никак не удавалось застать открытой армянскую палатку — то он приезжал слишком поздно, то они закрыты среди бела дня. Некоторое время назад он перестал пытаться. Но они открыты, он получаил огромный хачапур и, обжигаясь сыром, чувствовал себя счастливее всех на свете. Желание исполнилось. По этому поводу отирающийся на прилавке воробей получил кусок пропеченного теста с собственную голову. Вид у воробья был задиристый — и счастливый, как будто он тоже съел билет.

Через неделю он поехал за машиной. Хотел было попросить коллегу подбросить — но не стал, выйдя из метро, дождался трамвая. Билетик выдал семнадцать и два — никакой надежды. Но он хмыкнул и съел безвкусный билетик, загадывая желание, потому что все равно не верил во всю эту хрень. Желание исполнилось тем же вечером.

Он стал ездить общественным транспортом, покупая билет и съедая его, загадав желание. Один раз его оштрафовали, потому что он съел билет прежде, чем доехал.

Желание сбывается всегда, если он не нарушил правила.

Нельзя ехать наземным транспортом, если это усложняет путь. На работу, скажем, можно ездить метро или маршруткой. В маршрутке билета не дают, а когда дают — он и помыслить не может о том, чтобы его съесть, отчего-то сама мысль выворачивает его наизнанку.

Нельзя ехать никуда низачем, но в выходные допустимо «гулять» на трамвае.

Есть билетик сразу необязательно. Номер значения не имеет.

Он перестал ездить машиной. Надо бы ее продать, думал он, но руки не доходили. Он ездил общественным транспортом и загадывал желания. Монетку небывалого государства на снегу. Букет в телефонной будке. Давно утерянную книгу на скамейке Екатерининского садика.

Однажды он загадал медведя, плюшевого. И нашел его, сидящего у стены дома, нормального такого Тедди, мокнущего под дождем. Он забрал медведя и, держа его, капающего, наотлет, автобусом добрался до дому. Билетик он съел, загадав конец дождя, и, выходя из автобуса, нашел взглядом толстую двойную радугу.

Медведя он постирал и посадил на телевизор. Телевизор не работал и медведя не беспокоил.

Иногда он загадывал письмо или звонок. Иногда — "что-нибудь интересное". «Интересным» могло быть все, что угодно — от странного заката до угольной надписи "Вы все бастарды".в подворотне

Через полгода прошла реформа транспорта, и он получил новый билет — вчетверо больше прежнего, отпечатанный на толстой, чуть не мелованной бумаге. В номере было пять цифр. Он попробовал сжевать билет, но бумага не промачивалась слюной и норовила встать в горле комом. Он выплюнул изжеванный комок в урну.

Дома он перетряхнул одежду и отыскал десятка полтора заначенных билетов. Смотрел на них с минуту, потом скатал вместе и запихнул в рот. Проглотить оказалось трудно, и он

подумал про сок. Сок оказался в холодильнике, целых пять упаковок, он не мог припомнить, когда их купил. С соком дело пошло лучше. Он отжевывал и глотал кусочки и отчего-то чувствовал себя все более пьяным.

Утренняя головная боль прошла, жизнь пошла по новым билетам. Новые билеты к оплате не принимались.

Однажды, проходя к месту встречи от вынужденно далекой парковки, он нашел зайца в луже. Заяц был махровый, белый, в луже лежал недавно — мокредь делила его пополам, он не успел пропитаться весь. Морда была наполовину серая от воды, наполовину белая, а вот длинные уши и задние лапы пропитались водой и посерели почти целиком. Он осторожно извлек зайца за сухой кусок уха, оглянулся, пристроил бедолагу на подоконнике витрины какого-то продуктового магазина. Заяц печально повесил уши и капал водой с длинных бескостных ног. Голубые пластмассовые глаза сияли на меченой водоразделом морде, но заяц был печален.

Он развернулся и пошел прочь, бормоча под нос — я его не просил, этого зайца, он мне не нужен, я его не просил; хорошо, что я не продал машину.

II Верховная Жрица

Основное значение Второго Аркана — высшая мудрость, тайное знание. Тайное, понятно, не потому что великий секрет, а потому что невыразимое. Добро пожаловать в белое безмолвие невербальных комуникаций. Все "**непостижимое и неопределенное**", область, описывая которую, люди вынуждены пользоваться невнятными терминами «интуиция», "подсознание" и т. п. В некоторых (очень редких, понятно) случаях эта карта действительно обещает посвящение в тайные мистерии. Но следует иметь на вооружении и более приземленные интерпретации.

Описывая личность, Второй Аркан символизирует одновременно и монашескую невинность, и материнство, вернее, внутреннюю настойчивую готовность к материнству-отцовству; реализуется она, или нет на практике — дело десятое. В любом случае, возня с собственными детьми и работа с чужими — лучшее, что могут делать такие люди. Дети им доверяют, часто больше, чем собственным родителям.

Еще вот что важно. Второй Аркан предлагает жить как живется, нестись в потоке жизни, как ребенок с холма бежит, не заботясь, что упасть можно. Это только кажется, что ничего особенного, на самом деле мало кто так умеет. Особенно с возрастом.

Одна из важнейших проблем, на которые указывает Жрица — усталость от жизни (вернее, от собственного неприятия обыденной жизни).

Еще надо помнить, что в некоторых старых колодах Второй Аркан назывался Папесса, в честь скандально известной истории с папой Иоанном, который оказался мало что переодетой девицей, так еще и беременной. В связи с этим следует иметь в виду, что при гадании Жрица может говорить и о проблемах такого рода — начиная с нежелательной беременности (самая простая интерпретация). И — куда более сложный случай — ситуация, когда твоя истинная природа проявляется и лишает тебя насиженного места в социуме.

Анна Кузьминская
Каждый охотник желает знать

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

— Это правда.

— Можно сесть с вами?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не будете возражать, если я что-нибудь съем? Я дико голодный.

— Конечно. Пожалуйста.

— А у вас только чай?

— Нет, не только. Было пирожное. Но я его съела, а блюдечко унесли. Они тут быстро уносят блюдечки.

— Возьму рыбу. Картошку. И греческий салат.

— Прекрасный выбор.

— Вино?

— Мне? Нет, что вы. Спасибо, совсем не хочется.

— Вы давно здесь?

— Не очень. Но успела съесть пирожное. А блюдечко сразу унесли.

— Я вижу, вам не дает покоя это блюдечко.

— Оно было симпатичное.

— Заказать вам ещё одно пирожное? С блюдечком?

— Спасибо. Возможно. Я подумаю.

— (в сторону) Пирожное, пожалуйста. Какое-нибудь.

— Спасибо.

— Давайте не будем терять время и сразу приступим к делу.

— Конечно. Давайте.

— Я ненавижу общественный транспорт. Не могу там находиться. Суета, шум, грязь. Я брезгаю. И я ненавижу всех этих людей. Их слишком много, и все лезут, толкаются… как тараканы.

— Тяжело вам.

— Да. Особенно в метро. Мало того, что давка, вдобавок надо спускаться под землю, а поезда ездят по туннелям. Мне жутко. Покрываюсь потом, кружится голова, тошнит. Отвратительное состояние. Боюсь потерять сознание.

— Может, не ездить на метро?

— Да, раньше я так и делал. Но теперь везде пробки. А бывает, что важные встречи в разных концах города, и проще добраться на метро. Но я не могу заставить себя туда зайти. Не был в метро несколько лет.

— Понятно.

— Вы сталкивались с такими проблемами?

— Ещё бы. Сплошь да рядом.

— И что делать?

— Может, тренироваться? По чуть-чуть. Сначала просто дойти до метро, погулять вокруг. Потом зайти внутрь, постоять в вестибюле. В следующий раз спуститься — и опять выйти. Важна постепенность. И лучше, чтобы вы были не один. А с кем-то, кто будет вас морально поддерживать.

— Звучит омерзительно.

— Да ладно. Хотите — пойдемте сходим, потренируемся. Пока вам несут вашу рыбу.

— Прямо сейчас?

— Почему нет? Метро рядом.

— Ну пойдемте, я предупрежу официанта.

— А что вас там больше всего пугает? Давайте я вас за руку возьму. Чтобы вы чувствовали мою моральную поддержку.

— Я же сказал. Люди. Я их боюсь. Они злобно выглядят, скверно пахнут, суетятся, толкаются. Я боюсь, они будут прижиматься ко мне в час пик, и меня просто вырвет.

— Вы такой чувствительный.

— Да, и моя мама так говорит.

— А меня вы боитесь?

— Вас? Не очень. У вас дружелюбный вид, от вас приятно пахнет. И вы пока ко мне не прижимались. Правда, вы взяли меня за руку, но это не страшно. Я её потом помою.

— Вы шутите?

— Нет. Я что-то не так сказал?

— А если я к вам прижмусь, вы испугаетесь?

— Давайте не будем рисковать. Я не возражаю против экспериментов, но давайте сначала привыкнем друг к другу. Мне нужно время, чтобы к вам привыкнуть.

— Вам сложно сходиться с людьми?

— Я с ними вообще не схожусь.

— Но вы ходите на встречи.

— Все мы ходим на встречи. Даже моя мама встречается с бывшими коллегами.

— Ну, я, например, не хожу ни на какие встречи.

— Абсурдное заявление. В данный момент вы, например, встречаетесь со мной.

— В самом деле. Но это редкость.

— Почему мы говорим о вас? Разве мы не должны обсудить мою проблему с метро?

— Да, конечно. Ваша проблема с метро — это важно.

— Мы приблизились — и вы видите, меня уже начинает колотить.

— Нет, я не вижу.

— Вы не видите, как меня колотит? Я похолодел — вы не замечаете?

— Нет.

— Капли пота выступили на лбу!

— Где?

— У меня темнит в глазах.

— А по-моему, вы держитесь молодцом. Может, мы даже зайдем?

— Нет, это слишком. Давайте обойдём его пару раз. Для начала будет достаточно.

— По-прежнему колотит?

— Чуть меньше.

— А мою моральную поддержку вы чувствуете?

— Нет. Было бы здорово, если бы вы всё же отпустили мою руку. После того, как вы чуть не прижались ко мне, я немного нервничаю.

— Боитесь, что я брошусь на вас с объятьями?

— Надеюсь, что не броситесь. Я к этому не готов.

— Бедняжка. Знаете, мне сразу захотелось броситься на вас с объятьями.

— Куда вы меня тащите?!

— В метро.

— Отпустите меня! Это слишком! Я не могу!

— Ещё чуть-чуть!

— Нет!!

— Ой!

— Нельзя же так!

— Простите. Я увлеклась. Давайте вернемся к рыбе.

— Вы не должны были так поступать со мной. Этот ужасный шум! Он становился всё ближе. Ещё чуть-чуть — и он поглотил бы меня навсегда.

— Но миллионы людей ездят в метро каждый день. И остаются живы.

— В чём смысл вашего высказывания? Да, я другой.

— Чем вы другой?

— Я чувствительный. И мне не нравятся ваши интонации. Сначала вы обращались со мной гораздо деликатнее.

— До того, как вы пнули меня ботинком.

— Это была самозащита.

— Но было бы неплохо, если бы вы всё же извинились.

— Я не буду извиняться. Я предупредил вас о своём страхе. А

вы потащили меня туда насильно.

— Но не драться же! Я вас в два раза меньше.

— Я пнул вас не больно.

— Нет, мне было больно.

— Слушайте, что происходит? Почему рыбы до сих пор нет? А, вот её несут. И ваше пирожное. На блюдечке.

— Мне расхотелось. Я, пожалуй, пойду. Приятного аппетита.

— Куда вы пойдете?

— Погуляю.

— Разве мы закончили?

— Вполне.

— Ну хорошо. Постойте. Сеанс был неудачным, но я заплачу.

— Что это?

— Деньги.

— Какие деньги?

— За сеанс.

— За какой сеанс?

— Вы Ольга?

— Я Ольга.

— Психотерапевт?

— Нет.

— Подождите. Сядьте. Как это — нет?

— Вот так.

— То есть, вы просто какая-то случайная девушка? А я делился с вами своими страхами и думал, что вы специалист? Блин. Вы что, сразу не могли сказать?

— Но вы не спрашивали.

— Блин. И вам не показалось, что я веду себя странно?

— Да нет. Многие мои знакомые так себя ведут.

— Вы бы получше выбирали себе знакомых, девушка.

— А это уж точно не ваше дело.

— Да я кучу времени потерял тут с вами!

— Знаете, дайте-ка мне деньги.

— Какие деньги?

— Вот эти. Психические.

— С какой стати я вам должен их отдать?

— Я с вами как с человеком! А вы псих. Ну и дайте мне тогда мои деньги. За моральный ущерб.

— Это у меня моральный ущерб! Доверился первой встречной. Вы меня чуть до инфаркта не довели.

— Но не довела же. И в метро вы таки зашли.

— Да вы шарлатанка! А деньги я готов платить только профессионалу.

— А если я всё же психотерапевт?

— Ну… да или нет?

— А бывают такие экстремальные методы психотерапии?

— Это вы у меня спрашиваете? Всё, закроем тему. Вы свободны.

— Отдайте мне мои деньги.

— Хорошо, берите деньги и идите. Я хочу наконец поесть.

(Девушка садится на стул напротив. Сначала просто сидит и смотрит на мужчину, потом слёзы начинают течь из её глаз и капать в блюдечко с пирожным, слёз всё больше и больше.)

— О боже. Что с вами?

— Вы меня обидели.

— О боже. Простите, я не хотел. Простите, если я был резок. Я обычно так себя не веду, а тут что-то… сорвался.

— Понятно.

— У меня сейчас такой сложный период… страх перед метро — это только повод, я собирался говорить со специалистом совсем о другом.

— На самом деле вы не боитесь метро?

— Боюсь. Но с этим можно жить, это ерунда. Не плачьте. Выкиньте меня из головы как страшный сон. Попались под руку чужому мужику, и он пнул вас ботинком. Бывает. Не стоит ваших слёз.

— Как красиво вы говорите. Прям поэзия.

— Ну, не надо иронизировать. Я искренен.

— Не сомневаюсь.

— Я псих, но я не злой. Совсем не злой.

— Да что вы оправдываетесь.

— Я не оправдываюсь! Я объясняю.

— А о чём вы собирались говорить с вашим психиатром?

— С психотерапевтом. Мне не хотелось бы вам о себе рассказывать.

— Почему?

— А почему я должен отвечать? Я не чувствую себя с вами в безопасности. Я не знаю, кто вы, и я не плачу вам за разговоры деньги.

— Всё бесплатное — плохое?

— Зачем обобщать. Но деньги позволяют устанавливать границы. Для меня это важно.

— Вам важно знать, что вы всё можете купить за деньги?

— Девушка. Ольга. Давайте как-то… разберёмся. Вы в самом деле оказались здесь случайно? Или это подстроила моя мама? Если да, то зачем?

— А как зовут вашу маму?

— Мою маму зовут Елена Яковлевна.

— Она очень о вас заботится?

— Да. Очень.

— Боится, что вы останетесь холостяком и совсем пропадёте?

— Наверное. Занятно, если окажется, что вы — моя предполагаемая партия. Вы совсем не похожи на девушку, которая может нравиться моей маме.

— Не тот рост, не тот вес?

— Уж слишком вы боевая. Хотя вас легко представить профессорской дочкой. Папа профессор, мама любит театр, дети учатся в языковой школе. Мальчик и девочка. Мальчик старший, ответственный. Девочка младшая, балованная. Образцовая семья.

— Нет, я не из образцовой.

— Жаль. Угодить мамочке — что может быть прекраснее.

— Давайте считать, что её здесь нет.

— Кого?

— Вашей мамы. Понятно, что она всегда с вами, но давайте сделаем вид, что именно сейчас она пошла гулять с собакой.

— У мамы нет собаки. Она не любит собак. От них грязь и обязательства.

— А вы любите собак?

— Я не знаю. Грязь, обязательства.

— А если бы вы выбирали собаку, то какую бы выбрали?

— Большую. Овчарку, например.

— Чувствуете себя беззащитным, нуждаетесь в сильном партнере?

— Слушайте… Вы точно не психотерапевт?

— Не знаю. У меня много дипломов — может, и такой есть.

— Где же они, ваши дипломы?

— В сарае, на чердаке. Если не сгорели во время последнего наводнения. Вы помните, какой был страшный гром? И молния, молния разила во все ветхие постройки. И мой сарай…

— (в сторону) Счёт, пожалуйста.

— Он вспыхнул, как свеча.

— Понятно. Вспыхнул. А что вы тут делаете? Почему вы не на работе? Разгар трудового дня! Девушки вашего типа в это время вертятся, как белки в колесе.

— Какого это — моего типа?

— Ну, кем вы там работаете? Секретарша? Менеджер? Бухгалтер? Продавец в модном бутике?

— Старший помощник младшего дворника.

— А может, вы замужем? И что же муж, не возражает против ваших одиноких прогулок? Или он не в курсе?

— Не в курсе.

— Прекрасно. Моя мама говорит, что стоит завести себе

девушку, как она выпьет из тебя все соки и выкинет на свалку.

— Она поступила так с вашим папой?

— Нельзя без хамства?

— А вам?

— Всем, что у меня есть, я обязан своей маме. Вы не представляете, сколько она для меня сделала. Редкая мать так заботится о своём ребёнке.

— Мне кажется, я это где-то читала.

— Наверняка это была хорошая книга.

— Наверняка.

— Так что вы здесь делаете?

— Я… увидела вас по телевизору и влюбилась в вас с первого взгляда. Долгие годы я мечтала о вас. Из газет я узнала о вас всё, что только было можно. Я случайно столкнулась с вашей мамой в модном бутике, вкралась к ней в доверие, и она помогла мне устроить эту встречу.

— Какой бред.

— Да? А по-моему, ужасно убедительно.

— Моя мама не ходит в модные бутики.

— Ну, мы могли встретиться где-нибудь ещё. В Консерватории. Она ходит в Консерваторию?

— Случается.

— Вот! Значит, мы встретились там. Я подбежала к ней, бросилась перед ней на колени и молила дать мне шанс. Ибо только в вас моё счастье.

— И что сказала мама?

— Она была тронута. Она сказала: "Голубушка! И я была такой до того, как любимый мужчина разбил мне сердце. Пришлось выпить из него все соки и выкинуть его на помойку. И никакого тебе счастья".

— Зачем вы всё это сочиняете?

— Не знаю. Просто так. Пытаюсь с вами общаться.

— А зачем вам со мной общаться? Вам не кажется, что вы теряете время?

— Нет. По-моему, вы симпатичный.

— Вот это новость. Спасибо, приятно слышать.

— Нет, правда. Вы мне сразу понравились. А то я не пошла бы с вами к метро.

— Чем же я вас покорил?

— Ну… формой бровей.

— Надо же. Мама была бы польщена. У неё такие же брови.

— Вы живёте с мамой и во всём её слушаетесь?

— Нет. Прекратите на меня наскакивать.

— А вам хотелось бы, чтобы окружающие дрожали перед

вами?

— Вас всё время тянет на дешёвый психоанализ, вы не замечаете?

— Думаете, психоанализ должен быть дорогим и доступным не каждому?

— О боже. Если бы вы были психотерапевтом, я бы лишил вас лицензии. К психотерапевту ходишь, чтобы он сделал тебе приятно. А вы делаете мне неприятно.

— Вам так плохо со мной?

— Ну… в общем, да. Хотя в этом что-то есть. Мы уже долго с вами разговариваем. Обычно я не умею разговаривать с женщинами. И мне нравится ваш запах.

— Спасибо.

— Это правда, что я вам симпатичен?

— Почти. Вы любите свою маму. Это так трогательно.

— Разве вас это не напрягает?

— Сначала напрягало, но в этом что-то есть. Определённо.

— Если вы не против… я бы, пожалуй, пригласил вас куда-нибудь. Когда-нибудь. Вы не напишете мне свой телефон, вот здесь?

— Давайте.

— Ну ладно. Надо бежать. Я всюду опаздываю. Я позвоню вам… когда-нибудь… скоро.

— Мне кажется, я не понравлюсь вашей маме.

— Да, это проблема. Главное, не дарите ей собаку. Она не выносит собак. Вы успеете всё испортить потом, но сначала постарайтесь вести себя прилично. И юбка должна быть длиннее.

— Хорошо, я учту.

— Ну, до встречи. Приятно было… что там полагается говорить. Считайте, я всё это сказал.

— Подождите! А как вас… зовут?

III Императрица

Императрица — хозяйка жизни, ее жизненная энергия неисчерпаема, материальный мир подчиняется ей беспрекословно.

При гадании в благоприятном окружении обещает покатать ваш сыр в масле — в руках Императрицы словно бы невидимый рог изобилия, что-что, а нужда при таком раскладе не грозит. В неблагоприятном указывает на чрезмерный материализм, типа: "отстаньте со своим богом, у меня тут тесто подошло".

Так или иначе, но властная витальная жизнерадостность — ее самая сильная сторона.

Мужчины, чью личность описывает Императрица, нередко преуспевают в творческих профессиях; женщины, собственно, тоже — если захотят. Им, впрочем, часто кажется, что не царское это дело — искусством баловаться. Зато если уж возьмутся, будут диктовать моду и воспитывать вкус своему поколению.

В определенном положении при гадании Императрица показывает следующие проблемы:

— Распространенное бабское "уж замуж невтерпеж" — и в самых драматических, и в карикатурных формах.

— Ощущение собственной нелепости, неловкости (далеко не всегда ошибочное).

— Чрезмерная, утомительная для окружающих властность.

— Обидчивость, ревность, капризы.

Некод Зингер
Катенька

В те годы, когда молодые литераторы, прозванные кем-то по-русски «шлионской стаей», старательно переводили на святой язык произведения великой русской литературы, сражаясь не на жизнь, а на смерть как с первым, так и со второй, не желавшими поддаваться, уступать и терять собственные свои физиономии, весьма мало подходившие для навязываемых им гримас, параллельно этим титаническим усилиям коллег, Зинаида Берловна Штыбель, еще от самого Менахема Усишкина принявшая имя Зилпа Бат Дов, с тихим упорством, не уступавшим их бодрому энтузиазму, осуществляла никем не поощрявшийся проект иного свойства. Неустанная работа над ним велась в тесной комнатушке, сырой и темной даже в самый разгар летнего иерусалимского зноя, в полуподвальном этаже дома, выстроенного в середине тридцатых годов напротив художественно-промышленной академии «Бецалель» в одноименной улице. Внутренний двор этого дома, так толком и не убранный после стройки, в короткое время был превращен в помойку, здравствующую и поныне, две трети века спустя, с неглубокой, но обширной лужей посередине, не просыхающей даже в годы тяжелой засухи. Там, сидя за громоздким письменным столом в половину комнаты у единственного окошка, выходившего на вовсе уже излишний в этом дворе мусорный бак, Зинаида Берловна переписывала русскую классику в еврейскую.

Иврит Зилпа Бат Дов изучала долго, еще с киевских своих лет, но свободы владения этим языком так и не достигла, что, впрочем, никак не мешало осуществлению ее грандиозного замысла. Она писала по-русски. Современный иврит, по ее мнению, развивался и видоизменялся слишком быстро, и те, кто после ее ухода возьмутся за перевод этой литературы, найдут более подходящие для такой задачи средства, чем Абрам Шлионский, будто дантист бормашиной, терзающий библейскую речь в своем «Онегине».

По свидетельству современников, из которых, однако, мало кто удосужился прочесть более нескольких написанных Зинаидой Берловной страниц, среди законченных ею произведений были еврейский «Нос», еврейские «Бедные люди», «Хася», а целый ряд книг претерпевал вместе с метаморфозами текстов и естественную перемену с детства знакомых всем названий. Так

«Капитанская дочка» неизбежно становилась «Дочкой казенного раввина», а «Дворянское гнездо» преображалось в «Хасидское». Этот обширнейший труд, которому писательница отдала всю свою жизнь, не встретил понимания и поддержки ни в одной из ответственных за «идеологический фронт» организаций. В литературных кругах ее почитали «тронутой» графоманкой. Весь ее архив безвозвратно погиб гораздо раньше, чем в Израиле впервые услышали слово «концепт» и первые робкие волны постмодернизма докатились до истерзанного войнами Иерусалима.

Похоже, тетрадка, содержащая два отрывка рукописи, которую передал мне старый иерусалимский художник Давид Шмайя (Гиммельфельд), — единственное, чем мы сегодня располагаем. Несколько лет назад он снял под мастерскую квартиру во втором этаже того самого дома, а заодно и полуподвальную комнату под склад (между этими двумя помещениями расподагается парикмахерская бухарца Дани, мечтающего научиться рисовать), и среди рухляди, которую рабочие перед ремонтом по традиции вынесли прямо на двор, обнаружил эту тетрадь с русскими записями и вложенной между страницами «Катенькой» — сторублевой купюрой с портретом Екатерины Великой. Он сразу же вспомнил про «русскую писательницу», которую он, вместе с другими учащимися «Бецалеля», видел в юности чуть ли не ежедневно и называл «Царина-Катарина» за величественный, даже несколько заносчивый при малом росте и убогом платье вид.

Эта «Катенька» образца 1898 года, впервые в жизни увиденная мною в 1998, причем именно в Иерусалиме, там, где этого менее всего можно было ожидать, пробудила во мне ностальгию совершенно особого свойства. Ведь автором гравюры был тесть (во втором браке) моего деда, Михаила Евсеевича Зингера, академик Виктор Бобров, о котором, если не считать его ярого антисемитизма и ненависти к декадентам, я практически ничего не знал, и которого вывел в своем романе «Билеты в кассе» под именем Алексея Багрова.

Образ Екатерины, судя по всему, был очень дорог Зилпе Бат Дов. По свидетельству ныне покойного доктора Цейтлина в «Дочке казенного раввина» императрица занимала значительно более важное место, чем в пушкинской повести, причем ей приписывалась симпатия к еврейству, скорее всего не основанная на исторических фактах. То же самое было верно и для «Ночи пасхального сейдера», написанной в конце сороковых.

То, что передо мною фрагменты именно этой повести, я понял, едва взглянув на рукопись, чье начало было явно вырвано

из тетради, так же, как несколько страниц из середины и конца. Главная же встреча ждала меня уже во втором абзаце — и по сравнению с ней свидание с Бобровым, так поразившее меня сначала, совершнно померкло. Заменив гоголевских запорожцев на ранних хасидов, Зинаида Берловна свела меня с моим почти мифическим предком — странствующим цадиком Шаей Жуховицким, за что я охотно прощаю ей такую историческую вольность, как перенесение из павловской эпохи в екатериненскую «Мнения об устройстве быта евреев» сенатора Державина. Что же до «широкого читателя», то его я решился побеспокоить приведенным ниже текстом лишь по причине, давно уже меня занимающей: тот странный город, в котором и я сам живу уже почти два десятилетия, слишком многое проглатывает без остатка, не сохраняя следов век за веком сменяющих друг друга своих жителей, едва успевающих промелькнуть искаженным видением в его кривом зеркале.

Вот текст рукописи в том виде, в котором он попал ко мне:

«А, Акива, ты тут! здравствуй! — сказала красавица Шошана с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Акиву с ума. — Достал ты мне харойсес[1], который кушает царица? достань харойсес, пойду с тобой под хупу!» И засмеявшись, убежала.

Как вкопанный стоял кузнец. Отец наш на небесах, отчего она прекраснее праматери нашей Рахили? Ее взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет сил помыслить ни о чем ином, хоть Пейсах настает, и следует обратить мысли свои к освобождению из рабства египетского! Кто вразумит меня? Разве уж броситься в ноги к Шае-чудлтворцу? Кто знает, с какой силой он водится… Да только иначе ведь один мне путь — в пролубь, да и лишиться доли в мире грядущем!

«Куда, Акива?» — закричали ешиботники, увидя бегущено кузнеца. «Прощайте, братья! если Господу будет угодно… ах, горе, горе мне! не петь нам уже вместе «Эход ми йодейа»![2] просите реб Калмана помолиться о моей душе. Не успел я в греховности своей закончить корону для нового его свитка Тойры. Всё добро мое на цдоку![3] Прощайте!»

И тут снова принялся кузнец бежать.

«Он повредился!» говорили ешиботники. «Ситро ахро[4] овладела его сердцем. Дибук вселился в него.»

Жуховицкий Шая, гостивший тогда в Диканьке, провел годы в Межериче у Маггида, а прогнал ли тот его, или он сам ушел, этого никто не знал. Бродил он по всей Черте Оседлости от Варши и до Одессы, а впереди него летела присказка «де Шая

ходить, там жито родить». Хоть был он подлинный илуй[5] в учении, раввины его сторонились, а прошлой осенью в Бердичеве его даже отлучили. Но не прошло и дня после его прибытия в местечко, а уж все знали, что если кто занемог не в шутку, то надо звать за Шаей, и тому стоило прошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимало.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Шаю, сидевшего на полу по-турецки перед колодою, на которой покоилась какая-то ветхая книга размером в полторы виленских Геморры[6]. Шая тихо напевал себе под нос какой-то вовсе не знакомый кузнецу нигун[7], а когда он слегка покачивал головою, страница книги сама собой переворачивалась. Он так, верно, крепко был занят книгою, что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, долго стоявшего чуть не на цыпочках, затаив дыхание.

«Мир вам, ребе!» — сказал наконец Акива.

Тот, не отрывая взгляда от книги, начертал в воздухе какой-то замысловатый знак.

«Вы, говорят… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — сведущи в тайном учении и умеете, не во гнев будь сказано, даже творить чудеса…»

Проговорив эти слова, Акива испугался, подумав, что выразился излишне прямо, и ожидал уже недоброго. Но Шая продолжал, не глядя на него, листать книгу.

Ободренный кузнец решился продолжать: «Пропадать приходится мне, грешному! ничто уж не помогает! а могли бы вы, ребе, сотворить чудо, чтобы спасти душу, приговоренную к истреблению?»

«Знакома тебе история про коня Альбарака, описанная сынами Ишмаэля в «Алькоране»? — ответил ему Шая вопросом на вопрос, не отрываясь от книги.

Тут Акива, собравшийся уже было ответить, что, Боже сохрани, не читал он отродясь никаких книг, кроме святой Тойры, да и то в комментариях был не силен, заметил к ужасу своему, что Шая разинул рот, и в это время одна страница сама собою оторвалась от книги, завертелась в воздухе, скаталась в шарик величиною с тейгеле[8], и этот шарик подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Шая съел его и снова разинул рот, и еще одна страница таким же порядком отправилась снова.

«Господь да смилостивится над нами! — подумал набожный кузнец. — Сегодня ведь канун Пейсах, нельзя есть ни мацы, ни квасного, а он ест тейглах, да еще неизвестно из какой книги слепленные! Не пошел ли он по стопам отступника Шабсая Цви, да сотрется имя его?»

«Знакомы ли тебе правила игры в шашки?» — спросил его тут Шая, впервые обратив на него взгляд своих пронзительных очей.

«Никогда, ребе, не про нас будь сказано, не играл я ни в какие игры, кроме дрейдла[9] на Хануку», — ответил кузнец, потупясь.

«Каждая пешка ходит только вперед и только на один шаг, — продолжал Шая. — Но если станет дамкою, то может ходить куда и как угодно.»

Мороз продрал кузнеца по коже.

«Нет невозможного для того, кого возлюбил Предвечный, — тихо сказал Шая из Жуховиц. — И сало станет ему кошер, если Господу будет угодно. Вот я дам тебе скакуна столь скорого, что сегодня же будешь справлять первый сейдер в Ерушалаиме, а на второй снова перенесешься в Диканьку так скоро, что не нарушишь закон эйрува[10]».

«Воистину велики и неисповедимы пути Всевышнего, — осмелев, сказал Акива. — А нельзя ли мне прежде попасть без подорожной в Петербург, ко двору императрицы?»

Однако ж…

/ Тут из тетради вырваны несколько страниц /

… вошел человек виду значительного, в шитом золотом мундире, с умным, но несколько усталым взором серых глаз и высоким лбом. Волоса его собраны были на затылке в косицу. Хосиды отвесили все ему поклон в ноги.

«Все ли вы здесь?» — спросил он властно.

«Таки все, вашество».

«Это что же за пуриц[11]? Неужели царь?» — спросил кузнец одного из хосидов.

«Куда тебе царь! это сам Гавриэл Державин, сойфер ихний», — отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и такими вырезами впереди, что богобоязненному человеку и смотреть не пристало. А дорогóй материи пошло на них столько, сколько сам Фройме-портной, которому случалось шить и для панства, во всю свою жизнь, верно, не видывал.

Хосиды, а с ними и кузнец, низко опустили головы, сняв свои меховые штраймлы[12], под коими обнаружились у них черные бархатные ермолки. Некоторые из придворных захихикали, засуетились, стали стаскивать с хосидов и эти ермолки, тянуть их за пейсики.

«Оставьте их!» — прозвучал повелительный и вместе приятный голос.

Тут осмелился кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественную улыбающимся видом, который так умел покорять себе всё и мог только принадлежать одной царствующей особе.

«Гаврила Романыч обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала» говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством хосидов: «Хорошо ли вас здесь содержат?»

«Таки данке вам, тайере маме! Даваючь нам в кошере провиянт, хоча на Пейсах хобен вир нихц как кроме мацо, что взяли с дома… но грейх жалить, бээзрас А-Шейм, не умираем»

Державин хмурился, видно, хосид говорил совсем не то, что надо.

«Помилуйте, тайере маме! чем виноват народ Божий? или соглашали ми с туркен? с полен? или изменяли вам? за цо же ж немилосчь? за цо казенных рабоним ставичь нам хцят, за цо цадиким в острог и хасидим гначь, последней парносе лишачь?» — отвечал тот самый хосид, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, что тот, зная так хорошо русское наречие, говорит с царицей, как будто нарочно, самым ломанным языком. «Ох, хитры! — подумал он сам себе. — Верно недаром он это делает».

«Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина.

Хосиды значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Что вы, не во гнев будь сказано вашей царской милости, будете сегодня на сладкое кушать? Боже, творящий милость праведным, что если бы невеста моя покушала царского десерта! А я, ваше императорское превосходительство, имею возможность в сей же вечер передать от вас в Ерушалаим любимому паше турецкого султана депешу, какую пожелать изволите».

Государыня засмеялась. Хосиды начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

«Встань! — сказала ласково государыня. — Тебе нынче, видно, звезды вспомогают. У нас гостит кондитер Жозеф, которого прислал мне из Парижа король французский. Если ты хочешь угостить свою невесту его крем-бруле, то это не трудно сделать. Да и вам, любезные не во вред: готовлено по-еврейски.

Принесите ему сей же час в золотом сотейнике! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, Гаврила Романыч, живописное добавление ко мнению вашему. О таких сюжетах вам, видно, Зорич не сказывал.»

Тут обратилась она снова к Акиве: «Премного наслышана я о вашем иудейском взаимном сообшении. Но чтобы в сей же вечер в Иерусалим?»

Тут уже принесли кузнецу и крем-бруле в золотом сосуде с крышкою. Дух от него шел такой великатный, что Акива не мог смолчать.

«Ваше царское величество, при такой тонкой пропорции, что кушанья вашего благородия содержат, какие же тонкие помышления и высокие чувствия должны они, с Божьей помощью, вам навевать».

«Послушай, однако, любезный, — улыбнулась государыня. — Никакой депеши мне ни к паше, ни к султану посылать нет надобности. Пусть к ним запорожцы пишут. Но слышала я про обычай ваш, будто бы приняиый в Святом Граде, эпистолы к самому Богу-Отцу между камней от Храма вашего, разрушенного Титусом-кесарем, складывать. Так ли это?»

«Истинная правда, ваша светлость, Царю Небесному, благословенно имя Его, в собственные руки.»

«Что ж, передашь от меня эпистолу ко Всевышнему?»

«В сей же вечер будет исполнено, ваше императорское величество», — ответил кузнец, низко кланяясь.

«Вольно же некоторым славить меня вольтерьянкою, — со смехом заметила царица. — Подайте мой письменный прибор!»

Увидел Акива, что хосиды недовольны им, да только ничто уже не могло омрачить его радости. Из собственных царских рук получил он послание на тонкой бумаге, свернутой в трубочку, и когда государыня, вновь обратившись к хосидам, начала расспрашивать, как у них живут в западных губерниях, какие обычаи водятся, отошедши назад, потянул в кармане за уздечку и сказал тихо: «Именем Господа, выноси меня отсюда скорей!»

Еще до захода солнца Альбарак опустил кузнеца Акиву на площадь перед Западною Стеной в Ерушалаиме, и…

/ Здесь рукопись обрывается /

Словарь некоторых еврейских слов и выражений

1 Харойсес — смесь тертых яблок, вина, меда и орехов, употребляемая на Песах.

2 «Эход ми йодейа» — традиционная песня, исполняемая на

пасхальном седере.

3 Цдока — милостыня

4 Ситро ахро — нечистая сила

5 Илуй — умник

6 Виленская Геморра — Талмуд виленского издания

7 Нигун — напев

8 Тейгеле — медовый шарик из теста

9 Дрейдл — волчок

10 Эйрув — закон, запрещающий перемещение в субботу и праздники

11 Пуриц — богач

12 Штраймл — головной убор

IV Император

Даже по названию понятно, что это самый «мужской» аркан, со всеми вытекающими последствиями.

Начнем поэтому с личности, которую он описывает. Быть Императором (любого пола), в общем, чрезвычайно приятно, хоть и не всегда просто в житейских обстоятельствах. Четвертый Аркан гарантирует внутреннюю честность, цельность, безукоризненную верность собственным принципам и воистину царственное непонимание "чужих правд". Врать, хитрить, даже просто проявлять такт и дипломатичность — это не для Императора. Он настолько борец, что даже отсутствие твердых принципов (если это его искренняя позиция) будет защищать до последней капли крови. А уж если у него есть какие-то принципы, то вообще — выноси дрова. Пощады никому не будет.

Спорить с Императором бесполезно. Переубедить его невозможно, да и не нужно это никому. Император и должен таким быть: нетерпимым, несгибаемым, упрямым. Патриархом — хотя бы в каком-нибудь из смыслов этого слова. А лучше бы — именно в библейском.

Императору очень желательно быть начальником, командиром, лидером — в любой области. На худой конец, главой большой семьи, но это действительно на худой конец. Императору все же желательна общественная деятельность. В этой позиции он великолепен. Будет править твердой рукой, трудиться, не давая себе поблажки, распределять ресурсы и расточать дары, покровительствовать «своим» и воевать с "чужими".

Ситуация, в которой Император не командует, не опекает, не покровительствует и не борется, недопустима совершенно. Это верный способ загубить свою жизнь. Ничего иного ему опасаться не нужно. Император действительно очень силен и способен «прокормить» (материальной, эмоциональной, духовной, интеллектуальной и всякой другой пищей) почти любое "войско".

Что очень нежелательно для Императора — лично воспитывать собственных детей, особенно сыновей. Может сломать хребет и характер — не со зла, а просто потому, что слишком силен. А вот юношество железной рукой обуздывать — милое дело. Директор школы может получиться тот еще.

Если эта карта выпадает при гадании, она сулит успех

(особенно в битвах с чиновниками, бюрократами и прочими цепными псами общества), дееспособных покровителей и все в таком роде. Часто Император обещает новые возможности и новые пространства, которые вам предстоит завоевать и освоить.

Проблемы, о которых может предупреждать Император:

— консерватизм в его худших проявлениях

— авторитарность, желание любой ценой подчинять других (далеко не всегда сочетающееся с возможностью это сделать)

— ярость слабого человека, которого не слушаются

— озверевший внутренний контролер, который не дает расслабиться.

Роджер Дж. Роджер
Потому что я так хочу

Лунный свет дробится на воде и пляшет в глазах болотными огнями. За шумом реки не слышно шагов.

— Такие ночи созданы для вина и любви, Геф! — Александр даже не обернулся. — Я слышал, местные девушки искусны в этом ремесле. Куда искуснее, чем наши.

— А юноши? — спокойно поинтересовался Гефестион, ничуть не смутившись тем, что его попытка подкрасться провалилась.

Царь хмыкнул.

— Завтра мы перейдём реку вон там, — показал он. — Что скажешь?

— Скажу, что македонцы не пойдут через Гифасис, — на секунду замявшись с ответом, отозвался Гефестион. — Кен говорит, что они не хотят продолжать поход. Войско на грани бунта.

— Они пойдут, — спокойно ответил Александр и сунул в рот сорванную травинку.

— Почему?

— Потому что я так хочу.

В воздухе свистнул нож, и огромная коричневая жаба замерла, пригвождённая к влажной земле. Александр обтёр клинок о траву и принялся свежевать добычу. Два часа назад он вышел к сгоревшей бензоколонке. От магазинчика при ней остались лишь стены; он нашёл три банки каких-то консервов, однако их вздутые бока однозначно указывали на то, что ужин сегодня придётся искать где-нибудь ещё. Что ж, свежее мясо — это даже лучше. Александр быстро потрошил тушку, размышляя по ходу, стоило ли взять грузовик, что ржавел в поле неподалёку от бензоколонки. С одной стороны, на колёсах передвигаться быстрее, с другой же… Он на секунду оторвался от жабы и посмотрел на небо. Ага, кружит. Может быть, орёл. А может, и гарпия, кто их разберёт. Так что с другой стороны, ну его к чертям, этот грузовик.

— Сикандар, — опустился на колени Махападма Нанда, властелин Махаджанапад. (Бывший властелин, поправил себя Александр.) — Сикандар, мы признаём поражение. Ты победил.

Александр в задумчивости потёр свежий шрам на щеке. Сколько раз он слышал эти слова, и всякий раз сердце пропускало удар, а потом — потом мгновенный жар, и кровь начинает бежать

по венам быстрее. Только ради этих слов и стоило затевать войну. Ради того лишь, чтобы хоть немного, на самом кончике языка, почувствовать настоящий, горький как соль и терпкий как неразбавленное вино вкус жизни. Но сегодня что-то было не так.

— Нанда, — не отрывая взгляд от заснеженных вершин на горизонте, тихо спросил Александр. — Скажи, что там? За твоим царством?

— Там? — удивился бывший властелин, — Там нет ничего, Сикандар. Там край земли.

Край земли. Александр взвесил эти слова и нашёл их тяжёлыми. Неподъёмно тяжёлыми. Край земли. Конец.

“Значит, вот что такое безнадёжность, — подумал он. — Ну, это мы ещё посмотрим.”

— Я хочу увидеть этот край земли.

Нанда покорно склонил голову.

Осторожно, стараясь не вызвать предательский оползень, Александр крался по склону горы. Последние метры перед вершиной он полз так медленно, будто в его распоряжении была вся вечность и ещё выходные. Вынув из кармана оптический прицел, он принялся осматривать долину. Раньше к прицелу прилагалась винтовка, но патроны закончились ещё в городе, когда он отбивался от чёрных птиц. Александр посмотрел вниз. В долине, шурша стальной чешуёй, шла саранча. То тут, то там сплошной поток вскипал короткими яростными схватками. Щёлкали челюсти, молотили зазубренные лапы, вспышки лазеров и электрические разряды подсвечивали низкие облака, превращая их в грозовые тучи. Проигравшие пожирались, а победители шли дальше. Александр проследил колонну от горизонта до горизонта — стальной реке не было конца. Он спрятал прицел и осторожно стал спускаться обратно. Не беда. Он пойдёт южнее.

Александр наклонился и зачерпнул рукой воду — вместе с отражением соседнего берега.

— Так странно, Геф, — мягко сказал он, — Знать, что эта вода идёт, идёт и никогда не кончается. Что-то удивительно безнадёжное есть в этом, ты не находишь?

— Эскандер, — пожал плечами Гефестион, — А ты никогда не задумывался, что нечто удивительно безнадёжное для врагов есть в твоих неизменных победах? Они идут, идут, идут… И никогда не кончаются.

Сморщившись, как от зубной боли, Александр выплеснул отражение берега на отражение Луны и встал.

— Они закончились, Геф, — сказал он. — Только что

закончились. Я проиграл.

— Да?

— Да. Я дошёл до конца мира, мне нечего больше выигрывать и некого побеждать. А это значит, я проиграл.

— Мне казалось, — с сомнением поджал губы Гефестион, — что Аристотель не принадлежал к школе софистов.

Александр криво усмехнулся и побрёл вдоль берега. Гефестион двинулся за ним так, чтобы прикрывать фигуру царя со стороны дворца.

— Нет, Геф, я серьёзно, — размышлял на ходу Александр. — Весь Восток мой. Египет тоже. Север… Я дошёл до конца населённых границ, дальше только мёртвый лёд.

— А я слышал, — рассеянно отозвался Гефестион, — что там дальше лежит страна Гипербореев, людей с пёсьими головами.

— Геф, я тебя умоляю, — нахмурился Александр. — Я говорю о серьёзных вещах. Индия, неприступная Индия — тоже теперь моя. Что же мне делать дальше, Геф? Чего желать, за что бороться?

— Вернуться в Вавилон, — посерьёзнев, ответил Гефестион. — Солдаты недовольны. Они скучают по дому и семьям.

— Домой, — вздохнул Александр и остановился. — Домой. Мы обязательно пойдём домой… Но чуть позже, не сейчас. Я чувствую, что здесь что-то есть, Геф, и я должен понять, что это.

Он спрятал нож и внимательно посмотрел на гостя. Это действительно был койот. Точно такой же, как тот, которого он убил и съел пять дней назад. Впрочем, тот не умел разговаривать.

— Сразу к делу, — предложил койот, жмурясь на костёр. — Предложение, от которого невозможно отказаться. Бьюсь об заклад, тебе уже до чёртиков надоело скитаться по этой мёртвой стране.

— Не такая уж она и мёртвая, — буркнул Александр и потёр свежий шрам на щеке.

— Ты понимаешь, что я имею в виду, — отмахнулся койот. — Так вот. Из чистого альтруизма я готов провести тебя в твой собственный, новый, прямо с иголочки, нормальный мир. Живые люди, работающие магазины, телевизор по вечерам… Всё как было здесь, а если хочешь, и лучше. Ну, что скажешь?

— Не пойдёт.

— Что значит — “не пойдёт”?!

— У меня здесь дела.

— Дела? Это ты про свой безнадёжный поход к якобы ждущей тебя жене? Я тебе предлагаю целый мир, чудак, а ты цепляешься

за какую-то химеру. Да я тебе такую жену могу устроить — закачаешься! Ну, идёт?

Александр обстоятельно объяснил койоту, куда тот идёт. Койот внимательно выслушал и оскорбительно засмеялся.

— Тебя всё равно завтра Ю-уги сожрут, — сообщил он. — Ты ведь рекой пойдёшь? Вот там они и сидят, Ю-уги. Вроде твоих позавчерашних шестилапых уродов, только с ядовитыми шипами и крупнокалиберным пулемётом. Давай, соглашайся уже. О тебе же забочусь, дурак.

Александр не менее обстоятельно объяснил, что койоту следует сделать со своей заботой. Это объяснение койот дослушивать не стал и растворился в ночи задолго до того, как оно закончилось.

Несомненно, гость был греком. Пока он, небрежно развалясь, потягивал вино и изучал барельефы дворца (весьма занятные барельефы, надо признать), Александр равнодушно размышлял о том, удастся ли ему одним движением снести нахалу голову. В тот момент, когда раздражение в нём почти победило вечернюю лень, и он приготовился от абстрактных размышлений перейти к конкретным действиям, гость заговорил.

— Для начала, — сказал он, — я пришёл с деловым предложением, от которого невозможно отказаться.

“Длинным выпадом, — решил Александр. — Вон туда, где бьётся жилка.”

— И потом, ты не можешь меня убить, я бог, — торопливо отодвинулся гость.

— А я сын бога, — равнодушно возразил Александр и откинул хитон с плеча.

— Слушай, но ты же не можешь убить самого Гермеса, да ещё до того, как он тебе сообщит, с чем пришёл, — занервничал гость и отодвинулся ещё дальше.

— Это уж мне решать, — так же равнодушно сообщил Александр и аккуратно взялся за рукоять меча. — Кроме того, убийство Гермеса, если ты, конечно, Гермес, вполне может рассматриваться как победа. А мне в последнее время сильно не хватает побед.

— Да погоди ты! — затараторил Гермес, вскидывая руки. — Я ведь затем и пришёл. Я пришёл предложить тебе возглавить самую большую и важную битву, которая когда-либо была. Или будет.

Александр с интересом поднял бровь. Руку с меча, впрочем, не убрал.

— Слушай, — торопливо продолжил Гермес. — Представь

себе на секунду, что вероятностную материю стали формировать индивидуумы с сильнейшими эсхатологическими мифологическими представлениями.

Александр снова нахмурился и перехватил меч поудобнее.

— Величайшая битва! — мгновенно исправился Гермес. — Величайшее войско, которое когда-либо видело это небо! Поле битвы — вся Земля! Армагеддон!

— Что? — переспросил Александр.

— Да так, не важно, — отмахнулся Гермес. — Важно лишь то, что во главе этого войска встанешь ты. И это будет величайшая победа в истории. Ну как, по рукам?

— Пойдём, — просто ответил Александр, убирая руку с меча.

— Ну… — замялся Гермес, — Не так быстро. Есть одна небольшая загвоздка.

Мяса в Ю-уги не оказалось совсем. Александр спрятал нож, собрал стрелы и закинул арбалет за спину.

— И зачем тебе всё это? — спросил койот. — Дикая жизнь, безумные хищные твари. Я же тебе предлагаю буквально всё, что пожелает твоя душа, и ничего не требую взамен. Тут совсем недалеко, в соседней реальности. Даже пейзаж не сильно изменится.

— Кстати, а почему именно койот? — рассеянно поинтересовался Александр и попрыгал на месте, проверяя, хорошо ли упакован рюкзак.

— Граница с Мексикой, — пожал плечами койот. — Мифологическая сила местности. Своей-то сколь-нибудь конкретной веры в тебе нет. Только, вон, упрямство ослиное.

Он ловко увернулся от пущенной стрелы и скрылся в кустах. Александр глянул на солнце и зашагал на юг. До ночи он планировал добраться до границы с Техасом.

— Эскандер, — нахмурился Гефестион. — Ты мой царь, но ты и друг мне. Я прошу тебя как друг, ну не будь ты глупцом. Войска на грани бунта. Нужно уже убираться из этой… с этого края света. Чего, ну чего ты здесь ждёшь?!

— Геф, — Александр ходил из угла в угол, кусая губу. — Ты знаешь, что такое шанс всей жизни?

— Знаю, — раздражённо отозвался Гефестион. — Видел его в Граникусе. И в Иссусе видел. И в Гвагамелах тоже. Я слышу о нём перед каждой битвой. Ты всякий раз заводишь эту песню про величайший шанс в твоей жизни, но, Александр, опомнись, какой шанс может быть в этой дыре?!

— В крайнем случае, — мрачно ответил царь, — присоединю

к списку побед ещё и убийство бога.

Вдоль пустынной улицы ветер катил фантик от конфеты, неожиданно яркое пятно на фоне серых развалин.

— Ну хорошо, — орал из оконного проёма койот. — Ну доберёшься ты до дома, допустим. Но ведь жены твоей там нет, должен же ты это понимать, идиот! И мир ты не спасёшь!

— Да насрать мне на мир, — задумчиво пробормотал Александр и пошёл конём. Сфинкс ощерился.

— Ну так какого хрена, ты, сын ослицы?!

— Потому что я так хочу, — буркнул Александр и взял ладью. — Шах и мат.

Сфинкс неверяще уставился на доску, потом взвыл и вцепился когтями себе в лицо. Александр усмехнулся и поднял рюкзак.

— За что, ну за что, спрашивается, мне досталась такая дурацкая мифема? — печально поинтересовался койот у ветхих занавесок. — Ведь как всё замечательно вырисовывалось — последний человек на Земле, случайно избранный полководец Апокалипсиса. Я его подменяю на действительно величайшего полководца, баланс сил непоправимо смещён, боги и демоны в смятении. Величайшая проказа в моей карьере, её, так сказать, венец. И тут этот сын ослицы…

Щёлкнула тетива, и стрела по оперение вошла койоту в бок.

— Какой-то идиот, право слово, — пожаловался Гермес и со стоном опустился на ковёр, — Я ему предлагаю фаустовский пакет услуг буквально за красивые глаза, нет времени даже придумать какую-нибудь достойную каверзу или крючкотворство, а он что? Стрелу мне в бок!

— Кто? — раздражённо поинтересовался Александр.

— Да этот… Случайный фактор.

— Какой ещё случайный фактор?!

— Ну, самозванец! Я же тебе рассказывал.

— Так убей его и дело с концом.

— Не могу, — вздохнул Гермес и поморщился от боли. — Убийство не мой профиль.

— Тогда я сам его убью, — дёрнул щекой Александр. — Веди!

— А и верно, — оживился Гермес. — Такой расклад мне как-то и не приходил в голову. Действительно, что может быть мифологичней схватки двух героев? Тем паче что результат заранее известен.

От первого удара Александр чудом увернулся. Псих с огромным мечом, выскочивший на него в тот момент, когда он выкуривал из

“Мак-Дональдса” баньши, с оружием обращаться явно умел. Александра спасли только рефлексы и всеядность баньши: дико хохоча, она бросилась на пришельца с не меньшим энтузиазмом, чем на Александра. Он, тем временем, успел выпустить в нападавшего стрелу, которую тот ловко отбил кинжалом, и выхватить нож. Против меча он предпочёл бы что-нибудь более внушительное, но чувствовалось, что времени на поиски достойного оружия нет.

Атаку кавалерии Александра войска самозванца отразили. В этом им, конечно, сильно помогло невесть откуда взявшееся на левом фланге болото, но уж такова военная удача. После этого странные лучники противника изрядно проредили конницу Александра; чтобы предотвратить провал центра, ему пришлось вывести под удар фалангу панцирной пехоты. Теперь он копил силы для стремительного лобового броска, благо войск у самозванца явно было недостаточно.

Две атаки психа Александр кое-как отразил, но в третьей тот на обратном ходу ловко хлестнул ему по руке. Он отступил в “Мак-Дональдс”, псих кинулся следом. На пути к кухне он ещё дважды отбивался от атак незнакомца, а потом ему улыбнулась удача: сразу за дверью, на столе, лежал новёхонький разделочный тесак.

Александр торжествовал. Он выиграл два сражения подряд, а в третьем и вовсе разнёс войска противника в пух и прах. Тот, огрызаясь жалкими контратаками, отступал всё глубже и глубже на собственную территорию, а войска Александра буквально висели на его плечах. Наконец, враг был загнан в осаду в собственной столице, и хотя у него откуда-то взялись резервы, Александр не сомневался в победе. Штурм должен был решить всё.

Этот бой он определённо проигрывал по очкам, слишком уж умелым был противник. Александр попытался успокоить дыхание. Ничего, у него есть козырь в рукаве. Точнее, в сапоге. Он сместился так, чтобы солнце оказалось у него за спиной, и метнул нож. Противник успел уклониться, и Александр, перехватив тесак поудобнее, бросился вперёд. Этот бросок должен был решить всё.

Войска, запрудившие долину, приветствовали появление полководца радостным рёвом. Тот замер на холме и, похоже, внимательно изучал раскинувшуюся перед ним картину.

— А теперь, — надсаживался Локи, — тот, кого мы так давно ждали. Гениальный полководец! Глава войска Последней Надежды! Стратег Армагеддона! Великий! Александр!!!

Локи сделал шаг назад и осторожно пощупал бок. В лучах заходящего солнца был виден только силуэт великого полководца. Помедлив, фигура на холме развернулась и неторопливо направилась прочь. Над долиной повисла изумлённая тишина.

— Эй! Эй!!! — очнувшись наконец, заорал Локи, — Ты куда?! А как же битва?! Кто будет решать судьбу мира?!

— Да насрать мне на мир, — отозвался сверху знакомый голос.

V Иерофант

Главная тема Иерофанта — учительство. А уж будет оно с маленькой буквы, или с большой, зависит от конкретного случая.

В высшей точке Пятый Аркан — мудрый наставник, учитель, советчик, опекун.

В низшей — тупой догматик, желающий, чтобы все человечество умерло ради торжества его персональной правды.

При гадании, в зависимости от контекста, эта карта может обещать мудрого наставника, или говорить, что пришло время учить других.

Иерофант советует: нужно преодолевать собственную догматичность, назидательность и непримиримость с несоответствием вашим идеалам. Надо учиться не требовать от других ничего. И, что еще труднее, учиться никого не сажать себе на голову. Это Иерофант любит и умеет. Основные инстинкты Иерофанта — опекать и ворчать, ворчать и опекать.

Проблемы, о которых может предупреждать Иерофант:

— догматизм (религиозный, или идеологический — не суть)

— стремление делать так называемое «добро» напоказ

— конфликт разных традиций в одном человеке

— зависимость от социальных норм и социального успеха

— неприятие так называемых "нижестоящих"

— иногда Пятый Аркан указывает, что перед нами человек, влюбленный в своего "духовного наставника" — в чем бы это самое "духовное наставничество" ни выражалось.

Алексей Шеремет
Хара

Вот он я, во всей красе. Волосы сырые после душа, низ живота портит небольшая вмятинка; будто стамеска ваявшего меня мастера соскользнула ровно в тот момент, когда он собирался изобразить пуп; от этого теневого пупка до настоящего, затверждая путь воображаемой стамески, тянется неровный шрам. Откуда он взялся? Вспомнить непросто, но не из-за того, что воспоминания стёрлись — напротив, воспоминаний оказывается слишком много, больше, чем может уместиться в одной жизни.

II

Гором высящийся анестезиолог воткнул мне в ноздрю пластиковую трубку — так резко, что на глаза навернулись слёзы; «Эй, мужик, полегче!» — возмутился я, но он лишь рассмеялся. «Больно же!» — хотел прибавить я, но не стал: внезапно я успокоился, успокоился абсолютно: остановился, застыл, а громада анестезиолога, и сухонький пожилой хирург, и взволнованные сестрички, и любопытные практиканты — все они продолжали своё движение: вправо, вправо, вправо — вместе со столом, на котором лежит моё тело в застиранном казённом халатике и безмерных бахилах, вместе с осветительной стойкой, стеклянными стеллажами, крашеными дверями, линолеумом коридора, плакатами об оказании первой помощи, вместе со вторым хирургическим корпусом, больничным городком и всей планетой — ринулись прочь от меня столь резво, что на мгновение я, кажется, потерял сознание.

Вернувшись в себя, я обнаружил, что стал схож с большой гроздью тронутых серебристым светом ягод; я парил под сводами бесконечного полутёмного тоннеля; звучала музыка — энергичные ударные, визгливые грязные скрипки; меня переполняло ощущение силы и спокойствия; «Ну вот я и дома», — понял я с некоторым удивлением, — «Я снова дома!»

два с ниточкой

Историю о том, как я делал себе сэппуку, слышали, вероятно, все мои друзья, а также случайные и неслучайные попутчики и даже один невезучий уфимский таксист. Несколько раз я пытался превратить историю в текст: тщетно. Картинки теснились по эту

сторону мягкого и бесшумного листа, танцевали на кончиках пальцев, но, стоило взяться за перо — рассыпались пачкой пыльных слайдов.

Случайный посетитель лектория, поглядывая одним глазом на экран, щёлкает тумблером в подлокотнике кресла, втыкает наушники то в один разъём, то в другой — повсюду тишина; нет контакта, а без подсказки ведущего угадать, что за огонь сжигает босховского Антония — невозможно: ты либо знаешь это, либо нет.

два с иголочкой

Резкий запах, стеклянный звон. «Рукой работай!» — прикрикнул на меня кто-то. «А?» — не понял я. «Кулак, кулак — разжимай и сжимай», — заподсказывали с соседней лежанки. Я ухватился за руку и вытянул себя на поверхность. Рука, моя собственная рука, стробила и покачивалась. Я скосил глаза: живот казался чужим и далёким, будто пострадавший от взрыва метеорита участок тайги; обгорелыми соснами торчали концы ниток, по склонам красноглинных оврагов скользили островки зелёнки.

Как такое могло случиться? С кем это случилось? Вы слышите меня? У вас, вероятно, неисправны наушники. Да оставьте их наконец, садитесь сюда, я буду рассказывать; я знаю эту историю, хоть и не полностью. Прежде всего — стоит как-то назвать нашего героя: хорош же я буду, если стану называть его «Я»! Назовём его «Хара»; как-никак, это единственное, в отсутствии чего мы можем быть уверены.

III

Предисловие затянулось; незаметно для себя мы минули экватор нашего повествования; самое время нацепить мочальные бороды, перехватить поудобнее трезубцы — и окунуться в горькую воду.

ниточка рвётся
иголочка ломается
игра начинается…

три!

Хара, самурай из некогда знатной, но впавшей в

немилость семьи, встречает двадцать седьмую свою весну с мечом в руках: он убивает себя. Незадолго до того он отрубил себе большие пальцы на руках, а ещё чуть раньше — убил свою жену. Вместе со злодеяниями росло и его безумие: сейчас он вряд ли понимает, что делает и зачем.

Я крепче сжимаю кулаки; рукоять меча проскальзывает, болят замотанные тряпьём кисти рук, болят все пальцы, но особенно — те, которых уже нет. На выдохе я погружаю лезвие в живот, глубже, теперь — вверх. Новая боль растворяет в себе старую, и мне становится легче. Всё вокруг светлеет, превращается в выцветший рисунок, дрожит, сгорает. Я вижу женщину в белых одеждах и с набелённым лицом. Она спокойно смотрит на меня большими тёмными глазами. Она ждёт.

До последнего я был уверен, что всё дело в отце, и даже не задумывался, справедливо ли его осудили или нет: я — я никогда не давал повода усомниться, я выполнял всё, что мне поручали, и выполнял идеально. Мальчишки, что поступили на службу позже меня — успели получить землю и богатые должности, а мне оставались мелкие поручения да малое жалование.

Однажды поздно ночью я проходил мимо дома дяди и услышал смех: он пировал с друзьями. Я зашёл без приглашения и прямо спросил: отчего он не даёт мне повышения? Неужели из-за истории с отцом он не верит мне? Я выполню любой приказ, не раздумывая! Перед лицом своих друзей он не мог не ответить. Он сказал: «Любой? Хорошо, иди и убей свою жену!»

один

Вам нехорошо? Прошу, не переживайте! Смотрите: это просто слова, просто картинки… Вы не знаете даже, правду ли я говорю или нет, верно?

История права, и ничего тут не попишешь; про таких, как Хара, говорят: *хара-но наи хито*, человек без сердца. Да, любой мог оказаться на его месте — но всякий ли поступил бы именно так?

Отец Хары собирался в спешке, и не стал проверять, на месте ли кости для игры в нарды-сугороку. Скорее всего, он так и не успел обнаружить пропажу: в тот же день его казнили по анонимному доносу о растрате казённых средств. Мать всегда говорила сыну, что отец погиб на войне; правду Хара узнал только когда вырос и

решил поступить на военную службу.

Мама и папа играют в нарды, я — совсем кроха. Я дожидаюсь, пока игра закончится и родители удалятся за ширму, подползаю к доске и достаю из шкатулки кубики; они кажутся мне очень красивыми, но мне не разрешают трогать их. Зажав кубики в кулачке, я засыпаю. Проснувшись, я вижу маму: она чем-то встревожена. «Ота?» — спрашиваю я. «Он ушёл», — отвечает она, — «Он ушёл на войну!» Как же так? Я разжимаю кулак: на ладони лежат кубики. Он забыл кубики! Как он теперь будет воевать, без кубиков?

Моя жена не была похожа на мою мать; так же, вероятно, как я не был похож на своего отца. На свадьбу нам надарили кучу всякого скарба, и, среди прочего — красивую доску для игры в нарды. Едва я бросил кости — как почувствовал, что старая детская вина до сих пор со мной, и слёзы готовы покатиться из глаз. Жена старалась сделать вид, что ничего не замечает. Я взял меч и вышел на двор: немного поупражняться; а доска долго ещё пылилась в углу, пока мы не подарили её кому-то из гостей.

два

Вы не спешите? Осталось немного; две или три картинки, к сожалению, они плохо сохранились, всё как в тумане: то ли намудрили при проявке, то ли так и было, уже не разобрать.

Названый дядька не был кровным родственником, но некогда близко дружил с отцом Хары. Мать настаивала, чтобы сын отправился искать место в столицу — однако Хара, рассчитывая на протекцию дяди, уезжать отказался. Служба не заладилась: небольшие отряды, слабые воины, усмирение бунтов, грязная работа; лишь удачливость да мастерство мечника раз за разом спасали его.

Поле затянуто синеватым утренним туманом, по земле раскиданы то ли скирды, то ли тела людей. Я медленно, очень медленно ступаю на чуть подпружиненных ногах, покачиваю мечом из стороны в сторону. Иногда из тумана прямо на меня набегают воины: их рты распахнуты в крике, но я ничего не слышу: податливая тишина наполняет меня изнутри. Я едва заметно повожу мечом — и очередной мой противник, не переставая неслышно кричать, откатывается к скирдам.

Спроси меня — был ли я счастлив? Вспомню ли я хоть что-

нибудь, кроме крови и грязи? Вспомню. Весна, дорога разбита колёсами обозов, я огибаю лужу по крохотной полоске молодой травы, жмусь к невысокой ограде…

По ту сторону — несколько деревенских девушек, одна из них подходит ко мне, заговаривает первой. Я дивлюсь её смелости и на мгновение забываю, кто я такой: подбираю с земли обломленную веточку с белыми цветами, с поклоном протягиваю ей — и тут же отвожу руку в сторону, смотрю ей в глаза… Она смеётся, и я смеюсь вслед за ней.

минус один

Странно: ваше лицо кажется мне незнакомым; вы нечасто посещаете лекции? Вероятно, вы с параллельного потока, а сюда забрели по ошибке? Ничего страшного, этот слайд — последний. Узнаёте?

> *Вышло так, что дружба отца Хары с воинским начальником однажды превратилась в соперничество; сватаясь к будущей матери Хары и получив отказ, старый вояка в запале пообещал извести весь их род — чтобы и памяти о нём не осталось.*

Необыкновенно светлая ночь, с холмов стекают потоки серебристого тумана. Костерок, на огне — большой котёл с чистой водой. Я смотрю на воду, поднимаю глаза — и вижу своего отца. Он улыбается спокойной улыбкой, опускает в воду вязаночку полыни. Я зачарованно гляжу на поднимающиеся пузырьки. По всей долине, сквозь туман — скорее угадываются, чем видны другие огни; их очень много.

Из тумана появляется человек: это наш, мой и отца, воинский начальник. Он прихрамывает; видно, что ему очень холодно. За секунду до того, как вновь исчезнуть в тумане, он оборачивается. Мы с отцом одновременно поднимаем руки, жестом приглашая к огню. Он садится с нами, молча смотрит на воду. Все втроём мы смотрим на воду; мы ждём, когда она закипит.

Мы ждём долго-долго.

VI Влюбленные

Несмотря на название, этот аркан далеко не всегда обещает романтические отношения (хотя нередко указывает на них). В первую очередь он описывает ситуацию выбора — как навязанного извне, так и обусловленного внутренней потребностью. В любом случае, это та самая ситуация, когда приходится "выбирать сердцем". Голова в таком деле обычно только мешает.

Проблемы: нерешительность, нестабильность (и внутренняя, и вполне может случиться, что в делах), склонность к кухонной философии. Очень трудно просить; еще труднее просить так, чтобы получать желаемое.

Сильные места: абстрактное мышление обычно на высоте, склонность к вычислениям и построениям блестящих гипотез.

Кроме того, Шестой Аркан описывает состояние любви — не к абстрактному вполне человечеству, а ко всему, что оказывается рядом, на расстоянии вытянутой руки. Состояние, в котором всякий жест диктуется любовью. Но это, как мы понимаем, великая редкость.

Алексей Карташов
Прекрасная Елена

Мою добрую фею звали Еленой, и сначала она казалась просто старшекурсницей, которую прислали в нашу группу, помочь разобраться в мелочах новой жизни.

Я входил в громадное здание факультета, и всё не мог поверить, что прошел конкурс, и что я теперь студент Университета. Она делала диплом на кафедре с волшебным именем «Физиология высшей нервной деятельности». В их тесной, заставленной приборами лаборатории, с белыми крысами в клетках, подшивками журналов до самого потолка, реактивами на полках, легким запахом зверинца, трубочного табака и клея — время останавливалось и весь остальной мир исчезал.

Я приходил к ней каждый вечер, за окном был непроглядно черный парк и синий холодный фонарь, стены уходили в полумрак, а она сидела в круге теплого желтого света, прилаживала электроды к бритым головам покорных крыс, или разбиралась в бесконечных лентах, исчерченных самописцами. Мигали и мурлыкали приборы, я заваривал кофе, если его удавалось раздобыть, слушал ее истории, отвечал на неожиданные вопросы, чувствуя, как что-то ломается в сознании. Было страшно и весело взрослеть и понимать себя. И, конечно, когда я влюбился в однокурсницу с прекрасными темными глазами, и мне в первый раз в жизни ответили — я сразу поделился с Еленой. В этот день, в первый и последний раз, она была со мной мягка и сниходительна, а уже через неделю вернулась к привычному безжалостному анализу.

А вообще, странное ее воспитание давалось мне иногда с трудом и внутренним протестом. Елена не делала мне скидок на возраст или романтическое настроение. Однажды она дразнила меня весь вечер, рассказывала про свое тело, про свои желания, потом приблизилась на расстояние поцелуя — и мягко оттолкнула: «Нет, не нужно, просто пойми — мы все зависим от этого. Марш домой, мне надо работать!»

Потом, в апреле, когда асфальт уже почти высох, и оставался только легкий запах талого снега, ко мне домой пришла моя любимая. Она стояла в дверях и не хотела входить, не хотела

говорить, а я знал, что она скажет, и не хотел слышать этого.

— Ты знаешь… я люблю его. Я хотела тебе просто сказать, сама.

— Да, понимаю. Зайди, хочешь чаю?

— Не надо, пожалуйста. Он ждет меня внизу.

Я дождался, пока в подъезде лязгнет пружина, и тихонько закрыл входную дверь. Выкурил сигарету у окна, поднял трубку.

— Ленка, она приходила ко мне сейчас.

— Всё плохо?

— Да.

— Приезжай ко мне.

Мне почти удалось успокоиться в дороге, так знобок и печален был ночной воздух, но когда я сел с ней рядышком, я расплакался, уткнувшись ей в плечо, и не сумел ничего рассказать. Да она и так все знала, конечно.

Мы выпили немножко коньяку и немножко чаю, и когда я снова смог говорить, я сказал ей:

— Я больше никогда не хочу этого испытать.

Елена посмотрела на меня очень, очень внимательно, помолчала и спросила:

— Ты думаешь, ей легче?

— Конечно, легче. Она выбирает… выбрала, — я ощутил какое-то горькое удовольствие от этого уточнения.

— Ты бы хотел быть тем, кто выбирает? — уточнила Елена.

— Да, потому что второй раз я этого не переживу.

— Хорошо, — сказала она. — Ты будешь. Я расскажу тебе все, что надо делать, только это нелегко.

— И… она вернется ко мне?

— Нет. Поверь мне, тебе это будет не нужно. А теперь иди сюда.

В эту ночь я стал мужчиной, и она сумела убедить меня, что в этом нет предательства…

А потом я просто выполнял ее инструкции. Мне казалось, что я понемногу умираю, но меня и так трудно было назвать живым.

Зато боль прошла, и уже через неделю я улыбался, а в конце лета почувствовал, что с меня слезла старая нелепая кожа. Потом мы расстались — Елена уезжала в Ленинград, в аспирантуру.

Мы встретились с ней в последний раз перед отъездом, в кофейне около нашего факультета, в прибежище всех бездельников и прогульщиков. Елена курила свои тонкие черные сигареты, одну за другой, болтала о пустяках, целовала каждого второго проходящего мимо, а потом вдруг посерьезнела, затушила очередную сигарету и взяла меня за руку.

— Послушай, мальчик мой, я тебя хочу предупредить об одной вещи.

— Я не мальчик. О чем?

— Ты делаешь ошибку. Я тебя пожалела, а не должна была. Это не твоё, и ты рано или поздно это поймешь.

— Постой, что — это?

— Пойми, ты рожден, чтобы тебя выбирали, — она остановила меня жестом ладони, — поверь мне, пожалуйста, на слово, у меня через три часа поезд, я не успею тебе всего объяснить. Я пожалела тебя, как мать жалеет сына, и зря. Приезжай ко мне в каникулы, и мы всё вернем на место.

— Ленка, ты знаешь, что я тебя люблю?

— Эту часть можешь пропустить, давай дальше.

— Ты помнишь тот вечер, когда я сказал тебе: «я больше никогда не хочу этого»? Ну вот, я по-прежнему не хочу.

Она помолчала, потом послала меня за следующей чашечкой кофе.

Пока меня не было, Елена достала из сумочки потертый кожаный стаканчик с двумя игральными костями и поставила его перед собой на столик.

— Мой прадед вырезал эти кости сам, из бивня слона, которого он застрелил в Танганьике, — сообщила она. — Хочешь — верь, хочешь — нет, но возьми их и ни в коем случае не потеряй. Когда ты поймешь, что я была права, они тебе пригодятся. Всё, что я тебе обещала, остается в силе, пока ты не передумаешь, а тогда — дай Бог тебе удачи. Не провожай меня, — и с этими словами она встала, наклонилась ко мне, поцеловала в губы и вышла, не оглядываясь. Кто я был, чтобы ослушаться?

Обещание свое Елена сдержала. Я почти не вспоминал свою первую любовь. Мы встречались в бесконечных коридорах

факультета, здоровались, я шел дальше по своим делам и прислушивался к себе: нет, ничего не просыпалось, кроме странного чувства выздоровления и одновременно опустошенности.

И никогда больше меня не бросали.

* * *

Прошло довольно много лет.

Моя жена уехала на две недели, к маме, а я остался вести холостяцкую жизнь. Что-то было у нас неладно, и мы оба это чувствовали. Объяснить, что именно, я не мог, и она вряд ли смогла бы, но небольшой перерыв показался нам хорошим решением — конечно, молчаливым, мы даже не говорили об этом вслух.

Была суббота, и мне было как-то странно пусто, не хотелось делать ничего из тех мелочей, которые я уже себе напланировал — ни читать скопившихся умных книжек, валяясь на диване, ни ехать на шашлыки к отцу Владимиру, известному своей святостью, ни даже писать пулю с университетскими товарищами. Не знаю, почему, но я вдруг вспомнил телефон одной моей знакомой — он, если честно, был очень простым, три полных квадрата — 144 и так далее. Я набрал номер, долго ждал, и уже почти положил трубку, когда услышал ее голос.

Она узнала меня сразу, обрадовалась, и никакой неловкости не возникло. Мы осторожно подобрались к главному вопросу — ты замужем? а ты по-прежнему женат?.. На мое «да» она вздохнула, почти неслышно, но разговор потек дальше. Назавтра мы встретились в небольшом кафе, а еще через день ее смуглая щека лежала у меня на плече, и она пересохшими счастливыми губами шептала мое имя…

Всё было в ее жизни очень просто и грустно — мы познакомились незадолго до моей свадьбы, она влюбилась в меня, а потом узнала, что я женюсь, и… да, собственно, и все. Остальное было неинтересно — попытки заполнить пустоту, случайные друзья, два недолгих романа — и мой звонок…

Я никогда и ни с кем так долго не говорил уже много лет.

Давно, очень давно мне не было так легко всё — разговоры, объятия, смех, самые откровенные воспоминания, фантазии, глубокомысленные рассуждения — и снова смех… две недели кончились слишком быстро, но мы понимали, что не хватило бы никакого времени, и не выпрашивали лишних дней. Только сначала осторожно, а потом всё увереннее говорили про будущее. Наше.

В последнее утро она сказала, проведя пальцем по моей щеке:

— Ты знаешь, даже хорошо, что ты сегодня уезжаешь.
— Почему?
— Мне все равно надо в больницу, к моему любимому…
— Кто это? Ты не говорила мне ничего.
— Не нужно это было, милый мой. А сейчас чувствую, что надо рассказать.

Он был старше ее, и старше меня. Она была просто еще одной девочкой в его жизни, так он говорил ей. Она ушла от него в тот же день, когда услышала мой голос по телефону, он пожал плечами и пожелал счастья. А вчера он попал в аварию, и за ним нужен уход. «Только я тебя все равно буду ждать, потому что я — твоя…» Так мы и расстались — она поехала в больницу, а я в аэропорт.

Я не придумал, как посмотреть в глаза жене, и сердце сжалось, едва я увидел ее легкую фигуру и светлую копну выгоревших волос. Она почувствовала неладное сразу, и когда мы открыли дверь и вошли в нежилой воздух квартиры, села на краешек дивана, очень прямо, помолчала минуту и решилась.

— А теперь рассказывай.

Что мне оставалось делать? Я рассказал всё, очень коротко, и когда договаривал последнюю фразу, увидел, как слезы текут по ее щекам. Тогда я действительно испугался.

— Прости меня… ну хочешь, не прощай, прогони…

— Куда я тебя прогоню? Ты что, действительно не знаешь, как я люблю тебя? Ты сам уйдешь, — и тут она разрыдалась, и не могла больше ничего сказать, захлебывалась в слезах, я пытался обнять ее, она даже не сопротивлялась, но жизнь как будто ушла из ее тела, можно было с таким же успехом обнимать тряпичную

куклу.

Я не знаю, сколько времени прошло. Она лежала тихо, отвернувшись от меня, в комнате уже совсем стемнело, а потом она села с усилием и сказала:

— Ладно. Надо разобрать вещи. Я тебе там привезла всяких подарков…

Тогда я понял, что никуда не уйду, потому что этих слов я не забуду уже до конца жизни, и жить с этим не смогу. А что будет с моей подругой — я тоже не мог представить себе, и не знал даже, что сказать ей.

Так прошло несколько дней. Мы были очень осторожны и нежны друг с другом, и я начинал надеяться, что всё прошло, как морок, но утром просыпался с ощущением несчастья, и не хотел открывать глаза. Я звонил моей подруге, она была так же ласкова и терпелива, и я не мог сказать ей ничего. Я лгал им обеим, уверяя, что всё будет хорошо, и они обе делали вид, что верили мне.

Да, я помнил об игральных костях, но нелепость самой идеи — доверить жизнь трех человек двум кусочкам бивня давно погибшего слона — казалась мне вопиющей. К тому же, я не знал, что именно нужно делать, а Елену давным-давно потерял из виду. Но в конце концов однажды я достал кости из ящика стола и положил перед собой.

Долго я смотрел на них, пока вдруг не увидел, что они разные. Одна была чуть светлее, и в руке ощущалась прохладной — вторая, более темная, была тяжелее и теплее. Я положил обе кости в кожаный стаканчик и долго держал его в руке, а потом перевернул на стол — уже заранее готовый, при любом исходе, сказать себе: «нет, я плохо потряс его».

Выпало две шестерки, потом две двойки, две единицы, снова две единицы и снова две двойки. Я машинально бросил кости еще несколько раз, а когда вероятность упала ниже одной миллионной, убрал их в ящик стола. В этот момент тренькнул телефон. Это была моя подруга — она позвонила мне сама в первый раз.

— Ты знаешь… прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя, но я

нужнее ему, — сказала она без предисловия. — Просто помни меня, ладно?

Это я мог обещать с чистой совестью.

Вечером я достал из бара бутылку тридцатилетнего коньяка, которую подарили нам на свадьбу друзья, и открыл ее. Жена не спрашивала ничего, пока я разливал коньяк в две серебряные рюмки. Я долго смотрел на нее, потом и она подняла глаза.

— Знаешь, — начал я и замолчал, подбирая слова.
— Наверное, да, — ответила она тихо. — Ты ведь вернулся.

Мы немножко посидели, чувствуя, как тепло от коньяка поднимается к сердцу и к голове. Я пересел к ней на кушетку и обнял за плечи.

— Когда ты будешь говорить с ней, — сказала жена, — скажи, что я поняла сегодня одну вещь. Я не могу ее ненавидеть. Ведь она любит тебя.
— Скажу. А потом, когда-нибудь, я тебе расскажу одну очень старую и глупую историю.
— Про что?
— Про фей, про слонов… я еще не знаю. Только давай я сначала вернусь к самому себе, совсем.

VII Колесница

Девиз Седьмого Аркана — победа любой ценой. Ради конкретного текущего дела, не задумываясь, жертвовать всем, что имеется. Седьмой Аркан указывает, что сейчас человек ради успеха пройдет и по головам, и по трупам — по чему понадобится, по тому и пройдет.

Самые запущенные случаи (как говорят астрологи "низшая октава") Колесницы — это безжалостные, жестокие, озлобленные эгоисты. Высшая октава — неутомимые, фанатичные (в лучшем смысле этого слова) труженники и великие вожди. Без них человечество не просто сидело бы до сих пор в пещерах, оно бы даже войти в эти пещеры, чтобы укрыться от дождя не додумалось бы. Большинство же личностей, описанных этим арканом, болтаются между тем и этим. Трудоголики, карьеристы и рабочие лошадки, идеальные сотрудники, но скверные друзья и родственники.

Проблемы, которые описывает колесница:

— страх перед неудачей

— неумение организовать свое время; как следствие — все, что отнимает время, вызывает раздражение (дети, домашние животные, транспорт, любовники — то есть, в итоге, раздражать начинает почти все)

— ранимый «победитель», который не примет сочувствия, даже перестав быть победителем

— Вообще неумение наладить эмоциональный контакт с окружающими.

Совет, который дает эта карта при гадании: вперед и ничего не бойся. Вообще, когда человек гадает, чтобы осведомиться об успехе какого-то конкретного дела, Колесница — гарантия успеха (если послушаться ее совета и немедленно развить бурную деятельность).

Александра Тайц
Сказка про творца, нож и женщину

Дед его был разбойником, отец — бродячим торговцем. Обоих волков кормили ноги. Похавлялись силой, вспарывали смешной свод человечьих правил кинжалом с наборной рукояткой, словно вышитую подушку пожилой бездетной тетушки. Набивали карманы без раздумий и сомнений, по праву сильного. Гирею в наследство достались любовь к холодному оружию и сила. Сколько он себя помнил, при нем всегда был нож.

Гирей вырос и стал хирургом. В юности четыре долгих года пришлось ему резать отравленные гангреной ноги, зашивать развороченные шрапнелью животы, прижиматься к пропитанной кровью земле когда над головой свист и следующий кусок свинца — твой.

И поймал он свой осколок, не без этого. Ногу рассекло до колена. На войне такие раны не лечат, и пришлось бы молодому волку дальше ковылять по жизни одноногим, если б не был он до дрожи красив. Седая голова в цвет простыни, ресницы черным полукружьем над запавшими глазами. Падший ангел, а не солдатик. Когдав ангел упадет, его непременно поймают, закон такой. Гирея у самой земли поймала, выходила и на руках бережно вынесла из войны хорошая еврейская девочка Верочка. Пухленькая, маленькая, с рыжими завитушками у висков. Он вышел из войны седым, чуть хромым, но целым, да еще с молодой женой. Нашелся для него и Город подстать — чужой, холодный, бескровный, досчитавший до 900, но живой. Такой же как он, падший, и людьми вынесенный.

Повезло Гирею. Самое время было жить, сверкать зубами, драться, силу показывать. Только с людьми ему драться было неинтересно, ему бы кого посильнее в соперники. Чтобы у Того все, а у Гирея — только нож. Один на один. Без взрывов, пожаров, и прочих эффектов Пусть будет тихо, светло и чисто.

И стало так.

Гирея еще раз облил руки спиртом и кивнул. Операционный халат шьется так, что хирург не может его надеть сам, словно латы. Оруженосец нужен. Чтобы накинул халат, завязал на спине,

натянул тугие перчатки. На ноги полагаются бахилы, на голову — шапочка. Все белое. Чистое. Можно начинать.

В круге лампы с одной стороны белой занавески было голубоватое мальчишечье лицо, с другой — поле битвы. Гирей заглянул за занавеску и улыбнулся, отлично зная что сейчас случится. У мальчишки дрогнули губы и засветились глаза. Все они одинаковые, люди. Верят сразу, без раздумий. Как в древней Иудее.

— Разлегся? — буркнул Гирей. — Больной что ли?

Мальчик неуверенно кивнул, разулыбался, и стало видно, какие у него пухлые губы и пушистые ресницы.

— Ну раз больной, значит полечим, подытожил Гирей. — Через пару лет будешь девчонок портить.

Отвернулся, задернул занавеску и забыл про мальчика.

— Скальпель…

— Зажим…

— Корцанг…

Кровь на белом халате, на очках, на перчатках. В распятой ране все было не так. Эта печень не могла работать. Здесь все надо было перешить.

— Слышишь, Ты, там? — беззвучно кричал Гирей, и глаза ему застилал пот и ярость, — Сейчас я отрежу отюда и пришью сюда, и это будет работать. Потому что я этого хочу.

Ассистентов его операции приводили в ужас. Невозможное, нечеловеческое это дело — так кроить и кромсать плоть, переделывать как душе угодно, сшивать сосуды простой иглой, яростно, без раздумий перекраивать — словно не детское тело перед тобой, а враг. И драться с ним — все средства хороши.

— Зашивайте.

Закончив, Гирей срывал перчатки и, не оглядывась, выходил из операционной. Это было еще не все. Смыв кровь кровь и пот, он сразу шел к родителям. Сам. Это была часть битвы. Входил в приемную и с порога улыбался в белое лицо. Чудо всегда происходило — мама ребенка улыбалась в ответ и верила. Как в Бога, только лучше.

— Ну что, все в порядке, здоровый будет — говорил он буднично — делов-то.

Он побеждал не всегда. Иногда и нож входил в плоть как в масло, и швы ложились ровно, просто загляденье, и все должно бы работать, а на выходе — сомкнутые веки, зеленая горизонталь

на экране. Провал. Гирей не жалел и не думал о тех кого резал, но когда дети уходили или того хуже, оставались покалеченными, впадал в бешенство и думал, долго, долго думал. В следующий раз он делал совершал еще более рискованный ход, и чудо случалось. Или не случалось.

Много лет Гирей входил в операционную под свет ламп. Сестры надевали на него белые одежды и вкладывали в руку нож. Он резал детские тела, перекраивал пищеводы и мочевые пузыри, заставлял работать нерабочие почки и печень. Мальчишки, которым он перекраивал пенисы женились и делали кучу детей — во славу Гирея, называя их его именем и именами его детей.

У Гирея вообще не было учеников. Студенты были, толпы влюбленных, безумных, ловящих каждое слово. А учеников не брал — мешают, да и где время взять? Заниматься любовью и войной пристало один на один, иначе балаган и непотребство.

Его женщины были красивы, приятны на ощупь, послушны и хорошо готовили. За это он прощал им многое — и то что они болтливы, и то что отнимают кучу времени, и даже детей. Двоих сыновей от Веры он тоже прочил в хирурги. Такими как он они не станут конечно, размышлял он рассеянно. Будут просто людьми. Но можно им кое-что и показать, из уже опробованного. Не учить конечно, это ж сколько времени уйдет. Но поднатаскать полезно. Раз уж народились.

А потом появилась Ира. Она не была врачом, это редкость, обычно любят своих, остальные вовне и ничего не понимают. Ира преподавала в школе литературу и в ее мире все было очень просто. Дети не были разделены надвое белой занавеской. Они взрослели, переставали быть детьми, уходили, и каждый оставлял след — смешное словечко, фотография в альбоме, безделушка. В ее вселенной пахло кофе с корицей и желтеющими книжками. Там вовсе не было падших ангелов, только в книжках. Ей вполне хватало людей.

— Я с тобой буду всегда-всегда, говорила Ира. Будешь кофе? Нож тот, который твой, с наборной ручкой — он так на солнце играет, я его вчера забыла на подоконнике, вхожу на кухню — а от него прямо свет! Смотри, у Лешки зуб, так быстро вырос, в пятницу когда ты приходил еще не было. Скоро нас перекусает. Вот он вырастет — и тоже доктором будет, да? А вот как ты думаешь, может мне на полставки уйти? Ты мог бы тогда днем

заходить, я взяла бы скажем понедельник, среду и четверг… Ой да, деньги же. Я забыла. Прости пожалуйста. У тебя от волос пахнет теплым песком. И морем. Да я знаю что хлорка, но все равно как будто море. Смотри, что я нашла. Если бы ты был ангелом — то как будто про тебя:

> “Так ангел Ветхого Завета
> Нашел соперника подстать
> Как арфу он сжимал атлета
> Которого любая жила
> Струною ангелу служила
> Чтоб схваткой гимн на нем сыграть…”

— Похоже, да? Но все-таки хорошо что ты человек — у тебя есть я, а у меня — ты. А так бы у тебя был только Бог. Интересно, как это?

Гирей сам не заметил, когда именно он стал человеком. Осознав перемену, он остановился, пораженный, и посмотрел под ноги, на лезвие скальпеля по которому он так беспечно шел. Это оказалось очень страшно.

Куда уж там биться с Ним, когда уши и рот забиты этой липкой дрянью — человеческим страхом. Люди во врачебном мире связаны крепко, словно огромный клан, они и любят и ненавидят по полной, чуть ошибешься — и готово дело, ты никто, меньше чем никто. Нужно быть очень осторожным если хочешь выжить. Гирей больше не строил новые тела — слишком опасно, достаточно посмотреть в выжженные глаза матери, которой не повезло. Однако, и годы спустя он все еще был богом — его мир любил стабильность и безопасных богов. Им приносят щедрые жертвы. Застолья в его доме были шумными и веселыми, настоящие восточные пиры, и невестки, шипя друг на друга, суетились с третьей переменой блюд. А со стен, с каминной полки глядели бесчисленные портреты Нашего Доктора.

Юбилей Гирея отмечали по полной программе. Битком набитый огромный зал — врачи, дети, дети детей, родители, студенты, преподаватели, ассистенты, сестры. Он идел в президиуме и благосклонно улыбался фотовспышкам — хищный профиль, белая львиная грива, черные девичьи ресницы над смеющимися глазами.

В положенное время Гирей вышел к трибуне. Он говорил просто и внятно, и каждое слово било в цель. Он рассказывал о

предназначении, о том что в их руках — самое драгоценное что есть на Земле, об учениках, о счастливых глазах матерей, о вере. Софит слепил ему глаза, Гирей почти не видел зала, но слышал как эти тысячи затаив дыхание внимают каждому слову. Он договорил, улыбнулся, зал на миг замер, как всегда бывает после сильной речи. В этот миг Гирей понял что все это вранье.

Никогда.

Больше.

Не будет.

Боя без правил под светом бестеневых ламп. Он сам отказался и сложил оружие, сам уничтожил всех кто мог бы встать следом. Соперник его располагал вечностью, а его время истекло. Бороться дальше просто не имело смысла. Пришло время умереть. И он умер.

Гирей встряхнул головой, отгоняя морок, и улыбнулся залу.

VIII Правосудие / Равновесие

Главная тема Восьмого Аркана:

уравновесь всякую вещь ее противоположностью, ибо их брак уничтожает иллюзии.

И еще:

нет наказания, есть маятник.

Выпадая при гадании Восьмой Аркан требует задать себе вопросы: что выводит меня из равновесия? Что, напротив, помогает мне оставаться в равновесии? И постараться исключить из жизни первое, заполнив осовбодившееся место вторым.

Он также призывает заняться медитацией, дыхательным упражнениями, да чем угодно, лишь бы помогало успокоиться.

Обещает, что с вами все будет по справедливости — а уж хорошая это новость, или плохая — зависит от конкретного случая.

Советует ни в коем случае не впадать в крайности. Вот буквально любой ценой.

Что касается личности, которую описывает эта карта. Такие люди как-то умудряются натаскать в свою жизнь всяческих крайностей и вполне комфортно среди них устроиться. То есть, к примеру, школьная отличница, которая на перемене курит с мальчишками в туалете марихуану — типичный такой пример. Или, скажем, клерк, который после дня, проведенного в банке, меняет костюм на байкерский прикид. Достоевский и комиксы на одной книжной полке — вполне обычный для такого человека набор.

Что еще нужно знать о Восьмом Аркане.

Обостренное чувство справедливости. Другое дело, что представления о ней могут быть порой самые причудливые. Но уж в рамках собственных представлений Восьмой Аркан будет очень остро реагировать на несправедливость и воевать всеми возможными способами.

Для Восьмого Аркана вообще харакатерно — не то чтобы агрессивность и мизантропия, но отсутствие смирения перед реальностью. Терпеть и философски пожимать плечами — это не для него. Часто такие люди бесстрашны. Ну, гораздо храбрее, чем в среднем по палате.

Иногда Восьмой Аркан предупреждает о склонности осуждать

других — вслух, публично, или про себя — зависит от воспитания. И, что еще хуже, себя. И советует учиться выносить себе (и другим) оправдательные приговоры. Потому что в противном случае жизнь превратится в непрерывный судебный процесс. А это никому не на пользу.

Еще важная проблема, о которой может предупреждать эта карта — страх предательства (в том числе, страх самому оказаться предателем).

Сап Са Дэ

Ангел пригласил маршала на танец. Танец — спокойный и плавный, и старый маршал не мог отказать. Тем более что именно этому ангелу маршал был много чем обязан.

Ангел мило улыбнулся и погладил маршальские звезды.

— Враг будет безжалостен по отношению к тебе. Ответь тем же: будь безжалостен по отношению к себе.

— Я уже слишком стар, милый мой ангел. Боюсь, у меня не хватит сил.

— Это было самое простое. Тогда так: Представляется что враг повсюду — сначала нужно установить, где враг находится в действительности, потом уже установить: враг он или не враг.

— Я уже слишком стар, милый мой ангел. Боюсь, у меня не хватит времени.

Ангел опустил голову и невесомо прикоснулся к маршальскому мундиру.

— Тогда самое трудное. Чтобы спасти миллион ни в чем не повинных, нужно убить тысячу ни в чем не повинных.

— Я — солдат, милый мой ангел. Я умею убивать. В чем же трудность?

— Ты сделаешь благое дело, спасешь миллион ни в чем не повинных. Но ты убьешь тысячу — и попадешь в ад. Сделаешь благое дело — и попадешь в ад.

— Я сделаю это, милый ангел, я это умею и понимаю как это сделать.

— И станешь моим врагом, потому что попадешь в ад.

— И стану твоим врагом, но спасу миллион ни в чем не повинных.

— И будешь безжалостен ко мне. И я буду безжалостен к себе. Я знаю как это сделать: я стану одним из этой тысячи. Прощай, мой маршал!

— Прощай, милый ангел.

IX Отшельник

Для Девятого Аркана одиночество — главная мелодия бытия. Часто эта карта описывает ситуацию, когда потребность в одиночестве и страх одиночества выражены одинаково ярко; как результат — полное непонимание, что выбрать.

Тут важно ни в коем случае не стать жертвой социальных норм, согласно которым одиночество является «злом». Отшельник, кроме всего прочего, описывает весьма распространенную ситуацию, когда люди страдают от навязанных родственниками и друзьями брачных союзов. По сути своей Отшельник (любого пола) — бродяга-холостяк, который шляется по всему свету и населяет мир плодами своих трудов. Причем дела его никогда не пропадают зря, посаженные им семена непременно дают всходы.

Один из важнейших советов Девятого Аркана: заниматься практическими делами, не уклоняться от участия в текущих событиях. Нельзя сидеть без дела (и оставаться без результатов дела нельзя). Оставлять незавершенные дела тоже нельзя ни в коем случае. То есть, это всегда нежелательно, а пока имеешь дело с Отшельником — строго-настрого зарещается.

Вообще Девятый Аркан поднимает тему служения (бескорыстного, потому что когда посеянное даст плоды, сеятель будет уже далеко). И предлагает не бояться задачи, которая предстоит. Она по силам — гарантировано.

Алистер Кроули пишет о Девятом Аркане: "**Свет твой так ярок, что никто не увидит тебя**". Это не просто красивая формула, но и констатация факта: Отшельник как никто умеет делать дело, оставаясь не на виду, не лезть на рожон. Более того, он часто приходит к финишу НАСТОЛЬКО раньше прочих, что кажется последним (это легко представить, вообразив стайеров, бегущих круг за кругом; лидер вырывается вперед и, пробежав на целый круг больше прочих, оказывается в какой-то момент за спиной аутсайдера).

Отшельник советует отдыхать от практических дел и от себя в странствиях-путешествиях. Разъезды — идеальное топливо для его фонаря.

Еще один полезный совет Девятого Аркана — держать дистанцию в дружбе и любви. Не забывать, что другой человек —

отдельное существо. И не требовать невозможного (и ненужного) полного слияния.

Отшельник может предупреждать о следующих проблемах: страх и (как естественное следствие) агрессия по отношению к другим людям, нежелание завязывать близкие отношения. Собственные страхи следует, конечно, преодолевать, но, с другой стороны, Отшельник требует очень внимательно следить, чтобы близкие отношения не были вам навязаны извне. И, в случае чего, сопротивляться.

Юля Севан
Господин К

Каждое утро, проснувшись, господин К. первым делом достает из тумбочки небольшую деревянную шкатулку, открывает ее и вставляет себе беруши. Собственно говоря, он уже много лет не выходит без них из дому — на улицах нынче стало чересчур шумно. А в прошлом году под самым его окном выкопали котлован, и с тех пор там непрестанно грохочет стройка, так что господину К. приходится надевать беруши еще до завтрака. Правда, теперь он не может слушать кухонное радио, но жалеть особенно не о чем.

Завтракает господин К. всегда одинаково. Он отрезает кусок черного заварного хлеба, намазывает его плавленым сыром и слегка приправляет сверху чесночной солью. Еще он заваривает себе кофе с анисом — перемалывает в ручной мельничке горсть больших коричневых зерен и несколько маленьких зеленых семян, а потом долго варит все это в медной закопченной турке. Растворимого кофе господин К., разумеется, не признает. Он очень осторожно пересыпает свою кофейно-анисовую муку из мельнички в турку, но несколько крупинок все равно оказываются на клеенке. Господин К. морщится, снимает очки и аккуратно собирает крупинки указательным пальцем. Он любит, чтобы стол был чистым. И, конечно, никаких газет за завтраком.

Допив свой кофе и покончив с бутербродом, господин К. тщательно моет чашку и блюдце, протирает стол, плиту и ободок раковины, а потом подходит к окну и задумчиво смотрит на улицу. С тех пор как вырыли этот котлован, смотреть там стало не на что, но это, в сущности, всего лишь дело привычки.

Затем господин К. отправляется гулять. Он с достоинством надевает парусиновый пиджак в оранжевую, зеленую и синюю клетку, который велик ему на три размера. Он не помнит, когда и откуда, собственно, в гардеробе взялся этот пиджак — и, уж конечно, прекрасно понимает, что выглядит в нем как клоун, а вовсе не как солидный, серьезный пожилой человек, каковым и является. Тем не менее, этим летом он ежедневно надевает пиджак и гуляет в нем по городу.

Когда господин К. выходит во двор, уличные мальчишки принимаются со свистом носиться вокруг него, выкрикивая всевозможные оскорбительные непристойности. Это мало волнует господина К., поскольку в ушах у него беруши. Один из мальчишек кидает ему в спину пригоршню гравия, но и тут

господин К. остается совершенно невозмутим — он знает, что в обозримом будущем до камней дело не дойдет; да и, в конце концов, на такие пустяки вовсе не стоит обращать внимания.

Убедившись, что мальчишки остались позади, господин К. останавливается, глубоко вздыхает и оглядывается по сторонам. Лето! Кругом, куда ни посмотри, трава и листва — так много зелени, что просто удивительно, как это она каждый год ухитряется исчезнуть к ноябрю (зимой ему точно так же непонятно, каким чудом весь этот снег собирается растаять к апрелю).

Господин К. покидает асфальтовую дорожку и медленно идет по газону к одному особенно симпатичному дереву, слегка изогнутому возле самого корня. Вероятно, это липа. Он останавливается, немного не дойдя до дерева, и вежливо кивает ему в знак приветствия. На самом деле ему хотелось бы подойти ближе и обнять ствол обеими руками, но он опасается показаться чересчур фамильярным. Многие люди воображают, что, если собеседник не может тебе ответить, с ним нечего и церемониться, — но господин К. на этот счет другого мнения.

Зато с травой, чувствует он вдруг, с травой можно себе позволить и большее. Он осторожно опускается на колени и нежно гладит траву руками. Руки у него морщинистые, одутловатые, бледные и совсем старые, хотя ему все еще кажется, что они должны бы выглядеть как-то иначе. На правой руке два кольца: золотое обручальное и серебряное, с эмблемой олимпийских игр. Кажется, ни то, ни другое уже давно не имеет для него почти никакого значения.

Встать с колен без посторонней помощи не так уж просто, но господин К. превосходно справляется с этой задачей. Его брюки выпачканы в траве и песке, и он неловко отряхивает их. Конечно, раньше он постеснялся бы становиться на колени на улице, даже если вокруг ни души, но последнее время — должно быть, благодаря этому пиджаку — он стал гораздо более раскованным.

Он идет дальше. Дальше и дальше, по тротуарам и зебрам переходов, вдоль трамвайных путей, мимо витрин, светофоров, заборов и детских площадок. Устав, он садится на лавочку и сидит там некоторое время, попеременно разглядывая то окна нового дома напротив, то собственные башмаки. Окна блестят на солнце, а башмаки нет. Что интереснее, сказать трудно.

На другой конец скамейки присаживается маленькая девочка в клетчатом платье и с кульком черники в руках. Господин К. старается не глядеть в ее сторону и невольно подсчитывает в уме, сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз ел ягоды. Внезапно девочка протягивает ему кулек и что-то говорит. Он не

слышит слов, но в выражении ее лица ошибиться невозможно — и господин К. торжественно берет двумя пальцами одну ягоду, как будто это зернышко кофе.

Теперь пора возвращаться домой. Вообще-то обратный путь господина К. вовсе не должен проходить по набережной, но торопиться ведь некуда, так что он решает все-таки свернуть туда. Он подходит к самой реке и смотрит, как ветер взбивает на воде пену, а солнце пускает по ней зайчики.

Еще один порыв ветра надувает его пиджак, словно парус, и тут господин К. вдруг с пронзительной ясностью понимает, кто он такой и зачем пришел сюда. Это понимание обрушивается на него волной, заставляя покачнуться от неожиданности, но он быстро овладевает собой. Господин К. молча кивает сам себе и тихонько улыбается одними уголками губ, а потом расправляет крылья и летит.

* * *

Несколькими минутами позже по улице идет женщина с тремя битком набитыми сумками, а за ней вприпрыжку скачет веснушчатый мальчик лет трех. Он подбирает с асфальта маленький конус из мягкого пенистого пластика и кричит:

— Мама, смотри, что я нашел! Что это, мам?

Женщина останавливается, тяжело опускает одну из сумок на землю и в который раз машинально убирает с лица волосы.

— Это бяка, — говорит она сердито, — грязь. Брось сейчас же.

X Колесо Фортуны

Десятый Аркан сулит перемены и настойчиво напоминает: перемены всегда к лучшему. Даже если это не сразу понятно.

Он же дает возможность оставаться оптимистом, оказавшись в ужасном положении. И, напротив, замирать от дурных предчувствий (далеко не всегда правдивых) в наилучшие моменты.

И наконец, Десятый Аркан говорит человеку: сейчас обстоятельства сильнее тебя. Но предлагает использовать это не как повод для отчаяния, а как возможность наконец-то расслабиться и начать получать удовольствие.

Выпадая при гадании, Колесо Фортуны всегда сулит счастливое разрешение всех проблем. Даже в самом скверном окружении гарантирует, что все уладится — чудом, если иначе никак. И предлагает сделать лишь одно усилие — позволить себе быть счастливым (на самом деле это мало кто умеет, хотя казалось бы).

И, да. Еще Десятый Аркан призывает научиться не цепляться за человеческие отношения, не слишком привязываться к людям. И вообще ни к чему не привязываться, потому что стабильности, скорее всего, не будет ни в чем. А будут сплошь перемены участи, одна за другой..

Помимо вышеупомянутого бессилия перед собственной (счастливой, о да) судьбой, Десятый Аркан предлагает

— перестать думать, будто счастливы только дураки

— прекратить завидовать чужому счастью

— не мусолить больше прошлое, а попробовать целиком оказаться здесь-сейчас и обратить наконец внимание на происходящее.

Рая Полонская
Платье с улитками и серебристые рыбки

— Это я ее придумал!

Кирюха сердито топает, и из-под его кроссовка столбом поднимается скрипящая на зубах июльская пыль. Его руки сжимаются в кулачки, и видно, что ему очень хочется стукнуть Митьку, но он сдерживается.

— Нет, я! — Митька хлюпает носом, а в глазах его стоят слезы. Ему до чертиков обидно. В коем-то веке у него хоть что-то получилось, а Кирюха пытается это отнять.

Я стою рядом, в красном летнем платье с веселыми желтыми улитками, а на ногах выцветшие сандалики. Один ремешок у них почти оторвался, и я все забываю попросить дедушку его починить.

Кирюха и Митька — близнецы. Ужасно похожие. Я все про них знаю, каждую их черточку. Митька добрее Кирилла, но при этом немного плакса. Кирилл выше брата на два сантиметра, хотя вскоре они непременно сравняются, так бывает каждый год, а в школу придут неотличимые друг от друга вовсе. Они почти никогда не ссорятся, не таскают кошек за хвост и не обижают малышню. Самое то для дружбы!

— Ага, — говорит Кирилл, и что-то шепчет Мите на ухо, после чего оба поворачиваются в мою сторону.

Я поначалу даже радуюсь — ну наконец-то! — но глаза у них ой не добрые, и по спине от этих взглядов бегают морозные мурашки, несмотря на летнее пекло.

— Мы тебя придумали, — говорит Митька и делает угрожающий шаг в мою сторону.

— Ты неправильная. Мы придумывали двоих. А ты одна, — Кирилл поднимает с земли булыжник и замахивается им.

Замахивается! На меня!

Тогда я разворачиваюсь и бегу. Рваный сандалик хлюпает по ноге, а я несусь сквозь крапиву, сквозь тетьимарьину подсолнуховую рощу, мимо бодливой козы Зорьки. Но куда там, разве убежать маленькой девочке от двух мальчишек, которые старше на целых полгода!

Полгода — это очень много. За полгода мы три раза бывали в лунопарке, два в цирке, и еще один в страшном музее ги-ги-е-ны. Там всюду черепа и другие здоровские штуки, и еще я подумала, что никогда не буду курить. Оказывается, те, кто курят, становятся внутри черными-черными, а потом там заводится рак.

Мне кажется, это здорово, когда в тебе живут, например, рыбки, но рак внутри — это уж слишком!

Еще за эти полгода папа съездил в Командировку. Я не знаю где это, но оттуда он привез большущую кучу подарков. Иногда я спрашиваю маму, когда он соберется туда в следующий раз, а она ласково гладит меня и смеется, но глаза у нее становятся грустными, и я ничегошеньки не понимаю. Странные люди они, эти взрослые. Непонятные. Глядя на них, я понимаю, что не очень-то хочу взрослеть.

Все эти мысли проносятся в моей голове за две мааленькие секундочки. А если за секунду можно столько всего подумать, то понятно, что за пол года можно прожить почти что целую жизнь…

Но меня догоняют, и я не успеваю даже вздохнуть как следует, а мальчишки хватают меня с двух сторон за руки, больно-пребольно, так, что и не вырваться.

— Теперь, — говорит Кирюха, — ты пойдешь с нами!

Я пытаюсь сказать, что никуда с ними, с такими злыднями, не пойду, но меня никто не спрашивает, меня просто тащат, и упираться себе же хуже, потому что вцепятся еще сильнее, хоть плачь. И я пускаюсь в рев, мне совсем не стыдно. Ну и пусть рева корова, мне не жалко. Я реву нарочито громко — вдруг выскочит бабушка, или дядя Тимур, замахнется на ребят — мол чего девочек обижаете. Тогда можно будет показать им язык и убежать домой — пить топленое молоко и жевать свежий, только что из печки, бабушкин хлеб.

Но никто не выходит, а меня тащат злые мальчишки, тащат меня через пустырь, тащат туда, куда детям ходить ну уж совсем запрещается — к скале, с которой пологий обрыв — прямо в море, на каменное мелководье.

Бабушка говорит, что это место имеет дурную ре-пу-та-ци-ю. Я еще не совсем понимаю, что значит это слово, но Тимурка рассказывал, что два года назад оттуда спрыгнула пятнадцатилетняя Зойка, и ее так и не нашли, хотя вызывали две спасательные бригады.

Я знаю, что в деревне мне можно почти все. На что рассердится бабушка — дедушка закроет глаза. Или наоборот. Но вот сюда — ни ногой! Если кто-нибудь узнает, меня ждет самое страшное наказание — высылка в город. А я в город не хочу, там пыльно, там нет огорода с клубникой и парного молока. И дети все со двора разъехались, осталась только Люська, но я с ней не дружу, она псих, она ломает игрушки и больно щипается, и очень плохо говорит.

Ой, мамочки что же будет. Слез почти не осталось, только громко в ушах бухает сердце, словно сейчас выпрыгнет из моей

груди. Как я буду без него жить? Тем временем, близнецы подводят меня все ближе к краю, толкают, и теперь уже по-настоящему страшно. До обрыва — два маленьких шажка, а они все еще держат за руки.

— В следующий раз, мы придумаем лучше, — говорит Кирюха, и они оба разжимают кулачки, а я срываюсь вниз, и вдруг вспоминаю — это же я их придумала! Я придумала-а-а-а-а…

Лечу и вдруг просыпаюсь. Просыпаюсь в слезах. Ну вот — упала с кровати, уронила любимого TeddyBear. Ффух.

Рукавом ночной рубашки я размазываю слезы и бегу к маме в спальню.

— Иди сюда, my Sweety, — шепчет мама. — Давай ложись рядышком. У мамы под одеялом не страшны никакие кошмары. Мы улыбаемся друг дружке и засыпаем, а за нашими окнами уже гудит и движется утренний город Нью-Йорк.

Я родилась в Америке, и почти не говорю по-русски. Скоро будет осень, и я пойду Юниор-Скул. Я ходила туда весной на подготовительные курсы, где познакомилась с Кирью и Матиусом — такие смешные кучерявые негритятки, и притом близнецы. Они ужасно похожи, и почти никогда не ссорятся. По крайне мере, так говорит их ма. Оказывается, они старше меня на целых полгода и немного умеют играть в баскетбол. Мне кажется, что это здорово.

Я белая птица. Я лечу над деревней, где у обрыва стоят растерянные Митька и Кирилл. Они только что сделали что-то страшное, и пока не поняли, как им быть.

— Это я вас приду-малла-аа! — кричу я им с высоты, но они не слышат, они держатся за руки, смотрят как завороженные на яркое алое пятно под обрывом, и все сильнее сжимают кулачки.

Теперь я белая птица. И во мне живет множество серебряных рыбок мальков. От них щекотно и хочется смеяться. Солнечные лучи проникают сквозь зеркальные окна нашего двадцать восьмого этажа. Я открываю глаза и сладко потягиваюсь. Под маминым одеялом никогда не снятся кошмары.

XI Сила / Страсть

В старых традициях толкования Таро Одиннадцатый аркан — Сила, дева, укрощающая льва. Суть его прекрасно передают мастера всяческих восточных единоборств, когда говорят ученикам, что вершина всякого боевого искусства — не сражаться вовсе.

В интерпретации Алистера Кроули Одиннадцатый аркан — страсть, похоть. То есть, все силы, имеющиеся в распоряжении человека, сконцентрированы и направлены к единственной цели — объекту вожделения. В связи с этим следует предложение: не бояться своего "внутреннего зверя", а приручить его, укротить и подчинить себе, к обоюдному удовольствию.

Для полного понимания Одиннадцатого Аркана следует соединить обе интерпретации. И получить в сумме девственницу Жанну д'Арк, которая кричит своему войску: "**Кто любит меня — за мной**".

Макс Фрай
Суми-Думи

Сейчас, сейчас. Иду. Ну что ты кричишь так? Я тебя слышу. Просто я далеко, понимаешь? А ведь, пожалуй, не понимаешь. Ладно, ладно, говорю же, иду. Все моря теперь по колено мне, скалы — ступени, чтобы сподручнее было карабкаться вверх, тысячелетние сосны хлещут по щиколоткам — ничего, не крапива, потерплю, пройду как-нибудь, лишь бы только о линию горизонта не споткнуться впопыхах, а впрочем, ерунда — ну споткнусь, ну упаду, что с того? Встану, отряхнусь и дальше пойду, сколько раз уже так было, ты же помнишь.

Вот тебе пока радуга в полтора неба, чтобы не скучно было ждать, и, ладно, вторая, прозрачная, сверху, и третья, почти невидимая, мне не жалко. И пусть везде будет дождь, а прямо над тобой бирюзовая прореха в тучах, чтобы ни капли на макушку, и на тент полосатый, что над макушкой твоей, тоже ни капли — хорошо же, правда? Ну вот, а я скоро уже, скоро, ну что ты, в самом деле.

Ломтем солнечного света перекушу поутру, на бегу, в волчью шкуру закутаюсь ночью, жертву присмотрю вдалеке, не догоню, так согреюсь, спрячусь от ярости твоей ледяной, ты, кстати, зря так сердишься, потому что — ну я же иду, это только кажется, что медленно, того гляди, собственную тень обгоню, будет ныть, что ножки болят, дыхания не хватает, спать хочется, на руки возьму ее, понесу, хоть и тяжела она, но до ближайшего обрыва доволоку как-нибудь, а там — поминай как звали. Нечего было путаться под ногами, мало ли что тень, все, проехали, забудь.

И вот тебе еще развлечение, пока меня нет. Хочешь, сейчас во-о-он на том углу тонкий смуглый юнец, приподнявшись на цыпочки, занесет над подружкой сияющий позолотой ятаган, уличная толпа замрет в причудливых позах, кто-то тоненько взвизгнет, а девица, перекинув белокурую косу с плеча на плечо, хихикнет: опять переигрываешь, все бы тебе людей пугать, не помнишь, режиссер говорил, не надо вот этих вот эффектных поз. Мальчик что-то ответит неразборчиво (ты не услышишь), спрячет бутафорский ятаган под полой плаща, дама за соседним столиком вздохнет разочарованно, но все же с облегчением, а официантка скажет тебе: «Студенческий театр, они здесь рядом

репетируют», — и вот пока она не отошла, не забудь, пожалуйста, заказать мне эспрессо с медом, espresso su medum, ага, сумидуми, ты же знаешь, я его очень люблю. Что? Нет, не остынет, потому что я уже не иду, я бегу к тебе, не разбирая дороги.

Если учую погоню, гребень из кармана выну, кину через левое плечо, дескать, гори все синим пламенем. Не пожар, так потоп, не понос, так золотуха, а если пустыня за моей спиной превратится ненароком в цветущий сад, не моя это вина, да и не заслуга вовсе. Откуда мне знать, что это за гребень был, и почему он так работает? Я не теоретик, я практик. Нет, я не отвлекаюсь, я на бегу говорю, ну что ты так бесишься, сказано же было, я сейчас. Миллион шагов сделать осталось, всего-то, а потом — понять, что только один шаг разделял нас с самого начала, мне и теперь это ясно вполне, но должен же кто-то снашивать железные башмаки, чтобы добро не пропало, мастер ковал, старался, и кто оценит его работу, если не я?

Вот то-то же.

Ну видишь, я уже тут. Пять минут, подумаешь, тоже мне опоздание, да не дергайся ты, я помню, что за руку брать нельзя, и меня, между прочим, нельзя — никому, кроме тебя, а ты не возьмешь, и хорошо, значит эта реальность пока не взорвется, не сегодня, мой друг, не сегодня, и это хорошая новость, да?

XII Повешенный

Алистер Кроули писал по поводу Двенадцатого Аркана следующее:

«С невеждами можно поступать только одним способом: приводить их к знанию об их звездном наследии».

(Впрочем, как по мне, это можно и нужно говорить-делать вообще по любому поводу. И без такового.)

По большому счету, Повешенный — карта инициации, Ученичества с большой буквы и экстатического вдохновения (Один, добывший мед поэзии, повисев на Мировом Древе — классическая история про Повешенного).

Но счет часто оказывается небольшим. И тогда начинаются трудности.

Человек, чью личность описывает Двенадцатый Аркан по природе своей склонен приносить себя в жертву — близким, обстоятельствам, требованиям общества и т. п. Неумение сказать «нет», даже когда очень хочется — весьма типичная для него проблема.

Вообще риск оказаться жертвой (вовсе не обязательно в качестве участника кровавой трагедии, можно и в мягкой, бытовой форме) в данном случае довольно велик. С этим нужно бороться. В первую очередь — перестать получать тайное удовольствие от собственной жертвенности. Как это ни странно звучит, учиться эгоизму — в разумных пределах, конечно.

Еще есть такое слабое место:

склонность застревать в ситуации, которая исчерпала себя и, теоретически, может быть изменена. Тут, опять же, нужно очень хорошо следить за собой и четко различать ситуации, когда действительно ничего нельзя изменить, а когда можно, но лень, или не хочется, или вообще непонятно, зачем дергаться. «Дергаться» надо обязательно — просто для душевного здоровья.

Важные советы-рекомендации Повешенного:

— Как можно чаще менять свою точку зрения на разные вопросы. Т. е., даже просто на уровне внутреннего театра. Этакое актерство для самого себя. Такое упражнение — как освежающий душ.

— Любить себя, холить-лелеять, следить за здоровьем, не переутомляться. Это не пустые слова, тут важно не дать работать программе саморазрушения.

— Всякий день напоминать себе о своем "звездном наследии".

Махровый материализм противопоказан.

— Давать волю вдохновению. Творчество в любой форме очень полезно для душевного и даже физического здоровья. Оно как-то незаметно облегчает жизнь, лечит головную боль и латает карму.

Соня Пиреш
Кифара и флейта

Ох, я вчера нажрался… ну и нажрался… по-нашему так, по-олимпийски, до провалов в памяти… Сегодня проснулся — ничего не помню, в желудке камень, язык шерстяной, и голова гудит, как бронзовый шлем, если по нему мечом заехать, хорошенько так, с оттяжечкой…

Ооооооох… где ж вчера так?!

Сестренка воды принесла, уставилась на меня насмешливо.

— Что, — говорит, — Лучник, перебрал вчера?

Голос вроде спокойный, веселый даже, а все равно… нехорошо так звучит, нервно.

Как будто в нем истерика позванивает, вот-вот прорвется.

Можно, конечно, спросить, что происходит, но мне, в общем и так ясно.

Опять поди какой-нибудь придурок полез смотреть, как она купается. А сестренка его подстрелила.

Или вначале в зверюшку превратила, а подстрелила потом. А теперь переживает.

Хорошая она у меня девочка, хоть и диковатая.

Ну как же у меня болит голова, какой я несчастный бог! С кем меня угораздило так напиться, не с Дионисом же?! Это у него что ни день, то оргия, а у меня в окружении все смирные, излишествам предаются редко и без особого удовольствия…

Сестренка на ложе ко мне присела, руки на коленках сложила, ни дать ни взять — примерная девочка, мамина гордость.

Я голову осторожно-осторожно приподнял.

— Давай, — говорю, — великая охотница, рассказывай. Что ты опять натворила?

А она глазищи свои синие распахнула.

— Я, — говорит, — натворила?! Ну, ты и наглец, братец! — и рожу мне скорчила. Балда. Увидел бы ее кто сейчас вот так, с высунутым языком и глазами в кучку, ни за что бы не сказал, что вечно юная Артемида "прекраснее всех нимф и муз".[1] Хотел я ее пнуть в божественный зад, чтобы не смела над умирающим братом смеяться, но тут в голове что-то как взорвется!

* * *

— Я тебе говорю, придурок, учись играть на кифаре! К-кифара — первый инструмент в деле бабоукладчества! Ты, что, мне не веришь? Мне, олимпийцу, не веришь?!

* * *

— Что, Музовод, маешься божественным похмельем?

Конечно, вот именно его мне и не хватало для полного счастья. Морщусь, сжимаю голову руками.

— Иди отсюда, Бромий,[2] без тебя тошно.

Ухмыляется, скотина.

— Без меня тошно, да. А со мной будет самое оно! — подходит поближе, виляя бедрами, как продажная девка. Морщусь еще сильнее.

Вообще-то он — красавчик, наш Дионис. И не так чтобы дурак. А вот поди ж ты — раздражает безумно. Как гляну на эту слащавую мордочку, сразу хочется по ней стукнуть. Неужели я действительно вчера с ним выпивал? С чего бы это?

— Ну, так что, Музовод? Лечить тебя от похмелья? Если да — попроси свою очаровательную сестрицу не коситься на меня волком, а то у меня руки дрожат!

Еще б они у него не дрожали. Пару лет назад он встретил Артемиду в лесу и попытался ухватить ее за коленку. Если бы не мой сын Асклепий, которому мертвого оживить — как мне на кифаре сбацать, не было бы у нас больше шумного разгильдяя Дионисика.

Сестренка, видимо, тоже об этом подумала. Холодно усмехнулась, поднялась с ложа, смерила Бромия взглядом — он ее на голову ниже, бедолага, и отошла. Недалеко отошла, на пару шагов. Серебряный лук откуда-то достала, стоит, с тетивой возится.

Дионис только глаза закатил — ах, какая женщина!

Потом плюхнулся рядом со мной, ручонку свою пухлую мне на лоб положил.

— Если, — говорит, — Музовод, ты пить не умеешь, то и не берись. Вот, возьми хоть меня — я за лук не хватаюсь, на кифаре не бренчу… Зато и после пьянок не блюю!

Хотел я ему сказать пару добрых слов, но так меня чего-то разморило…

* * *

— Вот эта твоя флейта — это ж фигня, это ж не звук! Кифара — это да! Это — инструмент! Да ты попробуй, что ты ухмыляешься, морда твоя козлиная?!

* * *

От Дионисова массажа мне так полегчало, что к обеду я расхрабрился и выпил немного вина. Сестренка на меня покосилась неодобрительно, но ничего не сказала. Дионис, которого мы тоже усадили с нами обедать, только ухмылялся. Сам-то он уговорил почти полный бурдюк, но даже не зарумянился.

— Слушай, Музовод, а ведь я же к тебе по делу пришел.

Я повертел головой — вправо, влево — не болит! Потряс. Все равно не болит!

— Давай, — говорю, — твое дело, Бромий.

Дионис коротко вздохнул — как будто храбрости набирался.

— А вот скажи мне, Феб[3]… - вздохнул еще раз, — где друг твой, Марсий?

Я, признаться, ошалел. Не столько оттого, что Дионис назвал мелкого сатира Марсия моим другом, сколько оттого, что он обратился ко мне так официально.

— Понятия не имею, — отвечаю. — Думаешь, я сторож этой козлоногой скотине?

Дионис хмыкнул, запрокинул голову и вытряс себе в пасть последние капли вина из бурдюка. Рыгнул довольно.

— Думаю, нет. Думаю, не сторож. Но почему бы это, брат Музовод, все местные дриады со вчерашнего дня рыдают по славному силену…прости, по козлоногой скотине Марсию, с которого Великий Аполлон собственноручно содрал шкуру? Заживо?

Пожалуй, сегодня мне еще не стоило пить. Так и знал, что голова разболится опять…

* * *

На круглой, как монетка, полянке сияющий бог-олимпиец, прекрасный, как летний день, и на вид сильно нетрезвый, наступает на низкорослого, загорелого до красноты сатира.

— Да что ты понимаешь, к-козел?! — кричит бог, потрясая

изящной кифарой. — Сравнил тоже — музыкальный инструмент с этими… с этими трубками! Да на трубках этих любой смертный мальчишка научится свистеть в два счета! Я к тебе, как к бессмертному, как к равному! Научить тебя хотел! Чтоб ты не позорился с этим убожищем! А ты?!

Сатир набычился, смотрит исподлобья. Потом тихонько говорит что-то, слышное только олимпийцу. Олимпиец краснеет от злости.

— Состязания? Будут тебе состязания! И, клянусь вот этой кифарой — если ты проиграешь, я с тебя шкуру спущу!

* * *

Аполлон сидит, прислонясь спиной к огромному дубу, и тихонько наигрывает себе на кифаре. Его лицо, залитое голубоватым лунным светом, кажется изваянным из мрамора.

Странная сдвоенная фигура выскальзывает из леса и останавливается на границе между светом тенью.

— Феб, — зовет фигура надтреснутым слегка блеющим фальцетом. — Феб!

Аполлон откладывает кифару и медленно поднимается.

— Марсий? — неуверенно спрашивает он.

Фигура кивает двумя головами, но не двигается с места.

Аполлон подходит поближе, внимательно вглядывается, потом отшатывается, и его рвет.

— Ну, ладно тебе, — скрипуче хихикает Марсий. — Ты что, ободранных сатиров никогда не видел?

Аполлон кашляет и вытирает рот ладонью.

— Чего ты хочешь?

— Да так, — Марсий синхронно пожимает четырьмя плечами. — Хотел тебе показаться.

— А это… — Аполлон тычет пальцем. — Это — что?! Или кто?

Марсий опять хихикает.

— Недогадливый ты, — говорит он, — просто как бог! Если я — сатир без кожи, то это кто? Это кожа без сатира! Отличная штука, кстати, не смотри, что пустая. Мы с нею теперь дуэтом играть можем — я на флейте, она на твоей кифаре. Или наоборот.

Аполлон морщится.

— А как ты…

— Асклепий помог, — коротко отвечает Марсий. — Хороший он мальчик. И великий врач. Прямо как будто и не твой сын.

Аполлон начинает злиться.

— Ты мне показаться хотел? — спрашивает он. — Все, показался, можешь идти. Пока я с тебя еще чего-нибудь не содрал.

Марсий качает головами.

— Не торопись, олимпиец. Ты с меня уже ничего содрать не можешь.

— Это мы еще посмотрим, — шипит Аполлон. Страх и отвращение постепенно уступают место гневу.

— Поверь мне на слово, — мягко говорит Марсий. Аполлон хочет возразить, но Марсий не дает. — Хотя, конечно, ты можешь попробовать.

Несколько минут они молчат.

— Ну, ладно, — наконец, говорит Марсий. — Пойдем мы. Я, считай, просто зашел сказать, что я не в претензии. Чтоб ты не очень из-за меня терзался.

— С чего это ты, сатир, взял, что я могу из-за тебя терзаться? — высокомерно спрашивает Аполлон.

— Ни с чего, — кротко отвечает Марсий. — Просто подумал. Ладно, пойдем мы. Счастливо тебе, Феб. Может, еще встретимся.

— И тебе счастливо, Марсий, — говорит Аполлон. — Но надеюсь, что не встретимся.

— Ну, мало ли. Только имей в виду, у меня теперь будет другое имя.

— Какое? — почти против воли спрашивает Аполлон.

— Нуууууууууу… — тянет Марсий. — Например… Бафомет. [4] А что? Отличное имя, звучное.

XIII Смерть

Суеверные и невежественные люди боятся, если Тринадцатый Аркан выпадает им при гадании. И не всегда зря, хотя позиций, в которых Тринадцатый Аркан действительно обещает скорую погибель, не так уж много.

Обычно речь идет все-таки о трансформации, причем, в первую очередь — телесной. Для примера могу сказать, что Тринадцатый Аркан может выпасть при гадании человеку, которому предстоит, скажем, смена пола, или цвета кожи, но это, конечно, крайности, а вот резкое повышение, или ослабление иммунитета, изменение состава крови, облысение, или, напротив, появление волос, исчезновение из организма роковой, или не очень опухоли — в данном случае дело вполне обычное.

Что касается личности, которую описывает Тринадцатый Аркан, отличительные черты тут сила, стойкость и бесстрашие. Собственная смертность осознается очень четко, а по сравнению с этим все пустяки. Более сильных натур, чем Тринадцатые Арканы в моей системе исчисления человеков не водится — разве что, Император, но у него сила совсем иного рода, скорее витальная, чем метафизическая. А сила Тринадцатого Аркана, в частности, проявляется в том, что общаясь с таким человеком, люди видят в нем некую неумолимость и неотвратимость, даже если он ничего «такого» не имеет в виду.

Нет такого, с чем Тринадцатый Аркан не справился бы. Ну, или почти нет.

Чувство ответственности у Тринадцатого Аркана, надо сказать, нечеловеческое. Хоть и не хочется ему ответственности, устает от нее, но ведь может. Еще как может.

Послать подальше, впрочем, тоже может. Тринадцатый Аркан редко отличается излишней церемонностью, мягко говоря.

Вообще, сила Тринадцатого Аркана нередко принимается окружающими за "тяжесть характера". При этом собственно характер вовсе не обязательно тяжелый. Но "**где мой конь пройдет, не растет трава**" — да, есть такое. Никуда не денешься.

Уровень внутренней честности зашкаливает порой до внешней бестактности. Дескать, какие-такие "закрытые темы", когда все примерно одним и тем же способом родились и примерно одинаково (детали не в счет) помрем?

Далее. Тринадцатый Аркан (как и предыдущий, Двенадцатый), вполне может обещать скорую инициацию. Другое дело, что «инициация» эта может иметь какие угодно формы; вовсе не обязательно за чукотскими шаманами по тундре гоняться. Всяко может вывернуться. И обычно выворачивается в самый неожиданный момент.

Ольга Гренец
Corvo

Всю ночь за стенкой, у соседей, играет музыка. Уже в который раз я просыпаюсь и переворачиваюсь на спину: в журнале «Men's health» я вычитал недавно, что спать нужно либо на спине, либо на боку. И хотя мне уже, вероятно, слишком поздно пытаться исправить искривление позвоночника, тем не менее, есть целый ряд других болезней, которых можно избежать, если спать на спине и без подушки. Список в журнале произвёл на меня впечатление, и уже несколько недель подряд я каждую ночь прилежно ложусь на спину и гляжу в потолок, изо всех сил пытаясь сконцентрироваться на стаде курчавых овец, которое вверх ногами бороздит пространство между лампой и окном. Этой ночью из-за непрекращающегося карнавала за стенкой мои белые аккуратные овечки упорно отказываются жевать жвачку, так и норовя пуститься в пляс. Некоторые из них отрастили рога и длинные чёрные космы, другие обернулись чёрными котами (или кошками? о, этот бесполый английский язык!), а шерсть третьих завивается змеиными головами. Змеи заползают в сны по разным причинам, но мои — дикого оранжевого цвета, и смотрят на меня сверху вниз салатовыми глазами моей новой соседки.

С соседями я познакомился в пятницу вечером, когда они вкатили во двор на арендованном грузовичке. Она — рыженькая, с косичками, в зелёных вельветовых штанах — мне понравилась сразу, да и он тоже показался достаточно дружелюбным. Единственное, что сразу вызвало беспокойство — их возраст. Ему явно не было и тридцати, а её косички наводили на мысль, что она всё ещё не переросла молодёжной моды на громкую музыку и алкоголь. Тем не менее, я вышел на крыльцо и пожал им руки, и они тут же испугали меня приглашением на вечеринку в воскресенье вечером по поводу переезда. И хотя где-то в глубине души я был бы не прочь выпить пару бутылок пива с рыжими косичками, я благоразумно сообщил им, что работаю дома, что работа у меня кропотливая и требует внимания к деталям, поэтому я плохо реагирую на шум, особенно на громкую музыку.

Опыт научил меня, что правила отношения с новыми соседями необходимо устанавливать с первой минуты знакомства. Однажды рядом со мной жил молодой человек, который в один прекрасный день обернулся музыкантом и повадился устраивать концерты на заднем дворе. Он собрал целый оркестр, и регулярно (по средам и воскресеньям) наш дом

стали посещать скрипки и тромбоны. Они приезжали со своими собственными складными табуретками и пюпитрами, расставляли всё это на газоне под окном моего кабинета и заводили своё мяуканье. Моё терпение лопнуло, когда они притащили с собой мадам в облегающем костюме тигриной раскраски, которая сначала полчаса ходила по двору, видимо, выбирая место, откуда мне будет лучше всего слышно результат работы её легких. Нагулявшись вдоволь, она заняла позицию и, выпятив грудь, издала громкий рык. С трудом дождавшись окончания этого безобразия, я побеседовал с соседом, указав ему на некоторые неудобства, которые его хобби мне доставляло. Дело не в том, что мне не нравится ваша музыка, говорил я ему, просто у меня много работы, перевод, который я должен закончить к определённому сроку. Он ответил со смехом:

— Неужели Вы работаете даже по воскресеньям? Лучше выходите на улицу, послушайте. В следующий раз мы исполним что-нибудь итальянское — Верди, Пуччини. «Джанни Скикки». Вам нравится «Джанни Скикки»?

Как можно более вежливо, я попытался объяснить, что, к сожалению, не люблю самодеятельности. Если бы мне захотелось услышать итальянскую оперу, я бы съездил в Италию или, как минимум, купил бы магнитофон. Дело в том, что любая музыка вообще очень отвлекает меня от работы. Единственное на этом свете, что раздражает меня больше музыкантов-любителей, это птицы. Сосед оказался приличным человеком, и нам с ним удалось достичь компромиссного решения: он решил отказаться от репетиций по воскресеньям, а непродуктивное время по средам я решил посвятить пицце и велотренажёру.

К сожалению, не со всеми соседями мне удавалось достичь такого высокого уровня взаимопонимания. В один прекрасный день мой музыкант исчез, а на его половину дома въехала пренеприятнейшая старушенция, большая любительница птиц. Кроме всего прочего, её внешность была примечательна жёлтыми зубами и фиолетовыми волосами. Большую часть своей жизни она проводила на кухне, в халате, изготовляя печенья и пироги в индустриальных количествах. Поначалу она пыталась всучить мне часть своей продукции. В конце концов мне пришлось объяснить ей, что обжорство — это не только вредно для здоровья, но, кроме того, страшный грех, и зачитать шестое канте из «Комедии» Данте в собственном переводе. То ли испугавшись Цербера, то ли поняв, что отравить меня ей не удастся, она на некоторое время оставила меня в покое.

Вскоре милая старая леди, однако, развернула целую военную кампанию против меня. Подняв над своей половиной

дома большой американский флаг, при каждой встрече она обязательно докладывала, что от меня пахнет луком, и ехидно интересовалась, когда последний раз мне удалось полакомиться лягушками. Сначала я пытался объяснить ей, что я не француз, а итальянец, и что этот стереотип ко мне не подходит, но так как её регулярные вопросы не менялись, я махнул на них рукой. В попытке «напасть на её положительную сторону», как говорят в Америке, я подарил ей большую коробку конфет на Рождество. В ответ она вручила мне Библию в мягкой обложке.

— Может быть, Вам стоит перевести эту книгу на Ваш язык, — заявила она мне, — чтобы Вы точно знали всё о грехах и о наказаниях, за них положенных.

От подобного предложения мои глаза буквально выкатились на лоб, но, пока я придумывал достойный ответ, старушка огорошила меня очередным замечанием:

— Вообще, я не понимаю, как Вы можете быть переводчиком, когда у Вас такой сильный акцент.

Как и я, она практически никогда не покидала пределы нашего двора, и пересекались мы достаточно часто. С давних пор я привык по утрам работать в общем саду за домом. Обычно в это время я занимался правкой переведенного предыдущим вечером, поэтому для работы мне требовался только компьютер, текст оригинала и парочка словарей. Я выносил все это на садовый стол, укутывался в старый плед и проводил так два-три часа на свежем воздухе. Вылезая из кухни в сад в своём старом цветастом халате, миссис Добрая Душа регулярно, минимум раз в день, удивлялась:

— В наше время у молодых людей обычно столько дел! Чтобы добиться успеха, приходится работать и днём, и ночью. Только у вас, почему-то, находится время для того, чтобы сутками просиживать в саду.

Как-то раз, чтобы заставить её сменить катушку, я свил для неё целую трагедию о моей бабушке и о том, какой красивый старый сад рос вокруг её дома неподалёку от Милана. Я чуть сам не прослезился, описывая тихие летние вечера, которые мы проводили под сенью древнего кедра, обвитого виноградной лозой. Бабушка сидела в своём плетеном кресле, я устраивался у её ног и слушал её пересказы семейных легенд и рассказы о привидениях. Пытаясь пробудить в старушке чувство сострадания, я добавил несколько очень жалостливых деталей о первых годах моих скитаний по Америке и о сопровождавшей меня мечте завести свой дом и работать в саду каждый день. Соседка нахмурила брови и завела старую песню:

— Интересная же у вас работа. И вам платят деньги за

сидение в саду?

Суть работы переводчика была ей совершенно недоступна. Сама же она, между прочим, выходила во двор рассыпать хлебные крошки и окаменелые куски печенья. Самые настойчивые вороны по полчаса подряд долбили это печенье, злобно каркая и стуча крыльями о землю. То ли она туда что-то подмешивала, — не даром я отказывался пробовать её продукцию — то ли просто из-за того, что голубям худело от обжорства, весь двор, включая и мой стол, оказались загаженными. После того, как за одно утро нечто неописуемое зеленого цвета дважды приземлилось на клавиатуру моего компьютера, от утренних занятий на свежем воздухе мне пришлось окончательно отказаться. Нет, в моих планах на будущее не фигурировала смерть от какой-нибудь страшной птичьей болезни. Достаточно с меня было того, что их неиссякаемая страсть к общению друг с другом снижала мою продуктивность примерно на полстраницы в час. Прежде чем окончательно ретироваться, я всё-таки спросил у старой ведьмы:

— Неужели Вы не боитесь заразиться птичьим гриппом?

— Чем-чем? — переспросила она, смотря на меня сверху вниз. — Вы имеете в виду эту европейскую болезнь? У нас в Америке птицы гриппом не болеют!

По сравнению с этой идиоткой новые соседи выглядели очень дружелюбно, настолько, что во мне проснулось нечто похожее на пресловутый американский оптимизм. К сожалению, дружить с ними сразу у меня не было времени: мне надо было закончить перевод. Пожав им руки, я закрылся в своей половине дома и потом, два с половиной дня изо всех сил пытаясь сосредоточиться на тексте, прислушивался к звукам расставляемой мебели. В субботу с утра, сидя за своим рабочим столом, я с некоторым ужасом наблюдал, как рыженькая развешивала кормушки по всему саду, по одной на каждое дерево и каждый куст. Её муж в это время собирал нечто, что очень быстро приобрело форму дивана-качелей с навесом. Наблюдая за их действиями сверху, из окна своего кабинета, я злорадно размышлял о том, что, несмотря на свой страшный ядовито-зеленый цвет, эта штука должна приобрести большую популярность у пернатых. Около полудня идиллическая парочка уселась в обнимку на свой диван-качели, и я чуть было не стал свидетелем того, что в переводе с итальянского на английский я обычно называю игрой в двухпозвоночное животное. От этого греха меня спас чёрный ворон, неуверенно усевшийся на ветке перед одной из кормушек и подозрительно на неё уставившийся. Сквозь открытое окно мне очень хорошо был слышен вопль рыженькой, отметивший это знаменательное событие.

Вечером в субботу, выйдя на улицу оплатить доставку пиццы, я в очередной раз столкнулся с рыженькой, которая мыла крыльцо. Мои соседи были вездесущи: на какой бы стороне дома я ни находился, в поле моего зрения то и дело попадался либо один, либо другая. Они уже успели повесить венок из сухих цветов на свою дверь вместе со стандартной табличкой «Добро пожаловать», на которой к тому же были выгравированы их имена: «Джо и Лиза Фокс». Я сказал рыженькой, что им бы следовало добыть себе табличку с надписью «Добро пожаловать в лисью нору». Шутка ей смешной не показалась, однако, несмотря на это, она всё так же дружелюбно повторила приглашение на завтрашнюю вечеринку. Во второй раз отказаться мне было ещё труднее, чем в первый; лучше бы уж я пошёл туда, чем лежать всю ночь в кровати и слушать их музыку. Видимо, за день я выпил кофе на одну чашку больше, чем следовало. Вполне вероятно, что я не могу спать из-за того, что и сегодня рыженькая весь день мелькала у меня перед глазами. День был тёплый, солнечный, и мои новые соседи позавтракали, пообедали и поужинали в саду, в то время как я сидел в своем кабинете и пытался не наблюдать за ними из окна. Из-за них и из-за их непрекращающейся музыки мои бедные овечки каркают, хлопают крыльями и покрываются рыжими змеиными головами, которые злобно кидаются друг на друга и, пронизывая пространство своими ярко зелёными глазами, расползаются в разные стороны.

Мне это очень не нравится: что же у них там такое происходит? Неужели у них всё ещё сидят гости? В таком случае, может быть и мне стоит к ним присоединиться? Взять с собой бутылку кьянти и распить её, сидя у камина, глядя в глаза рыженькой соседке? Да-да, пора вставать. Да и вороны опять взялись за своё, чёрт бы их взял себе на ужин. Сегодня я не смогу написать ни строчки. Надо встать, одеться и пойти посмотреть, что же за карнавал они там устроили. Они, кажется, местные, у них должно быть много друзей. Неужели мне придётся терпеть подобное безобразие каждые выходные? А на улице холодно, брр, солнца ещё не видно, и если бы не птицы да электрогитары, можно было бы ещё спать и спать. На самом деле, от парадной двери даже и гитар не слышно. В доме тихо; может быть, мне приснилась музыка за стенкой? Нет, не может быть. Скорее всего, магнитофон стоит где-то глубоко внутри дома, в одной из комнат, выходящих окнами на задний двор и примыкающих непосредственно к моей спальне.

На мой стук в дверь по дурацкой табличке «Добро пожаловать» чета хвостатых отвечать, видимо, не собирается. Но они меня уже выманили из дому, и сдаваться теперь просто так я

не собираюсь. Надо постучать к ним со стороны двора, в дверь на террасе. Если они находятся в гостиной, то оттуда они меня точно должны услышать… Где-то тут была тропинка, ведущая за дом, во двор. Птичья старушка засадила всё какими-то глупыми кустами, теперь тут ничего не найти. Не знаю даже, ругаться ли с ними, или проситься в гости, но, так или иначе, они мне должны… Чёрт побери! Понаставил тут кто-то дурацких деревьев! Больно… Прямо лбом, надо же. И запах гари откуда-то. Неужели они развели костёр во дворе? Нет, не может быть, я бы из спальни это увидел. И птицы смеются, как дуры. Ну откуда здесь, спрашивается, может быть столько птиц?

А, вот, кажется, я был прав: за углом виден свет, да и источник музыки, несомненно, находится там. Ну да, окна гостиной освещены. Вот и терраса… Чем они только ни занимались эти два дня, а вот занавески повесить им времени не хватило! Ясно, что они развлекались всю ночь, как могли: по всей комнате свечки и камин… а вот с камином что-то явно не так, по-моему, слишком уж много дыма. А вот и Джо с Лизой — как же это я сразу их не заметил? — улеглись прямо по середине комнаты. Лежат, сплетясь, прямо как змеи из моего сна. Какие у неё волосы! Так и блещут золотом,… да и вообще, оказывается, вся её кожа, кажется, покрыта золотыми крапинками. Всё в ней звериное, змеиное: и руки, обвивающие его тело, и мягкие складки живота, и изгиб тела, открывающий вид на лисий треугольник волос тут уже вовсе не рыжих, а чёрных, по-настоящему чёрных, вьющихся, как змеи на голове мифической медузы, которая — страшнее самых страшных чудищ дантевского ада — превращает наблюдателей в камень, слепой и безмолвный камень. Движутся ли эти двое, или это блики огня и дыма, отражаясь от них, погружаясь в них, создают впечатление медленного, плавного движения? Не знаю, не понимаю, не вижу… из-за этой ужасной электрической музыки у меня, кажется, опять начинает мутиться зрение. Вот он, источник этого адского шума: большой чёрный магнитофон на камине. Или это не магнитофон, а ворона? Больная ворона, которая дерёт глотку и вопит мне что-то?

Нет, эти двое на ковре не двигаются. Наоборот, они совершенно неподвижны, заткнув уши пальцами, я вижу это совершенно ясно. Да-да, с камином что-то не так: дым не уходит вверх, он расползается по комнате и опутывает спящих. Их, наверное, ещё можно спасти: разбить окно, выломать дверь, вытащить, откачать. Если бы только не эти жуткие птицы и их визг: о, какое это было бы удовольствие раздавить мою больную голову ладонями, нажать посильнее, сплющить, уничтожить!

Надо бежать отсюда… домой, под одеяло, куда угодно, где нет этих людей, этого шума… Но я не могу бежать, я не могу ничего сделать: мои пальцы окаменели, я не могу пошевельнуться. Я не могу сойти с места… мой лоб, мои губы примёрзли к оконному стеклу. Мои губы, черные, длинные, как у вороны, — что это? Надо что-то крикнуть, сказать, позвать на помощь! Их, наверное, ещё можно спасти, если бы я только мог каркнуть — крикнуть! — что-нибудь. Что? Кому? Как? Лиса никогда не приходит одна. Лиса съела кусок сыру, он её убил. Лиса села на забор. Лиса краса. Siete ancor morto… Tosto che l’anima trade come fec’ïo, il corpo sue l’e̊ tolto da un demonio…

XIV Умеренность / Искусство

С одной стороны, у Кроули это карта называется простым русским словом ART и является символом великого алхимического компота и прочего торжества синтеза во всем мире. С другой стороны, в традиционной колоде Умеренность — это ангел, переливающий жидкость из одного сосуда в другой. Считается, что он — проводник умерших, аккуратно переливающий отлетевшую душу в новый какой-то сосуд. И заодно наполняющий живые человеческие посудины небесным супом. Я, впрочем, совершенно точно знаю, что нередко бедняге приходится переливать из пустого в порожнее. Но не всегда, и то хлеб.

Умеренность — это еще и бег "по лезвию бритвы" — то есть именно бег. Не устойчивое равновесие, к которому призывает Восьмой Аркан, а балансирование канатоходца, на бегу.

Все это надо обязательно учитывать, если хочется понять что-нибудь про Четырнадцатый Аркан.

Что касается тех людей, чья личность описана арканом Умеренность. Хотят они того, или нет, но их жизнь — это служение. Кому, или чему — иной вопрос, но такие люди рождены не для того, чтобы жить в свое удовольствие. Во-первых, судьба не даст, во-вторых сами зачахнут в таких условиях. Надо службу служить хоть какую-нибудь, ничего не попишешь. Все попытки "пожить только для себя" обычно завершаются полным крахом.

Всех, кому XIV Аркан выпадает при гадании, это разумеется, тоже касается — по крайней мере, временно.

Любовь для личности, сформированной влиянием Четырнадцатого Аркана, дело если не последнее, то, по крайней мере, десятое. Как и многие другие важные вещи. Такой человек куда больше интересуется смертью.

Зато у него может развиться удивительное свойство: рядом с таким человеком не страшно умирать. Из таких людей получаются отличные священники и работники хосписов.

Вообще, своеобразные отношения со смертью дают XIV Аркану великую силу. Т. е., все житейские беды на фоне этого — ничто, пустяк. Единственное, чего такой человек действительно не может перенести — это непонимания. Это легко объяснить,

если вспомнить рисунок карты: непонимание в данном случае означает, что один сосуд закупорен и влагу из второго некуда лить. Такая ситуация вполне может свести с ума.

Вик. Рудченко
Свежий ветер
Путевые заметки

1. Купе

Наверное, вечером прошел дождь — на стеклах поблескивали косые капли воды. За разговором я совершенно не замечал, что происходит за окном — где и с какой скоростью мы едем, как темнеют деревья и расплываются дома, как тонут в тумане озера. Позже, когда пустая болтовня мне осточертела, я подсел поближе к окну и, забросив наверх застиранную шторку, стал наблюдать.

Мой сосед по купе давно заснул, а я все сидел и смотрел на ночную пестроту мелькающих огоньков. У него, у соседа, была идиотская манера спать прямо в одежде и без одеяла. Сейчас, при неярком свете ночника было видно как поблескивает на животе металлическая пряжка. Сосед рассказывал, не умолкая, весь вечер, но я так и не выяснил, кто он и откуда. Помню только, что он постоянно подсовывал мне половинку жареной курицы, чем довел меня до белого каленья. Когда же он наконец угомонился, я вздохнул с искренним облегчением.

Обычно перестук вагонных колес действует на меня усыпляюще, но сегодня спать почему-то не хотелось. Через щель, проделанную мной в оконной раме (окно не открывалось, и мне пришлось приподнять его ножом), в купе залетал свежий ветер. После тяжелой зимы, после всего, что случилось эта весенняя ночь казалась подарком судьбы. Закутавшись в шерстяное одеяло, я внимательно всматривался в огоньки городов, в неясные силуэты построек и медленно, с наслаждением вдыхал тонкий аромат тающего снега.

Дверь отъехала так неожиданно, что я вздрогнул. Молоденькая девушка впорхнула в купе и в полнейшей растерянности уставилась на блестящую пряжку. Затем, переведя взгляд на меня, все поняла.

— Ой, извините!.. Я перепутала.

Я вежливо улыбнулся ей и даже что-то пробормотал. Свет из коридора, видимо, потревожил моего соседа; он зажмурился и, пыхтя, отвернулся к стенке. Судя по шевелящимся в носках пальцам, ему было холодно, но осознать этого он еще не мог, а прислуживать ему мне не хотелось. Я все еще чувствовал запах курицы, и меня с этого немножко мутило.

Огни за окном пропали и долго не появлялись. Я разглядел

маленькие островки снега и чёрные рельсы параллельных путей. Если сохранился снег — значит, мы едем по лесу.

2. Коридор

Я поднялся и, сбросив с себя одеяло, вышел в коридор. Здесь все было по-другому. Колеса стучали сильнее, лампочки светили ярче, а свежий воздух свободно гулял из тамбура в тамбур.

В коридоре никого не было. Сначала я подумал, что замерзну, и решил вернуться в купе за свитером, но потом поленился и предпочел померзнуть немного так.

За моей спиной щелкнул дверной замок, и из соседнего купе выскочила давешняя девушка. Я невольно усмехнулся: уже глубокая ночь, а она носится по всему вагону. Неужели совсем не хочется спать?

Кивнув мне головой, девушка боком проскочила мимо и направилась в туалет. Она была в одном халате и имела при себе полотенце и мыльницу. Видимо, собиралась ложиться. Интересно, сколько сейчас времени?

Я повернулся к окну и, облокотившись на металлическую трубу, уперся лбом в стекло. Смутное чувство тревоги, которое всегда возникает в дороге, здесь ощущалось особенно остро. Наверное, этому способствовали холод и пьянящий аромат апрельского леса.

В конце коридора показалась проводница — заспанная усталая женщина. Повозившись с половиком, она скрылась, затем вышла с тремя пустыми бутылками и ушла в другой вагон. Щелкнула дверь — это возвращалась девушка. Вопреки ожиданиям, она не бежала вприпрыжку, а шла спокойно, серьёзно, сжимая в левой руке полотенце. Когда она поравнялась со мной, я спросил:

— Вы не знаете, сколько времени?

Попутчица посмотрела на свои часики и почти сразу же ответила:

— Три десять.

— А во сколько приходит поезд?

— Не помню… Вон там, в конце вагона, расписание. — И, видя, что я не понимаю, предложила: — Пойдемте, покажу.

В конце вагона расписания не оказалось. Девушка разочарованно развела руками:

— Сняли… Ну погодите, я сейчас у себя посмотрю, — С этими словами она не глядя кинулась в купе. Удивительно, что не в чужое.

Я остался стоять возле металлической трубы. Не то, чтобы я

ждал эту стрекозу, просто не хотелось возвращаться назад к своему соседу.

— Вот! В четыре сорок, если, конечно, не задержимся… — Попутчица опять здесь. На этот раз она предусмотрительно накинула на плечи плащ.

— Не задержимся. Быстро едем, без остановок…

Девушка кивнула. И, подумав, добавила:

— Меня Элли зовут. Странное имя, правда?

Я представился. Некоторое время постояли молча. Наконец Элли не выдержала и повернулась ко мне:

— Хорошая сегодня ночь.

— Не спится?

Элли покачала головой.

— Я не мешаю вам?

— Нет.

В сущности, я уже отдохнул от общества своего собеседника, и теперь сам был непрочь с кем-нибудь потрепаться. Я спросил:

— А как долго мы едем?

— Вторые сутки, — Элли хихикнула. — А вы что же, не помните?

— Не помню. Я долго спал.

— А… Так это вас принесли на носилках!

Я кивнул. Мне совсем не улыбалось вспоминать подробности.

— В таком случае вы замечательно выглядите. Когда я увидела вас в первый раз, вся голова была забинтована. Проводница испу…

Черт подери! Ну неужели так трудно промолчать? За последний месяц я не видел вокруг себя ничего, кроме марли и ножниц, а жуткий аромат хлорки преследует меня по сей день. Почему я не могу забыться хотя бы сейчас?

— Что с вами?! — Элли придвинулась ко мне и заглянула в глаза. — Вам плохо?

— Нет, нормально. Только не надо больше о прошлом.

Девушка бесшумно отошла.

— Извините.

Волна свежего воздуха пронеслась по коридору и где-то в конце щелкнула замком. Я сделал глубокий вдох — чтобы проглотить не к месту появившийся призрак морга. Элли негромко предложила:

— Если вам не холодно, мы можем постоять в тамбуре. Там окно разбито.

Я решил, что это неплохая идея, но тогда нужно взять свитер.

…В купе было по-прежнему тихо и темно. Сосед снова блестел своей пряжкой, а шторка, задранная мною, свалилась

вниз и слегка дрожала от стука колес. Взяв свитер, я с усмешкой посмотрел на спящего и вышел вон. Где-то через час поезд прибудет на место, и я решил сюда не возвращаться.

3. Тамбур

Элли ждала меня в тамбуре. Дверное окно было выбито полностью, и весенний ветер бил в лицо не на шутку. Натянув свитер, я улыбнулся своей попутчице:

— Страшно?

Элли весело удивилась:

— О чем вы?

— О дороге. Мы ведь приедем скоро.

— Это хорошо, — серьезно ответила девушка.

— Нас встретит кто-нибудь?

Вместо ответа Элли высунулась в окно, и развевающиеся на ветру волосы закрыли от меня ее лицо. Впрочем, очень скоро она замерзла и отодвинулась назад.

— Весна… Больше всего люблю это время года, — девушка взяла меня за руку: — Выгляни, посмотри на звезды!

Я подошел к двери и аккуратно просунул голову в дырку. Посмотрел наверх.

Небо было сплошь усеяно сверкающими точками. Не скажу, чтобы они были очень крупные или яркие, но их было действительно много. Линия леса, постоянно меняющаяся, то проглатывала часть звезд, то открывала новые. Я задыхался от ветра и холода. Грохот колес где-то под ногами оглушал, сотрясал мозги, а тепло руки Элли воскрешало старые, давно забытые воспоминанья. Я убрал голову.

— Хорошо. Соснами пахнет.

Девушка кивнула.

— Как в детстве. У нас в деревне было так. Мы жгли костры в соснах, — Элли улыбнулась, зажмурилась. — Знаешь, здорово было. Нас мальчишки по вечерам пугали — изображали Смерть. Возьмут старую косу, завернутся в простыни и ухают. А мы визжим, дурехи…

…За окном показались редкие огоньки — отдельные дома. Я выглянул наружу, но поселка впереди не оказалось, поезд мчался в черноту. Пояснил попутчице:

— Думал, к городу подъезжаем.

— Нет, здесь не должно быть городов… Вокзал скоро.

Неожиданно Элли умело обхватила меня за шею и прижалась щекой к груди. Я почему-то не удивился, я чувствовал, что это произойдет. Простояв так минут десять, девушка отняла голову и

прошептала:

— Мне так хорошо сейчас… Совсем как тогда, в детстве.

Я молча кивнул.

— Нет… Ты меня не понимаешь, — сказала Элли. — Ты боишься чего-то…

— Это воздух. Апрельский воздух. Он всегда обостряет у меня чувство опасности.

— А ты не бойся, — нараспев произнесла девушка, проведя ладонью по моему свитеру. — Страшнее, чем было, не станет. Кстати, — она лукаво посмотрела мне в глаза: — Ты так и не рассказал мне, отчего ты умер.

Опять она за старое! Вот упрямая.

— Разбился на машине. Дорога была скользкая — на повороте вынесло на встречную полосу. А там грузовик — не помню с чем, с песком или гравием. Я вырулил из-под него, но чуть-чуть не рассчитал, сорвался. Там насыпь была, метров двадцать вниз. А в самом низу мою машину перевернуло…

Элли слушала и рассеянно улыбалась. Она все еще держала ладонь на моей груди — там, где сердце. Где оно должно было быть.

— Я ударился головой о крышу салона, свернул шею. Хирург сказал, что у меня перелом основания черепа. Не знаю, сколько я у них пролежал с этим переломом…

— А я отравилась. Просто так, по собственному желанию, — все с той же улыбкой сообщила попутчица. Я решил, что она начнет долгий рассказ, но Элли замолчала и опять высунулась в окно.

Поезд постепенно замедлял ход. Говорить ничего не хотелось. Вспомнился сосед; наевшись своей курицы, ворочается сейчас с боку на бок, мерзнет. Интересно, догадается одеяло натянуть?

— Подъезжаем, — объявила Элли. — Конечная.

Девушка уступила мне место, и я трусовато просунул голову наружу. Темнота была страшная. Темно было настолько, что я перестал понимать, где мы едем: по лесу или по полю? Только звезды на небе светили нахально и самоуверенно. Это ничего, что темно; через несколько часов взойдет солнце, и тогда все станет ясно и просто. Все-таки хорошая получилась у нас ночь.

…Наконец поезд поехал совсем тихо, стук колес сделался более тяжелым и значительным, а звезды наверху выстроились в ровные тусклые ряды. Я понял: это были арки огромного купола.

— Все, — сказал я, убирая голову. — Вокзал.

Элли отошла вглубь тамбура и притихла. Поезд остановился. Из коридора послышались приглушенные шаги проводника.

XV Дьявол

"И да не убоюсь я…" — не обязательно именно «зла», вместо многоточия подставить можно все что угодно, важно, что — "не убоюсь". Это наиважнейшая формула Пятнадцатого аркана. Он — про это. Про страх и про способность действовать так, словно его не испытываешь.

Главный мотив — познание. В первую очередь — науки о человеках и человеческом, от медицины и психологии до теологии (и всяческой эзотерики заодно).

Ключевое слово: искушение. Особенно искушение собственной силой. Но не только.

Основные проблемы, описанные Пятнадцатым Арканом.

— Упоение собственным могуществом, в чем бы оно (могущество) не выражалось. Т. е., работница регистратуры в поликлинике, которая заставляет ждать дюжину человек, теоретически, тоже может упиваться своим убогим могуществом. Бывает (чаще всего именно так и бывает).

Конечно вовсе необязательно, что человек, упиваясь собственным могуществом, непрменно станет всех мучить и вредить. Часто он просто осознает, что в каких-то областях чрезвычайно крут — и тихонько этому радуется. Но вот именно имея дело с Пятнадцатым Арканом важно не позволять себе такую роскошь. В лучшем случае, самоупоение приведет к самодовольству и остановке развития, а в худшем грозит непрерывный стресс от сознания собственной незаменимости, что, как мы понимаем, может привести к персональной катастрофе.

— Возможность впасть в зависимость — в первую очередь, от любимых людей, но, в общем, от чего угодно. Алкоголь-наркотики тут тоже вероятная опасность, хоть и не самая большая.

— Садомазохистсике отношения, в любой форме, в любой позиции. Пятнадцатый Аркан, кроме всего, велит учиться не мучиться (и никого не мучить).

Еще одна очень важная рекомендация Пятнадцатого Аркана.

Познание, состояние ученичества, освоение чего-то нового в

данном случае не просто полезно, но целительно. Доходит до того, что если очень сильно увлечься учебой, можно исцелиться от неизлечимой болезни, или, скажем, выжить на войне.

Феликс Максимов
Тодор
по мотивам цыганской сказки "Как цыгане получили огонь"

Был большой цыган — лаутар Борко.

Двадцать три года вороженными тропами вёл он свой табор к Горькому морю.

Читал приметы по семи беспрозванным звездам — ночью и по каменным крестам на перекрестках — днем.

Горькое море страсть как далеко, надо много терпеть в дороге, день терпеть, два терпеть, зиму терпеть, год годовать.

Год годовать легко. Попробуй час вытерпи.

Зато Горькое море теплым и сладким откроется на сорок верст окрест алозолотным солодом под солнцем. Затоскует осока и колоски в песках.

Вострубят ангелы-сторожа босиком высоко на утесах.

Наступит всему Свету конец, старая земля провалится, новая земля вылезет.

Пойдем мы ногами на ту землю, по бурунам, как посуху — не жены, не мужья — рука об руку, бедро о бедро, нутро в нутро.

Вожатый наш ягненок — Христос, золотые рожки-точеные ножки, в сердце, в сердце — Копие, на темени — Чаша, а с ним его Мать — пастушка, Проста Свята Девка.

Там хлеба отрежут, вина нальют, никому больно не будет, а всем — свадьба, всем — беговые кони, всем — солнце и ярусы парусов.

Тридцать фургонов — вардо шли под рукой Борко, как дикие гуси за вожаком, золотой сусалью и киноварью расписанные, серебряной фольгой по узорам подбитые, цветами-купавами убранные, пересмешничали на пологах медные погремки от сглаза, скрепы добротной работы, колесные спицы радужными красками из Корсуни изукрашены.

Кони — быстроплясы, холеные и крутобокие. Дети румяные и у каждого по утру — хлеба оборот и молока кружка. Женщины с плодоносными матками, что и дитя выносят в срок и северный ветер в полость спрячут, потому, как северный ветер весною прячется в матке у женщин, чтобы наши женщины звучали, как окарина в руке игреца.

Мужчины — крепки плечами и скудны речами.

Под окошком каждого фургона — герань и розмарин в

подвесном горшке на медных цепочках крест-накрест.

Был у большого Борко царский вардо из семидесяти досок, с голубыми колесами, которые умели смеяться и плакать. Прадедом срублен вардо.

Ставил хозяин в оглобли пару черкасских кровных коней. Левый конь — как творог, правый конь — как уголь, и в горле у них четыре жилы, а в грудине по три сердца на брата. Одно сердце — конское, чтоб устали не знать, второе — волчье, чтоб дорогу по ночам чуять, третье — человечье, чтоб Богу молиться.

Лихому конокраду жеребцы Борко не давались — сразу рвали вожжи, вздевались на дыбы чертом и ржали, как рожаница кричит.

Проснется Борко, прибьет конокрада, закричит коням: «Аррра!»

Кони смирялись и брели по полям люцерны от полуночи к заре, в травах да туманах по грудь, как корабли.

Всякий вечер Борко вплетал в их долгие гривы чабрец и ленты с молитвой Иисусовой, чтобы накрепко помнили кони дорогу обратно.

Волки — и те коней Борко обходили десятой дорогой, а, повстречав случайно, отступали и земно кланялись.

Была у большого Борко верная жена с жасминовым чревом и бедрами, прохладными, как айран, сжав бедра могла она расколоть грецкий орех.

Она чесала густые волосы над огнем, пряла в дороге с песней, варила похлебку на полтабора, ни о ком худого не думала, за это Бог ее радовал. Что ни год — то сын, что ни год — то хороший. Шестерых сыновей родила и ни одного гроба не делали.

Борко радовался — есть, кому продолжить род, есть, кому передать семь путеводных звезд и семь крестов придорожных из камня дикого — верные пути до Горького Моря.

Много лет прожил Борко с женой, душа с душой говорила, тело в тело проникало, но в тот год уронила жена Борко веретено у жаровни, и сказала мужу:

— Иди без меня к Горькому морю. Меня утром Богородица окликнула, буду теперь с ней Покров прясть. Не горюй, другую бери.

Закрыла голову юбкой и померла у жаровни в январе. Стала белая и молодая.

Шесть цыган, по числу сыновей, понесли тесовый гроб в гору, копали урвину глубоко до янтарных пластов в мерзлой земле, а Борко лбом в угол гроба лег.

Погребли гроб.

Поднялся Борко с колен, зачерпнул из насыпи горсть земли и

повел табор к Горькому морю.

А правый кулак с могильной землей не разжимал.

Месяц не разжимал, второй месяц не разжимал — земля с жениной могилы в кулаке Борко в камень сшиблась, в кожу въелась — пальцы стали корни скорченные, в узлы жилы завязались, кровь остыла, как у змея.

Холодно в царском вардо без матери. Сыновья от велика до мала молчали, сидели тесно на лавках, качали черными головами в такт ходу повозки.

Борко молчал на козлах, правил, не глядя, левой рукой.

На стоянках вдовец сторонился людей, сидел один на бревне, потягивал черное вино из фляги, смотрел на семь звезд — и видел восьмую.

На той звезде сидела его жена с Богородицей и крутила пестрядинные нити Покрова на январские веретена.

Умерло ремесло в таборе Борко.

Лаутары — такие цыгане, что сами песен не играют, не ворожат, котлы не лудят, не барышничают. Лаутары — мастера музыкальных инструментов, и Борко среди них прослыл первым. Из костного клея, из еловых и буковых певучих плашек, из волосяных струн, из колков острых выходили дети его рук.

Умел Борко из костей ястреба сладить пастушескую свирель-флуераш, мог сделать сербскую скрипку на семь ладов. Такие скрипки предсказывают ненастье и завораживают волкодлаков в голодные годы.

Наощупь и наизусть познал мастер все персторяды и переборы, персиянские и фрязинские и мадьярские. Тон к тону собирал он свадебные цимбалы, в безлунные ночи ягнячью кожу натягивал на ободы бубна и сорок бубенцов-шелестов подбирал так, как вино из бочки течет, как лозы вьются, как девушки смеются во сне.

Но отняла скорбь у мастера правую руку — и никто в таборе Борко не смел прикоснуться к инструментам.

Умерло ремесло. Плохое дело.

В начале апреля выдалась зарничная чудотворная ночь. Деревья по колено стояли в талой воде, несло по низам сырой корой и волчьей шерстью, верховые ветры ревели в кронах, бежали над живыми снежными водами семь звезд-волчениц. Погоня в небе клубами плыла.

Колокола вдали оплакивали Пасху. Косо плясали сполохи.

Табор спал, Борко край леса стерег в дозоре.

Поднял тяжелую голову большой Борко и увидел Приблуду.

Уронил флягу под ноги, выточилось черное вино. Приблуда размотала четыре глазчатые шали, рубаху распахнула, показала

груди, малые и белые, как северные яблоки. Молоком львиным лились в землю складки павлиньего подола.

Приблуда окликнула лаутара по имени и взмолилась:

— Дай мне хлеба, большой Борко.

Зашаталась от голода, словно колосок, в последней муке схватилась тонкой рукой за плющи на стволе явора.

— У меня нет хлеба — ответил Борко.

— Есть, — молвила Приблуда — Там, — и указала на его правый кулак.

Застонав от боли, Борко разжал пальцы впервые с похорон жены, и увидал в ладони не ком гробовой земли, а горбушку ячменного хлеба, посыпанного горной грубой солью из польских солеварен.

Не сводя глаз с грудей Приблуды, Борко протянул ей колдовское снедево, приказал:

— Ешь.

Приблуда пала на корточки и ела, собирая крохи, как птица. Приблизилась и благодарно поцеловала Борко прямо в чашу ладони. Бычьей кровью налились руки лаутара.

Ожило ремесло. Хорошее дело.

Большой Борко повел Приблуду на каменистую пустошь. Там широко, там вольно. Сухой красный вереск клонился по ветру, аисты танцевали коленцами на болотах, валуны — свидетели наклоняли лбы.

Приблуда примяла спиной вереск и закрыла глаза.

Поднял Борко с молитвой по одному все восемь ее медленных подолов. Белые колени надвое развел, прорезной колоколец женского места увидел.

Лег плашмя, поцеловал в лицо, сделал ей кровь.

На рассвете он привел ее в табор, разбил кувшин с разбавленным сиротским молоком у костра и сказал сыновьям:

— Это ваша мать. Она с нами поедет к Горькому морю. Голода больше не будет.

Мужчины сняли замки с ящиков для инструментов — будет ремесло, будут деньги, будут деньги, будет хлеб, будет хлеб — будут силы, будем странствовать по дорогам — джал а дром, как прадеды говорили.

И будет нам всем в конце концов Горькое Море.

Женщины забросили косоплетки, ходили простоволосы, прятали от сглаза первенцев, низали обереги из бузины и зубцов чеснока и судачили:

— Приблуда накличет недолю. Прясть не умеет, дурной корень с добрым одной рукой берет, босиком пляшет в сумерках, псы к ней ластятся, наши псы не простые — остроухие, чужаков

кусали до последней крови, а по ней тоскуют, а без нее — бесятся.

Никто не услышал женщин.

Скоро все заметили, что Приблуда носит в себе. Большой лаутар Борко слушал смуглое чрево Приблуды, говорил шести черноголовым сыновьям:

— Слышите, седьмой стучится! Отворяйте ворота.

— У нас заперто. Все дома, отец — тайком говорили завистливые сыновья.

Приспело Приблуде время родить. Она саморучно сплела можжевеловый шалаш в лесу и ушла ожидать.

Старухи были с ней, как полагается. Старухи подкладывали в постоянный костер-нодью ветки бересклета, конский волос и сушеную рябину, чтобы родины отворились легко.

Приблуда рожала стоя, как все женщины ром. В кулаке держала фисташковые четки и ключ без двери.

Улыбаясь сквозь муку, она поймала первенца в подол и стеклянным ножом перерезала пуповину.

Старухи обмыли младенца ключевой водой, взятой из ведра, в котором кузнец охлаждал подковы и, завернув его в небеленый холст, вынесли отцу.

— Гляди какой!

Ничего не сказал отец, раз всего взглянул на последыша, вошел в можжевеловый шалаш, и хлестнул Приблуду конской нагайкой по красивому лицу:

— Зачем родила рыжего, потаскуха меченая? Не бывало у нас в роду рыжих — отец мой, дед, прадед, отец прадеда — все черные. И сама ты ворона. Будь ты проклята, ведьма, а с тобой — твой ребенок, твой ячменный хлеб и красный вереск.

И ударил ее ногой в левую грудь. И ударил ее ногой в живот.

Упала Приблуда под сапоги Борко и кровью облилась по бедрам.

Всего раз назвала сына: "Тодор".

И не захотела больше дышать на такой земле, где рожаниц мужчины в утробу бьют.

Вышел Борко из шалаша, отер голенище сапога листом папоротника и спросил старух:

— Что отродье?

— Живет. Дышит. — сказали старухи.

Борко занес руку.

Стороной рыскал вихорь по лесным склонам, ржали стреноженные жеребцы, стрижи над ржаным полем кресты выжгли. Ждал младенец удара.

Борко опустил руку, сжалился.

— Пусть дышит Тодор.

Закричал новорожденный Тодор из табора Борко, так закричал, что журавли поднялись ворохом крыл в жар-солнце, червонные чащобы с каменистых откосов волнами ухнули, красная румынская вишенья-черешня почернела в монастырских садах.

В полночь простоволосые старухи понесли мертвую Приблуду на рушниках в буковину на холме.

Положили ей в рот фисташковые четки, а под каждую ладонь — по сорочьему яйцу, чтобы вампиры не высосали мертвое молоко из ее грудей. Забросали лицо перегноем и валежником.

Долголикий Бог глядел на злое из развилки дикой двуглавой яблони, плакал, да помалкивал.

Новорожденного отнесли в царское вардо, кинули жребий на кормилиц, приходили таборные бабы, поневоле кормили Тодора.

Пусть дышит Тодор.

Большой Борко черствым словом запретил сыновьям и сродникам поминать имя Приблуды. Легкий зарок — никто в таборе ее имени не ведал.

Встали вечером, повозки в гурт кругом сбили, натаскали хвороста.

Собрались мужчины, кресала вынули — нет искры. Так-сяк бились — впустую. Бросились бабы с черепками по деревням окрест — просить уголька у оседлых. Оседлые поделились огнем, понесли бабы угольки в скудели, только подошли к табору — погасло.

До утра бились, а как заря умылась — смекнули: огонь оставил нас навсегда.

Трубку не раскурить, чаю не вскипятить к обеду, гадючий укус не пришпарить каленым ножом, подкову не поправить, муравленный узор на деке сербской скрипки не выжечь.

Повстречали лаутары табор цыган — блидарей,

— Гей, блидари — плотники и резчики, древесные мастера, дайте огня лаутарам — крикнул Борко.

— Нет у нас больше огня, — отвечали блидари — Ни к чему рубанки и сверла. Огонь умер.

Повстречали лаутары табор цыган — чобатори.

— Гей, чобатори, сапожники, обувные подковщики — крикнул Борко — дайте огня лаутарам!

— Нет у нас больше огня — отвечали чобатори — не на чем сварить клей, сморщилась обувная кожа, дратва отсырела. Огонь умер.

Повстречали лаутары табор цыган — гилабари.

— Гей, гилабари, лабахи и песельники, мы ль вам скрипки не

ладили, мы ль вам струны не строили, дайте огня лаутарам! — крикнул Борко.

— Нет у нас больше огня, — отвечали гилабари — мы дойны — опевания позабыли, струны лопнули, скрипки треснули. Огонь умер.

И местери лакатуши — слесари по замкам, которые смерть не размыкает, и косторари — лудильщики — котляры, и салахори — каменщики и зодчие, сами, как каменья тесаные, и ватраши — садовники и дурманные медовары, и мануши — медвежьи вожаки, потешные обманщики; все отвечали на клич Борко:

— Цыганский огонь умер.

Вслепую скитались. Ели горькую кору. Лошади отощали. Души запаршивели. Бабы опояски, запястья и мониста в заклад жидам снесли, девки по кабакам ляжками трясли на продажу, зубы скалили.

Мужики водку жрали из горлянки. Друг другу рты да вороты рубах рвали. Пели, как блевали.

Старики мерли на обочине в корчах. Дети воровали зерна из борозд, грызли с грязью. Вардо торили терновые тропы на окраинах. Вороны горланили на гребнях фургонов.

Подрастал без мамки Тодор, сорви-душа, как сорный колос под колесом.

Никогда не плакал, слабых в обиду не давал, сильным не челобитничал, на всякое дело годился, из кулака по углам не ел, хоть ягод недозрелков горсть добудет, все братьям да отцу. А сам ветром да смехом вроде сыт.

Даром что рыж-ведьменыш, так, вдобавок, еще и левша.

Коней купать гонял, по лесам пропадал за лыком, за грибами, за орехами, зверьи тропы промышлял, постолы кожаные ладил, летом плоты сплавлял по горным быстринам.

Дуракам пересмешник, девкам погибель, старикам помощник, к Горькому морю попутчик.

Станом крепок, что твой явор в Дубровнике, зубы белы, очи кари-янтари, до лопаток патлы рыжи, как разбойничьи червонцы.

Встанет Тодор в рост против солнца с хохотом гривой тряхнет, перебором заиграют кудри лихо-горицвет. Так ему и горя мало.

Сам золотой, а стороннего золота левой рукой не трогал, как не цыган вовсе.

Чтоб не сглазил кого ненароком, старухи вплели в пряди ему бисерные нити — а на тех подвесках — мускатный орех, лисий зуб да совиное перо.

Зачурали, пусть живет.

Иной день ловил его Большой Борко за гриву, как жеребенка,

патлы на кулак мотал, говорил так:

— На твои что ль лохмы наш огонь перевелся? Ишь, парша да лишай не берут! Нам год за годом — волк за горло, плохое житье — с утра за вытье, братья воют, девки воют, дети воют, а тебе и горя нет!

Отвечал Тодор:

— Ай, бачка, с воем Бога не полюбишь, воем девку не окрутишь, воем коня не напоишь, воем хлеба не добудешь. Дай мне, бачка, быть, а не выть. Там где все «ох-ох», буду я "хоп-хоп!". Не горюй. Огонь вернется.

На пятнадцатую весну пришел срок Тодору получить нож-чури и птицу-чирило, как мужчине. Что за мужчина без ножа и без птицы?

Старухи правило подсказали:

Нужно от всех схорониться, не есть, не пить, ночью домик для птиц делать, да не простой, а как семейное вардо с оглоблями да покатой крышей, все сердце вложить в работу.

Пройти по тропам в чащу, где лисы, росомахи да лоси ходят, тайком птичий дом на заветное дерево посреди леса повесить, зерен насыпать и забыть на год.

Круг времени повернется, будет снова семья те места проезжать по звездам, должно вернуться и глянуть — если приняли птицы подарок, свили в домике гнездо — хорошее дело, с этих пор до самой хвальной смерти чирило — птица лесная будет под крылом хранить дыхание.

Уйдет в лес мальчик, вернется мужчина.

Сядет делать нож-чури, не то серп, не то соколиный коготь, ветер пополам сечет, лунный свет режет, как мужское слово.

Все исполнил Тодор, смастерил птичье вардо окаянной левой рукою.

Раным рано нагишом пошел в чащобу шумную. Крест на шее, под ребрами — шершень, рыжи кудри медной цепью опоясал.

Увидал Тодор на холме буковину.

А в той буковине дневала колодовала дикая двуглавая яблоня, белая овца посредь черных, снежное цветение в облаках купалось, листья были как динары, вся в тумане по колено, под корнями бил источник, долголикий Бог в развилке на весь мир раскинул руки.

Преклонил Тодор колени, помолился троекратно, обнял ствол, припал губами.

Сорок птиц в ветвях запели, били малыми крылами. Как олень, играло небо. Но одна из птиц молчала.

Для нее старался Тодор.

Высоко взобрался Тодор, птичий дом приладил верно.

Сама яблоня-царевна ветками его ласкала, голосила куполами золотой туманной кроны, выговаривала имя. Ключ холодный помутился.

Того не заметил рыжий Тодор, что выследили его в лесу завистливые черные братья.

Место запомнили, злое замыслили, вернулись в табор, друг друга локтями под ребра толкали, подначивали.

А на что подначивали, то умалчивали.

Пусть узнает Тодор горе.

Минул год.

Табор Борко стал на краю приметного леса. Всего на день опередили Тодора братья. Что замыслили, то исполнили. Стали ждать.

На рассвете Тодор бросился в лес, отыскал свою яблоню. Как невеста, стояла двуглавая яблоня, осыпались лепестки на сырые камни. Поет ли моя яблоня, хранит ли дыхание мое под крылом птица-чирило.

Поднялся Тодор высоко, билась в горле становая жила чертовым чеканом. Перекрестясь, засмеялся рыжий, заглянул в птичье вардо.

Все, что надо, увидел Тодор в то утро.

Аж до сумерек дожидались жадные братья.

И дождались.

Вернулся Тодор из лесу затемно. Босой, лесным духом пропахший, скулы смуглые крест накрест лещиной исхлестаны.

Тяжело ступал по дикой земле. Нес в горсти свою птицу.

Встал Большой Борко, посмотрел исподлобья — увидел птицу Тодора, поднял руку для креста — на полкресте опустил.

Злое дело сделали черные братья — лесного скворца-пересмешника убили, прокололи ему глаза насквозь терновым шипом, мертвого в вардо Тодора подложили, разорили гнездо из зависти.

Молчал табор, из-под рогож повылезли, смотрели, как будет впервые плакать рыжий Тодор, как узнает он горе.

Вздохнул Тодор, улыбнулся, левой рукой убитого скворца прикрыл и ввысь подбросил.

Вспорхнула птица, живая, взглянула воскресными глазами на Божий мир, раз прокричала и улетела в чащобу.

— Ох, бачка, надоели вы мне. Смерть как надоели. — сказал Тодор — Вот, бачка, тебе мое слово. Пусть бабы обрядят меня в путь, с миру по тряпке, пусть оседлают мужики крестового коня. Выпал мне жребий — никто не хочет идти возвращать цыганам огонь. Дураков, бачка, нету, ну так я за дурака буду. Коли нет мне мужества, нет мне ножа, так не нож мужчину мужчиной делает, а

дальняя дорога.

Молча принесли бабы из запаса шматье дорожное, не надеванное.

Отдали нагому Тодору штаны красной кожи, рубаху полотняную с кровавым венгерским узором, жилет, зеркальцами расшитый, зеленое пальто с роговыми пуговицами и воровским потайным карманом, высокие сапоги яловые с подковами, шляпу с широкими полями.

Девочка, у которой крови первый год начались, как Новый Завет, намотала ему на шею шелковый шарф — дикло.

Старуха старая, как Ветхий Завет, подарила серебряный желудь-бубенец на гайтане, оберег от внезапной смерти во сне.

Привели мужики крестового коня. Коня пегого, чернобелого, на всех четырех копытах у того коня — четыре креста, чумовые глаза у того коня, на лбу — звезда проточная, оголовье — выползок змеиный, на спине — седло казацкое.

Огладил Тодор дареного коня, в седло с места сиганул, закрутил коня бесом-плясом, и на прощание шляпой махнул — не поминайте лихом к ночи!

Так Тодор из табора Борко отправился в долгий путь, чтобы вернуть огонь лаутарам.

Ай, ходил-гулевал рыжий Тодор любо-дорого за милую душу.

Ай, спешил-погонял, сердечный, со крестом, да без хлыста, коню на ухо шептал: "Хорошо, брат, хорошо!".

Все дожди грибные били парня в становую жилу, под крестом нательным всласть.

Тодор хохотом хохотал, кудри разметал ярь-золотом, руки крыльями раскинул.

Диким скоком по ярам да овражинам, по валежинам да урочищам скакал конь крестовый, не простой.

Ночь-полночь и день-деньской.

Три зари встречались в небе: Заря Дарья, Заря Фотиния, Зоря Маремьяна.

Разбрелись сухие грозы по лесам и сенокосам.

Торопил Тодор борза-жеребца по двухколейному шляху, по торным оврагам, по долам полынным.

Горстью в волосы хвостатые звезды падали.

О каменья бил копытом пегий коник молодой.

В гору-под гору, по бродам-перелескам, по частому березничку, по сырому черноельнику, во медвежье можжевелье, по стоеросому осиннику, где Иуда на ремне повесился.

По горбатым мостам, по седым местам, по рыбацким мосткам, по садам и травостоям, по семи монастырям, по камням меченым с утра до вечера.

Дерево Карколист ножами да секирами беременело, река Ойда-Земляника на мели котлом кипела, плотвицы-златоперицы против тока переплеском бились, а щука-калуга полотвиц самоглотом ела,

Ева из ребра нагишом встала, повела лядвием. Леилах лицо воронымиволосами завесила. Адам фигой срам прикрыл. Каин Авеля убаюкал. Братья Иосифа продали. Давид плясал веселыми ногами. Моисей Черемное море разбучил.

Птица Моголь в чащобе бабьим причетом голосила. Кулики болота хвалили на длинных ногах. Лиса-Лисафья на осиновых костылях выше леса посолонь ходила, Марфутка-водяница, Лисафьина дочка, в колодце сидела, на костяном пряслице волосья из косы вслепую крутила, зиму летом закликала.

Москва каменна на семи ногах стояла, слезам верила. Питер царю бока повытер, за то быть сему месту пусту.

Москва далеко, Питер далече — с того не легче.

А промеж Москвы и Питера Арысь-поле гречихой заросло от сих до сих.

Посреди Арысь-Поля перекресток средокрестный, полосатые столбы государем поставлены отсюда до небесного свода, там где пасмурь и зарницы сходятся.

На том перекрестке сама собой стояла церковь Временной Пятницы, вся как есть из хрусталя медового, из кедрова дерева от ворот до маковок.

Миндалем молдавским в небе голубела колокольня.

Семью семь попов служили в церкви.

Семь старух кутью варили, в печь просфоры ставили на лопатах липовых.

Плыл под купол афонский ладан.

Сам святой Лука-изограф Богородицу писал рысьей кистью по доске. Очи были, как маслины, а оклад серебряный, из Царь-Града присланный.

Земно поклонился Тодор пред иконой Чудотворной.

В свечной ящик бросил грошик, в алтаре свечу затеплил.

И с молитвой затаенной, заслоня ладонью, вынес свечу воска ярого на широкий, на церковный двор.

Налетел студеный ветер. В один миг свеча потухла. Почернел фитиль и умер. Пегий конь в гречихе плакал.

Понял Тодор, что не в церкви он найдет огонь цыганский.

Долго ль коротко скитался Тодор-всадник, знают поползни да коростели, барсуки да лисы, лоси да дикие гуси.

Подоспела осень, оземь били паданцы в садах, огни пастушьи на склонах мерцали, звезда-виноградница с востока на полсвета засияла перед рассветом.

По селам свадьбы играли, на тройках с колокольцами ездили, широкие столы ставили вдоль улиц, пиво мировое варили, холсты у церкви стелили молодым под башмачки.

Проселком ехал Тодор на коне крестовом тряской рысью, голову опустив.

Дожди косые с севера странника полосовали сверху да с исподу, крымские тополя клонились над глинистыми колеями.

Поискал Тодор, где бы укрыться от ненастья. И увидел посреди горохового поля — крестьянский сарай — крыша соломенная, стены сквозные. Спешился Тодор, коня в поводу повел под навес.

Встал под стенкой — и смотрел бессловно, как полотна дождевые вольно метлами ходили по межам недавно сжатым. Кудри развились от влаги, потемнели, тяжелея.

Битком набиты были закрома зерном и орехами — год выдался щедрый, урожайный, всех плодов земных избыток, как перед войною.

Сам крестьянин вышел вскоре. Борода совком, вся рубаха в петухах, брюхо поперек ремня свисало. Глянул он на Тодора волчищем, только губу выпятил. В ручищах тот хозин держал в клетку, заглянул в нее, заблеял:

— А, попался, чертов крестник! Тут тебе и конец выйдет.

Тодор присмотрелся — ловушка решетчатая, клетка с замочком, а замочек с секретом.

Много таких у порога сарая было расставлено от крысиной потравы.

Все пустые — а в ту крысоловку, что мужик держал, попалась большая крыса, черная, как зрачок и полночь, но с белым пятном на груди.

Теперь раздумывал мужик брюхатый — то ли в поганом ведре утопить добычу, то ли сапогами затоптать насмерть, то ли тесаком надвое перерубить по хребту и куски под дверь подбросить, чтоб другим пасюкам неповадно было урожай портить.

Рыжий Тодор подошел поближе, посмотрел на крысу в ловушке и сказал.

— Здравствуй. Меня зовут Тодор. Я — кауло ратти — черная кровь, прирожденный — цыган. А ты кто?

— Здравствуй и ты. — ответил крыса — меня зовут Яг. И кровь у меня красная. Я — крыса. Освободи меня.

— Зачем?

— А тебе бы понравилось сидеть в крысоловке?

— Я бы не дал себя поймать. Ты воровал крестьянское зерно?

— Тут его хватит на всех — сказал крыса — полюбуйся на

хозяина, жену он свел в могилу побоями да попреками, детей пустил по миру, брюхо отрастил и рад теперь зерно сгноить или приберечь до голодного года, чтобы продать втридорога. А я хотел есть. Много во мне зерна поместится, по-твоему?

— Нечего болтать, крыса! — вспылил крестьянин и затопал ногами на Тодора — А ты иди, куда шел, прохожий, не мешай мне казнить вора!

И потянул из-за пояса тесак.

Яг усмехнулся и молвил:

— Запомни, Тодор, напоследок: есть три вещи, которые нельзя продавать за деньги и запирать на замок.

— Что за вещи?

— Икона, хлеб и огонь — сказал крыса.

— Что ты знаешь об огне? — спросил Тодор.

— Все, — спокойно ответил Яг и обратился к крестьянину, умываясь в крысоловке — А теперь руби меня напополам, мироедина. Крысой больше, крысой меньше… Будешь хвастаться — велика доблесть: с пасюком справился.

Крестьянин занес тесак.

Рыжий Тодор перехватил его запястье.

— Не торопись, хозяин. Продай мне крысу.

— А сколько дашь, прохожий?

Тодор похлопал по карманам — отозвалось пусто.

Крестьянин снова занес тесак.

— Постой! Возьми за крысу моего крестового коня, — сказал Тодор.

Поцеловал пегого жеребца в широкий лоб со звездою, передал поводья крестьянину из горсти в горсть, забрал крысоловку и сорвал замок долой.

Крыса встряхнулся, встал столбиком, и по штанине да по рукаву зеленого пальто на плечо Тодору вскарабкался.

— Вот и славно — сказал Яг, устраиваясь, — теперь я пойду с тобой. Держи меня на плече, будем разговоры разговаривать, песни петь, вдвоем веселей.

Так и пошел под проливным дождем Тодор с черной крысой на плече по тележным колеям пешедралом.

Крестьянин смотрел ему вслед, коня пегого поглаживал, и по лбу сам себя стучал — не каждый день такое счастье куркулю выпадает — на конской мене цыгана вокруг пальца обвести. Разве ж знал он, что рыжий Тодор ни врать, ни воровать, ни лихву брать отродясь не умеет.

Верста за верстой, день за днем тянулись.

Рябина-бузина, ракита-чертополох, стога сенные, иконницы на перекрестках, мельницы вдали на холмах, кресты церковные,

кровли деревень да дворов постоялых, дымом тянет из низин обжитых. Будки полосатые на заставах, небо серое моросит в пустоту.

Готовилась земля к великим снегам. Соки в стволах остывали.

Шел мимо с мешком братец Середа, кума Пятница шла по улице, несла блины на блюдце. Старик Четверг из-за плетня корявым пальцем грозил.

Тодор крысу расспросами не бередил — пусть оправится от испуга. Брел рыжий лаутар, куда сердце в тесноте велело.

Раз сидел Тодор на сырой обочине, жевал ситный хлеб с кострой — у мельника харчи заработал.

Яг на полосатом столбе усы лапками канифолил, красоту неописанную быстро-быстро наводил.

Слез, покормился с горсти крошками. Усом повел, вздохнул крыса:

— Сальца бы, солененького…

— Нету сальца. Постный день.

— Вчера постный, позавчера постный, сегодня постный. Скоро в рай нас заберут босиком, журавлей пасти — месяц уж не скоромились, — проворчал крыса.

— Вот что, брат-крыса, — сказал Тодор — если все про огонь ведаешь — то укажи мне верную дорогу. Который день впустую глину месим, зима скоро.

— С чего это ты решил, что я про огонь все знаю? — удивился Яг. — Знать не знаю и ведать не ведаю. Нам, крысам, огонь не надобен, одна от него морока да потрава. Обмишулил я тебя, Тодор, как есть на голом месте. Прощенья просим, очень уж жить хотелось.

Вспылил Тодор, крысу с рукава в слякоть стряхнул:

— Коли так, ступай своей дорогой, знать тебя не хочу.

И прочь пошел, не обернувшись, в одну сторону, а Яг, хвост голый задрав, потрусил в другую.

Вскоре заозирался крыса. Трусцу замедлил. Сам себе сказал:

— Пропадет ведь без меня, дуралей, голову сломит. Эй! Постой, Тодор! Меня забыл! — да где там, пуста дорога, ветер в голых ветлах воет, тучи низкие коровами бредут…

Вприпрыжку пустился Яг — догонять Тодора.

А Тодор с дороги сбился, пустился срезать по бороздам, заплутал.

Вокруг поле голое, лес сквозной вдали синеет, мир крещеный, будто вымер. Смеркались небеса, налились по краю сумерки багровым.

Тоской-плаченицей стиснуло сердце лаутара.

Нежить из болот клубами потянулась.

Пробежали по меже Трое-Сбоку-Наших-Нет, головы кобелиные, в руках сковороды каленые, пятки навыворот.

Не заметили Тодора, не погубили.

Вкруговую на обожженной земле водили коло лесные ворожейки — зыны, вроде бабы, вроде лисы, вроде — журавли, вроде ящерки

Завлекали Тодора белыми руками, красными губами.

В смертный сон клонило парня. Маетно першило в горле.

Смотрит — посередь осенней пахоты дом пустой стоит, на семи ветрах сутулится.

Двери настежь, в горницах сухие листья, окна сослепу раззявил.

Вошел Тодор в пустой дом тяжелыми ногами, шляпу снял, поклонился от порога, в красный угол глянул, пошатнулся: взамен образов сова мертвая крестом распята, гвоздями за пестрые крылья в распял прибита, — глодали сову белые черви.

Черное место.

Вошел Тодор на свет в горницу — пуста горница, пауки углы заплели, половицы взбучились, плеснецой да погребом смердит.

Посреди горницы стоял стул венский. Весь тот стул от ножек до спинки зарос красным базиликом.

На стуле свечка мерцала, еле-еле душа в теле, огонек с ноготок, будто последний огонь на всей земле.

Повело на месте парня, маны да мороки голову помутили, кровь по жилам вспять полилась.

Взял Тодор свечку, и потянуло на стул присесть — скоротать может час, может год, посмотреть сны.

Вспыхнула свечка ярче, пламя пальцы облизало, восковая слеза скатилась — ледяной она была.

Больно сладко да ласково базилик пахнет, зимний сон навевает, смертны радости гостю сулит: ни о чем не горевать, беду не мыкать, сраму не иметь, тело смуглое покинуть, ни хлеба, ни любови, ни огня мертвому не надобно, баю-бай, спи-отдыхай, тлей-истлевай…

Уж стал опускаться Тодор на стул, как старик.

Мелко-дробно вбежал в горницу Яг, успел крикнуть:

— Давай, садись, рыжий! Сядешь на стул, обросший базиликом, окажешься на том свете!

Вздрогнул Тодор, опомнился.

Стул опрокинул, мертвецкая свечка вспыхнула злобно, да, смердя, в руках издохла.

— Бежим! — крикнул крыса.

Еле успели вон из пустого дома ноги унести. Оглянулся Тодор: стены перекосились, кровля провалилась. Сам дом сгинул, будто и не стоял вовсе.

Посадил Тодор крысу в горсть. Весь в грязи был Яг, лапы до крови истерты. Дрожал да топорщился, глаза-бусины отводил — совестился.

Простил его Тодор.

— Полезай в карман, грейся. Ты огня не знаешь, я огня не знаю. Бог все знает. Как-нибудь перебьемся.

Юркнул Яг в карман и притих до времени.

К утру Тодор снова вышел на тракт. Обгоняли его телеги да кареты почтовые.

Мелко-мелко первый снег посыпал — все, как есть, молоком заволокло. Проступило алым сквозь снежную крупу мглистое солнышко.

Крыса в кармане проснулся, тминными корками похрустел, острое рыльце выпростал вроде как подышать и говорит, между прочим:

— Так и быть, Тодор, признаюсь тебе, как на духу, кой-что я про огонь знаю. Раз воробьиной ночью подслушал: шли босиком во ржи цыганские боги. Впереди огненное колесо катилось. Чудно: жаром горело, по спицам до по ободу ползли языки огненные, искры сыпались в пляс круговертью, а дыму нет, ржаные колосья невредимы стояли, а над головой у богов бумажные голуби вились стаями. То не голуби были, а молитвы малые, которые до Христа не доходят. Знай: боги у вас огонь забрали. За так нипочем не отдадут.

— Почему? — спросил Тодор.

— Не почему, а за что — охотно откликнулся крыса — Где обида, там огня нет. Хуже смерти обида немая, лежит невыплаканная то ли в могиле, то ли в колыбели под двуглавой яблоней и долголикий Бог ту обиду день и ночь оплакивает. Про обиду цыганские боги все разом говорили, сердились, я толком не понял. Сам думай, Тодор.

— Где ж их искать-то теперь, цыганских богов, да и на что они годны, коль Христос есть?

— Христос Христом, а цыганские боги сами по себе. Они у Христа за пазухой жили, когда еще Он по земле ходил палестинской. И как-то раз Он наклонился воды испить из иордани, так цыганские боги у Него из-за пазухи наземь посыпались, и по всему свету расселились самосейкой, вас, дураков, сторожить. Одно я заметил точно: уходили боги напрямик через Холодное Дно.

В гору увела дорога. Котловина снежная под ногами

клокотала сырыми туманами. Еле-еле видны были в пелене деревенские дворы, сараи справные, крыши черепичные.

На краю долины тлело под солнцем отравленное озеро — конца-края не видать.

Черно то озеро было, как зеркало гадальное — снег в нем гаснет, а берега голые, как баба.

А на том высоком, на озерном берегу поставлен был богатый барский дом, наборными окошками посверкивал, лимонными колерами самохвалился, крыша изукрашена была самоцветами, что павлиний глаз — с высоты глядеть — так будто игрушка детская, или ларчик колдовской.

— Час от часу не легче — покачал Тодор головой, расплескались по плечам рыжие кудри, словно струнный перебор. Снегом их запорошило, будто поседел враз молодой. — И где ж это твое Холодное Дно?

— Да вот же оно. Смотри-любуйся, пока глаза на месте, — невесело засмеялся Крыса и опять в карман усунулся, корки жрать.

Посмотрел Тодор из табора Борко, и впрямь увидел Холодное Дно.

Ай, лучше б он туда и не смотрел.

До вечера бродил Тодор от двора к двору.

Диву давался: заборы крепкие, ворота тесовые, замки кованые, засовы с капканами, а для пущей верности ворота суковатым поленом подперты.

Все по домам сидят сиднем, бабы у колодцев языками не чешут, мужики работу не правят, дети не играют, колокол церковный молчит, язык тряпьем обмотан, трубы не дымят, будто в этом краю никто сроду не работал и не праздновал.

Пусто да тихо, будто мор прошелся.

Чудная деревня Холодное Дно: все хаты, какую ни возьми — с краю.

Дошел Тодор до мельницы. В доме мельника на подоконнике пирог с капустой стынет. Сидит у окна мельничиха с подвязанной щекой и блох на вислогрудии под овечьей душегрейкой давит — развлекается.

— А нет ли работы, хозяюшка? — спросил Тодор.

Баба ему в ответ:

— Проваливай! У нас в Холодном Дне работы испокон веку нет, одни страхи страховидные делаются.

— Какие ж страхи, красавица? — спросил Тодор.

— А такие страхи, у которых глаза велики. Все люди, как люди, одни мы в Холодном Дне горе мыкаем. Видал дом барский на берегу? Барином у нас посажен Княжич проклятый из самой

Столицы-города. Кровопивец. Езуит. Фармазон и миллионщик. Днем еще ничего, а к ночи — не будь помянут. Светопреставление творится, такое, что святых из церкви давно вынесли, в сарае держим от греха. Чужих не привечаем, хлебом не делимся, всяк у нас своим домком живет потихоньку. Не так плох Княжич, как его холуи да блюдолизы. Житья не стало от богохульников — даром жрут, горько пьют, девок перепортили. Всех как есть французскими духами в соблазн ввели. Были девки на деревне, одни мамзели остались. Слово за слово, пестом по столу промеж себя холуи княжеские мордоквасятся да куролесят, а иной день и нам тулумбасы от щедрот перепадают.

— Ишь ты, дело… — сказал Тодор — А сама-то ты Страшного Княжича хоть глазком видала?

— Никто его не видал. Он в барском доме сиднем сидит, как сыч поганый, хуже татарина. Говорят тебе — проклятый он. И батька его проклятый был и мамка проклятая и дед с бабкой — все они, до Адамова колена — анафемы!

— Раз не видали, чего ж боитесь?

— От, баранья твоя голова, да не так баранья, а совсем вареная! Кто ж виданного боится? — осерчала мельничиха, — Страх-то самый настоящий, коль невиданный.

— А не слыхала ли ты, матушка, есть ли у Княжича огонь?

— Все есть у Княжича! Все! И огонь, и вода и медные трубы! — тут в сердцах баба захлопнула ставни.

Тодор только широкими плечами пожал, рассмеялся и пошел напрямик к озеру, да к барскому дому.

В кармане Крыса забарахтался, заголосил:

— Жизнь не дорога? Тоже мне, цыган называется, зубы глупой бабе не заговорил, пирога с капустой не спер, а теперь в самое осиное гнездо нагишом лезет!

Тодор Яга не слушал, калину-малину в барском саду раздвигал.

Ворота гербовые вкривь и вкось повисли.

Миновал Тодор парадный двор. Розы дикие каменных баб оплели, по зимнему делу осыпались лепестками в пруды высохшие. В стойлах валялись конские остовы. На кухне печные устья забились золой, котлы салом заросли.

Дом барский вблизи весь облупленный, страшный.

Окна изнутри тюфяками заткнуты, в сундуках истлели аксамиты-бархаты, кружево да прядево, на стенах хари малеванные в рамах золоченых — на какую персону ни взглянь — плюнуть тянет. Что ни личико, так Боже мой.

Псы на паласе красном нагадили плюхами.

Осторожно поднялся Тодор по лестницам мраморовым.

В узорную залу заглянул — там за столом дубовым тесно сидели бражники да безобразники, лакали барское вино из жбанов да шкаликов, пели матерно не в лад, фальшивые деньги швыряли под скамьи, как вшей.

Коноводили кодлом холуи холуевские: вор Барма — Кутерьма в оловянном колпаке, вор Мандрыка — Залупок, гадючий Вылупок, вор Вано-Гулевано, с Того свету Выходец, а с ними Катька-Катерина, всем троим перина.

— Э! — сказал вор Барма — иди к нам, цыганок, вино пить будем!

— Э! — сказал вор Мандрыка — иди к нам, цыганок, карты мять будем!

— Э! — сказал вор Вано-Гулевано, — иди к нам, цыганок, морду бить будем!

А Катька на столе плясала фертом, подолы задирала, оголялась до пупа, туфлей била в потолок и визжала, как подсвинок.

Ни свечи, ни лучинки в зале, очаг холодный — души пропитые сами собой горели гнилым пламенем с водки дармовой.

— Всей честной компании бью челом — ответил Тодор — кто из вас Проклятый Княжич?

Захохотали бражники:

— Да мы его век не видали! Да не видя, пропили! Может помер уже нашими молитвами!

Тодор дверью от души грохнул — аж косяк скосоворотился.

— Здесь огня с огнем не сыщешь. Пошли дальше, Яг.

— Мало тебе? Не солоно? — спросил крыса, за подкладкой когтем завозился — Не буди, Тодор, лиха, пока оно тихо!

В дальних покоях отыскал рыжий Тодор из табора Борко Проклятого княжича.

Затхло в покоях, окна заколочены, ковры угаром табачным прокоптились, старье наследное до потолка громоздилось.

Сидел Княжич в парчовом кресле, смолил самокрутную папиросу, хворым кашлем на разрыв исходил.

Сам молоденький, ледащой, соплей перешибешь, суртучишко в талью, ножки комариные, рот кривой, бровь дергается, под глазами — синь синева, смотреть не на что.

Как увидел Тодора в дверях, встрепенулся, пистоль ржавый наставил:

— Отвечай, кто такой есть, убью на месте!

А пистоль в ручонке так и пляшет со страху.

— Не убивай, твоя светлость, дай просьбу сказать. — сказал рыжий — Я - Тодор — лаутар, мне серебра-золота не надобно. Поделись огнем и пойду с Богом.

Княжич глаза выпучил, пистоль выронил:

— Цыган? Знаю… В ресторации вашего брата видал. Хорошо, поете, собаки, душу вынимаете. Огня тебе? Я от последней сотни прикуривал давеча, надо бы посмотреть.

Похватался по карманам Княжич, наскреб коробок, а в нем — одна спичка шведская, серная головка последком лежала. Уж протянул коробок Тодору, но отдернул руку.

— Вот как. И тебе даром надо. Много вас тут таких ходит. Поможешь мне в беде — отдам тебе огонь, а нет — вон пошел.

— Что же за беда у тебя, Княжич? — спросил Тодор и напротив присел — выслушать. Крыса ему на плечо вылез — любопытствовать.

Как увидел крысу Княжич — ноги в кресло вздернул, в крик ударился, глаза закатил, папироской поперхнулся:

— Убери-ка эту дрянь! Укусит!

— Вот еще нежности, — обиделся крыса, свернулся нос в хвост кукишем, — Дела нет, как твои мослы глодать.

Лучше я сам тебе, Тодор, его беду растолкую, с этого задрыги толку чуть, а визгу много.

Дело такое: видишь, в уголке монетка подпрыгивает сама собой, тонким звоном. Сколь ни смотри — она не остановится, да в руки ее не бери. Эту монету сам черт в аду отчеканил — она всем деньгам мать — с нее все продажно стало и деньги по миру развелись.

Неразменная она, неизводная, неистратная. Нищему подать нельзя, украсть нельзя — уговор такой, только в торговый оборот пустить можно. Тогда Княжич освободится и на Божий свет выйдет, когда последнюю монетку эту истратит. Все его бабки-дедки бились — не истратили, только закрома набили, и ему не истратить.

— Так и есть… — всхлипнул Княжич — все наследство по ветру пустил, холуев нанял ненасытных, полстраны озолотил, в Холодном Дне — никто уж и не работает, на мои деньги живут, а чертов червонец золотой истратить не могу.

В уголке на половице червончик на ребре подскакивал, звоном издевался, сам себе жребий бросал — то орлом, то решкой.

— Велика важность, последние деньги потратить. Поезжай на ярмарку, купи что хочешь, хоть пряников, хоть полотна, хоть лыка драного, тут и делу конец, — сказал Тодор.

— В том то и беда, цыган,… что я ничего не хочу, — ответил Княжич — у меня все уже есть. Молоко птичье пятый год свиньям в колоду льем. То, Не Знаю что — по всем чуланам валяется. Сорок бочек арестантов, пятьсот мешков чистого лунного света,

турусы на колесах, яблоки молодильные, вода сухая, ну чего не хватись — все в избытке, все обрыдло!

— Да черта ль тебе лысого в ступе не хватает? — не вытерпел Тодор.

— Черт лысый в ступе — и тот есть. Вон по двору колотится! Что у тебя, у побродяги рыжего, такое эдакое есть, чего у Княжича, нету?

— Ничего. — ответил Тодор — Купи, Княжич, у меня Ничего.

— И что у меня будет? — спросил Княжич.

— Ровным счетом Ничего.

Посмотрел Княжич по книгам, по описям, просиял:

— Твоя правда, цыган! Все есть у меня, а Ничего нету! Давай твое Ничего за мои последние деньги.

Ударили по рукам Тодор и Княжич.

Замер червонец в ладони лаутара — поглядел Тодор на монету без алчи, попробовал на зуб, да с размаху в сад бросил — только по озеру круги пошли.

Княжич ахнул:

— Ты что ж делаешь?

— Обманул тебя черт, золото у него самоварное. Фальшивый был червонец — хоть и первая деньга. Не жалей.

Княжич потянулся, плечами хрустнул. Вроде на лицо порозовел, да тут и скис опять.

— Боязно мне, Тодор, на Божий свет выходить, Бог выдаст, свинья съест. Мне свобода пуще неволи. Теперь меня в Холодном Дне порвут на лоскуты добрые люди. Я гол, как сокол, а значит им работать придется. Знать, на роду мне написано в берлоге разворованной зачахнуть.

— Скажи, Княжич — молвил Тодор, а кто тебе сказал, что ты Проклятый?

— Воры сказали, Тодор. Вор Барма, и Вор Мандрыка, и Вор Вано-Гулевано. Я им верю и ты верь.

— Не буду я ворам верить. Я с ними другой разговор поведу. Посиди-ка здесь, твоя светлость, я скоро обернусь.

Скинул Тодор зеленое пальто, ремень на кулак намотал, крысу посадил в дверях на стреме, и в залу спустился.

— Э! — сказал вор Барма — иди к нам, цыганок, вино пить будем!

— Э! — сказал вор Мандрыка — иди к нам, цыганок, карты мять будем!

— Э! — сказал вор Вано-Гулевано, — иди к нам, цыганок, морду бить будем!

— Будем, — ответил Тодор и улыбнулся.

Тут и конец гулянке пришел.

До заставы полицейской от дома барского бежали без оглядки воры, а Катю-Катерину Тодор до ворот особо проводил, без рукоприкладства — баба, как-никак, нельзя ее.

Вернулся Тодор и молча взял Княжича за плечо, в сад вывел, на лунный свет, на самое Холодное Дно. Был Княжич Проклятый, стал Счастливый.

Звезды зимние высыпали над озером гроздьями. А озеро-то было и впрямь не простое — прямо поперек озера, по волнам ледяным чугунная дорога в две полосы тянулась, купалась в лунном свете, и по ней издалека паровоз чухал, воды рассекая, котел медный пары разводил, из трубы дегтярный дым стелился, слышен был гудок в тумане, фонари-янтари кивали мерно. Ездил паровоз через озеро на Безвозвратный Остров.

— Хорошо-то как на воле, Тодор, сладко дышится, — сказал Княжич, прослезился, забылся, папироску в зубы тиснул и последней спичкой чиркнул.

Вспыхнула шведская спичка, засмердела и погасла.

Не осталось больше огня в Холодном дне.

— Ах, ты… твоя светлость… только и выговорил Тодор.

Крыса чуть со смеху не помер, на спину лег, лапами болтал, дразнился.

Княжич стоял столбом, весь пунцовый от конфуза, как девица.

— Прости меня, Тодор. Виноват. Не со зла, а по привычке. Все равно это был огонь городской, тебе не годится. А видел я в детстве, как цыганские боги огненное колесо катили через озеро. Мимо они прошли, здесь не задержались.

Поискал Тодор переправу — лодки не видно, вплавь — потонешь, посуху — долго.

Один путь остался.

Попрощался Тодор с Княжичем и по чугунной дороге нагнал паровоз на озере, за шест последний ухватился, на приступке встал, в небо загляделся.

Вспять бежали луна и звезды, колеса перестукивали на стрелках колдовских.

Черный Яг сидел на широкой шляпе лаутара, считал ночных чаек от нечего делать.

Задремал Тодор навзнич на куче угля, видел сквозь сон огненное колесо.

То не огненное колесо было.

То поднималось над Безвозвратным Островом високосное солнце.

В полдень Тодор очнулся от дремы. Чур меня — ни озера просторного, ни машины-паровоза с узорной решеткой, с трубой

самоварной, с могучим котлом. Встало солнце, все, как в воду кануло, а воду ту первые петухи залпом выпили.

Вчера еще праздновали зазимки. Русаки линяли клочьями. Медведи в берлоги на бок валились. Олени и лоси сбрасывали старые короны в буреломах. Мужики меняли тележные колеса на санные полозья.

А нынче Тодор себе не верил: солнце палило, голос горлицы слышался в земле нашей. Лесные склоны веселились великим шумом лиственным, на холмах виноградники цвели, лозы заботливо на подпорки подвязаны. Каменным мхом поросли на дубравных пригорках молдаванские валуны.

Только чугунная дорога пролегала в долгих травах под ногами Тодора — еле видная в поросли, ржавчиной съеденная, будто сто лет в обед не ходили по ней тягловые паровозы на далекий перевоз.

На дегтярных шпалах цвела ягода-земляника — слепой цвет по колено, а листы трефовые. Не простая ягода. Путеводная.

Манила, тянула ягода, указывала путь.

Так и пошел Тодор по шпалам процветшим, куда заманиха-земляника вела, прямо в лето полуденное.

Долго шел, да все по виноградникам.

В потайном кармане проснулся крыса, носом повел, учуял близкое жилье: молоком пахло и березовыми поленьями.

Затревожился. Тодору на плечо вскочил, шею усом щекотнул.

— А скажи, брат-крыса, зачем на виноградных подпорках расшитые пояса да атласные ленты повязаны — вон их сколько, на ветру полощутся. От сглаза что ли? — спросил Тодор, чтоб отвлечь его от тревоги.

Яг ответил:

— Кому тут порчу наводить — вон мы сколько уж протопали, ни одной живой души не встретили. Слыхал я от дедки моего, что бабы, которые младенца заспали до смерти, так перед Господом невольный грех замаливают. Преставилось дитятко неподпоясанное, как же ему в Божьем саду виноградов за пазуху собирать, в том саду, где всем детям ягод вдосталь? Ягоды наземь попадают — душеньки сытые голодную душенку на смех поднимут. Вот и горюют матушки, дарят ленты да опояски — чтоб дитя в раю голодным не бегало. Слишком много обетных поясов, Тодор. Нешто Ирод здешних первенцев на извод пустил, коли столько матерей детей оплакивают.

Вышитые опояски и выгоревшие под жар-солнцем ленты красного атласа печально и сухо на ветру детскими погремушками трясли. Сквозила по лозам волна неутешного низового ветра.

— На то они и матери, чтоб горе горевать, диву дивиться и в радости вдвойне радоваться… Не мне о матерях толковать. — тихо отозвался Тодор, матери не знавший, соломинку сорвал, пожевал задумчиво и прибавил — а скажи, брат-крыса, отчего это место зовется "Безвозвратным островом"?

— Разное говорят, — насупился крыса — а я в одно верю: приказал как-то Царь-Государь все свои владения занести в знатную книгу. Сто писарей все уезды-губернии исколесили, всюду нос сунули, все, как есть записали — где столб, где стог, где стол яств, где гроб тесов. А один писарек — горький пьяница в здешние палестины на кривой козе заехал. Спрашивал у местных — мол, как да что тут прозывается, а попадались ему остолопы да дремучие бестолочи, мычат и зенки пучат — так ничего и не вызнал писарь-пьяница и решил в путевую грамоту записать этот остров «Беспрозванным». А так как нализался накануне в шинке красной водки, окосел, да и вывел вензелем «Безвозвратный». Бумага-то казенная, не жук начхал, а нерушимая печать государева. Так менять и не стали, махнули рукой на описку.

— Горазд ты врать, братец-крыса — усмехнулся Тодор.

— Верно. Вру. — признался Яг — может потому, вру, что сам не тороплюсь достоверно узнать, отчего этот остров и не остров вовсе, а сам из себя Безвозвратный.

Вспархивал винтом, заливался трелями жаворонок в просини облачной.

Канула в сырую папороть попутная земляника-самоцвет.

Открылся перед Тодором из табора Борко город на холме виноградном.

Ай-да, город!

Стены сахарные, крыши киноварные, торчат золоченые кочеты на шпилях, реют флаги двухвостые, праздничные колокола гудят львиными зевами.

На воротах зубцы унгаринской резьбы, смотровые башенки, а вокруг сады, сады, сады — снежным кружевом кипели.

Ворота настежь — заходи, прохожий.

Прямо в те красные створы муравами да райскими птицами искусно расписанные и вела чугунная дорога — вроде, как, смекай, тут всему пути гостеприимный конец.

Обрадовался рыжий лаутар, брату-крысе подмигнул:

— Ну смотри, Яг, разве не чудо, экий пряник одномёдный нам Господь от щедрот из рукава стряхнул. Ты не хочешь, я отвечу — от того это место безвозвратное, что дураков нет из земной благодати возвращаться!

Только успел молвить Тодор — новое диво — заиграли

трубы, часы надвратные пять часов пополудни отбили звоном голландским, заплясали на курантах крашеные куколки апостолов, и повывалили из ворот обыватели навстречу великим парадом.

Музыка играла, трубы да литавры. Солнышко на парче вельможной переливами гуляло. Во главе шествия девка-зубоскалка на рушнике пудовый каравай перла. Позади пылил бровастый староста с пудовыми ключами. На осляти ехал поп, кадилом покачивал на серебряной цепи, чадил ароматами и фимиамами, "многая лета" возглашал из бороды. А борода поповская росным ладаном умащена, в тесны косы завита. Все остальные горожане — полы кафтанов задрав, да подолы поддернув, бежали гурьбой, как Бог на душу положит, тащили зеленые сватовские ветки — «дрэвца», сотенными билетами да бисерными ожерельями украшенные, как на свадьбу или Вербное. Пыль подняли табунную.

— Добро пожаловать, гость дорогой! Гость в дом — Бог в дом! — завопил староста бровастый, налетел филином, в обе щеки троекратно расцеловал одуревшего Тодора, — откушай с дороги нашего хлебушка пшеничного, крутой солью солони, бражкой новой не побрезгуй!

Принял Тодор гостевой ломоть, ковш поднесли — осушил. Только рот открыл, чтобы спросить, с чего такие почести оказаны — но староста бровастый опять с целованием полез — а обыватели «дрэвами» затрясли, «виват» — хором грянули.

Литавры в дребезг ухнули. Трубы с реву распаялись. Девки-бабы завизжали, посрывали чепцы да ленты с голов. Поп молитвами давился. Гулеванили колокола — звонари на семь потов исходили, веревки бередя.

Веселый и богатый народ обитал в городе на виноградном холме — все белоголовые, голубоглазые, похожи друг на друга, как яйца от одной несушки — ладные, гладкие, отборные человечьи яблочки

Женщин мало, но которые попадались: грудастые молочные, в бедрах полны, как ведра. Приплясывали, на молодого кобыльими очами заигрывали, белые зубы показывали.

Мужчины — жохи травленые — в черных кафтанах с шитьем, в соломенных шляпах. Шляпы повиты по тульям шелковыми лентами, петушьими перьями, ягодой малиною, щегольским стеклярусом.

Рукава у мужиков до локтей закатаны были — а под кожей жилы мясницкие от силы перекатывались. Сами коренасты, как медведюшки, все, как есть средних лет, самый сок. Сыты, пьяны и нос в табаке.

Все так, да что-то не так.

Моргал Тодор, от радушия опешив, в толк взять не мог, что ж не так, и вдруг понял. А что понял, до поры сказать не осмелился.

Староста бровастый свою линию гнул, за пояс обнимал, будто кум или панибрат:

— Не уважишь ли нас, приезжий, добрым словом? Расскажи, кто такой есть, да откуда прибыл, дело пытаешь или от дела лытаешь, а мы тебя охотно послушаем.

— Я — Тодор из табора Борко — начал было Тодор — я - цы…, - но тут Яг чертом из кармана выскочил и заорал на полслове, что есть духу — обыватели аж ахнули и Тодора не дослушали

— Цы. ркач он!!! Мало ли всяких слов на букву "ци"?! Он — Циркач, а я при нем — специальный Зверь на Цырлах! Видали, как могу!

Встал на задние лапы, вытянулся бутылочкой и чуть не вприсядку на пыльном месте заплясал коленцами сударыню-барыню — как есть Зверь на Цырлах.

Горожане радушные-простодушные в ладоши били, хохотали, осыпали крысу медными денежками.

Тодор про себя сокрушался — уж не сошел ли с ума брат-крыса.

— Циркач… А что ж ты в таборе делал? — прищурился староста бровастый и опять повис на нем, как киста, — ну циркач, так циркач. Нам, Тодор, это дело прохладное, без разницы. Да и волосы у тебя не смоляные, а как есть солнечные. Что тоже не особо хорошо, до нашего исконного белокурья далеко, но от гостя все стерпим. Вот брови темноваты. Но и это дело — хозяйское. Если что не стесняйся, дружка, мы цыган любим. У нас к цыганам особый счет имеется. Признайся, что тебе стоит.

Помолчал Тодор и спросил наконец, то, что прежде понял:

— А почему среди вас ни детей, ни стариков нет?

Расплылся староста в улыбке елейной, будто арбуз початой:

— А мы сами себе дети, Тодор дорогой! Мы те самые дети, которых цыгане украли! Просто мы выросли и построили город. Свои дети нам не надобны. И старики ни к чему, одна от стариков перхоть да расслабление умов. Полно, брось! Такую золотую голову, как у тебя, грех посторонними мыслями утомлять. Что тары-растабаривать, пожалуй, гостенек к мировому столу, ради тебя вина ставлены, ради тебя пиво варено, ради тебя свиней колем-слышь, как на солнышке под ножами визжат!

И вправду: смертно визжали в городе под ножами свиньи.

С шутками-прибаутками поволокли Тодора на городскую площадь, за широкий стол, усадили во главе, сами расселись,

скамьи сдвинули, подблюдные песни затянули, затолковали толки полупьяные. Чего только не было на том столе!

Обносили шинкарки столы брынзой с травами, с пылу-жару сырными калачиками, красными колбасами, что в крови плавали, ливером в подливе, печеными свиными головами стоймя на блюдах с пшенною кашею, резали на досках сладкие маковники. Наливали в чаши с высока из носатых кувшинов изюмное вино.

Кружки в кружки брякнули — побежала через край веселая пена.

Покатилось гулевание да ликование.

Глодали бражники свиные мослы, лакали из шкаликов, хлопали по кожаным ляжкам, братались, белобрысыми лбами стукались, из бочек дубовых затычки выбили — потекла потеха!

Синели над площадью поливные маковки Ладана-Монастыря. Колокола смолкли, звонари к общей чаше спустились. Кресты на солнцепеке червонным отсвечивали, и показалось Тодору, что кресты Ладан-монастыря из двух кривых ножей составлены, да видно глаза изменили на миг — вдругорядь взглянул: обычные кресты, а меж ними — облака проточные да ласточки быстрые.

Яг в пустую кружку влез, буркнул, что голова болит, заткнулся изнутри овсяной лепешкой, да так весь пир и просидел затворнем.

И голоден был с дороги Тодор и жаждал, но сладкий кусок в горло не шел, вино уксусом драло горло — не привычны были рыжему лаутару без причины почести.

К вечеру зажгли факелы смоляные и цветные огненные кубышки. Племенные девки, повели ногами гладкими, сошлись под огнем по-две, по-три, подбоченясь, сытыми мясами и густыми волосами затрясли.

Гладкий поп, на то не смотря, выводил гнусавые стихиры.

Отплясывали девки оборотную кадриль, собутыльники реготали да подпевали в лад:

— Черви, жлуди, вини, бубны! Шинь-пень, шиваргань! Эх раз, по два раз, расподмахивать горазд, кабы чарочка винца, два стаканчика пивца, на закуску пря-нич-ка! Для потешки де-воч-ка!"

Пошли девки в круг кола с лентами, вскипятили молдаванский жок. Тут и Тодор не вытерпел — пошел в жок частой дробью — рукава белые раскинул крестом, пояс кожаный влитой — долог волос золотой, взглянул будто ожег. Кидали промежь себя девки срамной жребий — кто с ним будет в эту ночь, ни одной жребий не выпал.

Вспыхнули, затрещали, рассыпались монистами потешные шутихи да ракеты хвостатые — коварные искры в сады падали на излете и новые чудо-огни в небесах расцветали волнистым

персидским сиянием.

А напоследок с треском полыхнуло в ночи огненное колесо, завертелось, зашипело, разлетелось звездами.

Красота небывалая, сердце екает — на громы да молнии рукотворные любоваться.

Обрадовался Тодор, колесо в сиянии узнавая, бросился к бровастому старосте:

— Спасибо за добрую встречу, но ей-Богу, я не Свят-Георгий, не королевич королевский, не пристав становой, чтобы мне «виваты» кричать, насилу потчевать, да пасхальные вина из погребов выкатывать. Я и малому рад. Не поделитесь ли вы со мною праздничным огнем, вон его у вас сколько — светло на площади, как днем, окошки пышут, каждая веточка на городских деревьях римскими свечами украшена. Мне бы хоть одну искорку с ваших праздничных ракет добыть. Такого рассыпчатого огня я еще никогда в руках не держал.

Староста изрядно хмельной, уже парчовый кафтан скинул, в одной рубахе потел, носом в миску клевал, но встрепенулся, кулаком по столу ахнул — вся посуда заплясала, девки танец сбили, музыканты замолчали, опустили смычки. Зычно гаркнул староста:

— Гость желает праздничного огня! Дадим ему?

— Отчего не дать! — лукавым хором отозвались горожане.

— Задаром отдадим огонь праздничный или за услугу?

— За услугу — лукавым хором отозвались горожане.

— Ты сам все слышал, Тодор — циркач. — сказал староста — не бойся, услуга тебе не в обузу выйдет, а в удовольствие. Видишь ли — для нас прибытие гостя — первый праздник. Раз в год такое выпадает, как Светлое Христово Воскресение. Нам для гостя ничего не жалко и мы его задачей не обидим. Согласен ли ты месяц пасти наших овец? Есть у нас небольшое стадо, за ним глаз да глаз нужен. Хлеб, соль, или иные приятствия — тут староста девку посдобнее за щечку ущипнул, — наши, работа — твоя. Да и работа — не бей лежачего, овцы у нас смирные, а волки из наших краев давно ноги унесли! В канун Иванова дня рассчитаемся — получишь ты от нас праздничный огонь и ступай к Богу в рай!

— К Богу в рай! — хором отозвались горожане.

— Согласен месяц пасти овец — сказал Тодор.

Горожане напоследок за него здравицу подняли, "пей до дна, пей до дна, пей до дна!". Сам Тодор вроде с ними пригубил лютого вина, но больше за плечо вылил.

Вслед за тем отвели гостя спать в старостин дом, в семи водах выкупали, уложили на семь перин, пуховые одеяла поверх навалили — так что Тодор едва не задохнулся, и когда остался

один, живо слез на пол, подстелил зеленое пальто с роговыми пуговицами на половицы и лег без сна. Крысу из пустой кружки вытряс — тот артачился, вылезать не хотел.

— Ну, как дела обстоят по-твоему? Попасу овец до Иванова дня, дадут нам огня праздничного. Все ты проспал, дуралей, радостный тот огонь, буйный, самый, что есть — цыганский. И колеса в небесах вертелись, огненные. Разве не нашли мы, что искали?

Яг зевнул — потянулся с носа до хвоста, размял лапки прыткие.

— Уж точно, нашли на свою голову, что не искано. Дом горит, цыган не видит. Дал слово — будем пасти овец. Ох, Тодор, верь слову — где овцы, там и волки.

Тодор без зла крысу по носу несильно щелкнул:

— Эх, ты, зверь на цырлах… Одичали мы с тобой в странствиях, от людей отвыкли. Всюду каверзы и капканы мерещатся. Людям верить надо. Кстати, с чего это ты меня на дороге перебивал, про циркачей да цирлы ерунду горланил? Какой я тебе циркач, когда я прирожденный цыган?

— Голову напекло. Вот дурь на меня и накатила. У крысы умишко с орешек, какой с меня спрос, тварь я бессловестная. Зато горожане — слышь, как храпят спьяну за стенками, потешными пушками не разбудишь. Верно говорят — меньше знают, крепче спят, — сухо ответил крыса загадкой, и ткнулся Тодору под мышку до утра.

Тихо-тихо плыла над дремным миром, над киноварными крышами старуха-полночь на медных медленных крыльях. Как она упала, так и утро стало.

День за днем с пастушьей сумкой на плече гнал Тодор отару к голубым покосным пастибищам на окрестных холмах.

Складно бежала отара — ни одна не отбивалась, не упиралась, не хромала.

Тех, что послабее, пастух на плечах переносил через ухабы и гати.

Всего овец было двенадцать — не велико поголовье для тороватого города. Все белорунные ярочки.

Ленивая река стороной катила зеленые воды. Церемонились в зарослях хохлатые цапли. Речная трава русальная по течению клонилась на отмелях. Неподвижно серебрились в потоках рыбешки. Река с виду судоходная — а ни лодки, ни плота на глади не появлялось.

Тодор ловко управлялся с двенадцатью овцами, собак же ни пастушьих, ни сторожевых в городе не водилось, ни к чему они. Не только собак в городе не было — а еще и погоста. Ни в стенах

Ладана-Монастыря, ни на выселках, не стояли поминальные кресты. И записок за упокой не подавали, и свечей на канун не ставили в родительские дни. Будто и впрямь Рай-город был построен на виноградном холме. Без смертной тоски жили украденные цыганами взрослые дети.

Поначалу ночевал Тодор у старосты, а как стало невмочь в духоте, переселился в пастушью кошару на зеленом склоне. Ровные травы волнами вниз катились, на одиноких раскидистых деревьях чернели аистиные гнезда. Грозы ходили на горизонте безвредно бередили сухими громами дальние выси синих лесов.

Тревожно кричали чибисы. На весь свет по безлюдью разлилось духовитое цветение медуницы. Наполнились луга от дна до голубой каймы холмов пчелиным гулом.

Вечерами левой рукой Тодор разводил костер, варил кулеш на ужин, чистил бурачки. Овцы в жердяном загоне белым облаком сбивались, отражался огонь в кротких скотьих очах. И глядя на тот огонь, печалился Тодор о родичах своих, которые в темноте и холоде кочевали. Потому что грел котелок у кошары огонь не цыганский, не человечий — овечий огонь. Господь к скотам милостив, но с собой такого огня не унести в туеске.

Прогорал костер, алыми жужелками ползли сполохи по головешкам. Тодор считал звезды до полуночи — да все сбивался со счета. Незаметно менялись над ним начертания звездных течений. К рассвету падала на сизые пастбища медяная роса. Зернами гранатными рдели во мгле Стожары.

День за год тянулся, ночи без счету.

Яг невесть где пропадал, разве на часок-другой забегал, болтал, что под корягой у реки живет крыса — из себя красавица писаная. Вот и повадился он с ней без огня да без опары оладушки печь. Похвалится, на задних цирлах пофигуряет, и юрк в траву — оладушки, мол, стынут, недосуг!

Близилось равноденствие.

Не спалось Тодору. Сердце билось. Как сумерки — что за притча, не сходится овечий счет. И ладно бы — убыток, а наоборот — приблудная овца мерещится.

Дремлет смирно белорунная дюжина — а нет да нет, как из под земли, покажется — тринадцатая овечка белее-белого, топочет точеными ножками, печально голову клонит и блеет, будто окликает на свирели. Входил Тодор в загон, считал заново — все на месте, лишней нет. Качал головой, пожимал плечами, возвращался к костру.

Снова раздавался жалобный поклик овечки — вскакивал Тодор на ноги: тринадцатая овечка, чернее черного, топтала

точеными ножками, печально голову клонила.

Но стоило Тодору приблизиться — лишняя овечка исчезала, как серебряный прах на ветру.

Никогда не являлась овечка ночью — а только в сумерках. Лишь раз увидел ее Тодор на водопое в полдень. Стояла овечка на высоком берегу реки и звала, молила, плакала, что не понимает ее речи Тодор. Разделяли их солнечные перекаты переправы.

Побледнел Тодор, потому что была та овечка с левого боку — белее белого, а с правого- чернее черного.

Вскрикнуть не успел, расточилась вещая овечка в солнечных лучах — только брызнули стрекозиные отсветы от зеркалец на жилете лаутара.

Наступила последняя ночь накануне Иванова Дня.

Вечером на запах вареного хлебова пожаловал Яг.

Помятый он был, хромал на три лапы, усы оборваны. Лакомился без вкуса. Фыркал. Слово за слово — вытянул из него Тодор правду: настряпали они с крысой-красавицей оладушек — десяток байстрючат черных с белой грудью, а тут в нору законный крысовин ввалился и всякое дело произошло.

Тодор не стал друга осуждать, рассказал о диковинной овечке. Насторожился Яг, даже хромать перестал.

— Ложись спать, рыжий, ни о чем не думай, я за тебя посторожу. Всего ночь потерпеть надо — а там разочтемся, и делу конец. — и когда завернулся Тодор в рогожу и задремал, — Яг прибавил вполголоса — пронеси, Господи.

После полуночи разыгрался над холмами и виноградниками матерый ветер.

Попятная рябь на реке забурлила, ведьмовсими кругами полевые сенокосы завернулись, полегли.

Справляли свадьбу вихри налетные, вихри полночные, вихри лесовые, вихри болотные, вихри наносные, вихри неведомые.

Разметало по земле уголья тлеющие, застонали в загоне овцы. Проснулся Тодор в темноте, будто ударили по щеке.

Сел, руки в замок на коленах сцепил, окликнул Яга — тот к ногам жался, бормотал с перепугу. Бросило порывом ветра цыгану волосы в лицо.

Вспыхнул и зазыбился серными искрами перед лаутаром синий огонек — болотный фонарик-ман.

Блудящий свет, неуловимый, неблагой.

И удаляться стал. Отступит — помедлит в мольбе. Чудится, то ли овечка, до ли девушка плачет.

Встал Тодор и последовал за болотным огнем по сырым лугам, не раздумывая.

Яг в отворот сапожный вцепился, крикнул было: Не ходи!

Пропадешь!

Поздно.

Высоко в поднебесье свистела крылами чума, летела дикой уткой, голова и хвост у ней змеи-медяницы, а голос у нее, как младенец мамку кличет из лесу, где бросили.

Звезды на ветру гасли одна за другой, кричали овечьими голосами.

Шел Тодор за болотным огоньком по четырем кладовым травам, как по четырем Евангелиям.

Была Плакун-трава, трава ангельская, алтарница, плакала она долго и много, а выплакала мало, не катись ее слезы по белу полю, а катись ее слезы к Богу на подмогу, заклинали ее слезы беса-полубеса, Полкана-Полейхана, Еретницу простоволосу, русалку-Моргунью, змею Македоницу, семь Бесиц-Трясовиц, Иродовых Дочерей, омывали слезы злыдней, изводили в подземельные ямы, на три замка сиротских.

Век веком слово мое.

Была Сон-трава, черный сбор, очи орлиные, резали Сон-траву стеклянными серпами, клали в студеную воду о полной луне, шевелилась в той воде Сон-трава, как душа жива, говорила добро и зло — все увидишь, что есть, что было, что будет, что могло.

Век веком слово мое.

Была трава Колюка — от Петровского поста, бычий цвет. Засушила траву — Колюку баба, положила в коровий пузырь повесила на ветродуе в навьей церкви, где поп в алтаре удавился. Стала та баба век молода, сколь ни блудит — к утру опять девка. Но как прорвался тот пузырь, выпала трава Колюка — в сей миг постарела баба и на месте изгнила — на могиле ее новая трава Колюка выросла, другую бабу молодить.

Век веком слово мое.

Была трава Тирлич-Перенос, цвет с венцами, львиные когти. Бросишь в реку — поплывет трава Тирлич-Перенос против тока, в рот положишь веточку — обернешься медведем, соколом или колодцем. Та трава от погони бережет. Коли пойдешь с ней в руках мимо речной мельницы — колесо вспять закрутится, выйдет черная мука.

Век веком слово мое.

Вброд по бедра перешел Тодор реку — огонек трясинный будто по воздушному мосту перенесся и посреди поляны на краю леса замер, разгорелся на плохом ветру в ширь — синюшным отравленным пламенем. Пробрала до костей лаутара смертная дрожь, кости во плоти зазнобило — на поляне лежал снег сугробами — веяло ледяным волчьим декабрем.

Не струсил Тодор, ступил на сухой снег, сжав крест

нательный в кулаке, заскрипел наст под сапогами.

На снегу вокруг ледяного костра сидел мертвый табор, музыка плясовая слышалась из ничего отовсюду.

И росла дикарем на снегу пятая трава.

Трава Нечуй-Ветер, что растет зимой по берегам рек и озер, только слепые от рождения могут ее почуять. Ступит калека на эту траву-тогда в его слепые глаза будто кто-то колет иглами, успеет сорвать, будет здрав, не успеет — к утру метель слепого похоронит.

Век веком слово мое.

Босиком на остриях травы Нечуй-Ветер танцевала для мертвого табора девушка.

Весело танцевала свадебную пляску косульими ножками. Прогибалась будто без костей. Ковровая шаль на плечах крыльями соколиными взметывалась. Резвые бедовые руки говорили без слов жарко. Семь браслетов на запястьях спорили острым перезвоном с с кольцевыми серьгами. Семирядные подолы ночные с красными цветами вокруг бедер ворожили.

Левая коса девушки была белее белого, а правая — чернее черного.

А глаза, как у бесенка, искусные да быстрые. Смеялись те глаза, а на ресницах — слезы стояли.

Заметила Тодора плясунья — перебором пальцев поманила-обманула, ладонью оттолкнула на лету.

Не дрогнул Тодор перед мертвым табором.

Не цыгане вокруг болотного огня собрались.

Двенадцать человек молчали, в лад пляске ладони медленно сдвигали.

Еврей-переселенец сидел печально в кафтане балагулы, держал меж колен кнутовище.

Его жена в парике припала к мужнину плечу — разбитый кувшин молока и хала черствая лежала в переднике ее.

Двое подмастерьев бродячих друг друга за плечи обнимали, стоял в ногах ящик с плотницким инструментом.

Слепой майстр киевский с колесной лирой, при нем мальчик-поводырь а одной рубашонке.

Старый русский солдат, рекрутчину отбывший — возвращался видно в родные края, да так и не вернулся — понурился в сером мундире с медными пуговицами, в старой фуражке, один рукав пустой к мундиру подколот.

Нищий богомолец с узелком сухарей и чайничком на поясе.

Каторжанин беглый с "бубновым тузом" на спине.

Офеня с коробом мелочного товара.

Шарманщик в итальянской шляпе с обезянкой Фокой в

красных штанах.

Были и другие на вечном снегу — всех Тодор не запомнил, жалость горло парню перехватила костяной своей рукой.

В лицах людей ни кровиночки. Глаза горькие во впадинах мерцают. Горла впалые искалечены. Кровь на лбу сгустками запеклась. Освещал их снизу зловеще огонек-лихоманка. Тянули безмолвные люди ладони в ледяное пламя, чтоб согреться и роняли бессильно бледные руки на бескровный снег.

Прервала цыганка пляску, играя, хлестнула Тодора по плечу седой косой.

Сошла с острия травного — и встала близко, посмотрела со слезами снизу вверх. Под наборными грошиками, под рубашкой красной с вырезом грудь малая недвижна оставалась, не дышала девушка.

— Не боишься, Тодор, моего мертвого табора?

— Нет, моя ты хорошая. — ласково ответил лаутар — Какой же это табор, только мы с тобой здесь цыгане.

Словно в дурноте, провела цыганка рукой по лбу, вздохнула устало, зазвенели в черной косе серебрянные гривеннички.

— После смерти, Тодор, все цыгане. Своего угла нет, никому не нужны, со двора насильно выносят. Захотят вернуться — гонят их живые железом, Псалтырем и свечой… Прости их, они все без языка. Исхода им отсюда нет. Больно им и холодно.

— Ты звала меня на переправе? — спросил Тодор.

— Да. Только днем ты моей речи не разумел. Днем я оборачиваюсь овечкой и говорить не могу. Меня зовут Миорица. Я должна открыть тебе правду. Горожане тороватые много лет тому назад были шайкой разбойников. Награбили великие богатства, крови напились, натешились над слабыми, решили оседло зажить, как все, город на кровавом золоте поставить. Великой гордыней возгордились — мол только их порода на белом свете — сильна да чиста, а все остальные — семь пар нечистых — пеплу да изводу подлежат.

Но земля разбойников не носила, дрожала под ними земля от мерзости. Только что построят, все к утру в развалинах лежит. Пока не догадался атаман бровастый заклясть город новорожденный на тринадцать человеческих голов. Так и стало. Раз в год под Иванов день, привозит поезд в город одного приезжего. Встречают его с почестями, золотые горы сулят, всякому на свой манер лгут. А как займется заря равноденствия начинают горожане охоту. Гонят чужака по окрестностям, пока не забьют до смерти, как лесного зверя. Уже двенадцать лет свой город мертвецами выкупают. Ты — тринадцатый, Тодор.

— Неужели нет от них спасения? — спросил рыжий.

— Есть один способ. Если хоть один человек до заката солнца продержится и в живых останется — заклятие спадет. Но такое испытание человеку не под силу. Так что, беги от звероловов заранее, Тодор, пока жив. Забудь о нас.

— И ты была убита, Миорица? — тихо спросил Тодор и на два дыхания всего задержал в руках больших ее ладошки смуглые и узкие.

Отпрянула Миорица, отвела взгляд, концом ковровой шали прекрасное лицо затенила.

— Нет. Обо мне говорить не время.

— Я остаюсь, — просто сказал Тодор, скулой прикоснулся к смуглой щечке Миорицы, в пояс поклонился мертвому табору и вернулся в кошару на зеленом склоне.

Сбросил одежду, наплескался вдоволь в звездной купальской реке, волосы жгутом на гайтан подвязал — опоясался тщательно, как на свадьбу. Перекрестился, голову в небо запрокинув, рабочей левой рукою.

Надсадно и тесно было в грудине — помирать тошно, а отступать того тошней.

Затлела на востоке полоса-багрянец.

Показался лезвием молодого солнца край.

Посадил Тодор крысу на ладонь.

— Прощай, брат-крыса, беги в луга, спасай шкуру, вдали целее будешь. Если достигнешь кочевых родных краев, правду им не говори. Солги отцу и братьям: женился Тодор на чужбине. Взял себе с косой девицу — всей змели царицу. Ели да платаны дружками стояли. Солнышко с луною мне венец держали. Черная скала — батюшкой была. Чаши были — гнезда. Свечи были звезды. Вдруг звезда упала, все незримо стало. Сплели новоженам два веночка величальных: розмариновый и зеленый. В розмариновом венце мне в плясовой круг идти. А в зеленом венце на ветру висеть. А больше ничего не сказывай, не надо им знать.

— Что ты, дурень, мелешь! Меня в Иуды рядишь? Куда я без тебя, в каких, черт дери, лугах шкуру беречь? — обозлился Яг, за палец Тодора больно тяпнул, сунулся ему за пазуху, надулся, как на крупу, и назад ни в какую, растопырился, что твой репей, и все тут.

В последний раз поднялось на Безвозвратным островом косоглазое високосное солнце.

Испариной курились заливные луга без конца и края.

В свадебной истоме волнами молодела земля.

Захрипели черные охотничьи рога. Трудно заговорили тугие барабаны. Ленивой поступью вышли грязые звероловы из расписных ворот.

Не поймешь — где бабы, где мужики — у всех головы до плеч покрыты волчьими головами высушенными. Вместо языков в пастях — стручья жгучего перца, в руках ружья с серебряными прикладами, да острые топорики — валашки на длинных рукоятях.

Кто верхом, кто пешком.

У подножия холма растянулись цепью, заулюлюкали, засвистали, трещотками завертели над головами, будто прокаженные.

Верховые открыли охоту с гиканьем и нагайками.

Бросили коней в короткий собачий галоп. Закопытили землю мокрую до травяного сердца разлетными комьями.

Стиснув зубы, побежал Тодор по мокрым травам, во рту сердечная кровь выступила, как огонь бились кудри на ветру — выдавали беглеца с головою.

Вспорхнули аисты с гнезд от первых выстрелов. Болиголов, гнилостой и чертов табак засмердели под сапогами и шипастыми подковами.

Черным туром торопился Тодор по карпатским тропам, лисовином вспять петлями бросался, русаком травленным по пустошам плутал, оленьей грудью разрезал речной рогоз напролом от смерти, по кручам кубарем скатывался, рыжей рысью прыскал в тростники, по колено в хлябях, по пояс в камышах да кувшинках.

Быстро-быстро билось сердце крысы под рубахой, медленно говорило в ответ сердце лаутара рыжего.

Там где левая седая коса Миорицы по плечу хлестнула — пуля шальная ожгла Тодора, выбила клок мяса с кровью. Побелел Тодор, брови сдвинул и продолжил бег, пальцами рваную рану зажимая. Просочилось алое сквозь кулак.

Качались пустоглазые волчиные головы, первую кровь чуяли.

Привольно длилась травля по купальским луговинам.

Так не весело, чужака гнать, коль не до смерти.

Кони запаленные ржали до пенной рвоты, глаза вываливали, удила грызли, рвали повода, валились в овраги — ломали хребты да ребра всадникам. На их место новые волки вставали, ярили жеребцов ножевыми шпорами под сердце.

Насмерть веселились загонщики.

Счет шагам потерял Тодор. Солнце под лобные дуги пауком впивалось. Тяжкое дело — выжить.

Тяжелым жерновом, со скрежетом на запад неумолимо клонился круг червонный в облаках.

Заволновались ловчие, сами из сил выбились, переговаривались глухо волчьими головами, топорики вострили,

палили из ружей в Божий свет, как в копеечку.

Еще две пули ужалили рыжего — упал ничком. Всадники наскакали, наладились лежачего посечь да ископытить. Увернулся Тодор от секир и сабель и на виноградный холм карабкаться начал. Чуть кожа на шее не рвалась, жилы обнажая. А все равно — улыбался черными губами заживо, солнце без голоса заклинал.

На вершине свершилось.

Подломились колени Тодора посреди площади, к звероловам обернулся парень, мол — берите живьем, сукины дети, коль ваша воля.

Подразнил близкую гибель певчими глазами. Гулко опустились веки золотые. Силы в землю мостовую вытекли с кровью.

С четырех сторон набросились волчьи звероловы, занесли лезвия, пальцы окогтили.

Пало солнце за волнистые холмы.

В тот же миг оборотились охотники, дома Рай-города и Ладан-монастырь темными деревами.

Перекручены были те дерева злобой адской, как баба белье крутит. Голые развилки, как рога, небесам грозили. Застыли в кряжистых стволах лица оскаленные.

Каркали на ветвях черные птицы ночные, к деревам прикованные навечно за горло — то не птицы, то были души разбойников — последняя плата за кровавый выкуп.

Десятью пальцами впился напоследок выживший Тодор посреди окаянных темных дерев в сырую землю.

Стоял на карачках, вздрагивал вывихнутыми звеньями костяной хребтины. Горячее дыхание в сухой надорванной глотке клокотало. Жить тесно, умирать пресно. Раны сочились. Горевал Яг на плече. Сверчки в сумерках щемкое прощание прожурчали. Пахло далеким кипреем, что на горьких гарях растет. Голосом леса шумели.

Мимо зрения прошли на свободу по небесной тропе двенадцать мертвых.

Еврей-переселенец с женой,

Русский солдат седоусый.

Подмастерья и коробейник.

Каторжанин с богомольцем.

Шарманщик с обезьянкой Фокой- красные штаны.

Слепой лирник с мальчиком об руку.

Обернулся поводырь на ходу, посмотрел на Тодора в упор благодарно живыми глазами. И знал Тодор, что теперь у мальчика руки теплые и кровь по жилам бежит.

Шли другие к Богу под темными деревами вдаль и вскользь.

Знать и мне пора спать. Помяни мя, Господи, в сиротстве моем.

Разомкнул пальцы Тодор, к грудине земной припал.

Упала на ладонь слеза.

Упала на скулу — вторая.

Слева белым лунным светом ополоснуло, справа — черная коса полуночью свесилась, загремела дунайским наборным серебром.

Нехотя приоткрыл глаза Тодор.

Сидела на земле Миорица, держала его голову на семи подолах и плакала над суженым, раны омывала живой водой из мертвых ладоней.

— Пусть дышит Тодор. — жарко шептала девушка Миорица.

— Моя ты хорошая… — еле ворочая языком, вымолвил лаутар — откуда же ты взялась здесь. Иди со всеми. Только оглянись, чтобы я посмотрел на тебя еще один раз.

Приложила палец к губам Миорица, проговорила горько:

— Я все о тебе знаю наперед, Тодор из табора Борко. С первым твоим криком я народилась. Я всегда с тобой рядом след в след ходила, на полшага всего отставала, только ты меня видеть не мог. Я — смерть твоя, Тодор. Сама себе изменила, забыла ремесло мое смертное. Забрать тебя из жизни моих сил нет. Я люблю тебя и теперь вечно с тобой буду, днем — вещей овечкой, ночью — девушкой, пока не прогонишь или люди не разлучат.

— Не прогоню… — наощупь слабыми пальцами Тодор обвел смуглое лицо Миорицы, будто богомаз — основу иконы — И люди не разлучат. Как на свечу внесенную во храм, глаза людские с упованьем смотрят, так на тебя глядеть заставлю их.

Поцеловала в глаза Тодора смерть-Миорица острыми губами.

И тогда увидел Тодор цыганских богов.

А меж ними то, что

Без конца

Без начала

А не Бог…

Что такое -

Без конца,

Без начала,

А не Бог…

А вот что такое — колесо ясное.

Под темно-синим небом, сидели на клеверной поляне у реке тесным кругом цыганские Боги.

А посреди круга полыхало языками солнца огненное колесо.

Поставили на него боги закопченный казанок с чаем,

настаивались в кипятке лаванда и фенхель.

Укрепили боги над огнем рогатки с вертелами — жарились на вертелах полевые кролики, грибы-подосиновики и хотчи-витчи — ежи печеные. Вкусно, цыганский корм.

В ивах завитых по берегам, в высокой осоке веселились шесть мальчиков и шесть девочек — росточка маленького, на каждом рубашка красная и штанишки голубенькие, вышитыми поясами три раза обернуты — концы кушаков хвостиками мельтешили. Шалили чумазые дети, резвились кувырком, играли без передышки гребешками, зеркальцами, каштановыми ядрышками и бузинными бусами.

Знал Тодор сызмала, что не простые это дети — а спорники.

Повстречает цыган в лесу маленьких подкидышей, обласкает, последним хлебом поделится, пустяков ярких надарит для игры, под свой кров ночевать пустит — так доброго человека удача, счастие и веселие век не покинет.

Стояли поодаль человечьи приношения духам — молоко в черепках, ячменные лепешки, неходовые монеты и куриные камешки с дырками, дрожали меж стеблей крошечные светильники из цветного леденцового стекла.

Паслись в мышином горошке и ландышах волшебные лошачки.

Вниз по течению колыхались, не тонули в расходящихся кругах на речных заводях березовые и черешневые венки со свечками, гадательные кораблики-скорлупы волошских орехов с угольками.

Полная луна плыла над головою колыбелью.

Пристально глядели цыганские боги в огонь.

Подошел Тодор ближе к богам. От боли все тело ныло.

Застеснялась смерть — Миорица, хотела в тень спрятаться — удержал ее Тодор с нежностью, спрятал лицо ее на груди своей. Притихшего Яга повыше посадил — чтоб видел крыса обетованный цыганский огонь.

Обернулись боги.

Сказал Тодор:

— Если вы боги, то без слов знаете, кто я и зачем пришел.

— Знаем. — ответили боги — Садись к нашему костру. Голоден — ешь. Жаждешь — пей. Но с собой мы тебе ничего брать не позволим.

— Черт бы вас побрал, боги! — вспылил Тодор, — Разве вам людей не жалко? Сколько по миру таборов мается в голоде, в холоде, в непрогляди. А вы угольком не поделитесь.

— А вы друг друга жалеете? — спросили боги, — Сами же друг другу глотки грызете, рожаниц в живот сапогами бьете, да

промежь собой чванитесь, мол, жалость — дело бабье, жалость — это слабость. А на самом деле жалость каленое железо точит. Жалость — трудная работа. Смелость города берет, а жалость города заново строит. Жалость в сердце кусает, как змея. Жалость из могил встает заживо. Жалость Христа на крест привела. И после этого с вами огнем делиться? Оставайтесь в кромешной темноте, как заслужили — без жалости. С обидой невыплаканной на коленях. Сказано тебе — садись, ужинай. Напоследок погляди в огонь, который тебе не достанется.

Онемел Тодор — возразить богам нечего. Сел над огненным колесом. Рвал руками горячее мясо. Из жестяной кружки хлебал терпкое питье с дымком. Миорицу лучшими кусками угощал, но она есть не умела.

Боги следили насмешливо.

— Сыт? Раз так, ступай себе, Тодор из табора Борко вместе с твоей невестой-смертью на все четыре стороны, на безлюдный шлях под волчьи звезды, а сюда больше не возвращайся.

Отер губы Тодор, поднялся, с тоской посмотрел на недоступный цыганский огонь в колесе. Зубами с досады скрипнул.

— Идем, Миорица. Нет у богов для нас ни огня, ни жалости.

Зацокал Яг — до того в сторонке тишком сидевший.

Хвост кольцом свил и прямо в пекло сдуру кинулся, выгрыз от колесного обода одну горящую щепочку и припустил по траве с ворованным в зубах!

Младший цыганский бог с лоснящейся косицей через плечо заметил кражу, присвистнул и запустил в крысу стоптанным сапогом, но промазал.

Другие боги засмеялись вразнобой:

— Оставь. Крысиная доля. Все равно — погаснет.

Утром у реки на белом песке под утесом отыскал Тодор Яга.

Сидел крыса, мелко трясся, обожженную морду и лапы в речном плесе студил.

Ласково взял Тодор крысу, обиходил. Мяты жеваной на ожоги налепил.

На утесе танцевала Миорица — солнышком в овечку превращенная.

А на камне у реки тлела искорка в малой щепке, которую крыса украл из колеса цыганских богов.

Бережно взял щепку Тодор. Вздохнуть боялся — вдруг погаснет.

— Спасибо тебе, Яг, за огонь. Если донесем искру до своих, все хорошо будет.

Кое-как улыбнулся крыса и спать в карман завалился.

Так и стали возвращаться пешком по тележным колеям — рыжий Тодор израненный, обожженная крыса и черно-белая овечка смерть-Миорица, которая не умела дышать.

И единственная искра от огненного колеса.

Такая маленькая и слабая в ладони рыжего лаутара мерцала.

Пробивались по следам зерна из обглоданной смертью земли.

И горела над всем миром на холме соломенная Масленица.

Костяными коньками чертили дети пруды замерзшие. С фонарями резали вензеля конькобежцы на последнем льду — и подледные рыбы в россыпь шарахались от света под стеклом мерзлых вод.

Плясали над раскаленными сковородами гречневые блины — первый блин хозяйки клали на слуховое оконце для мертвых и нищих.

Тодор купил на торжке красный широкогорлый кувшин с воронымикониками по бокам, поселил внутри береженую искру, пусть живет.

А назавтра громом и глыбами двинулся по рекам ледоход, зажглись снега, заиграли овражки.

Обратная дорога всегда короче.

Долго ли, коротко скитаясь, возвратился Тодор в родные места.

Заметил на перекрестке цыганский знак — патеран из камней голышей сложенный, шиповными ветвями и глухариной костью помеченный.

Значит близко раскинул шатры-бендеры табор Борко — полдня перехода.

Смертно утомлен был Тодор, утомлены были и спутники его.

Решили заночевать вдалеке от дороги, в лесу и утром закончить путь.

Сумерки на землю спустились быстрые, как рысаки. Потянулись над лесом облака плоские, как острова.

Расстелил Тодор на двоих истрепанное в лоскуты зеленое пальто под двуглавой яблоней в одинокой буковине.

Миорица в стороне сидела расплетала — заплетала то белую, то черную косу онемелыми пальцами.

В последние дни она грустила, глаза ввалились в орбиты, излука губ пересохла, руки и без того холодные стали вовсе ледяны и тяжелы, как свинец.

Ночью девушка отвечала невпопад. Днем едва плелась, спотыкаясь на сбитых овечьих копытцах. Все чаще Тодор нес ее на руках.

— Срок подходит, Тодор. Прости. — прошептала Миорица, укладываясь наземь со стоном, как старуха. Тодор рядом

прикорнул, подложил ей под голову руку. Черным комочком свернулся поодаль Яг.

квозь покрасневшие от соков тонко оперенные ветви двуглавой яблони просачивался длинными каплями лунный свет. Перемигивалась с ним цыганская искра со дна кувшина.

Высоко испытывали большими маховыми крыльями небесные пути журавлиные стаи — по дубравам на сто весенних верст курлыканье гомонило.

Тодор заметил в ветвях дикой яблони свою старую мальчишечью игрушку — домик для птиц — покосившийся, облезлый, дождями исхлестанный. А все-таки слышно было как щебечет, ссорится-любится внутри скворчиная чета.

Зачерпнул Тодор из источника у корней плакучей воды, как мог, смочил губы Миорицы — влага впиталась тут же в губы, как в сухой песок. Сказал Тодор:

— Смотри, Миорица… Живут, плодятся лесные птицы-чирило. Пусть и не мои птицы теперь, все равно славно.

Ничего не ответила Миорица, только улыбнулась бессильно и крестом концы ковровой шали на груди стиснула.

Дрема-не дрема, явь-не явь сковала Тодора.

Грезилось ему в тонком сне, что веки его покраснели изнутри и стали прозрачными.

Луна становилась все больше и больше, наклоняясь к успокоенной земле. Да и не луна

то вовсе — а белый вол с высокой пасекой на горбу.

Будто крепость пасека. Полна пасека с избытком лунным медом.

Покрывают ульи-башенки изразцовые венцы. Сверкают в оконцах тысячи венчальных свечечек и пчелы — медоносные монахини, поют немую обедницу.

Нисходила от белого вола царская дорога, посыпанная серебряным песочком, до слез пронзенная серебристыми лучами.

Тихо поднялась смерть-Миорица, будто исподволь тянули ее тоска и напасть.

Тело ее молодое распылилось по воздуху. Распались соломой волосы, осыпалось прошлогодней листвой платье и украшения.

Остался остов сквозной.

В серебряной накидке с маковым венком на костяном лбу вышла она на дорогу, стала удаляться к лунному волу, колеблясь грустно, как вода в колодце.

Многие шли по царской дороге вместе с нею. Костяки одинаковые, зыбкие, сквозные. Всеми забытые личины истлевшие.

— Моя ты хорошая… — в скорби окликнул Тодор, стиснул кулаки — ногти в мякоть впились, — Не оставлю тебя, Миорица.

Пересилил грезы и слабость, встал, как под ярмом, и — была не была — расколол о камень под яблоней заветный красный кувшин с воронымикониками по бокам.

Бросился вдогонку по царской смертной дороге — гремели голые кости, сталкиваясь оскалами, треском немыслимым. Трубным гулким ревом отозвался белый лунный вол, закинув голову с лирами-рогами.

Взволновалась царская дорога.

Среди многих одну разыскал и узнал Тодор. Живую левую руку к мертвой руке протянул.

Ладонь костяная с ладонью смуглой соединилась — будто сквозь стекло.

На последнем дыхании вспыхнула между ними краденая искра.

— Отдаю тебе огонь, Миорица — сказал Тодор.

И ничего больше не видел. Свалился, как колотый бык, без памяти.

Позднее утро в глаза ударило.

Рывком вскочил Тодор на ноги. Краснели черепки разбитого кувшина под яблоней.

А за спиной лаутара у плясового цыганского костра сидела и стряпала девушка.

Обе ее косы были темны-вороны, короной заплетены на затылке, чтоб не мешали.

Помешивала в котелке длинной поварешкой, а крыса Яг от нетерпения у костра подпрыгивал на всех четырех, куда не надо узкую морду совал, за что получал по лбу черенком.

Подошел Тодор ближе, сам себе не веря, обернулась девушка навстречу — заиграла на щеке ямочка, а на высокой шее мерно билась под кожей огневая жилка.

Вздымалась грудь от легкого дыхания Миорицы под наборными грошиками мониста.

Ничего не сказал Тодор, принял девушку-найденыша в кольцо рук своих. Распались косы — смешались черные пряди с кудрями рыжими.

Долго стояли. Похлебка из котелка сбежала, зашипела на углях. Тогда только вздрогнули и опомнились.

— Жаль, что след моей матери невесть где простыл. Некому нас иконой благословить, Миорица — посетовал Тодор. — Даже имени ее не ведаю, чтобы помянуть.

— Разве ты не знаешь, что у каждого — смерть своя. Нет на всех одной смерти. Назови свою смерть именем матери — не ошибешься. Миорицей звали Приблуду, так же, как и меня — ответила девушка и подвела Тодора к шершавому стволу

двуглавой яблони. — Здесь, под корнями, у родника ее погребли старухи.

Над чистым оком немолчной ключевой воды невысоко над землей проступал на стволе неясный лик Матери Всех Печалей, образок бедный, навсегда в кору вросший.

Заскрипели вдалеке по лесной дороге оси цыганских повозок — вардо. Заржали кони, уныло пели возницы. Узнал Тодор голос табора Борко, напролом к обочине бросился, увидел в головах кочевья обветшалый царский вардо на вихлявых колесах. Тянули его, надрываясь, две клячи — бывшие черкасские жеребцы. Догнал Тодор вардо в два прыжка, чуть не насмерть перепугал черноголовых братьев своих, что тащились пешком с семьями, схватил под уздцы упряжных коней и сказал:

— Идем со мной, отец! У меня есть огонь для лаутаров!

По дорожным цепям, по весям, верста за верстой зажигались весенние огни — от табора к табору передавали, от стоянки к стоянке, от ярмарки к ярмарке, от храма к храму. Поначалу тот огонь не обжигал — люди зажигали пучки соломы, купали в нем лица, окунали в пламя младенцев. А потом стал огонь обычно служить.

В честь добытчика цыгане стали называть огонь именем Яг.

Округлились бока коней большого Борко. По всему свету песни лились, месили женщины тесто для лепешек, кипятили молоко, грязь и морщины с лиц человеческих слетали, как старая полуда с котлов, души, как змеи, меняли кожу.

Дни текли весело, как встарь.

Хорошее дело.

Поставил Тодор на окраине табора Борко шалаш-бендер для себя и Миорицы из гнутых ивовых прутьев, из доброй парусины.

Яг рядышком нору вырыл. Полдня норой чванился, потом надоело, притащился в тодоров бендер без спросу спать.

Но каждое утро косился большой Борко на лицо Миорицы, узнавал тонкие руки ее, голову наклонял с угрозой, и глаза его алым бешенством наливались.

И стали лаутары поговаривать, что неладно это — одним огонь дал Бог, другим — орел небесный, третьим — волк железный. И только нам — виданное ли дело — крыса!

Стал Яг все чаще увертываться от башмаков и поленьев, что будто невзначай ему в голову летели.

Однажды ранним утром, когда все спали, Миорица зашила дорожный мешок. Тодор забросил его на плечо. Яг, как и прежде, устроился у него на широкой шляпе.

Рука об руку покинули Тодор и Миорица табор Борко и не оглянулись ни разу.

Разводил лесные кроны ветер майский, как мосты над их головами.

— Куда же нам податься теперь? — спросила Миорица.

— Бог подскажет — ответил Тодор. — А нет, сами догадаемся.

Без дороги шли, то под дождем, то по солнцепеку, то в тумане, то под радугой-дугой.

Ночью шли по семи беспрозванным звездам.

Днем — по каменным крестам на перекрестках.

День терпели. Два терпели. Год годовали.

Через час остановились в устье широкой реки. В ней брода не было. Дальше путь заказан.

Млечная мгла неслась над разливом пресным, застилала глаза плотным маревом.

Вспомнил Тодор, как подростком, в отцовом таборе сплавлял он плоты корабельного леса по порогам горных рек. И словно бы в ответ на память рыжего лаутара, разорвалась мгла курная и показался на воде белый березовый плот с прочным шестом. Мягко ткнулся боком в подмытый берег. Ступил на него Тодор, боясь лишним словом предчувствие радости спугнуть, протянул руку Миорице. Будто козочка, спрыгнула девушка следом.

Яг дробно лапами перебирая на шест взобрался, огляделся, нос по ветру поставил.

И повлекло плот могучим течением все дальше, все скорее.

Тодор едва шляпу на макушке удерживал, взвились юбки Миорицы от налетавших порывов.

Сорвало с плеч Миорицы ковровую шаль — понесло пестрой птицей в сильные выси.

И смеялись оба и плакали в одно время — потому что крепкий ветер был соленым. Усиливался плеск беспокойных вод.

Обдавало березовый плот веерами сверкающих соленых брызг.

Прояснился простор на одном дыхании.

Словно серебряная стена открылась впереди.

На сорок верст окрест разлился алозолотный солод солнца.

Белые буруны сердились на мелях. Перекатывался на близком дне янтарь. Разевались водовороты.

Заревом белизны далеко и близко воздвиглись тройные ярусы парусов.

Тут впервые дрогнул Тодор, закрыл лицо рукавом.

Крикнул Тодор против ветра:

— Страшно. Что ты видишь, Миорица? Скажи мне, что ты видишь!

— Не бойся, — отвечала Миорица и легко отвела левую руку рыжего лаутара от зорких карих глаз.

Так Тодор из табора Борко увидел Горькое море.

XVI Башня

Она же Разрушающаяся Башня.

Люди, хоть немного сведущие в Таро, опасаются Шестнадцатого Аркана куда больше, чем всех прочих. Понятно почему, Башня — это сокрушительный, тотальный каюк, генеральная репитиция Армагеддона.

Две цгенеральные интерпретации Башни: с одной стороны — Иов на гноище, а с другой — кэрролловская Алиса, столкнувшаяся с реальностью, которая изменяется каждые несколько минут, и вынужденная изменяться вместе с нею; обоим при гадании выпала бы Башня, не сомневайтесь.

Башня — концентрат пресловутой "эпохи перемен" из знаменитого китайского проклятия. Устоять на ногах тут в любом случае не получтся; только тот, кто это вовремя поймет и расслабится, получит от встречи с Шестнадцатым Арканом пользу и возможно даже удовольствие.

Люди, чью личность описывает Шестнадцатый Аркан, обладают так называемым "катастрофическим мышлением". Сталкиваясь с событием или явлением, они тут же выдают прогноз: когда, почему и каким образом этому может прийти конец (или это может послужить причиной конца). Так уж у них ум устроен. Словом, идеальные создатели антиутопий.

Мощная саморазрушительная программа есть у каждого такого человека. Одни разрушают себя изнутри, изумляя врачей обилием хворей, другие всю жизнь мечутся с места на место, превыше всего опасаясь успеха. Второй вариант, понятно, предпочтительней; что интересно — часто при невозможности убежать от собственного благополучия такой человек вдруг ни с того ни с сего начинает болеть и чуть ли не помирать — переходит к первому варианту.

Далее.

Шестнадцатый Аркан может обещать еще и раскол вероучения, о чем бы ни шла речь на практике — начиная со споров, каким количеством перстов следует теперь креститься, и можно ли вышивать гладью лик Аллаха, и заканчивая, скажем, расколом компании старых друзей, часть которых вдруг повзрослела и перестала всерьез принимать идеалы юности, а другая часть печалится такому повороту дела и укоряет «отступников».

И так далее.

Лина Рэкут
С особым цинизмом

Утренняя толпа протекала в раскрытые двери, в фойе, мимо охранников, разбивалась на тонкие струйки у попискивающих воротец металлоискателей и опять сливалась в единую массу около лифтов.

Алекс смотрел на мониторы не отрываясь.

— Ого! — сказал он.

Джей пошевелился и отложил комикс.

— Ну, чего там опять?

— Да ты смотри, какая тёлка! Я б ей вдул, честно тебе скажу.

— Слушай, ты лучше запоминай всех, кому бы не вдул. Если такие сыщутся, вечером отмотаешь запись и покажешь.

Они немного помолчали, сосредоточенно рассматривая входящих.

Джей сказал:

— Вчера я понял, как можно пронести в здание оружие. Мы проверяем автоматы с кока-колой на входе, но не на выходе, когда их заменяют. Кто там знает, без каких уже деталей их выносят…

Алекс хмыкнул. После событий последних пяти-шести лет о террористах писали и говорили всюду, даже в газетах. А Джей всегда придумывал мрачные прогнозы, проявляя в этом деле недюжинную изобретательность. Но издеваться над ним было неинтересно — во-первых, Джею издевательства были до лампочки, во-вторых, в прошлом году он действительно вычислил и задержал террориста, пытавшегося подорвать один из скоростных лифтов.

— Глянь, глянь! — опять оживился Алекс. — Вот эта, в беретке, с большим ртом! Ух, какой рот! Вот я её б…

Джей наклонил голову и посмотрел на девушку.

— Да, — сказал он, наконец, — Эту я, пожалуй, вот так бы…

Он сложил руки ковшиком и показал, как именно.

Они немного помолчали.

Лора поднялась на 78 этаж, поправила беретку, последний раз глянула в карманное зеркальце и шагнула в дверь офиса. Сегодня был вторник — день, целиком принадлежавший им с Бартом, больше никому. Через десять минут Барт отдаст последние распоряжения, прикажет не беспокоить его до вечера и они поедут вдвоём в его загородный коттедж. Лору охватило

привычное возбуждение, Барт действовал на неё, как электрический ток. "Когда найдёшь мужчину, — вспомнила она слова матери, — У которого будет всё: ум, красота, обаяние, деньги и положение в обществе, можешь не удивляться, что он уже давно женат". Надо было, впрочем, признать, что своих денег у Барта не было: они были в огромном количестве у его жены, этой суки, никогда мужа не любившей, но сполна наслаждавшейся своей властью над ним. Без её капитала он был гол, как сокол, причём сокол ощипанный, обложенный долгами со всех сторон.

Таким образом, надежды на нормальную жизнь с любимым мужчиной у Лоры не было никакой — разве что Сука безвременно подавится рыбной костью или поскользнётся на лестнице.

Весь день они упивались друг дружкой с ненасытной алчностью. Вторник, как всегда, пролетел в одно мгновение ока. Любовные игры в бассейне, разбрасывание с хохотом красных кленовых листьев, подушечный бой, ласки в беломраморной ванне и в огромной, словно боксёрский ринг, постели.

В шесть часов вечера Барт со вздохом высвободил руку из-под Лориного плеча и потянулся к телефону.

— Звонишь Суке? — спросила Лора, не открывая глаз.

Вопрос был скорей риторическим. Барт всегда звонил Суке ровно в шесть — сказать, что день был утомительным, но продуктивным (чистая правда), что он её любит (очевидное обоим враньё) и что будет к ужину (попробовал бы не явиться вовремя!).

Сегодня откатанная до автоматизма программа дала лёгкий сбой. Никто не отвечал. Не то, чтобы в трубке раздались длинные гудки — в ней просто не было гудков. Обругав вслух АТС, Барт набрал номер её мобильного (впервые за год или больше).

Гудок, другой, третий.

— Алло! — её голос прозвучал вдруг как-то необычно, хрипло и встревоженно. Наверное, помехи на линии.

— Привет, дорогая, — бойко сказал Барт трубке. — Я буду к ужину.

— Барт?!

— Любовь моя, всё в порядке?

— Барт?!!! Где ты был?!

Голос сорвался на визг, теперь это трудно было списать на технические помехи.

— Я немного задержался на работе. Было много дел, важные встречи…

— Задержался на работе? — теперь она говорила мягко и вкрадчиво. — На работе, да? Милый, включи, пожалуйста,

телевизор. Полюбуйся на то, что осталось от твоей работы. И — да, дорогой — не забудь, пожалуйста, позвонить моему адвокату.

— Адвокату?.. — начал было Барт, но она уже прервала связь.

С чувством непоправимой беды он отыскал пульт и включил канал новостей.

В 8:46 утра, почти через час после его ухода, в Северную Башню врезался пассажирский самолёт. Семнадцатью минутами позже другой самолёт врезался в Южную Башню — то есть туда, где располагался его офис, где сидели работники, висело два рисунка Дали и стоял сейф, полный наличных.

Барт упал в кресло и обхватил голову обеими руками. Дальше будет развод, нищета, возможно, долговая тюрьма. Нелепое, идиотское стечение обстоятельств — на ровном месте, ни за понюшку табака, загубило его жизнь.

Он перегнулся через Лору и вытянул сигарету.

XVII Звезда

Семнадцатый Аркан — если не близнец, то уж во всяком случае, родной брат Четырнадцатого. Или сестра (тут немудрено запутаться, на обоих картах изображены бесполые ангелы).

Семнадцатый Аркан тоже призывает к служению. Но тут все сформулировано куда более внятно и четко: не какое-то там абстрактное «служение», а конкретным людям, ближним и дальним. Т. е., Звезда — это служение (не путать с «прислуживанием» и "обслуживанием") одного человека другим людям.

Формула Семнадцатого Аркана: "**Делай для других то, чего для тебя никто не делал**" (или "**давай другим то, чего у тебя нет**"). Он бессменный трактирщик в доме у дороги, обладатель волшебного сосуда, из которого сам пить не может: влага в сосуде появляется только когда к стойке подходит очередной гость.

Что касается личности, которую описывает Семнадцатый Аркан, тут вот что особенно интересно. Даже если такой человек капризен, непредсказуем и думает, будто живет ради себя, милости небесные все равно изливаются на окружающих через его руки. Так уж случается — как бы само собой. Еще интереснее отслеживать, как живется рядом с таким человеком его окружению: каждый получает от него "по заслугам", но не по обычным бытовым законам справедливости и морали, а по какому-то очень большому счету, часто совершенно непонятному. Для тех, кто живет более-менее правильно, в мире с собой, для того быть рядом с Семнадцатым Арканом все равно как жителю пустыни поселиться в оазисе. Кому рядом с Семнадцатым Арканом плохо и скудно, тому лучше бы срочно прзадуматься: «Что со мной не так?»

То есть, Аркан Звезда подчиняется законам какой-то непостижимой «небесной» справедливости, хочет он этого, или нет.

Самое характерное заблуждение, о котором говорит Звезда: такой человек часто думает, что рожден для того, чтобы дарить себя, свою любовь (или напротив, чтобы в любви отказывать). На самом деле карьера сердцееда/сердцеедки — вовсе не то, чем Звезде действительно следует интересоваться. Но ошибка, повторяю, очень характерная и почти неизбежная.

Все бы ничего, но любовные переживания — именно то, что может лишить Звезду здоровья, душевного равновесия, а

некоторых и вовсе загубить. Самая что ни на есть ахиллесова пята.

Еще о чем предупреждает Семнадцатый Аркан. Если вот прямо сейчас расслабиться, довериться интуиции и поплыть по течению, можно стать хозяином жизни, по крайней мере, собственной. А если сесть, подумать, поставить перед собой ясную цель, очень велика вероятность, что цель эта будет не по плечу.

Говоря о проблемах, Семнадцатый Аркан как раз и описывает тенденцию: ставить перед собой недостижимые цели и потом всю жизнь себя изводить.

Артур Вилье
Проводник

Ночью у Андрея ныло сердце. В такие минуты его лучше было не трогать. Рита знала это. Знала слишком хорошо.

Он накручивал круги по дому и то и дело выбегал курить. Наступавшая пронзительная тишина, странная для летней ночи, пугала ее даже больше, чем скрип давно нечиненого пола, хриплая одышка и глухой кашель, который Андрей отказывался лечить. Рита куталась в пуховое одеяло, словно пыталась оградиться от рассеянной по дому тревоги.

По всему выходило, что завтра надо было ждать гостя.

Рита не любила гостей. Они приходили всегда незваные и всегда невовремя. Завтра они с Андреем хотели поехать на рынок, а потом гулять на Острова. А на вечер она собиралась испечь печенье, купить муската и фруктов. Можно было бы просто сидеть на веранде и смотреть на звезды. Или, еще лучше, читать друг другу какую-нибудь теплую книгу.

Рита любила читать вслух. Любила и умела — мама и театральная студия поставили ей голос, а папа и филологический факультет научили чувствовать текст. Иногда ей даже казалось, что если бы не затянувшаяся диссертация она могла бы попытаться стать профессиональной актрисой, но французский эпистолярный роман первой четверти XIX века — ее научная тема — никак не хотел отпускать. А Рита ужасно не любила недоделанных дел.

Андрей читал по-другому. Его монотонный голос, одновременно глухой и звонкий, словно бы окутывал комнату туманом, ограждающим от всего окружающего, и история просто случалась. Однажды — Рита хорошо запомнила этот вечер — он читал ей дневники Амудсена, и она так серьезно простудилась, что несколько долгих дней провела в постели с запредельно высокой температурой.

Андрей отпаивал ее горячим молоком с медом или просто сидел в кресле с полузакрытыми глазами, держа ее за руку и медленно покачивая головой, словно вглядываясь внутрь себя

или еще дальше. Иногда ей казалось, что она слышит, как стучит у него в висках, и липкий жар немного отступал, давая ей заснуть.

Когда Рите стало лучше, они собирались отправиться в Крым. Даже взяли билеты. Но объявился очередной гость, и в Крым они так и не съездили.

* * *

Рита не любила гостей. Они всегда приходили незваные и всегда уходили вместе с Андреем.

В первый раз — она еще только начинала жить в его доме — Рита серьезно испугалась. Были сумерки обычного зимнего дня, в который совсем не хочется выходить из дома, и так хорошо сидеть с ногами на диване, читать неспешные письма давно забытых героев, пить сладкий час и, делая пометки на полях, тут же зачитывать возлюбленному понравившийся оборот.

Риту всегда смешило, как он хмурит лоб, стараясь уловить все оттенки смысла. В отличие от нее Андрею совсем не давались языки.

Были сумерки. Рита читала, а Андрей рисовал.

Он всегда очень забавно сердился, когда она пыталась заглянуть в незаконченный рисунок, но этим утром она подсмотрела, что в доме скоро появится еще один белый дракон, парящий над островерхими крышами старого города. От его брони будут отскакивать стрелы, его победная песня станет разгонять тучи, и — как у всех драконов, нарисованных Андреем в последнее время, — у него будут огромные зеленые глаза, которые Рита так часто видела в зеркале.

Она испугалась сразу. Наверное, Андрей еще ничего не почувствовал сам, как она уже испугалась.

Потом он встал. Пошел к двери. Вернулся. Начал складывать карандаши. Не закончил. Вышел. Опять вернулся. Сел на стул. Встал. Прошел по комнате. Пробормотал что-то, уткнув губы в ладони — кажется, «ох, как невовремя». Опять встал. Подошел к Рите. Поцеловал ее в лоб.

И тут она закричала.
— Андрей!

Ее трясло. Этот поцелуй, охвативший еще раньше озноб, и непонятно откуда взявшееся, но разлитое вокруг отчаяние, плюс полное непонимание происходящего, когда ничего кажется не происходит, выворачивали ее наизнанку.

Это потом она научилась не бояться. Научилась чувствовать, когда Андрей нервничает просто так, а когда к приходу очередного гостя. Научилась ждать — иногда часы, а иногда недели — когда Андрей уходил с ними. Она мному потом научилась, но в тот первый раз ей было жутко.

Андрей стоял рядом с Ритой и гладил ей волосы. Так гладят ребенка, которого хотят успокоить. Так гладил ее папа, которого она так и не отучилась вспоминать по несколько раз день. Как ветер с теплого моря, на которое — она вдруг почему-то поняла это совсем отчетливо — они никогда с Андреем не съездят. Рита заплакала.

— Андрюшенька, Андрюша…
— Все нормально, Маргаритка моя. Все нормально.
— Что происходит, родной мой?
— Все нормально.
— Мне страшно.
— Я знаю, любимая. Я знаю.
— Андрюшенька…
— Все нормально. Не бойся.
— Мне холодно.
— Не бойся.
— Мне страшно.
— Я здесь. Я с тобой.
— Что это?
— Ничего. Совсем ничего.
— Почему же так холодно?
— Скоро придет один человек.
— Какой человек?
— Я не знаю.
— Андрей, я не понимаю.
— Я знаю, милая. Я знаю. Я вернусь и все тебе объясню.
— Вернешься? Разве ты куда-то уходишь?
— Увы.

— Но почему?
— Так надо.
— Кому надо? Как ты оставишь меня одну?
— Так правда надо.
— Но я не хочу оставаться одна.
— В доме четыре дракона. Они защитят тебя.
— От кого?
— Да нет, ни от кого. Никто не нападет.
— Я не хочу чтобы ты уходил.
— И я не хочу уходить.
— Но почему тогда?
— Потому что есть вещи, которые сильнее наших желаний.
— Даже моих?
— Даже моих.

Рита еще продолжала плакать, но понимала уже, что все будет правильно. Он уйдет, а она будет ждать, а потом он обязательно вернется и опять уйдет, и она опять будет ждать, коротать вечера с акварельными драконами. Ждать. До изнеможения. До крови из носа. До возвращения. До конца их дней.

И тогда Рита успокоилась.

* * *

Тот первый гость пришел лишь на следующее утро. Высокий черноволосый мужчина с обветренным лицом и острыми глазами стоял в дверях и молча смотрел на Андрея. Охрана ждала у машин на улице. Андрей тоже молчал. Рита вдруг подумала, что для уличного художника у Андрея слишком сильные руки и слишком плавные движения, больше подходящие борцу, а перестав сутулиться, он стал вдруг и выше и шире в плечах.

— Здравствуй, Проводник, — наконец, выдавил гость
— Здравствуй, Гость.
— Можешь звать меня Князь.
— Как скажешь, Князь. А меня зовут Андреем.
— Ты знаешь, кто я?
— Достаточно, если ты это знаешь.
— Что?
— Достаточно, если ты сам знаешь, кто ты такой.
— Не надо шутить со мной.

— Я не шучу. Это ведь ты пришел ко мне.

— Ты прав, это я пришел к тебе. И ты сделаешь то, что зачем я пришел?

— Я ничего не делаю, Князь. Я просто иду с тобой до места, где случается то, что должно случиться.

— Отлично. Тогда покажи мне дорогу, и я дойду сам.

— Я не знаю дороги. Ее знаешь ты.

— Ну и за что же тогда я плачу тебе?

— Тебе сказали, что придется заплатить мне?

— Да.

— Как странно, Князь. Гости почти никогда не платят мне. Даже если проводят в доме несколько дней, а кто-то недель. Но с тобой я бы хотел отправиться прямо сейчас.

— Мне сказали, что за все приходится платить.

— Ах, вот что. Ну, уверен, что ты знал это и прежде.

— Ты хитришь, Проводник.

— Нет, Князь, я никогда не обманываю тех, кто приходит ко мне. Довольно, что они обманывают себя сами.

Гость смотрел на Андрея и о чем-то думал. Власть и сила, не привыкшая к даже малейшему проявлению несогласия, еще кипели в нем. Рите показалось на мгновенье, что сейчас он кликнет охрану, и та бросится на Андрея, станет рвать его как стая голодных псов.

— Это бессмысленно, Князь! — покачал головой Андрей. — Твоих людей много, и мне придется их убивать. Но зачем? Ты ведь пришел не за этим. У тебя есть дорога, но ты не умеешь по ней идти. Я могу провести тебя, но не имею своей. При чем же тут кто-то еще?

И Рита поняла, а точнее увидела, как гость физически ощущает, что здесь и сейчас Проводник действительно избавится от любого, кто помешает ему. Что же будет, если она окликнет его? Ей стало так страшно, что она громко позвала:

— Андрюш…

— Да, милая. Мы уже уходим. Хорошего тебе дня.

Его голос был такой родной и спокойный. Муж — она впервые тогда подумала о нем так — уходит по делам. Совсем ненадолго.

— Ты готов, Гость? — спросил Андрей.

— Да, Проводник, я готов. — ответил Князь.

Уже потом Андрей объяснил Рите, что этот вопрос и этот ответ составляют древнюю формулу, произнеся которую невозможно повернуть назад. Впрочем, добавил он тогда, повернуть назад невозможно никогда.

И они ушли.

* * *

Андрей вернулся вечером. Усталый, с перевязанной рукой. Долго плескался в ванной. Громогласно хвалил ужин — сладкий рис с овощами — всячески ластился и старательно уклонялся от разговора о Князе и том, куда они ходили.

Но говорить все же пришлось.

— Понимаешь, Ритка, никто не знает, как это работает. Нас сейчас в России двое — я здесь и еще одна старуха в Череповце. Тезка твоя, Маргарита Михайловна. В Европе — трое или четверо. В Штатах — никого, зато в Канаде аж четверо. В Индии — пара. Один в Израиле. В Африке — несколько, никто не знает, сколько. В Китае кто-то есть, говорят. Всего меньше двух дюжин.

Мы не маги, не колдуны. Мы просто Проводники. К нам приходит человек, ищущий дорогу к своей судьбе, а мы помогаем ему на нее встать и пройти.

Ну не знаю я, как. Клянусь, не знаю. Идем просто с ним. Да, и все. Идем пока не придем. Человек сам знает, что пришел. Он там остается, а я возвращаюсь. Только ни ему без меня туда не дойти, ни мне в одиночку его судьбы не найти. Свою судьбу каждый сам ищет. Я просто рядом иду.

Вот возьми урода сегодняшнего. Вбил он себе в голову, что должен владеть целым миром. Вот хоть ты лопни, но должен — судьба у него такая. Ну и пошли мы. Отъехали за город, а то в городе тяжело дорогу искать. Прошли рощицу березовую. Через овражек перебрались, Глядим — пещеры какие-то. Прошли через пещеры, а за ними уж другой мир, не наш.

Равнина каменная. Небо такое низкое, серое. Башня какая-то

стоит. И никогошеньки там нет. Вообще никого. Пустой ему достался мир во владение. Совсем пустой.

А что толку на меня злиться — не я дорогу выбираю. Только не отвести мне его обратно. Вот ножиком чиркнул, гад. А все одно не взять мне его с собою обратно, нет у меня такой власти.

* * *

Потом их было много этих странных гостей. Сильных мужчин. Безобразных старух. Красивых женщин и подростков с запудренными прыщами.

Они приходили нежданные, или договаривались о встрече за месяц. Одни искали счастья. Другие — денег. Третьи — дорогу домой. Многие — смерти. Некоторые — знаний. Правды — почти никто. В большинстве же они не знали сами, что и зачем ищут. Андрей провожал каждого.

Одни уходили сразу, другие надолго селились в доме.

Один стареющий, но когда-то популярный артист прожил у них шесть долгих месяцев. Его легкие грыз рак, и он ждал операции. На весь день он уходил куда-то гулять, а вечером возвращался с вином и знакомым на одну ночь. После него пришлось менять прожженный ковер в комнате и приглашать дорогого колдуна чистить ауру.

Колдун принес Рите розу, обозвал Андрея бездельником и потребовал совершенно немыслимые для них деньги. В конце концов, сошлись на том, что Андрей написал для него синего ночного дракона, жгущего зеленый город.

Несколько недель после этого Андрей мучался головными болями. Рита лечила его таблетками, компрессами и даже специально для этого освоенными тантрическими практиками, но все было безуспешно. Пришлось Андрею снова рисовать тот же город, но теперь уже выжженный солнцем, а не драконом. Постепенно боли ушли. Тантра в доме тоже не прижилась.

Что ж до артиста, то он умер на операционном столе. Рита так и не смогла понять, для чего было нужно Андрею отвозить его в больницу, а Андрей ничего не объяснил кроме своего обычного

«так должно было быть».

Хорошо, что гости никогда не возвращались.

* * *

Андрей вообще не любил объяснять. Разве что рассказывать. Иногда даже то, о чем лучше было бы молчать.

Однажды, например, он ушел с гостьей, заурядной женщиной лет далеко за тридцать, а вернулся через две недели загорелый, чуть растолстевший, и сообщил, что у той, обреченной врачами на бесплодие, будет теперь ребенок. Его ребенок.

В тот день Рита впервые ушла от него. Просто встала и молча ушла.

Ее не разрывала боль, не душило отчаяние. Она — с большим для себя удивлением — не находила в себе ни брезгливости, ни отвращения. Ей просто нужно было понять, сколько она сможет пробыть без него. Этот вопрос, такой простой, вдруг оказался для нее вопросом жизни и смерти. И она ушла, а он смотрел ей вслед через чуть прикрытые глаза, еле заметно покачивал головой и молчал.

Рита вернулась через шесть дней.

Она уходила от него еще одиннадцать раз. И всегда возвращалась. Он провожал ее молча и молча встречал.

* * *

У Андрея ныло сердце. Рита пряталась в одеяло от рассеянной по дому тревоги. По всему выходило, что утром надо было ждать гостя, и она уже знала, кто будет этим гостем. Она давно это знала.

Рита вылезла из-под одеяла. Натянула джинсы и свитер, и как была, босиком, вышла на улицу.

Постояла на крыльце. Выкурила сигарету. Сосчитала до десяти. Позвонила в дверь.

Как всегда Андрей открыл не сразу.

— Здравствуй, Проводник.

— Здравствуй, Гостья.

— Отведешь меня к моей судьбе?

— А ты знаешь свою судьбу?

— Да, знаю.

— Ты уверена?

— Я уверена. Моя судьба — быть Проводником.

— Это не самая добрая судьба, Гостья.

— Моя судьба — быть рядом с тобой.

— Я лишь Проводник.

— Это моя судьба, Проводник. Отведи меня к ней. Пожалуйста.

— Хорошо, Гостья. Хорошо.

— Ну же!

— Ты готова?

— Да, я готова.

— Тогда поехали.

— Куда?

— В Череповец.

— Поехали. А зачем?

— Маргарита Михайловна умирает. Ты должна проводить ее и занять ее место.

— А ты?

— А я провожу тебя и вернусь сюда.

— Но почему?

— Теперь ты сама должна давать ответ на такие вопросы.

— Мне достался пустой мир?

— Ну что ты. Тебе досталась тысяча миров.

— Чужих.

— Разных. Очень разных. Мне даже завидно, сколько всего ты теперь увидишь в первый раз.

— А ты?

— Что я?

— Я же должна быть с тобой.

— Ты теперь Проводник.

— Как и ты.

— Да, как и я. И наша дорога почти подошла к концу.

— Так ты знал? Знал! Знал с самого начала.

— Ну что ты. Никто ничего не знает с самого начала.

— Ты учил меня, зная, что будет дальше?

— Разве учил? Хотя, наверное, и учил тоже.

— Но зачем? Андрюшенька, зачем?

— Разве это не то, что ты хотела, Гостья?

— Я хотела быть с тобой.

— Ты была со мной.

— Была с тобой? Нет, я не была с тобой. Не была. Я только и делала, что ждала. Ждала, когда придет очередной чужой человек и уведет тебя. Ждала, когда ты вернешься и когда уйдешь опять. Когда ты выгуливал своих дурацких драконов, я ждала. И когда рисовал новых. Когда шатался по чужим жизням или тащил их в наш дом. Когда пялился в эти проклятые звезды. Я ждала. Ждала. Ждала.

— Ты умница. Ты очень правильно ждала.

— Правильно?

— Да. Именно так, как только и можно ждать судьбу — неистово и верно.

— И уже нельзя повернуть назад?

— Ты ведь все знаешь сама.

— Да, я помню. Никогда невозможно повернуть назад.

— Ага.

— И есть вещи сильнее наших желаний. Даже от моих.

— Даже от моих.

— Хорошо, Проводник. Тогда я готова.

— Мне бы хотелось попросить тебя еще об одной вещи.

— Конечно. Проси.

— Возьми драконов с собой. Поначалу они могут помочь тебе, и мне будет спокойнее.

— Спасибо тебе. Спасибо большое. А как ты? Или нарисуешь еще?

— Посмотрим. Может и нарисую. Все равно эти — твои.

— Спасибо, Андрей. Действительно спасибо. И жаль, что мне совсем нечего оставить тебе.

— Если я когда-нибудь захочу их проведать?..

— Просто приходи. Может быть, и у меня найдется судьба для тебя. И пойдем, наконец. Я и так слишком долго ждала.

XVIII Луна

Луна, как нетрудно догадаться — олицетворение под- (и бес-) сознательного, владычица иллюзий и прочий Двор Хаоса в наилучшем виде. Она озаряет "белые пятна" внутреннего пространства (многие предпочли бы оставить их невидимыми, ан нет, не получится).

Страхи (особенно те, что родом из детства) имеют в данном случае колоссальное значение. В зоне действия Восемнадцатого Аркана они обладают сокрушительной силой, грозя превратиться в настоящие фобии. И ведь превращаются.

Все прекрасные (и не очень) разновидности лжи, включая самообман — тут, как миленькие.

Восемнадцатый Аркан, кроме всего, сообщает о конфликте с реальностью. О ситуации, когда необходимость выживать в современном человеческом мире сама по себе — насилие. Не выжить страшно, а договориться, чтобы выжить — противно. Хоть и есть к таким переговорам великий дар. И вообще так называемые "житейские дела" должны бы легко удаваться — только скучно от них, противно и даже как-то унизительно такой ерундой заниматься.

Тут, кстати, очень помогают резкие перемены в жизни. Потому что завершать старый путь и начинать новый бывает вовсе не противно.

То есть, в определенных позициях при гадании Восемнадцатый Аркан настоятельно рекомендует перемены. Чем радикальнее — тем лучше.

Человек, чью личность описывает Восемнадцатый Аркан, может обаять и околдовать практически кого угодно. Особенно женщин (если человек, о котором идет речь, женщина, то все равно — особенно женщин).

У Восемнадцатого Аркана есть еще одно очень важное значение, о котором молчат все известные мне источники (и только некоторые мудрые люди иногда говорят вслух): **входить чужими вратами**. Грубо говоря, чтобы сделать то, что для тебя невозможно, превратись в того, для кого это возможно.

Оборотни всех стран, объединившись, воют на Восемнадцатый Аркан, как на свою милую-милую родину.

Александр Шуйский
Сказка о человеческом облике

На кладбище при Сен-Матиас-Кирхе хоронили только добрых католиков местного прихода, редкие похороны бывали торжественны и пышны, так что на свору при городском крематории Пес смотрел свысока. Потому что всякая собака должная иметь гордость, особенно, если больше иметь нечего.

Сторож прикармливал его, но в дом не пускал, выделил старое пальто и место возле аккуратных мусорных баков. Раз в три дня он приносил Псу мясных обрезков в позавчерашней газете, говорил «ну-ну» и уходил. В такие дни Пес предавался философии: пожирал обрезки, вылизывал газету, полдня разбирал по слогам заголовки, а после размышлял о превратностях судьбы. Когда обрезков не было, он бежал попрошайничать у туристов на площади перед Домским собором. Туристы кормили охотно, не переводились ни зимой, ни летом, за их счет жил богато и сыто весь город, не то что полубродячий пес с католического кладбища.

Ни подруги, ни приятелей у Пса не водилось. Пес не терял надежды втереться в доверие к сторожу, и любая другая собака могла стать ненужным конкурентом. Искоса, сквозь ограду смотрел Пес на холеных аристократов из соседних домов с палисадниками. Куда ему в такие хоромы — беспородному, с прокушенным ухом. Пес повторял себе, что до людей и знати ему нет никакого дела, но, дочитав старую газету, он ложился на пальто и мечтал о собственном камине и кухне. Благ домашней жизни вожделел он с такой силой, что во рту становилось сладко, а в желудке — горько, и на глаза наворачивались слезы, особенно зимой.

Но кухни принадлежали людям. Сколько ни бегал Пес по городу, ни совал нос в открытые двери, он не нашел ни одной бесхозной. Здесь, несомненно, скрывалась какая-то магия: стоило человеку покинуть дом, кухня и камин исчезали, а на их месте возникали холодные камни и паутина. Лежа на черном пальто, Пес часто размышлял, как хорошо было бы заполучить своего человека. Тогда, глядишь, и кухня появится. Но даже кладбищенского сторожа не прельщало соседство рыжего блохастого оборванца. А вот был бы он сторожем сам, непременно поселил бы себя на своей кухне.

Пережив зиму, Пес начинал внимательнее проглядывать газеты из-под обрезков. В конце февраля, перед Великим Постом,

в городе устраивался карнавал, на нем можно было запастись жирком до самой Пасхи. Читал он медленно, понимал далеко не все, и потому загадочную фразу "добрым католикам на карнавале следует быть воздержаннее в употреблении крепких напитков, поскольку пьяный впадает в скотство и теряет человеческий облик" Пес прочел дважды, ничего не понял, а когда перечел в третий раз, страшно разволновался.

Вот оно что! Человеческий облик! Оказывается, его можно потерять, особенно спьяну, ну и дела. Ах, как кстати ему пришлась бы такая потеря. Кто его знает, как он выглядит, этот облик, может, что-то вроде одежды, что-то небольшое, что может выпасть из кармана? Ничего, он распознает, когда увидит, нужно только внимательно следить в толпе и хватать, пока облик еще теплый и мягкий, а там уж выбирать себе сладкую кухню.

Следить, конечно же, нужно было у пивных и на Домской площади. Весь первый день праздника Пес вился у людей под ногами, не забывал хватать жирные куски, но глотал, не жуя — был очень занят. Он быстро выяснил, что на туристов рассчитывать не стоит, они и пили-то всего ничего, больше галдели. Горожане пили много, но как-то не слишком пьянели. Смеялись, болтали, переходили от одной пивной к другой, подкармливали Пса и прочих городских собак, и расставаться с человеческим обликом не спешили.

Пес почти отчаялся, когда на узкой улочке увидел толпу школяров, явно близких к потере. Они горланили песни, стучали в окна первых этажей и раскидывали по улице пивные бутылки. Пес изготовился к прыжку. Но, дойдя до перекрестка, школяры стихли и повернули обратно, собирая по пути разбросанное. Пес даже тявкнул на них с досады и вернулся на площадь.

На площади гасили огни, люди расходились. Несколько запоздалых гуляк тянули пиво за широкими деревянными столами. Пес забился под скамейку, нашел оброненную кем-то колбаску, понюхал ее и отвернулся. Карман у них, что ли, особый имеется, тоскливо размышлял он. На кнопках или молнии. И они туда свой облик, как бумажник. А когда надо, так сразу и вытащат. Эх, эх…

Кто-то несильно пнул его в бок, и Пес поднял голову — не перебраться ли под другую скамейку? За его столом клевал носом одинокий студент или, может, молодой школьный учитель, существо безобидное. Хозяин пивной собирал кружки. Пес совсем уже решил подхватить колбаску и потрусить домой, но тут рядом со студентом присела молодая фрау. Фрау была чистенькая и даже хорошенькая, но от ее запаха у Пса вздыбился загривок и задергалась верхняя губа. Фрау пахла мокрой шерстью,

прошлогодней листвой и свежей кровью.

Она оглядела сонного студента, сняла с него очки, а потом каким-то особенным движением толкнула его лицом в стол. Юноша обмяк. Вдоль его спины прямо под морду Псу скатилось нечто эфемерное, но в то же время осязаемое и зримое — прозрачный клок не то полиэтиленового пакета, не то тумана, оно слабо светилось и вздрагивало в полутьме. Плохо соображая, что делает, Пес схватил этот клок. И тотчас вровень со своими глазами увидел бешеные желтые глаза, изумленные и злые.

В один прыжок Пес вылетел из-под скамейки и помчался к родному кладбищу. На что он надеялся, удирая от разъяренной волчицы, он и сам не понимал. Лязг зубов и брань оборотня раздавались у него над самым ухом, он мчался по темным улицам, задыхаясь и не помня себя от страха. Протиснулся в калитку, ободравшись о прутья, кубарем пролетел через двор, стукнулся лбом о двойные двери западного портала — и повернулся, зажимая уши и рыча, хотя, конечно, понимал, что драка будет недолгой.

Но волчица молча стояла у самой калитки и с ненавистью смотрела на большой круглый фонтан в центре двора. Колонну над чашей фонтана венчал кельтский крест, ровесник Римской империи. Сен-Матиас-Кирхе была построена на месте старой христианской базилики, а ту возвели еще во времена Константина, тоже на руинах старого святилища. Многие поколения оборотней обходили это место стороной, и теперь волчица, как ни была рассержена, топталась в нерешительности. В свете полной луны Пес видел каждую шерстинку на ее загривке. Наконец оборотень коротко рявкнул и скрылся за оградой. Мгновение спустя пес услышал стук каблуков.

Пес перевел дух и плюхнулся животом на ступени — лапы не держали. Прозрачный клок все еще свисал у него из пасти. Осторожно выложив его перед собой, Пес принялся рассматривать свое приобретение. И что, скажите на милость, с этим теперь делать? На себя натянуть, как чулок? Или съесть? Не пахнет ничем, только светится и подрагивает, как белая тряпка в воде лунной ночью. Наткнись он на такую штуку случайно, поморщился бы и прошел мимо.

Пес подумал еще немного и опасливо втянул в себя туманный клок. Глотать не стал, сунул под язык. С улицы раздался близкий женский смех.

Животу и лапам стало немедленно холодно. Пес вскочил — и чуть не упал снова: каменные ступени резко дернулись вниз, а массивное медное кольцо на двери, всегда бывшее вровень с носом, вовсе исчезло из виду. Задние лапы выросли и облысели.

Пес в ужасе посмотрел на передние. Святый Боже, во что они превратились!

В груди нестерпимо болело, голова кружилась, в глазах щипало. Господи, Господи, что же это. Тысячи назойливых мыслей облепили голову, как мошкара. Где добыть одежду? Как теперь быть? Есть ли у него душа? Что с ним будет, когда он умрет? Что скажет сторож, когда завтра придет с мясными обрезками? Почему его бросила мама?

Дыши, сказал себе Пес. Дыши. Вот так. Сейчас можно завернуться в черное пальто, оно уютно пахнет псиной и довольно теплое. С кладбища можно уйти раньше, чем появится сторож. Одежду получше дают в миссии на Каролинг-штрассе, там же, между прочим, дают и денег, пять евро в день, не так плохо. Бесплатные кормушки тоже есть. Надо дождаться утра, а после начинать новую жизнь.

Поджимая ноги и дрожа, Пес добрался до своего пальто. Стало чуточку легче. Повозившись, Пес лег на бок и свернулся клубком, хотя с нелепым человеческим телом это удалось не так хорошо, как обычно. Нужно пережить ночь.

Немного согревшись, Пес повздыхал, поплакал и уснул. Проснулся он замерзший, в слезах и какой-то слизи, текущей из носа. Первое, что он увидел, были его родные, рыжие лохматые лапы. Пес выскочил из пальто, задрал голову к серому утреннему небу — и завыл, со всхлипами, тявканьем и стоном, и выл так до тех пор, пока ему не полегчало.

Успокоившись, Пес проверил свою находку. Может, выпала во сне? Но волшебный комок был на месте, между языком и щекой. Что же это означает? Это, люди добрые, означает, что он стал оборотнем, вот что. Может, не чистокровным, но все же оборотнем. И с наступлением ночи он снова превратится в человека.

От одной только мысли об этом пса передернуло. Опять мерзнуть, беспокоиться о всяких глупостях, плакать, видеть сны? Бессмертие души, лучшая участь — о чем он только не передумал, пока засыпал. И что, вот так — каждую ночь? Всю жизнь? Да какая кухня, его не утешит ни одна кухня на свете, если каждую ночь придется думать, где теперь его мама и кому он такой нужен.

Надо было срочно что-то съесть или хотя бы напиться. Пес встряхнулся и побежал через кладбище к фонтану на церковном дворе. Вкуснее воды не было во всем городе, а пить с каждой минутой хотелось все больше.

Но у фонтана уже кто-то был. Нагнувшись над чашей, он пил из ладони быстрыми, жадными глотками. Пес остановился

посреди двора, готовый к бегству. Человек распрямился, а потом тяжело осел на каменную скамейку у фонтана, и Пес узнал ночного студента.

Студент имел такой вид, будто всю ночь продирался сквозь ежевику, а потом как следует вывалялся в грязи. На левой щеке виднелись следы зубов — встретился с кем-то из местных, а как себя прилично вести — не знает, догадался Пес. Очки его, конечно же, так и остались на столе у пивной, он близоруко прищурился, когда Пес подошел ближе.

— Собака, — тихо сказал человек. — Как же я теперь понимаю тебя, собака.

Я теперь тоже получше знаю вашу породу, подумал Пес. Студент свесил покусанные руки с колен и заплакал. У Пса сжалось где-то внутри, в пустом желудке стало жарко и горько. Он подошел ближе, к желобу с водой у основания чаши. Туда тонкой струйкой стекал излишек, прежде чем неспешно исчезнуть в стоке. Пес помедлил еще немного. Тяжело вздохнул, поковырял за щекой языком, плюнул невесомый клок в воду, посмотрел, как тот расправляется и начинает тихонько светиться, а после несильно толкнул носом человека под локоть.

Тот поднял голову, и Пес показал ему — бери, чего ждешь. Человек опустился на колени, зачерпнул обеими ладонями, прижал к лицу. Постоял так, часто и прерывисто дыша, а потом отнял руки. Встал, выпрямился во весь рост и посмотрел на Пса.

— Собака, — сказал он уже совершенно другим тоном, как будто что-то влилось в его голос, так что даже позорный укус на щеке теперь выглядел боевым шрамом. — Собака моя хорошая. Пойдем-ка домой, нечего тебе здесь шляться.

Я знаю, где ты потерял вчера очки, подумал Пес и вильнул хвостом.

XIX Солнце

Ключевое слово для Девятнадцатого Аркана — радость. Бытовой удас отменяется. Можно вовсю наслаждаться жизнью, находить радость даже в обыденных вполне занятиях. В рамках Девятнадцатого Аркана волшебство не химера — вот оно, тут, прямо сейчас, на кончиках пальцев, все, чего захочется, сбудется (не "рано или поздно, так или иначе", а вот именно в те сроки и в том виде, как вы себе это представляете).

Семейная и всякая прочая личная жизнь складывается счастливо, дружбы и другие союзы не чреваты предательством и прочей пакостью, расставания, когда приходит срок, происходят незаметно и безболезненно, как пересадка в метро: один дальше поехал, другой на свою линию пошел.

Вообще Девятнадцатый Аркан рекомендует воспринимать собственную жизнь как увлекательную игру, а себя как блестящего игрока. Такая картина мира будет единственно верной, прочее — от лукавого.

Даже типичные проблемы Девятнадцатого Аркана — это скорее проблемы окружающих, чем "виновника торжества".

В крайности Солнце может распоясаться на манер одноименного короля Людовика, вести себя бесстыдно, высокомерно, эгоцентрично, но ему-то самому все равно будет радостно, а чужое недовольство для него дело десятое. Вряд ли вообще заметит.

Другое дело, что до такой крайности лучше бы не доходить. Но хулы, в любом случае, не будет.

Мария Станкевич
Служба радости

Познакомимся мы в конце марта. В городе еще будет лежать снег, но уже однозначно станет ясно — весна. Я буду бродить по улицам, спуская остатки гонорара. Сначала куплю горсть стеклянных шариков на случайном лотке, потом зайду к тебе в магазин. Долго буду водить носом по полкам, а после, груженая целой стопкой старых книг, отправлюсь в любимое кафе. Денег у меня останется ровно на два чайника самого дешевого чая и доехать домой — самое удовольствие.

Буду сидеть, лениво листать полуразвалившиеся «Записки о Шерлоке Холмсе», любоваться новеньким (всего несколько дней как работает) официантом, совсем юным мальчиком с удивительными карими глазами. Как раз когда он принесет второй чайник, на колени мне выпадет маленький красный лист бумаги с загнутым уголком. «Служба радости» будет написано на нем. И еще адрес внизу. Твоего магазина. Который, между прочим, называется совсем не так.

Я страшно любопытная. Поэтому допив одним глотком чай, убегу интересоваться, что это за служба радости такая. Ты сначала нахмуришься моим вопросам и станешь все отрицать. А потом, когда я не отстану, свирепо поинтересуешься, откуда я взяла эту самую службу и чего вообще от тебя хочу. Тут я пойму, что книжку вместе с листочком оставила на столике в кафе.

Когда я придумаю вторую дюжину достойных самоназваний за свою глупость, явится кареглазый. С книжкой. С листочком. И с вопросами. Оказывать сопротивление нам обоим будет уже решительно бесполезно. И ты сдашься. Впрочем, с удовольствием, я уверена. Ты просто любишь, когда тебя упрашивают.

…все ужасно просто: главное дело «Службы радости» доставлять радость тем, кто в ней служит. То есть, тебе. И нам. До нашего знакомства ты вовсе не собирался заводить компаньонов, и триста раз повторишь, что понятия не имеешь, как одна-единственная визитка (сделанная тоже исключительно для собственного удовольствия) попадет в книгу. Мы решим, что это судьба. Элементарно, Ватсон.

В уже по-настоящему весеннем апреле будем ходить по улицам, опустив носы, и внимательно смотреть себе под ноги. Жители нашего города — удивительные растяпы, они теряют

такое невероятное количество вещей, что даже ты удивишься. Буквально за пару дней мы найдем несколько книг, три сережки, четыре простых колечка и одно обручальное, девять кошельков, пять школьных дневников, коробку с дискетами, альбом с фотографиями, медный подсвечник и двух собак — пуделя и крохотную дворняжку в красном ошейнике. Это не говоря о запредельном совершенно количестве перчаток, бусин и монет всех сортов и видов.

Хозяев окажется искать значительно сложнее, но мы справимся с этим. Не посрамим светлое имя Шерлока Холмса. Только перчатки, бусины и монеты останутся в нашем безраздельном владении. Первыми мы обвесим дерево перед входом в магазин, из вторых я сделаю жуткие бусы и буду носить их не снимая, а третьи мы спустим в игровых автоматах.

…кареглазого будут звать Павлом, Пашей, но мы как-то не сговариваясь окрестим его Паблито, и он охотно станет отзываться.

Твоего полного имени мы никогда не узнаем. Ты представишься Алексом, а что написано у тебя в паспорте — Александр или Алексей, нам будет, мягко говоря, до фонаря.

Меня вы двое будете звать как угодно, но только не по имени.

В дождливом мае мы с Паблито везде и всюду будем таскать с собой рюкзаки, набитые зонтиками. Разумеется, вовсе не для того, чтобы потренироваться в ношении тяжестей. Ты же, не имея возможности отлучиться из магазина, будешь предлагать зонты покупателям. Беспечные девушки, забывчивые старушки и бестолковые отцы семейств — вот наш основной контингент. Некоторые, правда, будут отказываться от защиты по принципиальным соображениям. Таким полагается приз — леденец, или маргаритка, или ванильная сигарилла, или еще что-нибудь, что окажется в кармане. Потому что ни ты, ни я, ни Паблито терпеть не можем зонты как класс.

…что касается тебя, то тут все понятно — у тебя есть магазин. Паблито работает в кафе. Я как обычно перебиваюсь случайными переводами и пишу дурацкие статьи буквально на коленке. Еще у нас где-то есть родственники, друзья, прочие знакомцы, требующие нашего внимания. Все это нам никоим образом не мешает. Изредка я, правда, буду удивляться: а как это мы все успеваем-то? Ну, успеваем. Молодцы, чего тут скажешь.

В суматошном развеселом июне по вечерам будем выносить

на маленькую площадь магнитофон и танцевать. Танго, кадрили, вальсы, джиги и гопак. И эту, как ее, сегидилью, вот. И канкан. И рок-н-ролл тоже. Приглашаются все. Кто не с нами, тот пусть хоть подпевает, что ли.

Каждый вечер. Весь июнь. К концу месяца приходить танцевать с нами будет половина города, не меньше.

…вообще же я буду строить из себя скорую помощь. Раздобуду большую сумку и заполкаю туда все, что может пригодиться когда угодно, где угодно и кому угодно: аспирин, ножницы, лейкопластырь, нитки с иголкой, пластиковые стаканчики, несколько пачек сигарет, отвертку, презервативы, орфографический словарь, дюжины две ручек и карандашей, игрушки, фонарик, набор отмычек, щетку для обуви… дальше продолжать? Я очень практичная, что да, то да.

В жарком, липком июле ты где-то, бог уж знает где, раздобудешь ее. Красивую, разноцветную, с колесиками и специальной штуковиной сбоку, на которую по идее должен крепиться большой полосатый зонт от солнца. Зонта у нас не будет, и мы повесим туда большущий колокольчик, чтобы нас было слышно издалека. Замечательная тележка для мороженого у нас будет. И содержимое у нее тоже будет — замечательное.

— Самое вкусное мороженое! Самое холодное мороженое! Самое сладкое мороженое! — будем орать мы с Паблито, по очереди толкая тележку. Поверят в нашу бескорыстность только дети, старушки и бродячие собаки. Им-то все и достанется. А остальные сами виноваты, вот что я думаю.

…в качестве бонуса к заказу Паблито будет рассказывать клиентам кафе анекдоты и маленькие истории из жизни. Из их собственных жизней в том числе. Каждому свою. Он это очень здорово умеет делать. Паблито вообще большая умница, а то.

В томном и разморенном августе возьмем отпуск, хорошо? Для работы в магазине ты наймешь чудную женщину с чудным для нашего города именем Кларисса, а сам уведешь нас в дивное местечко, где можно целыми днями валяться на траве. Мы с тобой будем играть в нарды (нам везет одинаково), шахматы (ты почти профессионал, зато я отчаянно жульничаю), поддавки (это я умею лучше!) и «чапаевцев» (твои пальцы сильнее моих). Паблито играть не будет, он на весь месяц поселится на Бейкер-стрит. Иногда будет вслух зачитывать самые интересные места — специально для нас.

…каждый, купивший книгу в твоем магазине, рискует найти между страниц признание в любви (а визитку ты сожжешь еще в марте, ворчливо сказав, что тебе и нас двоих хватает выше крыши). Признания будут анонимными, но точно бьющими в цель. Ты не ошибешься в поле и имени ни разу, но своего секрета не расскажешь даже нам. Жаль, конечно.

В желто-красном сентябре ты приобщишь нас к высокому искусству шарить по чужим карманам. Только мы не воровать будем, а подкладывать. Старинные монетки, леденцы в ярких фантиках, крохотные игрушки из шоколадных яиц, мандарины. Наблюдать за тем, как люди вытаскивают из карманов то, чего там никогда не лежало, очень забавно. Они оглядываются в поисках… чего? Хотела бы я знать. Они качают головами, они хмурятся, они смущаются. А потом начинают улыбаться. Все как один. Честное слово!

…мы друг друга будем любить. Иначе никак. Но однажды вас с Паблито укусит какая-то муха, и вы заставите меня выбирать.

— Хорошо, — скажу я и потребую выдать мне игральные кости. За тебя будет большой кубик из темного дерева, для Паблито найдем поменьше, пластмассовый.

Целых полчаса, не меньше, будем искать, куда они упали. Пластмассовый обнаружится в пепельнице. Он очень удачно встанет на ребро между двумя окурками. Деревянный не найдется никогда, и тебе потом придется вырезать новый.

Прохохотавшись до слез, мы закроем эту тему навсегда. И то сказать, что за глупости. Можно подумать.

В пасмурном октябре снова пойдем по стопам Шерлока Холмса. Совершенно случайно. На чердаке дома, в котором располагается твой магазин, найдется огромная коробка с куклами. Маленькими, большими, самодельными и фабричными, из тряпок, глины, фарфора… Все старые. Старинные. Кларисса предложит раздать их детям на улице. Или в музей отнести. И лучше бы нам послушаться ее, конечно. Потому что проведя поиски, мы узнаем, что их хозяйка долго и тяжело болела. И пока она лежала в больнице, ее дети продали дом и переехали в другой город, туда же забрали и ее. А всех кукол оставили здесь, считая коллекцию блажью и бессмыслицей. Она не пережила этого.

Это будет единственное дело «Службы радости», которое никому радости не доставит. Мы не будем о нем вспоминать.

— Жулики вы, — скажет однажды Кларисса. — Самые настоящие жулики. Торгуете фальшивыми елочными игрушками.

Мы с Паблито захохочем, а ты возденешь указательный палец и строго скажешь, что игрушки, конечно, фальшивые, кто бы сомневался, зато удовольствие от них самое что ни на есть настоящее.

В унылом ноябре мы весь месяц будем рисовать смешные картинки (и какая разница, что не умеем?), а затем развесим их по всем столбам, тумбам, подъездным дверям и прочим вертикальным плоскостям, до которых дотянемся. Ни разу не повторимся. Изведем пятнадцать коробок карандашей, несколько больших упаковок бумаги и восемь тюбиков клея. Каждое утро будем удивленно обнаруживать, что половина картинок — исчезла. Куда? Зачем? Мы так и не узнаем ответа.

На самом деле, Кларисса, конечно, права. Мы — самые настоящие жулики. Потому что нам, в сущности, безразлично, получит ли удовольствие человек, нашедший любовное послание в старой книге, пришивший себе пуговицу с помощью моих нитки с иголкой или станцевавший с нами джигу на площади. Главное, чтобы нам было весело. В этом-то вся и соль. Правильно говорю? Еще бы.

В заполошном декабре станем торговать временем, которого перед Новым годом не хватает решительно всем. Будем гулять с чужими собаками, пока хозяева разбираются с дедлайнами, сидеть с чужими детьми, пока матери ходят по магазинам… что-то такое, в общем. Измотаемся ужасно. Зато это будет первый раз, когда мы начнем брать оплату за свои услуги. К 31-му числу у нас накопится такое огромное количество всевозможных символов года, что можно будет открывать еще один магазин. Нет уж. Все себе оставим.

Новогоднюю ночь мы проспим. Свалимся на огромный диван в твоей квартире и будем дрыхнуть. Утром нас разбудит добрая Кларисса, специально ради этого бросившая своих многочисленных родственников. Кларисса варит потрясающий кофе и печет ужасно вкусное печенье. Что еще нужно для счастья? Если только камин растопить. Вот, да.

В полусонном и праздничном январе станем писать роман, который определенно осчастливит все человечество. Ругаться

будем по любому поводу — начиная от того, какие имена дать главным героям, и заканчивая тем, сколько авторских листов мы имеем в виду в конечном итоге. Особенно удачно поссоримся из-за названия. Целых два дня мы с Паблито будем стороной обходить твой магазин. И друг друга тоже. Потом, конечно, помиримся.

К тому моменту, когда останется дописать совсем чуть-чуть, нам страшно все надоест и мы бросим это сомнительное мероприятие. Рукопись отдадим Клариссе. Она будет время от времени перечитывать роман, сокрушаясь, что так и не узнает, чем же все закончилось.

Кларисса вообще, кстати, прекрасна, как я не знаю что. Добрая, заботливая, доверчивая, уютная, понятливая. Такая мама для всех, даром, что своих детей нет. Говорю же, чудная. Ага, и чудная.

В депрессивном феврале именно ей придет в голову идея превратить самый отвратительный месяц года — в праздник. Все двадцать восемь дней, каждое-каждое утро мы будем выходить в час пик на остановки, зажигать бенгальские огни и раздавать их замерзшим, сонным и противным людям. Это должно быть безумно красиво, я полагаю.

К концу зимы нас точно будет знать весь город. Не могу сказать, чтобы мы этого добивались и прямо-таки хотели, но все же приятно, когда тебе улыбаются прохожие. Ужасно приятно, черт побери.

А весной «Служба радости» прекратит свое существование. Это произойдет само собой. Ты женишься на Клариссе, и оставив на нее магазин, займешься политикой.

Паблито вдруг воспылает страстью к наукам и уедет учиться в Лондон. Или в Берлин, или в Амстердам, или еще куда-нибудь.

Я же… я же, пожалуй, влюблюсь. Почти взаимно, абсолютно счастливо и ужасно мучительно. Похудею и обзаведусь трогательными кругами под глазами. Чудо как хороша стану.

Или свистну у Клариссы нашу рукопись и допишу ее. Все-таки человечество жалко — чего ж его такого счастья лишать-то?

Или еще что-нибудь придумаю. Я придумаю.

Потом.

Следующей весной.

Пока же…

Мне уже выплатили гонорар. Примерно через пару недель от

него останется денег только на горсть стеклянных шариков, несколько старых книг, два чайника самого дешевого чая и доехать домой.

За несколько дней до этого в моем любимом кафе появится новенький официант — совсем молоденький мальчик с удивительными карими глазами.

Завтра же тебе принесут две коробки старых книг. Среди прочих там найдутся полуразвалившиеся «Записки о Шерлоке Холмсе», и ты ужасно захочешь их перечитать, прежде чем выставлять книгу на продажу.

Главное, не забудь вместо закладки сунуть между страниц свою единственную визитку «Службы радости».

Пожалуйста, не забудь.

Тогда все получится.

Все сойдется.

И будет здорово.

XX Аркан. Страшный Суд / Эон

Сопоставив старое и новое названия, можно понять, что речь идет скорее о пребывании в Бардо, состояниях «до рождения» и «после смерти», чем о других каких-то вещах.

Будучи одной ногой "по ту сторону", человек, действующий в рамках влияния Двадцатого Аркана, получает полное право (а так же возможность, способность) выносить суждения о чужих делах. Это единственный, кажется, случай, когда можно сказать: "**Суди, а сам несудим будешь**". В разумно организованном «тарократическом» обществе, только людям, находящимся под влиянием Двадцатого Аркана позволяли бы становиться критиками, искусствоведами, политическими комментаторами и т. п.

Когдатакой человек рассуждает о других, он действительно знает, что говорит, как-то умудряется быть объективным и беспристрастным, даже если не ставит себе такой специальной задачи.

Другое важное значение Двадцатого Аркана — отношения с временем в целом и с персональным прошлым, в частности.

Обычно когда эта карта появляется в ходе гадания в позиции описания проблемы, корни всех бед следует искать имнено в прошлом (скорее даже, в том факте, что человек слишком переоценивает значение собственного прошлого, или, скажем, истории своей семьи, или даже страны). Все эзотерические телеги про карму, с одной стороны, и родовые проклятия, с другой, проникнуты настроением Двадцатого Аркана. Справляться с этим чрезвычайно сложно.

Покаяние, предательство, старые грехи — все это тоже мелодии Двадцатого Аркана.

Консерватизм, нежелание что-либо менять в жизни (часто своего рода душевный паралич, охватывающий всякий раз в стремлении к переменам) — сюда же.

При этом уважение к чужой свободе, эксцентричности и жажде перемен может быть воистину безграничным. Двадцатый Аркан в этом (и многих других смыслах) божественно великодушен.

Не следует забывать и о том, что Страшный Суд это, строго говоря, история воскрешения мертвых. Все, что связано с воскрешением — это сюда. Поэтому Двадцатый Аркан довольно

часто выпадает при гадании врачам и прочим профессиональным спасателям.

Лена Элтанг
Другие барабаны

Март, 18

buona sera ai vivi
bon viaggio ai noveganti
e bon note ai tutti quanti

(старинная детская молитва)

Вот как это бывает, подумал я, проснувшись от того, что редкий ночной дождь зарядил по-настоящему, и крыша отозвалась глухим жестяным звоном.

Окно над моей кроватью с вечера осталось приоткрытым, и на голые ноги закапала ледяная вода — похоже, кто-то содрал с меня стеганое исландское одеяло, рождественский подарок Хеле Гудьондоттир, белобрысой редакторши, с виду слабой, как стрекозиный лом, но с широкими ладонями, достойными жены викинга. С тех пор, как я перестал иметь дело с русскими девушками, мне всякие странные имена помнить приходится. Хеле еще ничего, а вот Аккагаз, например, ну что это такое? А ведь красавица — щеки горячие, лицо темным и сладким налито, будто стакан со смородиновкой, а волосы жесткие, зверские, так и хочется на руку намотать и — *скачу, как бешеный, на бешеном коне*, нет, ну какой был поэт, а?

Вот так это и бывает, просыпаешься не один и понимаешь, что сказать тебе нечего — ты не помнишь, кто лежит в твоей постели и как он там оказался, вот так это и бывает, подумал я еще раз и осторожно потянул одеяло с завернувшейся в него с головой незнакомки. Незнакомка сморщила нос и открыла глаза. Глаза оказались цвета мокрого сланца, брови в ниточку, на блеклой коже какие-то сомнительные пятна. Боже милосердный, куда я только смотрел?

— Доброе утро, — сказала она низким голосом и приподнялась на локте, заглядывая мне в лицо, — как ты спал, детка? и что это у тебя так гремит?

Подкрашенные хной спутанные волосы закрывали половину лица, и я отвел в сторону грязно-рыжую прядь, обнаружив длинноватый нос с розовым простуженным кончиком и щеку в трехдневной золотистой щетине. Никак парень. Господи ты боже

мой.

Парень сбросил одеяло на пол, сел в кровати и уставился на меня весело и с удовольствием.

— Ну что же ты, хозяин, — сказал он, — как насчет чашки кофе?

Я молча разглядывал его, мелко вздрагивая от утреннего озноба. Быстрая люмьеровская пленка сверкала царапинами на черно-белом: грохочущий бесконечный поезд прибывал на вокзал Ла Сьота, вчерашний вечер упирался в двери мексиканского кафе, там я потребовал бутылку коньяку — помню, что у них был только сомнительный местный — и *чили кон карне* в пластиковой коробке, чтобы унести домой и завалиться на диван перед телевизором. Этого рыжего в кафе не было, значит он пришел потом, когда я выпил бутылку и сьел чили — но кто, кто, черт побери, его впустил?

— Кто тебя впустил? — спросил я наконец, сразу почувствовав пересохший рот и воспаленное нёбо. Нет, надо было все же дойти до супермаркета, merde, merde.

— Ты меня не помнишь? — ответил он вопросом на вопрос, до чего же ненавижу эту манеру. Я протянул руку за халатом, нащупал его на полу и попытался вылезти из постели, но незнакомец ткнул меня пальцем в грудь, и я упал на подушки.

— Я же Скотти! — он мягко вынул халат из моих рук, встал и накинул его поверх своей несвежей тельняшки. — Рыженький Скотти, шотландец Скотти, неужели ты меня забыл? — тут он прищурился с невыносимой нежностью, и меня передернуло, по голым ногам побежали мурашки.

— Не знаю никакого Скотти, ни рыженького, ни черненького, — пробормотал я, нашаривая на полу хоть какую-нибудь тряпку, мысль о том, что он увидит меня голым, почему-то внушала отвращение.

— А вот и знаешь! — он направился в кухню и говорил теперь оттуда, — просто это было давно, и ты успел состариться и забыть своих настоящих друзей. А мне по-прежнему двадцать семь, детка, — он загремел моим медным кофейником, — и мне страсть как обидно, что ты меня не признал, но я незлобив и даже приготовлю тебе кофе с шоколадной стружкой, как ты любишь. Вот только терку найду, — он загремел еще чем-то, на этот раз в посудном шкафу.

С шоколадной стружкой? Такой кофе делала моя няня в поросшем лишайником тысяча девятьсот семидесятом. Больше никто его не делал, я просто начисто забыл о нем, как забывают клюквенный привкус манной каши. Это что же, сын моей няни? Да нет, какой там сын, няня Фаня отошла с миром, когда этого

рыжего еще и в помине не было. К тому же, насколько мне известно, она оставалась девицей до последнего дня. И шоколада у меня никакого нет, в холодильнике я держу только лед и лимоны, как и полагается приверженцу старой школы.

Когда он явился в спальню с подносом, у меня по-прежнему не было ответа, зато я натянул трусы и застегнул рубашку.

Скотти присел на край кровати, протягивая мне чашку ручкой вперед.

— Осторожно, горячий. И что это за дом такой — в хлебнице одни крошки, сахар мокрый, а молоко вчерашнее, — сказал он недовольно, с хлюпаньем потягивая из своей чашки, он выбрал самую толстостенную, лазоревый испанский фаянс.

— Может тебе еще манны небесной? — я разглядывал его алые, надутые, слишком яркие губы.

У него было красивое заспанное лицо малолетнего преступника, но принять его за девушку нельзя было даже сослепу. Даже в кромешной тьме. Разве что, смотреть только на рот, не отрывая взгляда.

— Манна небесная, в конце концов, оказалась лепешками из лишайника со смолой тамариска, — сказал он поучительным тоном, забрал у меня пустую чашку и ушел.

Неужели я привел его с улицы? После кафе, где гладкая белолицая барменша-кореянка сунула коньяк в бумажный пакет — на американский манер — и подмигнула, отсчитывая сдачу с новенькой тысячной бумажки, пленка начисто обрывалась. С тысячной бумажки? Так, надо проверить деньги, полученные вчера в Харперс, кажется, я засунул их в ящик стола. Я поставил чашку на пол, неловко выбрался из постели и открыл свой секретер с секретом. Толстый манильский конверт с лиловой пятисотенной был на месте. Уже хорошо.

— Не мучай себя, детка, — донеслось из кухни. — Твои деньги мне не нужны. Мне нужен только ты. И теперь мы будем вместе, не сомневайся. Ты же позволил надеть твой халат, а это все равно что *пропустить через рубаху*. Турецкий обычай такой. Вот хоть Фрезера почитай. Мы теперь будем как Кастор и Поллукс

— Кастор и Полидевк, — машинально поправил я, направляясь в ванную. — А кто из нас бессмертный? Надеюсь, не ты, потому что я от тебя уже устал. И от Фрезера твоего тоже.

На этот блестящий выпад мне никто не ответил, и я приоткрыл кухонную дверь. Никого. В спальне тоже было пусто, на постели валялся скомканный халат.

Поздравляю, *детка,* — сказал я себе, — ты допился до синдрома ложной памяти. Диффузное поражение мозга на основе алкогольного отравления. Надо было пройти два квартала и

купить хотя бы Торрес. Бесстыдная кореянка продала мне сок белой омелы! нет, толченую кору анчара! Нет, настойку из волчьего лыка, черный паслен, вонючую бузину.

На всякий случай, я подошел к двери и покрутил замок. Fermé. В кухне тоже никого не было. Йоркширский терьер Борис, что означает *бывший Морис*, валялся на подстилке из моего старого свитера, как ни в чем не бывало догрызая сиреневую пластиковую кость.

— Что же ты молчал, предатель? — упрекнул я его, наливая молоко в сиреневую миску — терпеть не могу сиреневое, но миска, кость и терьер достались мне от коварной бельгийской девицы Маргерит, с которой я жил примерно до Рождества, тут уж ничего не поделаешь. Маргерит была начинающим фотографом и бестолково отиралась в редакционных коридорах недели две, пока я ее не заметил. Точнее, не ее, а запудренные коричневатые веснушки на круглом лице, похожем на перепелиное яичко, ну и колени, пожалуй. Однажды она пришла в юбке, и я посмотрел на ее колени — голые, круглые, с припухшими ямками с изнанки, я еще подумал — такие впадинки хорошо бы увидеть часов в пять утра над своим лицом, так оно и вышло, я их увидел, потом мы прожили два зимних спокойных месяца и даже купили терьера.

Маргерит сбежала без предупреждения, оставила честное простоватое письмо, такое же простоватое, как она сама, малофламандская красавица в шапочке с помпоном, прыг на велосипед — и на работе, прыг с велосипеда — и дома, не вынесла моей сумеречной глянцевой жизни, в ней проснулся дух предков-протестантов, или что-то еще безудержное проснулось, вобщем, она собрала свои маечки с надписями типа *I am not 30, I am 29.99* и непомерно дорогую оптику, которую мне не позволялось трогать руками, и отбыла в город с сонным названием Миддлекерте, знал бы, что она из такой дыры, на порог не пустил бы. Терьера я немедленно переименовал, а то буква М в начале слова стала меня раздражать.

Борис виновато повилял хвостом и пошел лакать свое молоко, язык у него был чистый и сиреневый, под цвет миски, я тут же пошел в ванную поглядеть на свой, открыл было рот перед зеркалом и вдруг увидел *это*.

E bon note ai tutti quanti! — розоватой маргеритиной помадой в верхнем правом углу намалевано, и когда он успел? И почему по-итальянски? И почему — всем спокойной ночи?

Я там простоял еще некоторое время, разглядывая надпись и мутное отражение в зеркале, забрызганном зубной пастой, открывая и закрывая кран с холодной водой.

Когда-то давно мне попалась на глаза старинная книжка о разбойниках в итальянских лесах, нападавших на купеческие караваны — они держали проволоку натянутой поперек дороги, чтобы колокольчик звенел, как только ловушки коснутся лошадиные копыта, а сами сидели в засаде, распивая горячительное. Теперь мне показалось — я задел проволоку в таком вот лесу, где-нибудь под Монтегротто, и стою на тропе в ожидании минуты, когда с ветвей придорожного дуба с криками посыплется вся беспощадная рать, страшновато, но убегать почему-то не хочется.

Да и не вышло бы, как потом оказалось.

Март, 24

…Я смеюсь, но раздается такой звук, как будто кого-то придушили — то ли мышку, то ли птичку.

(Маргарет Этвуд)

Скотти оказался завидным постояльцем. Просыпаясь, я находил его в своей постели, где бы эта постель ни находилась. Пока я ночевал дома, все было хорошо — он просыпался первым, принимал душ, распевая во все горло, заваривал кофе, надевал мою куртку и выводил довольного Бориса — соседи, правда, начали поглядывать на меня с недоумением — потом присаживался на кровать у меня в ногах и рассказывал какую-нибудь тягучую гэльскую историю, чаще всего — знакомую до оскомины, со всеми этими Фингалами, Дуэйнами, королями каледонцев, мшистыми камнями и лощеными тисами.

Я покорно слушал и ждал, пока он уйдет. Он всегда уходил до половины десятого. Опаздываешь на партию в бильярд? спросил я его однажды, но он только повел рыжеватой бровью — поколение пепси не читает немецких утопических реалистов.

Жизнь разделилась на утро со Скотти и todo el resto.

На второй день мы осторожно выяснили отношения: он намеревался провести со мной *остаток жизни*, так и сказал, глядя мне в лицо своими честными глазами цвета мокрого сланца. Я был его автором, а значит, хозяином, он был моим персонажем, а значит, слугой, только недописанным, и оттого, вероятно, обиженным. Жак-фаталист без царя в голове. Забубенный валет небольшого ума.

Неделя у меня ушла на то, чтобы с этим смириться. Схема его появлений была невыносимо безупречной — Скотти просыпался

со мной рядом, всегда в полосатой майке, всегда с легкого похмелья, всегда переполненный нарочитой утренней свежестью, последнее его свойство меня особенно утомляло.

Куда он девался потом, я не хотел даже думать. Мне представлялось некоторое помещение, устроенное на манер холодного бретонского ада, мой Скотти и, скажем, еще парa-тройка литературных подранков сидят там молча на золоченых стульях, вокруг них пляшет пламя, свинец кипит в котлах, а им зябко, скучно и как-то бестолково.

Пойти, что ли, навестить негодяя, думают они, и маленькие их недокрашенные сердца наполняются холодным свинцовым пламенем. Говорю же, и думать неохота.

На третий день я ночевал у знакомой девушки, обычное дело после редакционной вечеринки, и мы проснулись втроем. Скотти ловко выпутался из влажных цветастых простынь и молча направился в ванную, в распахнутых стеклах трюмо проплыли три его неуверенные сонные улыбки. Надо ли говорить, что у меня стало на одну знакомую девушку меньше. Я пытался обьясниться, ссылался даже на Солярис, приводил цитаты из Шамиссо, но девушка заперлась в ванной и отказывалась выходить, пока мы оба не уйдем.

Невозмутимый Скотти ушел своим путем, а я своим.

На пятый день у меня заночевали ребята из фотолаборатории, мы выпили пару бутылок граппы, сильно ослабели, и я, забывшись, постелил им в кухне, на полу. Утром Скотти радостно сварил им кофе и спел в моем душе про один день жизни из альбома сержанта Пеппера. No comment, sin comentarios.

— Жаль, что я могу приходить только утром, — сказал Скотти в пятницу, умилительно скосив глаза на кончик носа — дурацкая привычка, вот этого я уж точно не писал! — я бы мог готовить тебе джамбалайю с миндалем. Я ведь работал в том креольском ресторане на Хайленд-стрит, целых три месяца, помнишь?

Я представил себе *вечернего* Скотти, Скотти в белом фартуке и колпаке на моей алюминиевой кухне, Скотти на моем шелковом диване, щелкающего телевизионным пультом, Скотти в пижаме, разглагольствующего в дверях ванной с полным ртом зубной пасты…merde, merde.

Ну хорошо, я виноват, не дотянул эту чертову книжку, затосковал, но ведь не я один? Сколько таких рукописей забивают золой камины и буржуйки в моем городе, сколько лежат в столах, тайниках и дубовых дуплах и молчат в тряпочку? Но нет же, Скотти молчать не хотел, он хотел рассказывать мне о сражении с

Каросом при затененной луне, выжидая, по-видимому, когда я пойму, чего он хочет на самом деле.

И я понял, только не сразу, в начале второй недели. Он, вероятно, хотел, чтобы *я довел его до ума*, ему надоели спортивные костюмы, оссианское одиночество и трехдневная щетина, мне бы тоже надоели, чего греха таить.

Меня немного раздражало то, что он ни разу не заговорил о рукописи, ни на что не пожаловался, ни о чем не попросил, полагая, видимо, что я способен читать его мысли. Du dernier ridicule, как говорила прохладная девица Маргерит, когда я пытался прижать ее к стенке в отделанном белой плиткой чуланчике для проявки фотопленок.

Каждый день я начинал с того, что спрашивал Скотти, как он сюда попал.

То есть, откуда — понятно, а вот каким путем, через какие двери? Меня отчаянно заботила возможность выставить его тем же самым способом, но шотландец только качал головой и улыбался краешком рта — со значением, всегда одинаково — гримасы получше я, видимо, придумать не успел.

В моей рукописи — точнее, в ее начале — у него не было ни девушки, ни дома, свои монологи он произносил, сидя в кресле-качалке в запущенной квартире своего приятеля, в Абердине, на улице Мерилэнд. Семьдесят страниц бездомной жизни, случайной работы и рассуждений о свойствах памяти. Клочок оттуда я нашел в виде закладки в томике Генри Джеймса, остальное уплыло — как там сказал поэт? — по беспамятной реке, чисто скудельная рассохшаяся лодка..

Воспоминания, как чужие векселя — в горькие дни можешь ими рассчитываться, выкручиваться надменным растиньяком, сжимающим в кулаке стремительно убывающую жизнь, но пока тебе есть чем платить, ты в силе, пока прошлое подкидывает тебя, словно послушный батут, у тебя полный рукав козырей, и вот, когда твоя действительность дышит тебе в лицо горячим и затхлым, как забегавшийся пес, свешивает на сторону лиловый язык, и тебе душно, ох, как тебе тошно, ты нашариваешь в кармане раскрошившиеся галеты и кидаешь по одной, прямо в жаркую непотребную пасть, чтобы просто глотнуть воздуха, чтобы отвлечь, ап! лиссабонский зимний трамвайчик с расколотым окном, в окно задувает и тебе дают полосатый шарф, им можно обмотать весь иеронимуш, все игольчатые башенки, ап! вапоретто стынет на черной воде, на февральском ветру, ты забиваешься в толпу на палубе, глубже, глубже, поднимаешь бесполезный воротник, тебя обнимают и забирают целиком под плащ, жесткий, беспредельный, достойный фригийского воина, ап!

утренний деловитый сквозняк в кафе с хлопающими дверями, опилки на влажном полу, мурашки по голым рукам, да что там мурашки, мирмидонские муравьи, тебе наливают горячее, пахнущее горькой цедрой, вино из своего стакана, прямо в кофейную чашку, и ты смеешься и ждешь пока осядет взметнувшаяся кофейная муть, ап! ап! ты шаришь по дну кармана, merde! галеты кончаются, остались крошки, жетоны, сомнительные фантики, ладно, оставим до следующего раза, эта собака еще придет, она в последнее время часто приходит.

В воскресенье он опоздал, и я проснулся один. Холодное газированное счастье захлестнуло меня, я помчался на кухню босиком, расцеловал Бориса в уши, и какое-то время выглядел, как *il Matto* из колоды Таро, на которого бросается маленькая собачка, я вертелся и подпрыгивал, ну просто вылитый *Le Fou*, как сказала бы Маргерит, не расстававшаяся с марсельской колодой.

Вернувшись из ванной, я застал запыхавшегося Скотти стоящим на четвереньках в моей постели, кончик его длинноватого носа был по-прежнему розовым, в волосах застряли какие-то мелкие веточки. Вылитый Навуходоносор в галерее Тейта.

— Извини, детка, — прошептал он, блестя своими бесцветными, как будто заплаканными, глазами, — меня задержали, это все чортов Дуэйн. С нами, мелкими, видишь ли, совершенно не считаются. Мало того, что всю жизнь на посылках, так еще и по выходным…

Я махнул рукой и поплелся на кухню за кофейником — à son tour.

* * *

Во вторник, когда стало ясно, что фэшн-редактор Дина подцепила ветрянку, меня отправили вместо нее в Милан — прямо с работы, я даже Бориса не успел предупредить, не говоря уже о том, чтобы вещи собрать. Шеф позвал меня в свой дубовый кабинет, куда, вопреки римской традиции ни разу не попала молния, отворил дверцу гардеробной и снял с вешалки тяжелый синий плащ, достойный Одина — у него, между прочим, был похожий, если верить Младшей Эдде — и протянул мне, сочувственно улыбаясь.

— У индейцев майя синий означает поражение врага, — сказал он, — а Вишну, так тот и весь такого цвета, так что теперь тебе непременно повезет. Рубашки купишь на виа Монте-Наполеоне, за счет фирмы. Рейс через два часа, в Милане дождь и

ветер, вот возьми еще, пожалуй, и шарф.

Ага, вот тебе, детка, еще и шарф, прикрыть синюю от яда шею, подумал я, сбегая по лестнице, впредь тебе наука — не пахтай второпях чужие океаны.

В душном боинге пахло тлеющей резиной, по левую руку от меня сидела девушка в черном, с лицом цвета свинцовых белил, по правую было свободное место, я вежливо посадил туда редакторский плащ, наскоро выпил три маленьких бутылочки самолетного виски и заснул, отметив напоследок, что девушка читает нового Джона Ирвинга, и понадеявшись, что она оставит его в кармашке для газет, как я время от времени поступаю с купленным в дорогу карманным чтением. Правда, сам я еще ни разу не извлекал оттуда ничего полезного — смятые пластиковые стаканчики и апельсиновая кожура, вот что перепадает мне от тоскливых пассажиров Аэрофлота, а еще говорят, никакое благодеяние не остается безнаказанным.

Март, 24. Вечер

Многовидны явленья божественных сил
Против чаянья, много решают они:
Не сбывается то, что ты верным считал,
И нежданному боги находят пути.

(Еврипид. Медея)

— Утомительно? — возмущенно переспросил меня Скотти. — Вот это мило! Сам засыпаешь где попало, а мне расхлебывать. Меня в самолетах укачивает, если хочешь знать. Я тебе не голландец какой-нибудь, я — потомок Кухулина. И курить смертельно хочется. И ноги затекают, — он похлопал себя по острому колену, — зачем мне, скажи на милость, такие длинные ноги? И вообще, радуйся, что соседнее место оказалось свободным, а то я сидел бы у тебя на руках, как пить дать, — он потянулся и зевнул, широко и нагло.

Я молча откручивал пробку у двенадцатой бутылочки. Соседка слева с трудом засунула Ирвинга в свой неуклюжий рюкзак, достала оттуда пудреницу и стала откровенно прислушиваться, размазывая белое по своему несвежему смуглому лицу. А Маргерит всегда размазывала коричневое по

своему белому, подумал я, принюхиваясь, от нее тоже вечно пахло пачулями или ванилью

— Утомительно ему. А куклу вот эту, — Скотти больно ткнул пальцем мне под ребро, — тебе обживать не утомительно? Брить ей бороду, покупать ей хлопковые носки, кормить анчоусами? Двенадцать лет пишешь инструкции по выживанию для брошенных домохозяек, а книгу — мою книгу! — забросил на антресоль, вместе с кляссером и санками. А еще собаку Бывшим Морисом назвал. Ты сам — Бывший Писатель, вот ты кто. Быспис!

Ага, вот оно. Не выдержал шотландец, вот-вот начнет колоться, поведает мне о своих чаяньях, отчаянии, о моржах и плотниках, или, чего доброго, о том, как Гор потерял глаз, а Сет — кое что поважнее. Условия станет ставить, городушки городить. Я похлопал его по плечу, запрокинул голову и вылил содержимое бутылочки в рот, левой щекой ощутив недоуменный взгляд осоловевшей соседки.

Самолет пошел на снижение. Замелькали красные миланские крыши, мокрая трава и черный асфальт посадочной полосы, предсказанный Яндексом дождь занавесил иллюминаторы, *вэлкам ту Мальпенса!* — радостно сказали в микрофон, и я машинально потянулся за плащом. Плащ оказался на Скотти, он ловко застегнул его на все пуговицы, поднял воротник и стал похож на этого американца со шрамом над губой, не помню как зовут, который в Касабланке крутит любовь с молодой Ингрид Бергман. Там тоже туман, недосказанность, полно хорошей выпивки, и у Ингрид все время мокрые блестящие волосы. Хорошенькое начало великолепной дружбы, Луис, подумал я и тут все в салоне захлопали, но не потому, что Скотти исчез, а потому что шасси, наконец-то, коснулись земли.

Апрель, 3

…Моей души первообличье вижу,
Пушистое и славное на редкость

(Йейтс. Смерть Кухулина)

На антресоли? Как бы не так. Я перерыл весь дом, вытянул из кладовки довоенные чемоданы, перетряхнул родительские шкафы, даже старую палатку и ту развернул и расстелил в коридоре, как будто рукопись могла туда заползти и заснуть сумасшедшей черепашкой. Я нашел чайную ложку с незнамо чьей монограмой, настенный календарь за 1989 год с подмигивающей японкой, целую стопку чистых конвертов с напрочь забытой

надписью *авиа.* Я нашел груду дивных и пыльных вещей — даже мамин портсигар, черненого серебра, с истлевшей резинкой внутри и с запахом старого пепла. Не дом, а пещера Трофония.

Заварив себе зеленого чаю с прошлогодней мятой, обнаруженной в кухонном шкафу, я лег на диван, разрешил Борису на мне развалиться, и принялся насиловать свою память.

Где меня носило в девяносто четвертом году, с кем я мешал в кастрюле дешевую израильскую водку и яичный ликер *Адвокаат* — до сих пор помню его гоголь-моголевый детский привкус — у кого спал в кухне на раскладушке, кому рассказывал придуманное на скорую руку ослепительное прошлое? У кого, черт бы их всех подрал, я оставил свою рукопись?

Вернее, семечко рукописи. Первую главу. Ту самую, где Скотти сидит в ротанговом кресле-качалке, которое не качается — никакой другой мебели там все равно нет — и смотрит на мнимую дверь. Он знает, что египтяне рисовали такую дверь в гробницах, обычно на стене жертвенной ниши, для того чтобы Ка могло найти себе дорогу. И вот Скотти приходит к другу и видит на стене контур двери, обведенный восковым мелком, а посередине свой портрет на листке разлинованной бумаги. Это наводит его на разные мысли, и он произносит их вслух, вот и все.

В литературе проживаешь — покуда проживаешь — голым, голым, а не, как это принято говорить, неприкрытым, и делаешь это для себя, оттого, что тебе так прохладней в твоем безысходном раю, что тебе люди? преображаешь себе потихоньку душу словесной материей и в ус не дуешь, открытие зла в себе еще не произошло, как не наступило время фиговых листков, время истолкования; дзэнский палец, указующий в небеса — вот где начало распада, что тебе люди? они смотрят в тебя, но видят лишь свои изломанные отражения, reflections, если угодно — рефлексии, несть предела ни жару ни холоду твоему, но это твоя, понимаешь, твоя проблема, не ищи в себе шофара, чтобы трубить покаяние или войну, ты никому ничего не должен — поиск истины, как и поиск внимания, сделает тебя вязким и мелким, не стремись быть услышанным — ты не заклинание и не пифия, ты даже не жрец-посредник, в лучшем для тебя случае, ты — дымок, которым окуривают треножник, испарения дельфийского тумана, беззаботная испарина одиночества.

Ума не приложу, что я собирался из этого сделать.

Все, что я помню о египетской символике — это затертое до дыр *глаз Гора защищает меня, даже когда он закрыт,* да и это помню только потому, что однажды поставил эпиграфом к рекламной статье, заказанной офтальмологической клиникой.

Память у меня существо женского пола — она является во всем сиянии, когда ее не звали, и сьеживается в комочек, когда просят показать или потрогать. Чтобы заставить ее уступить, надо отвернуться и смотреть в другую сторону.

Поэтому я стал думать о другом, например, о том, что видел перед собой на столе — о черной каменной рыбе с Маврикия и цветочной вазе, в которой не было цветов, с тех пор, как удрученная Маргерит собрала свои практичные рыжие бельгийские чемоданы.

Я готов был думать о чем угодно, лишь бы не о работе, но в голову лез похмельный дождливый Милан и тот злосчастный мартовский вторник, когда я пришел в конференц-зал Пуччини к самому концу показа, оставив в гулком гостиничном баре с влажными мраморными стойками — вылитый рынок на барселонской Рамбле, не хватает только креветочной шелухи — пижонский, одолженный шефом шарф, рабочий Никон в кожаном футляре, accreditamento на желтом шнурке и пластиковый ключ от дверей номера.

Охранник оглядел меня с ног до головы и покачал головой.

— В зал со спиртным нельзя, сэр, — сказал он ласково, перекатывая за щекой хрустящие итальянские согласные, я посмотрел на себя в зеркальную стену: в руках у меня была бутылка граппы, в кармане купленной утром белой рубашки — рюмка на тонкой ножке, прихваченная из бара, в глазах — горестное безумие.

Когда мы проснулись — я, Скотти и дебелая волоокая дева, приведенная в полночь застенчивым белл-боем — до московского рейса оставалось четыре часа, в пустом холле отеля катался на щетке старомодный полотер в позументах, в баре пахло кофе, мастикой и пережаренными фисташками, мне понравилось, что на рассвете — обнаружив шотландца в нашей постели — дева не дрогнула, лишь едва заметно усмехнулась, вот оно! подумал я, в крайнем случае, проведу остаток жизни с ней и Скотти в какой-нибудь сицилийской деревушке, буду возвращаться домой рано утром, весь в рыбьей чешуе, обливаться из бочки и валиться спать до самых сумерек под звяканье медных фамильных кастрюль.

* * *

Разворот с молодыми дизайнерами, жемчугами и стразами я завалил, пришлось впопыхах одалживать текст и фотографии где попало. Шеф повесил синий плащ обратно в шкаф и, хмуро поглядев мне в лицо, опустил большой палец вниз — *полный*

отстой. Потом он вытянул указательный в сторону двери, и я пошел домой.

И я пошел домой, лег на кровать и стал немного думать*, как говорила моя вересковая меланхоличная Маргерит.*

Что значит — бывший писатель, думал я, ведь писательство это свойство организма, а не ремесло или — пронеси, Господи — умение. Можно ли стать бывшим жирафом или бывшим древесным жуком? Скажем — перестаешь ли ты быть древесным жуком, если больше не хочешь ходить в стене?

Что происходит в твоей крови и лимфе, во всех этих жидкостях, текущих вверх по пути, ведущему вниз, когда ты перестаешь тревожиться, *движущийся образ вечности* становится набором слов, а ты становишься кем-то еще, и больше уже не ходишь сквозь воздух, и воздух не расступается перед тобой на ширину колеса от повозки?

Кто заносит тебя в многослойные ессейские списки, как только ты ловишь в сумеречном воздухе влажное стрекозиное слово, и вычеркивает, как только ты роняешь его, смятое, в сухие сосновые иголки, не сумев произнести?

Да нет там никого, папирус сам себе хозяин, буквы появляются и исчезают, вот как эта реклама в моем окне, бегущая с севера на юг красная строка, универсальный бессмысленный свет.

Себя не царапайте, и царапину души не изображайте на плоти вашей, говорит тебе Храмовый свиток, а ты ему веришь, и закидываешь рукопись на антресоли, как выражается ненавистный шотландец, или забываешь у подружки на пару с портсигаром или зонтиком — как делаю я — а потом и подружку забываешь.

На этой мысли мне нестерпимо захотелось коньяку, я сбросил теплого Бориса с живота, и пошел в кухню, надеясь найти там остатки вчерашней роскоши, и там, на кухне, стоя босиком на ледяных керамических плитках с бутылкой в одной руке и половинкой лимона в другой, я содрогнулся и вспомнил. Вспомнил, где я оставил рукопись, вернее — где мог ее оставить, я даже улицу вспомнил, и дом, и квартиру, и шар голубой.

Апрель, 12

Il est un dieu pour les ivrognes.

(французская поговорка)

Хуже всего было то, что я без малого месяц обходился без

девушек. То есть, я мог, конечно же, позвать девушку к себе и провести с ней некоторое время *не засыпая* — в таком случае Скотти просто не сумел бы появиться — но меня раздражала сама необходимость подстраиваться под его правила и позволять рыжему демону, мелкой сошке, навязывать мне свой категорический утренний императив.

В редакции дела покатились под гору. Шеф стал поглядывать на меня с какой-то неприятной мыслью в глазах, но озвучить ее не решался. Однако, эта мысль темнела плотным облачком над моим письменным столом и сгущалась до черноты, когда я заходил к нему в кабинет.

Рот у шефа, когда он слегка недоволен, похож на свежий стручок чили, а когда злится — то на подсохший, это у нас даже верстальщики знают, а верстальщики самые несведущие люди в человеческом сообществе. Так вот, свежего алого стручка я уже неделю как не видел.

Про остальных и говорить нечего: фотограф Катька перестала заходить ко мне с пропитанной маслом брушеттой в салфетке, когда в соседнюю комнату приносили ланч из итальянского кафе; стажерки из отдела рекламы, являвшиеся по утрам посидеть на моем подоконнике с сигаретой и поболтать ногами, принялись отводить подрисованные глаза, встречая меня в коридорах, а главное, вчера ко мне заглянул оффисный администратор — вот ведь выморочная должность — дивнощекий хлопотун, похожий на отшлепанного Минервой Купидона, и, от дверей, не входя и не здороваясь, сообщил, что завтра у меня заберут мои пепельницы.

Мои пепельницы! Да я работаю в этой конторе только затем, что здесь у меня есть особые привиллегии! Пепельницы в редакции до вчерашнего дня были у троих — у шефа, у дизайнера Алены, которую я прозвал Алекто за змеящуюся по спине косу и несносную злопамятность, и у меня, грешного. Теперь их осталось две, на радость конторской уборщице.

Утром я рассказал об этом Скотти — а кому же еще? — и он ужасно расстроился, даже веснушки посветлели.

— Тебя считают педиком, детка, — сообщил он, покачавшись на кухонном стуле, — в этом все дело. Про тебя пошли неприятные слухи.

— Да у нас половина редакции — педики, — удивился я, — а вторая половина до сих пор в раздумьях.

— Да, но они *всегда* ими были, — хмуро сказал Скотти, — а ты, получается, держал людей в неведении. Выдавал себя за другого. Такое не прощается. Ты утратил самое привлекательное свойство — неопределенность, и теперь — когда им *все ясно* — они станут радостно намекать тебе на это при каждом удобном

случае. Я бы на твоем месте поискал другую работу.

Он еще учить меня будет, этот недокрашенный абердинский эльф! Дождавшись его ухода, вернее — незаметного исчезновения, я налил себе красного чилийского, выпил залпом, уступил Борису кусочек сыра, позвонил в редакцию и попросил недельный отпуск за свой счет. Per motivi familiari.

Апрель, 17

Cui ci sono del monstri.

(Надпись на фреске во флорентийском дворце Питти)

— Да какой там демон, — скривился египтолог Вереск, когда я пришел к нему пожаловаться на жизнь, — на всех забивших на литературу русских писателей демонов не напасешься. Напрасно ты с ним серьезничаешь — мало ли с кем приходится просыпаться в этой жизни. Он ведь к тебе не пристает? Не кусается, не щиплется? Не богохульствует?

— Нет, он вообще-то приличный парень, — сказал я, сам себе удивляясь. — Собаку выводит, даже чашку моет за собой. Правда, в ванной после него весь пол забрызган. Но то, что он выглядит, как мой собственный персонаж, разве не значит, что это мой собственный демон?

— Много ты знаешь, о том, как он выглядит, — Вереск подлил себе еще коньяку, — Это твой ушебти, вот что я думаю. Да не пугайся ты так. Это всего лишь человечек с мотыгой, которого клали в гробницу, чтобы он за умершего вкалывал на полях Озириса. Как, ты говоришь, начинается твоя книга? Намеком на египетскую мифологию, что-то там о мнимых дверях, верно? Ну вот, тебе и прислали твоего ушебти, — тут Вереск довольно улыбнулся. — Написал бы цитату из Жана Бодена, тебе бы белокурую ведьму прислали! Таких ушебти в приличной гробнице целую роту можно найти, по одному на каждый день трудовой повинности.

Он с трудом поднялся из глубокого кресла, подошел к компьютеру, и, быстро пощелкав клавишами, подозвал меня:

— Читай. Шестая глава Книги Мертвых, правда, перевод никудышний.

Я послушно уставился в экран поверх его плеча.

…Когда в Полях Иалу боги позовут покойного на работу, окликнув его по имени, ушебти должен выйти вперёд и

откликнуться: "Здесь я!", после чего он беспрекословно пойдёт туда, куда повелят, и будет делать, что прикажут.

— Вот видишь, — Вереск небрежно потыкал пальцем в дисплей, — что прикажут. Ты сам ему приказал выглядеть, как этот твой Скотти. Скучал по нему, наверное.

— Выходит, он должен меня слушаться? Раз так — почему же он не уходит, обормот красноволосый? Представляешь, каково это — каждый раз находить в своей постели здоровенного парня в полосатой майке? У меня уже все иссякло — и paciencia, и resistencia. Может, ему зеркало серебряное показать, как василиску? Или тут слово особенное нужно, на манер пароля? — я вылил оставшийся коньяк в опустевшую рюмку египтолога и стал представлять себе, как завтра, обнаружив Скотти на своих осквернённых простынях, я выберусь из постели и указуя на него торжествующим перстом, произнесу ритуальную формулу.

Мне даже жалко его стало, съежившегося, забившегося в угол кровати, моргающего бесцветными, будто заплаканными, глазами. Cosa fatta capo ha. Первым делом я проветрю спальню, потом проведу ритуальное очищение, потом соберу полный дом гостей, чисто Эней на Сицилии: устрою гонки кораблей, кулачные бои, стрельбу из лука и турнир наездников, а потом расскажу им все, как было, и заживу как человек.

— Пароль? Ты бы его еще веткой омелы отхлестал, — Вереск отставил пустую рюмку и слегка помрачнел. — Ничего не выйдет. Надо было сразу приказывать, а не кофий с ним распивать и беседы беседовать. Говоришь, он за рукописью пришел? Вот и дописывай рукопись. Начни, по крайне мере, а там он, глядишь, успокоится и сам уйдет.

— А другую книжку если начать? — спросил я, остановившись в коридоре, — Он же мне в наказание прислан, правильно? За то, что я не пишу. Ну вот — уйду я из глянца, брошу пить коньяк по утрам, начну новый роман, орошу, типа, кровью алтарный огонь…и что тогда?

— Да кому какое дело, пишешь ты или нет? — египтолог удивленно поднял глаза цвета йода, — И потом, причем тут кровь-то? Ты же вроде со Среднего царства начинал. Положи хлеб на плетеную циновку и дело с концом, — тут он вежливо, но чувствительно подтолкнул меня к двери, и, когда я вышел, тихо повторил в коридоре, как будто сам себе:

— Камышовая такая циновка. Хетеп называется.

Апрель, 20

…Кого ни встретишь, склонись и

припомни хоть какую-то молитву из прошлой жизни, хоть что-нибудь, во что верил.

(Книга Мертвых)

…ты достал уже своим отсутствием мотивации, тебе не хватает куража по утрам, чтобы открыть глаза, а мне что говорить? я вообще живу в кино по мотивам одного тебя, скотти хотел, наверное, крикнуть, но зашипел простуженным горлом, он пришел с дождя, и тряс теперь в ванной мокрыми волосами, я вообще — живу? ты хотел написать историю сердитого юного автора, а написал монолог похмельного клошара в ожидании todo, я слышу, как он идет на кухню, шлепая по каменным плиткам, русская привычка разуваться в коридоре, кельтская манера снимать носки и бросать где попало, древним языкам не хватало слов, говорит он, гремя моим медным кофейником, и они позволяли смыслам переливаться одним в другие, смотри: латинское *malum* означает яблоко и зло, а китайское *пин* — яблоко и покой, а у греков — яблоко и козел, да полно этих яблок, не мир, а тайный остров авалон, говорю же тебе! яблоко раздора, яблоко эриды, яблоко фрейи, яблоко диониса…ну уж нет, не выдерживаю я, яблоко диониса это айва! вот именно — скотти возникает в дверном проеме с чашкой в руке — кофе у тебя нет, я заварил подозрительного чаю, вот именно: почему бы не сказать — айва дионисия? и даже дурачок аконтий со своей клятвой, и тот вырезал ее на яблочной кожуре! да чего ты привязался ко мне с этими яблоками, я поворачиваюсь к нему вместе со стулом — мне неуютно от того, что он стоит за спиной с этой своей чашкой

ты что, правда, не помнишь? он заливается краской, я ни разу не видел, чтобы так краснели — алой заливкой, будто эмалью по горячему стеклу — мне сразу хочется его потрогать, но я не стану, это же название твоей книги, говорит он с обескураженным видом, прозрачные глаза темнеют, подмокают болотной водицей, ты же сам так назвал! ad malum punicum, гранатовая улица, это еще зачем? разве у тебя такой был адрес в абердине? удивляюсь я, да нет же, скотти морщит облупившийся нос, и где он там загорает в своем холодном шумерском аду? это та гранатовая, что на квиринальском холме, у тебя еще эпиграф был из домициана: *я хотел бы быть таким красивым, каким меций сам себе кажется*, да что ты говоришь! я отбираю у него чашку и допиваю остывшую мяту, какой же я был дешевый пижон, начитался популярной истории, светониев-петрониев с базара понесет, с таким названием книга сгодилась бы только на самокрутки в

абердинской тюрьме, нет — в мамертинской тюрьме, коли на то пошло, не сердись, говорю я ему, понимая, что уже половина одиннадцатого, раньше он никогда так не задерживался, даже в милане исчезал из номера отеля, стоило мне отвернуться, его предел — два часа после того, как я открою глаза, тебе пора домой, завтра поговорим, я нажимаю кнопки, проверяю почту, мое интервью с н. взяли в elle? очень вовремя, во вторник отдавать долг редакционному барону нусингену — фотографу зеньке, скотти стоит за моей спиной, смотрит через мое плечо, я сегодня тут останусь, можно? он заранее надувает губы, как будто я уже отказал, и правильно делает — я непременно откажу, niente da fare, но меня же обратно не пустят! он виновато щурится, Дуэйн терпеть не может опозданий! надо же мне где-то быть, я зато потом два дня не приду! — о да, это сделка почище той, что асы заключили с каменщиком в мидгарде, тут мне не устоять, а что ты будешь делать тут весь день? спрашиваю, мысленно размахивая белым платком, я буду читать твои рукописи, отвечает он быстро, ответ соскальзывает у него с языка, будто сияющий мятный леденец, сбрендил, да? нет у меня никаких рукописей, я подхожу к столу и пинаю пыльную груду журналов, задвинутую под него, вот — читай, это мой теперешний квиринальский холм, надеюсь, это тебя охладит, а я пошел, и я иду, он молчит, разглядывает свои ногти, теперь я вижу, что у него отросли волосы — корни тоже рыжие, но медового оттенка, вернее, карибского — carta de oro, зачем ты красишь рыжее в красное, не выдерживаю я, но он не поднимает головы, воображаешь себя всадником-сидом — *с ног до головы были алыми их тела, волосы, кони и они сами* — так что ли? он не поднимает головы, ну и чорт с тобой, я надеваю плащ, наблюдая за ним из коридора, он не поднимает головы, на затылке хохолок, будто у коршуна — вылитая нехебт, сказал бы египтолог вереск, но что он понимает? я закрываю дверь на ключ и спускаюсь по лестнице, странное чувство — оставлять в доме демона без присмотра, а вдруг он захочет примерить мои теннисные шорты?

Апрель, 28

Все думаю о временном приюте
В столице Удзи,
О ночах былых
Под кровлей, крытою травой чудесной,
Что срезана была на золотых полях

(Манъёсю, Песня принцессы Нукада)

Фотографии, сколько я их сделал своей рукой, послушно принимая протянутые мне чужие фотоаппараты, на барселонской Рамбле, в Байше, в Санта-Монике, все эти вспышки, улыбки против солнца, всегда два лица, а то и три, когда человек один, он не станет просить случайного прохожего нажать на кнопку, хотя — какая разница, если подумать, закат за его спиной такой же клюквенный, а море такое же черничное, но вот не попросит же ни за что.

А она попросила. Я сидел со своим блокнотом в кафе напротив Джованни и Паоло, у мелкозернистого сияющего витражного окна, забранного решеткой от мальчишек, гоняющих мяч по пустынной площади, ей было неловко, но она подошла и попросила. К тому же, в своей шелковой рубашке я был вылитый Джан Мария Волонте, а итальянский у нее слабоват, теперь-то, наверное, лучше — прошло двенадцать лет, а может быть и хуже — за двенадцать лет многое становится хуже.

Я понял ее просьбу, встал и нажал кнопку, наведя оптику на сильно запудренное лицо с карминовым ртом, растянутым в выжидательной улыбке, вы русская? да! она радостно кивнула, и пришлось нажать на кнопку еще раз, а потом еще — возле деи Мираколи, и еще — возле Сан-Дзаккарии, хотел бы я знать, куда она потом дела эти снимки, наверняка разорвала в клочки, на нее это похоже, лежат теперь на дне канала, но не Гранд канала, а поближе — Грибоедовского, там мы жили над булочной, в проходном дворе пахло горячей ванилью, и все время хлопала тяжелая железная дверь.

Когда я приехал сюда в первый раз, и стоял с тремя желтыми фрезиями в газетной бумаге, задрав голову, в этом высохшем дворе-колодце, где эхо от каждого шага, казалось, уходило вверх по спирали, закручиваясь до самой крыши, балконные змейки, переплетенные позеленевшими хвостами, поглядывали на меня сверху с сомнением, примерно так же на меня помотрели из квартирной темноты, когда поднявшись по лестнице с зелеными змеящимися перилами на четвертый этаж, я прочитал все таблички над круглыми кнопками и позвонил.

— Вы кто? — спросила мама моей девушки, выставив кудрявую голову над натянутой до отказа цепочкой, я смотрел на ее рот, прищуренных глаз было совсем не видно, солнце пробивалось через высокие пыльные окна в тех местах, где выпали кусочки малютинского витража, и светило ей прямо в глаза, зато рот был знакомый, крупный, пепельно-красный,

потрескавшийся, как будто от сильного жара.

Я сказал кто и протянул цветы. Цепочка на секунду провисла, что-то звякнуло, тяжелая дверь приоткрылась и тут же захлопнулась. Чугунная змейка на перилах подняла голову и пошевелила раздвоенным языком.

— Брысь, — сказал я ей и позвонил еще раз. И еще раз пять из автомата, в те старинные времена в этом городе еще попадались телефонные будки.

— Меня заперли, — сказала она, виновато посмеиваясь, — мама ушла, а соседка ни за что не откроет, хотя ключи у нее есть. Хочу тебя потрогать. Ты не подстригся, ура! ура! я в окно видела и тебя и фрезии. Ну давай быстрее. Шестой балкон от угла.

Апрель, 28, вечер

Едва напряжем наше внимание,
как Тао уже убежало, засмеялось,
скрылось в небытии.

(Лао-Цзы)

Гофмановские змейки шипели и плясали перед глазами, водосточная труба гудела подо мной и хрустела слабыми сочленениями, воздушные решетки отяжелели и цеплялись чугунными завитушками, я сбился со счета и остановился на чужом балконе, с ребристой стиральной доской в углу, вот не думал, что у кого-то они еще живы, за стеклом замаячили и замахали руками, я перекинул ноги через перила за секунду до того, как хозяйка доски справилась с дверной защелкой и выскочила наружу в нейлоновом пеньюаре с воланами, вот мать вернется, сказала она кому-то за моей спиной, расправляя воланы на плоской груди, вот тебе достанется, но меня уже тянули за руку внутрь, за толстые театральные шторы — такими отделяют от зала директорскую ложу, а когда спектакль начинается, их подхватывают витым шнурком — под гипсовые облупленные своды, где один невезучий ангел был разделен перегородкой пополам и поглядывал сверху со страдальческой улыбкой, задрав пухлую ручку с двумя пальцами, сложенными буквой V, что означает *победа несмотря ни на что.*

Булочной больше не было, у магазина появилось французское имя и исчезли витрины, осталась только дверь со звонком. Я прижал нос к дверному стеклу — за стеклом виднелись манекены в пышных сквозных платьях и одинокая продавщица, она подняла

глаза от книжки и помахала мне рукой.

Приду с подарком, подумал я и тоже помахал.

Красный льняной шарф пришлось снять с яичных плечиков манекена. Ей понравится — в то лето все ее тряпочки были красными, такое уж было лето. Гранатовый, пурпурный, багряный. Червленый, рубиновый, рдяный! Шарф был *пунцовым*, это я сразу понял.

— Вам завязать или так уложить? — весело спросила девица, доставая с полки коробку от шарфа, для этого ей пришлось встать на цыпочки, и я подумал, что лет десять назад такая линия бедра задержала бы меня в Питере недели на две, а теперь я думаю о том, сколько у меня наличных, забыл спросить про цену, болван.

— Завязать? — я посмотрел на ее руки, теребящие серебряную бумагу.

— Ну да. Правильный узел — это всегда хорошо, — она встряхнула шарф и зачем-то посмотрела его на свет, — шотландские моряки, представьте себе, завязывают узлы на шейных платках, чтобы привлечь хорошую погоду.

— Ага. А мусульмане завязывают бороду узлом, чтобы отогнать демонов, — сказал я, доставая бумажник. — Валяйте, завязывайте.

И она завязала.

* * *

Я долго нажимал знакомую кнопку под табличкой с незнакомой фамилией, звонок был тихий, и она часто не слышала его, если сидела в дальней комнате. А в дальней комнате, насколько я помню, она сидела с утра до вечера. Шила своих кукол — разрисовывала фарфоровые личики, гнула проволоку, вырезала какие-то рюши из жесткой парчовой ткани, серебристый рулон стоял солдатиком у стены, лоскутная мелочь цеплялась в коридоре за ботинки, я даже запах крахмального клейстера вспомнил, стоя под этой табличкой с чужим неблагозвучным именем, ее собственное было коротким и сочным, сказать — как дольку мандарина откусить на морозе.

Самую большую куклу, сидевшую на книжной полке, свесив крепко оплетенные золотой тесьмой ноги, звали Арманд Марсель, хотя у нее были кудельные косы и дивная яблочная грудь под сарафаном.

— У куклы должны быть настоящие ноги с пальчиками, — говорила хозяйка квартиры и задирала Арманду Марселю юбку на голову, — если у куклы нет ног, это не кукла, а болвашка

лукутинская.

Если моя рукопись не пошла на папье-маше, вместо газет и сахарной бумаги, то она где-то там, в книжных завалах, или в рассохшемся шкафу, где я однажды обнаружил бутылочного цвета шинель с каракулевым воротником. Это на тряпки, махнула она рукой, мне всякое старье тащат, даже фата довоенная где-то валяется, с цветами апельсина. Или в одной их картонных коробок из-под плодовоягодного, сваленных под кухонным столом, туда я даже не заглядывал, каждое утро спотыкаясь о разлохматившийся выступ нижней коробки, проклинал, но не заглядывал, или на антресолях, между санками и кляссерами, как говорит невыносимый Скотти, она ничего не выбрасывала и страшно этим гордилась. Здесь жила моя прабабушка Прасковья, все наши здесь жили, говорила она, знаешь, сколько тут в стенах тайников?

Я не знал, я задыхался, по ночам куклы шуршали кринолинами и таращили стеклянные глаза в темноте, нитки и перья обнаруживались в кофейной чашке, работы не было, я писал библиотечные рецензии по восемь строчек и переводил итальянскую статью о малотоннажном судостроении для знакомого аспиранта из корабелки, и еще — про Скотти, как он сидит в своем кресле-качалке посреди пустой комнаты и смотрит на мнимую дверь.

В конце-концов я тоже нашел пустую комнату — на правом берегу, в бывшем доходном доме на Седьмой линии — нашел и сразу переехал.

— Вы к кому? — спросили меня из-за двери, тусклая цепочка звякнула и натянулась. Я произнес ее имя, за дверью повторили его и недоуменно хмыкнули. Тогда я произнес второе имя, домашнее, вспомнил, как ее называли друзья и тетка, изредка приходившая к чаю с неизменной глыбой серой халвы в промасленной обертке. Тетка-блокадница носила черную повязку на глазу и звалась Золотая Рыбка, я так и не успел спросить почему.

В квартире засмеялись, сказали *ага* и пропали минут на пять. Прислонившись к зеленой ободранной стене я слушал быстрые мелкие шаги по длинному коридору, я помнил этот коридор, черные деревянные панели, доходившие мне до груди, а дальше — выпуклый грязноватый узор из турецких огурцов, шаги замедлились у самой двери, показался палец с алой каплей на ногте, палец поддел цепочку, дверь открылась, и я вошел под шестидесятый градус долготы, пятьдесят девятый градус широты, на место ровное, отложистое, сыроватое, чрезвычайных кручей и глыбоких рвов неимущее, под знак небесный Урса Майор.

Апрель, 28, продолжение вечера

О берущий! не бери.

(Тексты пирамид. Пирамида Униса, передняя комната.)

Я начисто забыл ее лицо — мучнистый, мучительно ровный овал, из тех лиц, на которых румянец кажется нарисованным, забыл ее тело — полное, текучее, из тех медленных тел — ну, вы знаете — что едва розовеют на сбившихся парчовых покрывалах в ожидании золотого дождя, я забыл ее спотыкающиеся согласные, я вообще ее забыл, и не вспомнил бы, если бы не Скотти, чортова марионетка Скотти, придуманная в этой душноватой комнате, где мы сидели теперь: я на единственном стуле с испанской высокой спинкой, раньше их было четыре, она — на краю постели, в какой-то грубой вязаной кофте без рукавов, соседка разбудила ее, на ходу постучав в дверь костяшками пальцев, соседка была новой, и ничего обо мне не знала, впрочем, та, прежняя, тоже знала не слишком много.

— Ты теперь рано ложишься, — сказал я, но она не ответила, пальцы, сцепленные на коленях еле заметно шевельнулись, я обвел комнату глазами: в ней появилось что-то новое, но что именно мне было никак не разглядеть — те же неразборчивые темные картинки, те же часы с шумным маятником за граненой дверцей, те же смешные деревенские подзоры до полу, а, вот оно! лампа, вместо старой, бахромчатой, с колоколом зеленого бархата, над столом поблескивала стеклянная завитушка на ниточке, мелкая галогеновая дребедень.

— Ты купила новую лампу, — сказал я, создавая видимость диалога, она быстро посмотрела наверх и кивнула утвердительно. Возле рта у нее образовались какие-то напряженные выпуклости, как будто она набрала полный рот орехов, и боится разжать губы, мне вдруг захотелось провести по ним пальцем, но ведь я не за этим пришел, с другой стороны — это хорошее начало для неприятного разговора, я сосчитал до шести, медленно поднялся, подошел к ней вплотную, протянул палец и провел им по верхней губе, а потом и по нижней. Губы горели и едва заметно прилипали, так липнет к пальцам свежевыглаженная нейлоновая рубашка, статическое электричество, это было еще одно ее свойство, о котором я забыл.

— Ты где был? — она разжала губы, но орехи не просыпались.

— За спичками вышел, — попробовал я пошутить.

— Купил? — спросила она и посмотрела на меня снизу вверх, руки ее спокойно лежали на коленях, но от локтя к плечу бежали крупные мурашки, от злости и отчаяния у нее всегда делалась гусиная кожа.

— Купил, — я нащупал в кармане лаковый красный коробок, присвоенный утром в гостиничной кофейне, протянул ей на ладони и увидел, что мурашки побежали еще быстрее.

Сейчас тебе укажут на дверь, подумал я, засовывая спички в карман, и Скотти останется с тобой навсегда. Тоже мне писатель, подавился недопеченым персонажем, будто дешевым пряником.

— Ты меня оставь у себя, не гони, а то ночевать негде, — произнес я, надеясь, что она не заметила на коробке названия гостиницы, она всегда была немножко бестолковой, но болезненно внимательной, *нужно с мысленным прищуром подходить к другим натурам*, это про нее у Кэролла написано, только двенадцать лет назад я этой книги в глаза не видал. — Я за вином сбегаю. Посидим, музыку послушаем.

— Ага. Другие барабаны, — сказала она, улыбнувшись мне прямо в лицо. Еще одна вещь, которую я забыл — ее улыбка. Как будто красное хрусткое яблоко внезапно раскрылось, обнажив холодную сердцевину.

— Какие барабаны? — я снова сел на испанский стул, на нем можно было сидеть только прямо, а прямо я сидеть не люблю, скручиваюсь перечным стручком, как говорила моя няня, подходя сзади, когда я делал уроки, и сильными пальцами отгибая мне плечи назад.

— Другие, — теперь она смотрела поверх моей головы, — в армии Наполеона так назывался сигнал к отступлению. Другие барабаны. Такая специальная дробь, рассыпчатая.

— Ну да, — ответил я, вглядываясь в ее лицо, мне вдруг показалось, что она сидит в байковой пижаме в больничном коридоре, а я пришел ее проведать, и теперь мы как раз просыпали на клеенчатый пол апельсины. С ней и раньше бывали всякие несуразности, то она исчезала на несколько дней, встретив подругу детства и согласившись присмотреть за пустой квартирой без телефона, то, уходя на работу, выключала электричество, повернув рубильник за дверью, и вечером я доставал подтекший теплый сыр из холодильника; то подстерегала меня за бритьем и заворачивала кран, бормоча что-то о мелеющих океанах, то приволакивала в дом лысоватую кошку, потому что у нее глаза разные — как у меня, один серый, другой зеленый.

— Оставайся, у меня все равно дежурство ночью. Я теперь в театре сторожу на полставки. Только уйди куда-нибудь часа на два, мне выспаться надо, — она залезла под одеяло и отвернулась

лицом к стене. — Ключи в коридоре, на гвоздике.

Я взял ключи и вышел. На мостике, на ярком солнце, толпились студенты, один — с синей жестянкой в руке и надвинутым на рыжие кудри капюшоном — был вылитый Скотти, даже щетина с медной искрой, я подошел поближе, чтобы заглянуть ему в лицо и вдруг понял, что Скотти сегодня проснется с нами в Питере, на узкой железной кровати с подзорами, если уж он до Милана добрался в нелетную погоду, то Питер ему — только тонкими пальцами щелкнуть. Он проснется между нами, в этих своих невозможных шуршащих спортивных штанах, и мне придется все ей рассказать, все до конца, или хотя бы первую, самую дурацкую, главу.

Апрель, 29, первый час ночи

Hier il avait le bon Dieu et moi qui comprenaient, aujourd'hui il n'y a que le bon Dieu qui comprend

(Роберт Браунинг)

Когда в детстве, забираясь в дедушкин кабинет, я таскал у него пьесы со стола — до книжных полок добраться не получалось — мне часто попадались новые, в одинаковых дерюжного цвета переплетах из тонкой бумаги, эти были самые неинтересные, вечно про какую-то пшеницу или горячий прокат, и мне представлялось, что их пишут такие как Агния, тихая дедушкина помощница со смешным названием *помзавлитчасть*, у нее были припухшие утренние глаза, черные пиджачки в обтяжку и много соблазнительных значков на лацканах. Однажды я не удержался и отцепил парочку в коридоре, выменял на них во дворе океанскую крученую ракушку с тремя полосками и потайным перламутровым брюшком.

Хорошие пьесы — про любовь и войну — тоже скрывались под скромными обложками, я пролистывал их наскоро, сидя на полу, и откладывал для чтения, если там попадалось слово *в сторону* в круглых заговорщических скобочках, герои, умевшие говорить в сторону, почти всегда оказывались лукавыми царедворцами, похищенными барышнями или драчунами в красных сияющих сапогах.

Она умела говорить в сторону, я это еще в Венеции понял. Вечером, когда мы звонили в ее гостиницу из душного кафе, где черный эбонитовый аппарат висел почему-то возле раковины рядом с мокрым полотенцем, она тихо убеждала кого-то,

поджидающего ее в номере, посмеивалась, шуршала своими польскими согласными, переминалась с ноги на ногу, и все это время смотрела мне в лицо не отрываясь, как будто у нее был еще один, невидимый, рот, который произносил другие, предназначенные только мне, слова, а я, дурак, не слышал.

Она читала мне чьи-то мутноватые стишки, склоняясь над столом, забавляя меня вырезом футбольной майки, крепко поставив локти на плохо вытертую столешницу. Седой лохматый гарсон, похожий на профессора из тинтобрассовского *Ключа* — в этой части Италии каждый третий похож — загляделся на нее, одобрительно помотал головой и приволок нам по стаканчику липкого желтого лимончелло, услады американских туристок, не пей, это истинная причина смерти в Венеции, предупредил я ее, но она выпила лихо, а потом и мой тоже.

* * *

Когда я вернулся вечером, ее уже не было дома. Я поискал записку, но ничего не нашел.

Senza pieta, senza remissione.

Тогда я принялся искать рукопись: заглянул в дубовый гардероб, изъеденный жучком, оттуда пахнуло шариками от моли и тем неуловимым дыханием залежавшейся материи, от которого сразу вспоминаешь мамины платья с тугими желтоватыми проймами и дачные наволочки с обломанными костяными пуговицами. На нижней полке стояли балетного вида круглоносые туфли с перепонками — это была ее слабость, которую я тоже забыл, в любую погоду шлепать в открытых туфлях, жалуясь на мокрые ноги и опереточно кашляя.

На шкафу стояла моя машинка — югославская, оранжевая с белыми клавишами — я вспомнил, как покупал ее по обьявлению у долговязого историка на Гороховой и вез домой под февральским ледяным дождем, завернув в дырявый пакет с рекламой Мальборо, выданный мрачным хозяином. Когда я вошел, моя кукольница взяла махровое полотенце и вытерла мне голову прямо в коридоре, а потом поставила машинку на стол и ее тоже вытерла, насухо, клавиши покорно щелкали под ее крепкой рукой, каретка довольно повизгивала и ездила во все стороны.

Я открывал один за другим мелкие ящички комода — она называла их *шуфлятки*, на польский манер — постепенно увлекаясь, я заглянул в рабочий стол, вывернув целую груду почтовых конвертов — Боже милостивый, кому она пишет

бумажные письма? — и старых счетов, сорок лет назад моя няня называла их *жировки*, и я думал, что это такие жирные бумажки, вроде мушиных липучек и боялся их трогать.

Контора, куда она ходила платить за свет и воду, находилась по другую сторону канала, через мост с золотыми мифическими головами, она так и говорила — пойду на ту сторону, а я выгребал трешки из карманов, ведь она была моей женой, ее дом был моим домом, ее жировки были моими жировками. Забравшись с головой под кровать, я расчихался, вдохнув серой мягкой пыли, скопившейся в льняных подзорах, и почувствовал себя киношным жандармом, перетряхивающим жилище курсистки в поисках гектографа и прокламаций, сразу после этого в дверь тихонько постучали.

— У тебя все хорошо? — спросила соседка, та самая, смешливая, новая, она поскребла дверь ногтем, я затаил дыхание, но в ноздрях было полно пыли и пришлось чихнуть в полную силу.

— Эй! Ты разве не на дежурстве? — она постучала сильнее, четырьмя пальцами, я представил капли красного лака на заостренных ногтях, *четыре капли*, одна из пьес, что я стянул с дедушкиного стола, так и называлась, у автора была болгарская одеколонная фамилия, теперь и не вспомню.

— Заходи, — я покрутил колесико замка, и дверь открылась, — мне бы как раз пригодилась чистая незамутненная женская интуиция. Заходи, заходи, не бойся.

Апрель, 29, утро

…toute peine mérite récompense.

(из разговора, услышанного в кафе)

Инстинкт накопления времени, вот как это называется. Он у нее был развит с такой же силою, как у меня — инстинкт продолжения рода. Она припрятывала время в дупло, радуясь его запасам, и огорчаясь, когда время высыхало, размокало или его кто-нибудь умудрялся стянуть. Накопленным временем она распоряжалась в одиночестве, сначала это меня сердило, позже — настораживало, а потом я разлюбил ее и махнул на это рукой.

Она не любила делиться и пугалась, когда с ней делились, даже подарки разворачивала с опаской, подняв плечи, и ежась от зябкого, ей одной понятного, сквозняка, будто заранее переживала необходимость радоваться, прыгать с каким-нибудь

дурацким альбомом для фотографий в руке, в сущности, она не умела говорить пустое, вот в чем дело, а подарки — это же заполняемые наспех ячейки несбывшихся разговоров, разве нет?

Когда-то — *в несусветные времена*, как говорила моя няня — я пытался понравиться матери моей девушки, просто потому, что меня утомляли их утренние отрывистые разговоры за завтраком, честно пытался, без отвращения, она была simpática, наша старушка, с этой своей упрямой головой в рассыпающихся завитках и ландышевым душком, ей тогда было на пару лет больше, чем мне теперь.

Однажды я повез их на озеро, одолжив у приятеля старенький фольксваген, поставил машину на берегу, велел им оставаться внутри и смотреть во все глаза, а сам — в добротных июльских сумерках — прокрался через лесок и разом поджег целую горсть фейерверков, уложенную заранее в высокой траве.

Маленькое лиловое пламя бежало по шнуру, ракеты взвивались одна за другой, потрескивая, будто расстегивая бесконечную застежку-молнию, втыкались в небесную мягкую твердь, рассыпались красной охрой, ложились на воду и там догорали — цветение вяза, липкий тяжелый пух над городом, нет, саламандры, вылетающие из огненной пещи, смертное холодное шипение.

Я засмотрелся и забыл о женщинах в машине, спохватился, быстро пошел через осоку, через колкий кустарник, туда, где маячил светлый бок автомобиля, предвкушая удивленные возгласы, смех, понимание, вспыхнувшее, будто шутиха в беспросветной тьме, распахнул заднюю дверцу — обе спали, сидя, запрокинув головы, надутое белое горло матери показалось мне брюшком мертвой ящерицы, волосы моей девушки упали мне на руку, она открыла глаза и виновато улыбнулась, это было так долго, сказала она, *ужасно красиво*, но долго, сначала мама заснула, а потом я, ведь ты не сердишься?

* * *

Я провел в ее комнате всю ночь и ушел до ее возвращения. Соседка, которой я задал один вопрос — *куда женщина может спрятать то, от чего она не может избавиться, хотя это напоминает ей о том, что она хочет забыть?* — помогала мне снимать лопоухие дерматиновые чемоданы с антресолей и расшвыривать коробки с бутафорскими лоскутами, хихикая, будто ее щекотали всю дорогу.

Ее плоские скулы светились радостным малиновым светом, в

полночь она сходила к себе за чаем, принесла мне две разномастные чашки и печенье на подносе, будто усталому пахарю в поле, а через час я ее выставил, плеснул себе из латышской бутылочки черного бальзаму, поставил иглу на винил с Жильбером Беко — на конверте был нарисован сиреневый Petite Point в парижской мгле — залез с ногами на хозяйкину кровать и закрыл глаза.

Рукописи здесь не было, комната с пожелтевшим ангельским потолком и двумя узкими, низко посаженными окнами, сдала мне все свои тайники, вплоть до корзины с грязными полотенцами.

Я нашел свою брезентовую куртку, в которой со знакомыми геологами ездил в экспедицию на Алтай в девяносто коньячном году, в кармане куртки остались два радужных кусочка скальной породы, обкатанные горной речкой — кой черт занес меня на эти галеры? — нашел своего Реформатского и синий английский словарик с загнутыми уголками — словарик я прибрал, разумеется — нашел даже муранскую хрупкую пепельницу, которую сам купил ей в лавочке у Старых прокураций, я тогда не знал еще, что она курила со мной первый раз в жизни, так просто, ради поддержания разговора.

Ее тогда ждали в гостинице, хозяева-кукольники закатили вечеринку, итальянская неделя заканчивалась, билеты были на завтрашнее утро, за нами приедет автобус от театрального общества, важно сказала она, в программе еще Ватикан, но это будет как-то сбивчиво, всего на половину дня.

Я тебя отвезу, сказал я тогда, глядя на ее рот с приставшей чешуйкой укропа, оставайся, я отвезу тебя в aeroporto, будешь там к самому самолету. Ватикан за полдня это все равно что ваш Петергоф на счет раз-два-три. Она округлила глаза от сладкого девчоночьего ужаса, прикусила нижнюю губу — два передних зуба чуть выступали, детские, заячьи — и я вдруг засуетился, забормотал, завертелся на желтом пластиковом стуле.

Оставайся, я покажу тебе Бурано и Мурано, купим бутылку кьянти — тяжелую, оплетенную соломой! и выпьем, стоя в ночной толпе — на палубе вапоретто, а утром я тебя отвезу, у моего друга есть машина, будем ехать долго и останавливаться в придорожных кабачках, сьезжать с дороги в разные ароматные деревушки, ну хорошо, перебила она, мне только надо позвонить, вытащила из кармана белых парусиновых штанов гостиничную карточку и поднялась, слегка покачнувшись, показывай, где тут телефон?

Никакого друга у меня не было, и машины тоже, я жил у своей приятельницы, русской переводчицы, в растрепанном девяностом вышедшей замуж за московского гостя, венецианского

купца, купец был в отъезде и она разрешила мне переночевать в сыроватой гостевой комнате на calle Buccari с двумя условиями: не шуметь до полудня и не появляться раньше полуночи.

В пять утра я отвез свою прекрасную кукольницу в Местре, посадил на римский автобус с черными непроглядными стеклами и уже повернулся, чтобы уходить, предвкушая ловкий трамвайчик до Святой Елены, зеленый чай и прохладные простыни, когда она вынырнула из автобуса, оттолкнув солидную тетку с кофейного цвета саквояжем — тетка рассыпала горсть раскатистых столичных проклятий — и бросилась мне на шею, больно стукнув меня твердой грудью, туго затянутой в новый, купленный на Скорцо, лифчик с застежкой спереди.

Лифчик этот я видел: часа в три ночи она позволила стянуть с нее майку с красными буквам *нью-джерси девилз*, остановилась на пустом причале, прямо в луже морской воды на деревянных мостках, рассстегнулась деловито, точно кормилица, и развела шелковые чашечки, показав мне две слишком полные, слишком белые, конические груди. Соски у нее были цвета кедрового ореха, я таких темных никогда раньше не видел, но не подал виду и поцеловал их с той же осторожностью, с какой их преподносили. От нее пахло корицей, будто от теплой булочки, от венецианской воды несло уснувшей рыбой и цветущими водорослями, я хотел было встать на колени, спустить вниз мешковатые белые штаны и попробовать ее на вкус, но вспомнил, что в последнем кафе мы ели сырные гренки с чесноком и передумал.

Чеснок мгновенно пропитывает женщин с ног до головы.

Апрель, 29, 04.45

…Какая-то новая легкая жизнь, пустая и нежная, как смерть ангела в ватер-клозете.

(из дневников Бориса Поплавского)

Когда я открыл глаза, возле меня лежал Скотти, раскинувшись на стеганом хозяйкином покрывале. От него пахло рижским бальзамом и еще чем-то затхлым и тревожным, щеки в чахлой рыжеватой растительности заметно втянулись, на подбородке алело аккуратное круглое пятно, будто его ткнули туда остро заточенным перышком. Похоже, я все-таки заснул: пластинка бессмысленно шуршала под пластиковой крышкой,

жесткий стеклянный свет заливал комнату, а Скотти был тут как тут.

— Привет, — сказал я ему, не поднимая тяжелой головы. — Давненько тебя не было.

— Отчего же, вот давеча в купе, — скромно заметил Скотти, — только я торопился и зашел ненадолго, к тому же проводницы в Красной стреле…

— Ну тебе-то грех жаловаться, с твоей оссианскою силою. Тебе, небось, и три жестокие Бригиты мягко стелют, — я отодвинулся и приподнялся на подушках, чтобы не вдыхать его лукового юношеского пота, обычно Скотти бегом бежал в душ, первым выбираясь из постели, но сегодня у него явно не было такой возможности. Душ в питерской коммуналке надобно сначала отыскать в завитках коридора, а после — добившись в нем воды и одиночества — долго крутить тяжелые ребристые краны, пытаясь создать пригодную для жизни температуру. Бедолага, у него просто не было времени.

Я заметил, что во времени Скотти ограничен на манер постояльца в дешевом молодежном хостеле:

не то ворота в его ольховый ад со скрипом закрывались в определенное время, не то лунная батарея разряжалась через несколько часов, прямо как батарея моего VAIO в самый интересный момент — в нелетную погоду в провинциальном аэропорту или на публичных чтениях в отсутствие бумажных текстов.

Вспомнил тоже, *детка*! публичные чтения.

Последние были в подозрительном клубе лет шесть назад, с потолочных балок сыпалась древесная пыль, а гостей обносили липким портвейном в железнодорожных стаканах. Я читал там рассказы — размахивая зеленым позапрошлогодним журналом — и переводы из Якопо Саннадзаро — прямо с неуверенно мерцающего дисплея, мой итальянский тогда еще не провалился в колодец мертвого времени. В перерыве ко мне подходили девушки с капризными лицами, в слишком длинных или на диво куцых кофточках и норовили невзначай потрогать за руку. Одну я даже увел к себе в гостиницу, у нее были влажные пухлые ладони, у начинающих поэтесс всегда такие, а пятки у них жесткие, не ведающие ни свежей травы, ни песка, ни пемзы.

Через год я убил свой первый компьютер, сменивший оранжевую югославку, опрокинув горячий кофе на клавиатуру, парень, который пришел его чинить, посмотрел на меня с презрением, вы бы в него еще пепел стряхнули, сказал он, захлопнув крышку своего чемоданчика — моя няня называла такие *ледерин*, я всегда думал, что это леденец такой

специальный, некоторые слова из няниного словаря обьявили себя только теперь, а некоторые так и растаяли вместе с итальянскими дифтонгами и ямбической утренней силою.

— Что скажешь? — я обвел рукой заваленную тряпками комнату. — Скоро утро, так что ты вовремя явился — надо приводить все в порядок. Или у вас, демонов, это не принято?

— Кто тебе сказал, что я демон? — Скотти спрыгнул с кровати, лег на пол и принялся лениво отжиматься, его пятки были желтоватыми, будто подкрашенные охрой, худые ягодицы мерно поднимались и опускались перед моими глазами.

— Ясное дело, демон, — я тоже сошел с высокой перины и сел на ненавистный испанский стул. — И у меня для тебя, демон, плохие новости.

— Да неужели? — Скотти подпрыгнул на вытянутых руках, болезненно напомнив мне одного ловкого сержанта с университетских сборов. — Вряд ли у тебя могут появиться новости, о которых мне неизвестно заранее. Ну давай, говори, — теперь он сидел на полу, сложившись на восточный манер и ласково смотрел мне в лицо, вылитый ученик Наропа, хоть с крыши сбрасывай.

— Нам придется провести вместе немало рассветов, — я начал витиевато, как и полагается искушенному Тилопе, — похоже, это будет стоить мне всех гурий оставшихся на мой век в Поднебесной, ты распугаешь их своей утренней мрачностью. Но это ничего — я уже начал к тебе привыкать и думаю, что скоро смогу тобой одним обходится, если не возражаешь. Побрейся и купи себе алые шелковые трусы, неплохо было бы сделать татуировку в районе крестца, синего карпа, или фиолетовую шипастую розу.

— Плоская шутка, — мрачно заметил Скотти, — и паршивый совет. Если я побреюсь и приоденусь, то стану похож на тебя, а ты ведь не хотел бы трахнуть свое отражение, или как?

— На меня? — я наклонился поближе к его послушно поднятому лицу. — Да ты ополоумел. Ты похож на меня как старьевщик из гетто похож на гауляйтера! И вот что — рукопись я не нашел, так что привыкай к мысли, что мы теперь скованы одной цепью. Придется тебе сторожить мои пробуждения до самой смерти и склоняться над моим белым телом, будто придурковатая Психея с масляной лампой. Так и скажи своему начальству, мол, наказание Марсия затянулось, кожу содрали, натянули на барабан, а барабан не издает ни звука.

— Начальству? — Скотти ухмыльнулся, поднимаясь на ноги и направляясь в кухню. — Начальство у нас общее, сам докладывайся. Мне и так за самоволку влетит. За лишние часы. Я

к тебе в свободное время бегаю, вместо тренировки, секцию совсем забросил, если меня тут застукают — такую епитимью наложат, что твой ободранный Марсий счастливчиком покажется.

Он оставил дверь приоткрытой и я услышал недоуменный голос соседки:

— Господи, это еще кто? Вы что здесь, спортивный лагерь разбили? — она что-то еще говорила, но вдруг замолчала, потом всхлипнула и — судя по звуку — в кухне что-то упало и разбилось.

Через две минуты Скотти возник в дверном проеме со знакомым пластиковым подносом в руках, на подносе стояла бутылка коньяку и две чайные чашки с подсолнухами.

— В сильный дождь нужно пить коньяк с медом, — заявил повеселевший шотландец, усаживаясь на край кровати, — если сквозь дождь видно солнце, то можно пить горячее вино с апельсиновой цедрой, а в жаркий день сойдет и темное пиво из погреба.

Он плеснул коньяку в чашку и протянул мне, я взял.

— Я не смогу дописать твою жизнь, понимаешь? Не потому что рукопись не нашлась, можно было бы поискать еще кое-где, но дело не в этом — я просто не знаю, что писать. Я понимаю, что рукопись — это твой дом и по моей вине ты остался без дома — спишь там в своем литературном аду на решетке метро, будто клошар, понимаю, что монологи о мандале и мандорле тебе осточертели, не меньше, чем сломанное кресло-качалка, я даже подружку тебе не успел придумать, понимаю, за что ты меня наказываешь, но ничего не могу изменить. Я забыл как это делается. Увидел этот стол, машинку и понял, что забыл. Поспал на этой кровати и понял, что забыл, так же как забыл всю эту кукольную питерскую жизнь и эту розоволосую гуттаперчевую женщину. Мертвое прошлое. Знаешь, это как почувствовать змею в животе.

— В литературном аду? — Скотти подошел ко мне и сел на пол у моих ног, заглядывая мне в лицо. Он наклонял голову вправо и влево, ну вылитый Борис, оставленный мной у фотографа Зеньки вместе с узорным поводком и сиреневой косточкой.

— Ты что, правда думаешь, что я — как это сказать? — разрушитель всех собраний и прерыватель всех наслаждений? Ходячая мандрагора, исчадье литературного ада? Право, что за вздорная мысль!

К тому же, на другом конце такого осмоса — по ту сторону мембраны — должен помещаться литературный рай, и кого бы ты *туда* поселил? Детка, ты что же, все это время *так* думал, все

сорок дней?

— Какие еще сорок дней? И не зови меня детка, сто раз просил.

— Ну эти, твои. Сегодня же последний. Тебе полагался проводник и кино, не хмурься! в свите Хатор и такого не давали. Обычно крутят про самое стоящее, хотя бывают и недоразумения. Кино тебе показали, а проводник — это я. Правда, я реже должен был являться и больше разговорами донимать, ну там подготовка, то да се, тоска по обьятиям и метафизическое отчаяние, но я ведь хозяина знаю — ты сам себе бесконечный разговор и сам себе систр.

Когда меня к тебе отправили, в тот вечер, к мексиканскому кафе, я еще сомневался, у меня ведь зуб на тебя, сам знаешь, с тысяча девятьсот девяносто четвертого года, а увидел тебя с этими пакетами на тротуаре, с бутылкой этой непотребной, небритого такого, лицо даже в смерти и то настороженное, и — полюбил опять. Мне с тобой было даже хорошо! — он почти незаметно зевнул и положил голову мне на колени, на макушке среди тусклых красно-рыжих прядей пробивалась круглая лысинка. — Я там начудил немного поначалу, с Миланом этим, с барышнями, говорю же — зуб на тебя точил, хотел показать, каково это — в чужом душном замысле существовать без сверхзадачи, а потом увлекся и понеслось…

Я запустил руку ему в волосы и дернул побольнее.

— За Милан тебе спасибо, проводник, потешил хозяина. Сорок дней, говоришь. Чем же я, выходит, занимался с начала апреля? стучал веером по столу — *вразнобой* — чисто прустовская герцогиня.

Знал бы, что напоследок, совершил бы геройство какое-нибудь. Рукописи бы разобрал, черновики всякие. Последняя воля там, последняя сигарета, lettre de rupture.

Скотти улыбнулся уголком рта, чорт возьми! я уже соскучился по этой его улыбке, и глядя мне в глаза снизу вверх, протянул руку за бутылкой, нащупал ее и плеснул себе доверху.

— Честно говоря, ты ничем не занимался. Ты сидел в своей *нароке* и смотрел свое кино.

А я тебя навещал, вроде как в тюремной больнице. Немного чаще, чем положено. Выпьешь еще?

Я подставил чашку, и мне нацедили последние капли адской смолы. Бутылка простучала по полу, закатилась под кровать и брякнула о стену.

— Змей ты, шотландец. Надо было тебе все-таки зеркало серебряное показать, глядишь и сгинул бы, — я сбросил его голову со своих коленей и встал. Скотти тоже встал, подошел к

стене, где висело старое круглое зеркало — еще бабки Прасковьи, все в черных блестящих мушках — поправил волосы, аккуратно снял зеркало с гвоздя и повесил лицом к стене.

— Хорошо, что напомнил, — он посмотрел на меня со значением, — а то нехорошо бы вышло. Пошли уже, ага?

— Погоди-ка. А как с моим Борисом поступили? — спросил я с нарочитой строгостью. — Собака безвинная взаперти осталась, все ботинки, небось, изгрызла с голоду.

— Собаку она взяла, — Скотти ткнул пальцем в сторону хозяйкиной кровати, — больше никто не захотел. У твоих друзей ведь кошки у всех. А она приехала и взяла, и поводок взяла, и миску, и даже войлочный коврик. Ты бы ее не узнал, наверное, волосы черные, длинные как у Гиневры, очки смешные, выпуклые, за такими глаза будто плавают, знаешь? — он взял мою руку, повернул запястье и посмотрел на часы, — Ну давай, собирайся, пошли, Дуэйн ждет. Страсть как не любит опозданий.

И мы пошли.

XXI Мир / Вселенная

Главное настроение Двадцать Первого Аркана — буквально на пустом месте ощущать гармонию мироустройства, наслаждаться красивыми пейзажами, вещами и вообще жизнью — просто так, без каких-то особых поводов, без ощутимого внутреннего усилия даже. Прятаться от дождя в чужом подъезде и ощущать себя владыкой мира, ради которого построили дом (и заодно включили дождь) — примерно так.

Жить с ощущением "я могу все", при этом ничего не хотеть — еще одно важное настроение Двадцать Первого Аркана.

Надо понимать, что склонность к бездействию тут происходит не от мудрости, она всего лишь следствие железного правила: "Бодливой корове бог рогов не дает". Рога поэтому надо все-таки как-то самостоятельно отращивать. Даже если не хочется.

"Если меня о чем-то просят, и я это могу дать, значит, у меня нет причин отказывать" — вполне обычная формулировка для Двадцать Первого аркана. Человек, находящийся под его влиянием, понимает, что у него есть весь мир — то ли в руках, то ли вовсе у ног лежит. А у других, можно сказать, и нет ничего. Значит надо делиться.

Альтруизм в рамках Двадцать Первого аркана — не нравственный подвиг, а обычное, естественное дело.

Виктория Смирнова
10^{80}

— А ты знаешь, — говорит он, — что мир — это волна с частотой 10^{80}?

… этот разговор произошел на самом деле. Кто-то, может быть, скажет, что нормальные люди не станут вести такие разговоры в таком месте и в такое время. Скажет, что диалог надуман, а сама ситуация отдает литературщиной и подражанием Эрленду Лу. Так вот, повторюсь, этот разговор произошел на самом деле. И — я настаиваю, — нет ничего более логичного и естественного, чем вести именно такие разговоры именно в таком месте и именно в такое время, особенно если ты — лирик, а он — физик, и ты его любишь. Любишь, когда он заново (ведь из школьного курса ты принципиально ничего не помнишь) объясняет тебе, как работает холодильник, почему за самолетом тянется облачный след, и что такое принцип неопределенности Гейзенберга. Просто ты с детства знаешь, что объяснить мир — почти то же самое, что его подарить, а ты любишь грандиозные подарки. Кванты, определенно, лучшие друзья таких девушек, как ты.

Есть и еще один аргумент. Если и он вас не убедит, тогда, право, не знаю.

В тот день, когда после долгих досадных дождей снова стало можно купаться, никто из нас не смог бы найти и двух отличий между неизбалованным туристами абхазским пляжем и раем земным. Мы вели растительную жизнь без истории и без глобальной стратегии, время мерили морем. Запретный плод обычно надкусывают за пару дней до того, как собрать чемоданы, а мы пока еще жили в согласии с Богом, и головах у нас вместо познаний о московском добре и зле была невинная пустота. В пустоте эхом перекликались надсадный вой петухов, цыканье цикад, собачья ругань, шуршание моря, шипение сковороды под форелью, смешное слово «хачапур» и восемьдесят с лишним звуков абхазского языка. Камни под тонким пляжным ковриком уже не впивались в живот и спину, мы возлежали с ними бок о бок, как агнцы рядом со львами, как и положено возлежать в раю. А в земном раю кто ж не станет с упоением заново называть животных? Нет для земного рая более подходящего занятия!

Думаю, уже нет необходимости придумывать логичную предысторию, пытаться вытащить на свет божий всю цепочку ассоциаций: почему он именно тогда сказал про мир и волну? Ведь не на пустом же месте этот разговор возник. А хоть бы и на пустом. Пусть себе висит, как остров Лапута. Да и не помню я уже. Больше двух лет прошло.

Жарко. Мы лежим на самом гребне берега, там, где груды намытой штормом гальки резко обрываются в прибой. Я кидаю в воду горячие белые камни.

— А ты знаешь, — говорит он, — что мир — это волна с частотой 10^{80}?

— Нет, — отвечаю. — То есть теперь знаю. Но понять не могу. То есть, представить не могу. Вообразить. Помыслить. Я вообще не могу себе представить многое из того, о чем вы, физики, говорите.

— Например?

— Например, что вселенная имеет границы. Если есть границы, то что находится за ними? Или что вселенная бесконечна. Как вообще представить себе «бесконечность»? Летишь-летишь, а конца-краю нет и не будет… Десять в восьмидесятой — это слишком много. Если пытаться это представить, начинает ехать крыша.

— А зачем именно «представлять»?

— А я так думаю. Образами. Я их себе представляю. Вот, например, электроны…

— Это не шарики, как в модели, которая в кабинете химии стоит. Это не точка, вращающаяся вокруг ядра, а область пространства, где с некоторой вероятностью бывает заряд.

— Ужас! А измерения? Когда вы говорите о том, что измерений больше трех…

— Ну… Есть мнение, что мир от Большого взрыва и где-то до 10–30 секунды был совсем другим, там была другая физика. Например, там было 12 пространственных измерений.

— Ладно, верю. Волна с частотой десять в восьмидесятой. Область, где может быть заряд. Десять в минус тридцатой секунды. Двенадцать измерений. Как бы это объяснить…

Мне тоже нравится рассказывать ему о языке и литературе, я тоже люблю и умею делать подарки.

— Слово — это знак. Его можно изобразить в виде треугольника. Одна вершина — набор букв, звуков. Вторая сам предмет или понятие. То, о чем, говорят. Третья — образ у нас в голове, представление. Единорога нет, но я могу его представить, я могу о нем говорить. А если нет никакого образа, вообще нет?

Если одна из вершин просто дает тебе в глаз со всей дури? Так что потом голова неделю трещит? И как тут можно говорить о мире?

— Думаю, такое есть везде. В любой науке.

Он тоже берет камень, кидает его в волны. Камень легко прыгает с волны на волну и тонет не то в солнечных лучах, не то в воде.

— Ну не знаю. Но мне кажется, что все физики либо умеют здорово абстрагироваться от того, о чем говорят, либо они все сумасшедшие. Или нет, не так. Наверное, есть физики-мистики. То, что невозможно познать, понять рационально, размышлением, представлением, они познают в мистическом экстазе. Непосредственно. Как Бога. Им бывает откровение о двенадцати измерениях и волне с частотой сколько-то там. Вообще, если в современном мире где-то и осталось место настоящей мистике, то это в физике.

Я опять кидаю камень в воду. Плюх! Искусство печь на воде блинчике мне недоступно. Облачко на горизонте немного напоминает ангела, пока еще тихого и доброго, пока еще без меча.

— Интересно, — говорю, — а что было до Большого Взрыва?

— Спрашивая, что было до Большого взрыва, ты спрашиваешь: «Что было с волной на поверхности пруда до того, как туда бросили камень?»

А если камень кинули не в пруд, а в море? Но этот вопрос пришел мне в голову только сейчас. А тогда — carpe diem! — до отъезда в Москву оставалось всего ничего. Мне стало невыносимо жарко и захотелось искупаться, а потом пойти в кафе есть форель, а потом переждать дома пик жары, а потом снова вернуться на пляж, а потом снова… И если где-то под солнцем и осталось место настоящей мистике, то только там, где мы лежим бок о бок и кидаем в воду горячие белые камни.

Рыцарь жезлов

Знаменует начало большого дела. Обещает защиту и покровительство тем, чье дело правое.

Обещает, что если цель благая, дело увенчается успехом, и наоборот.

В этом (и не только этом) смысле Рыцарь Жезлов прост, честен и справедлив.

Он курирует сферы трудовой и общественной деятельности и прочую «социалку». В частности, обещает защиту, когда речь идет о взаимоотношениях гражданина с государством — тут он надежда и опора всем страждущим.

А может обещать, что в вашей жизни появится (уже есть) человек, обладающий следующими свойствами:

активность, импульсивность, склонность к действию (иногда — к насильственному действию), честолюбие, ревность, колоссальный темперамент.

В скверном окружении следует понимать, что речь идет о жестокости, самонадеянности, склонности к разрушению (но никогда — к саморазрушению).

Эли Курант
Рыцарь Кнуппль

Рыцарь Кнуппль воспитывался до десятилетнего возраста в монастыре, а потому умел читать и писать. За это его часто ловили и часто били, а ещё чаще — и то и другое вместе (можно без хлеба).

Рыцарь Кнуппль любил Вестфалию. Любил вестфальский вереск в цвету, любил сочную красоту речных ландшафтов, дюжих весталок вестфалок в стогу сена, но больше всего он любил вестфальские законы. Скажем, если убил простолюдина, надо платить виру, как и всюду. Вира разумная — одна марка за трёх простолюдинов. А вот дальше буква закона починала в душе рыцаря Кнуппля настоящую музыку; елику делить на три вестфальцы не умели, замочи ты хоть одного мужика, хоть двоих — ни хрена с тебя не возьмут, ни единого пфеннига, пока третьего не убьёшь. Тогда, правда, сдерут причитающуюся марку, хоть бы и сарацинам пришлось тебя продавать заради этого. В миру к вестфальцам относились небрежительно, считали их туповатыми, сказывали, что те за копейку удавятся, а Кнуппль вот любил.

Или, допустим, арестовали тебя в Вестфалии, как вот только что — во второй раз уже — собрались пытать, как положено. Дык ведь со всем уважением и пониманием — не мучают кое-как, нет: принесут список, в нём порядка двадцати разных пыток, из оных надобствует выбрать не меньше шести. Те, которые обязательные, отмечены крестиком. Хитро придумано, ничего не скажешь: кто читать не умеет, того всё равно пытать почём зря не станут, до списка и не дойдёт даже. А он прокололся, в этот раз на сущей ерунде: прочитал название трактира на вывеске и предложил двум случайным попутчикам-монахам заехать в "Три куропатки". Те, понятно, заподозрили недоброе: заезжий рыцарь, глухие места — почём ему знать, как трактир называется? Ясен пень, чернокнижник. Монахи, они хитрые.

Рыцарь Кнуппль облизнул пересохшие губы и пробежал список глазами. Привычно подчеркнул гишпанский башмак, клинья меж пальцев, ведьмино кресло. Скривившись, подчеркнул дыбу и «осла» — не больно-то ему нравилась эта тягомотина, но выбирать, увы, не приходилось: как и ведьмино кресло, эти пытки считались обязательными. Похабно ухмыльнулся, зацепив краешком глаза "ущемление персей", чиркнул взглядом по примечанию мелким шрифтом внизу: "Только для дамов".

Поразмышлял над бургундской воронкой. "Нет, — вспомнился старый скабрезный анекдот, — столько я не выпью". Кроме него, в прихожей никого не оставалось, палач уже начинал терять терпение. Хмыкнув, рыцарь Кнуппль отметил "раздавливание и ущемление плоти" и протянул листок палачу.

Следующие несколько часов проходили исключительно занудливо: рыцаря Кнуппля растягивали на дыбе, сажали в ведьмино кресло, пугали тисками для пальцев и убеждали сознаться во всех смертных грехах сразу. Убеждали так, не от души, вполсилы, для проформы больше. И ему, и палачам было очевидно, что вот сейчас они отработают свою смену, рыцарь уйдёт в одну сторону, мастера-заплечники в другую, но что тот, что другие пойдут по кабакам — запивать жиденьким вестфальским усталость, тоску и сожаления о бесцельно прожитом времени.

К вечеру надоело всем, «осла» невзначай сократили до половины положенного на сие времени, Кнуппль хоть успел немного выспаться на дыбе, а пытчики уже начинали клевать носом. Даже верный конь рыцаря, громадный ломовой битюг неразборчивой масти, привязанный к одинокой осине во дворе, начал изображать, будто роет копытом землю. После захода солнца рыцаря Кнуппля освободили.

Он вышел во двор, потянулся, зевнул, смачно сплюнул и потянулся к седлу. Что ни говори, а хорошие у них, у вестфальцев, законы. Рыцаря можливо пытать, но латы с него снять не моги, ибо сие — оскорбление государя.

А знаменитого впоследствии правила "вассал, выраженный словами, не есть мой вассал" здесь не знают и не будут знать ещё долго.

Рыцарь Кнуппль очень, очень любил Вестфалию.

Королева Жезлов

Недвусмысленно указывает на неординарные способности того, кому гадают. Велит ими пользоваться и помнить об ответственности, преследовать только благие цели.

А еще эта карта может обещать появление в вашей жизни женщины — властной, доброй и справедливой, которая сможет помочь вам уладить отношения с социумом. Или вообще обустроить вашу жизнь наилучшим (с точки зрения общества) образом. Ей, скорее всего, будет присуща щедрость души, умение приспособиться ко всякой ситуации, не теряя достоинства и оптимизма, альтруизм и сострадание.

А в неблагоприятном окружении Королева Жезлов сулит встречу с глупой, упрямой, крикливой, вздорной, самодовольной теткой, преисполненной снобизма, обожающей поучать.

Нечего и говорить, что все вышеописанные качества могут быть преподнесены вам в самых причудливых сочетаниях.

Юлия Грешнова
Голос и взгляд

Хозяина труппы звали Лоренцо Великолепный, хотя никаким итальянцем он, разумеется, не был.

И то: что настоящий цирковой итальянец с солнечной кровью будет делать в маленькой деревушке на болоте? А вот природный ирландец, чья мать или бабка водила близкое знакомство с ярмарочным цыганом, вполне мог сюда попасть — например, возвращаясь домой, чтобы перевести дух, выступать по пути везде, где есть надежда хоть немного заработать.

Здесь тоже была ярмарка, и люди из окрестных деревень не обходили стороной балаган. Им нравились клоуны, дрессированные медведь и обезьяна, гимнасты и маленькая вольтижёрка на большой белой лошади, а особенно — дивной красоты пение, которым сопровождались номера. Голос лился, казалось, ниоткуда — и отовсюду одновременно, уносился много выше полосатого купола и камнем падал вниз, чтобы у земли расправить крылья и, скользнув над головами зрителей, взмыть обратно.

Вечером, проходя мимо циркового фургончика, Джейми Логан услышал пение — не разжимая рта, как будто большую птицу накрыли тяжёлым одеялом из овечьей шкуры; на выходе с ярмарки он попрощался с другими парнями, вернулся к фургону и прильнул к закрытым ставням.

Её звали Мэган, Мэган Ни Мара (Дочь Моря, восхитился он, когда узнал), приёмный отец настрого запрещает ей выходить из фургона, а вот поговорить со случайным знакомцем — это можно, но недолго, пока не вернутся остальные. Да, они объездили очень много разных мест, но она мало что видела — отец строгий; а обезьяну они купили в Лондоне и долго выкармливали молоком и возились, она была совсем маленькая и больная. А ещё она очень давно не была в лесу, и моря давно не видела тоже, несмотря на имя. Днём выступать, а вечером сидеть дома и не общаться с посторонними, и дом их передвижной, в общем, на ней, и ужин, и шитьё.

Он рассказывал ей про майский лес и про их деревенскую жизнь, а когда другие актёры стали возвращаться домой, отошёл от фургона к развесёлым припозднившимся пьяницам, и затянул громко про Звёздочку графства Даун, и слышал, как она

улыбается там, в фургоне.

Он теперь каждый день сюда приходил, и Эйвлинн Киннан, его невеста, беспокойно хмурила брови, когда он прощался слишком рано, но вопросов пока не задавала.

Иногда он оставлял на пороге ягоды и цветы из леса, иногда просто сидел у её закрытого окна и тихо переговаривался с ней. Они, бывало, и пели вдвоём — благо в селе Джейми слыл первым певцом и вообще видным парнем — и про Белую Козу пели, и про Остров Иннисфри, и про Королеву из Аргайла, а иногда он запевал лукаво D'tigeas a damsa — «Пойдём со мной», а она серебристо смеялась и отвечала «нет».

Однажды он сказал: «Послушай, вы скоро двигаетесь дальше, и я так и не увижу тебя, и не возьму тебя за руку. Завтра вы не выступаете, я знаю уже; твой отчим Лоренс уезжает на целый день. Выйди ко мне завтра, вечером я верну тебя домой, и никто ничего не узнает».

«Хорошо», — сказала она, и голос её звучал тише обычного.

Когда все в доме уснули, она отвела засов, тихо вышла из дома, по известной тропе добралась до холма Рат Кроган, сказала несколько слов, и женщина в красной одежде вышла из холма.

— Помоги мне, Мэйв, я полюбила больше жизни.

— Чем я могу тебе помочь? Вырвать любовь из твоего сердца или привести избранника к твоему ложу? И то, и другое ты сможешь и без моего хитроумия.

— Мэйв, ты видишь, что я некрасива. Сделай мои волосы мягкими, Мэйв, а кожу — гладкой, сделай меня красивой, Мэйв, как все дочери человеческие, и твои слова станут правдой.

— Я могу сделать это, но всему есть цена. Отдашь ли ты свой ясный голос за то, чтобы стать красивой, как все дочери человеческие? Мне всегда хотелось иметь такой.

— Да, но как мне тогда говорить с тем, кого люблю?

— Говорить ты сможешь, а вот петь, как раньше, уже нет. Если согласна, отдай мне свой голос, возвращайся домой, ложись спать и наутро всё будет, как сказано. Но подумай хорошенько, нужно ли тебе это; впрочем, ты думать не будешь — вижу уже.

И королева Мэйв коснулась тонкими пальцами лица и горла Мэган Ни Мара, скользнула руками от её макушки вниз по контуру тела и ушла обратно в холм; а девушка почти оглохла от звона, похожего на колокольный, шатаясь, дошла до дома, рухнула на постель и всю ночь не видела снов.

Солнечный луч пробивался сквозь ставни; Мэган бросилась к сундуку, где лежало зеркало, завёрнутое в чистую тряпицу. Как

хороша она стала! Кожа светлая и нежная, а не бугристая и серая, мягкие гладкие волосы больше не напоминают мокрую паклю, глаза — нормальные человеческие глаза, а не те, рыбьи, с красными белками, навыкате; и пальцев на руках — пять, и перепонок между ними — нет, и ходить можно прямо, а не переваливаясь с боку на бок, как старая жаба.

Она умылась, надела лёгкое белое платье (Китти не будет ругаться), до блеска расчесала волосы, вплела в них красную ленту и в первый раз за долгое время открыла окно. В комнату хлынул свет, отголоски разговоров, конское ржание, блеянье овец и коз, свежий утренний воздух и сладкий запах нагретой солнцем травы.

Мэган сидела у окна и пила вкусное белое молоко из прохладной глиняной чашки. Она впитывала это утро всей поверхностью своего нового тела, но была напряжена, но дрожала, как один сплошной слуховой нерв, прислушиваясь к шагам за окном. И шаги приблизились, и он постучался в дверь, и встал на пороге, звонкий, как блик на лезвии золотого ножа, какими украшена церковь в одном из городов, через которые они проезжали. Тогда было жарко и пахло цветущими апельсинами.

Джейми постучал в дверь, и она сразу открыла. Среднего роста, очень худая, бледная, с веснушками на носу. Широко расставленные бледно-серые глаза, довольно заурядные черты, светло-русые волосы уложены баранками над чуть оттопыренными ушами и скреплены красной лентой. Платье чистое, но сидит немного нескладно. Переминается с ноги на ногу. Улыбается. Он тоже улыбнулся в ответ и предложил ей руку.

— Ну, пошли, Мэган.

Говорить было, казалось что, и не о чем — то, что так захватывало, будучи услышанным через ставни, при свете дня теряло напряжённость и остроту. И голос её казался более тусклым, чем раньше, а взглядов друзей, когда они проходили мимо через ярмарку, лучше бы и вовсе не встречать.

И вот они в лесу, она сидит на поваленном дереве, вертит головой, раскраснелась и стала почти совсем хорошенькая.

— Давай споём, как раньше, — предлагает он, а она внезапно смущается.

— Это была… не я, Джейми… Не спрашивай ни о чём, пожалуйста.

Они посидели ещё чуть-чуть, помолчали и поговорили о чём-то; он принёс ей цветов и земляничину на веточке, он всё время улыбался и проводил её домой засветло. Через несколько минут

он уже стоял под окнами Киннанов; Эйвлинн выглядела очень обиженной, но поговорить всё-таки вышла.

Мэган ждала три дня; сказавшись больной, не выходила из фургона, и Лоренцо пригрозил, что не будет приносить ей еду, если она так и не будет работать.

Придя к Рат Кроган в этот раз, она не стала звать Мэйв, а только уселась без сил на мокрую траву и заплакала. Мэйв вышла сама, опустилась рядом на колени и положила руку на горячий лоб девушки.

— Глупая маленькая дочь Мананнана! Ну зачем ты вообще осталась у этого циркача, почему ты от него в первый же день не сбежала? И не говори ничего про благодарность — того жемчуга, что ты ему притащила, хватило бы с лихвой. И человек этот зачем тебе нужен был? Не смогла я тебе тогда отказать, и вот ты плачешь здесь, и не знаешь, как жить дальше, а я тебе даже голос твой вернуть не могу, потому что необратимы такие вещи. Ляг, поспи немного, маленькая. Всё будет хорошо.

И королева Мэйв коснулась пальцами её припухших век, и Мэган мягко упала в траву, и повернулась на бок, и подложила сомкнутые руки под щёку, а Мэйв стала на холме и начала петь, и пока она пела, трава смыкалась над телом лежащей девушки в белом платье, и девушка уходила под землю, и трава прорастала насквозь, в то время, как её голос кружился над холмами большой морской птицей, то уносясь к светлеющему небу, то камнем падая вниз, чтобы у земли расправить крылья и, скользнув над мокрой травой, взмыть обратно.

Принц Жезлов

Принц Жезлов говорит, что процесс, инициатором (или просто частью) которого вы являетесь, требует контроля. Нужен глаз да глаз, без ваших усилий и внимания все разладится. Тут на судьбу полагаться бессмысленно и даже губительно.

Ключевое слово тут challenge, вызов.

Вочеловечившись, Принц Жезлов приходит к нам в образе увлекающегося романтика, склонного часто менять свои увлечения, способного посмеяться над собой. Он смел, силен, склонен к риску, наделен недюжинными способностями, знает, что всегда прав (часто так оно и есть). Но в негативном окружении мы имеем ленивого, нерешительного хвастуна, вечно брюзжащего скептика.

Мария Вуль
Все сущее

I

Вообще-то я не обращаю на них внимания. Привыкла. Наука это несложная, не труднее, чем обгонять толпу. Ну подумаешь, улыбаются. Это только кажется, что по утрам в метро лучше не соваться, если у тебя не завалялась случайно шапка-невидимка, или диплом об успешном окончании ускоренных курсов левитации. Знаешь, это моя любимая утренняя игра, если не считать танцев на эстакаде, особенно когда дождь льет, и внизу электричка случайная фыркает, а если повезет — так поезд дальнего следования. Ну, неважно. О чем это я говорила? А, метро. Секрет простой — тебе нужно ненадолго стать одной из них. Что? Нет, не страшно. Вот смотри — ты двигаешься, как они, ты дышишь, как они, ты думаешь, как они… нет, это, пожалуй уже лишнее. Думай лучше о том, что с тобой происходит. Если все правильно, ты сначала начнешь слегка раскачиваться, как змея под факирскую дудочку, растворяться, что ли, а потом почувствуешь, в какую сторону эта амеба выпустит следующую ложноножку, и тебе останется всего-навсего перестать быть змеей. Хотя я тебе не об этом собиралась. Знаешь, что мне кажется? Ты только не смейся, хорошо? Я сказала, что не обращаю на них внимания, привыкла, но это неправда на самом деле. Нет, я помню про машину, я уже обещала, что пойду на курсы, но ты же и без меня знаешь, что… Не перебивай, пожалуйста. Помнишь историю про бомжа с

огрызком карандаша, я еще смеялась — интеллигентный попался, остальные все больше напиваются, попрошайничают и по лавкам дрыхнут? Не помнишь? Ну, тот, который сидел на полу у последней скамейки на «Белорусской» и что-то записывал в мятой школьной тетрадке, для первоклашек, с косыми линейками. Я еще чуть на него не наступила тогда, ну, сама виновата, ничего не замечаю вокруг, когда в ушах музыка. И ладно бы — посмеялась и забыла, но я с тех пор их повсюду вижу, а ведь с декабря уже полгода прошло. Старуха в переходе на «Пушкинской» — шариковая ручка и картонка из-под молока. Дядька с фингалом и колтунами в волосах, субботним утром в последнем вагоне на кольцевой — красный карандаш и обрывок промасленной оберточной бумаги. Существо неопределенного пола лет сорока в дырявом тряпье под памятником на «Чистых

прудах» — черная гелевая ручка и лист формата А-4 с отпечатком чьей-то подошвы… Нет, что значит — ерунда? Они меня тоже видят, понимаешь? Они мне — улыбаются. И я вдруг подумала — они же не просто так пишут. Они знаешь что делают? Летопись ведут. Записывают все-сущее. И как запишут, так и выйдет… Какая валерьянка, почему паранойя? Зачем мне психотерапевт, что ты несешь? Ну это уж слишком. Мы вроде уже договорились, что дело вовсе не в нем… И не в его отсутствии! Погоди, не вешай трубку… Хорошо, я больше об этом не буду. Ты права, нечего выдумывать бог знает что, к черту сказки, мне уже не пять лет. Делов-то — бомжи, бумажки… Знаешь, а я только что в автобусе видела динозавра. Ну да, ага, пятьдесят на пятьдесят, либо встречу, либо нет… Ну что ты смеешься? Обычный такой динозавр, лет тридцати, симпатичный. С большой такой спортивной сумкой, на вокзал ехал, наверное, а я с работы, на «Белорусскую» как раз. Народу набилось — шпротам позавидовать можно, у них по сравнению с нами более чем комфортные условия… Ну я музыку слушала, как всегда. Что? Нет, не пританцовывала, тесно. Наверное, подпевала, ты думаешь, я замечаю? А, ну да. Почему динозавр? Он какой-то старушке место уступил. Представляешь? Нет, ты часто такое видишь? Ну это как если бы тебя в пробке бритый мужик на тонированном джипе вперед пропустил… Нет, не стала, ты что, с ума сошла. Еще чего не хватало, подумал бы, что я ненормальная. Я и так чуть спасибо ему не сказала за ту старушку, да вовремя опомнилась. Ладно, я уже на эскалаторе, сейчас связь пропадет. Перезвоню потом. Целую, да. И ты тоже себя береги.

II

И дернул меня черт с места вскакивать. Сумка тяжелая, и так с ней до поезда таскаться еще. Эх, не пропьешь воспитание-то. Хотя, если уж совсем честно, не в воспитании дело. И не в старушке, долгих ей лет, так благодарила за это место дурацкое, что я чуть сквозь землю не провалился. Хотя какая там земля, в автобусе-то… И что я, идиот этакий, стормозил, мог бы ее хоть на чашку кофе пригласить. Там на площади кофейня есть как раз. Хотя она все равно бы не услышала, с этими чертовыми наушниками. А если бы даже и услышала? Ей на вид лет семнадцать, она, наверное, послала бы меня к дьяволу и была бы права. Кто же по нашим временам в автобусах знакомится — только маньяки и придурки. Странная такая пигалица, стоит, улыбается в пространство, напевает что-то, французское, что ли? Наверное, она вообще меня не заметила. И старушку тоже.

Интересно, она хоть что-нибудь вокруг видит или как? И чем она меня зацепила? Несуразная такая, шарф этот полосатый чуть ли не по полу волочится, гольфы оранжевые, волосы взъерошенные… как воробей, только разрисованный. И я тут с этой старушкой, хорош гусь. Выпендриться решил, как пацан шестнадцатилетний, а мне, между прочим, тридцатник стукнет на той неделе. Так, ну и куда я проездной сунул? Черт, во дают люди, это же надо. Прямо посреди дороги уселся со своими бумажками идиотскими! И хоть бы кто милицию вызвал, так всем плевать, не замечают даже. Ну, бомж и бомж, подумаешь, в метро еще и не такое встретить можно. Что осклабился? Совсем совесть потеряли…

III

А она умница. Догадалась. Мимо нас каждый день толпы народа ходят, мил-ли-о-ны, и хоть бы кто заметил. Вообще-то это была хорошая идея, лучше даже, чем с теми плащами. Неувязочка вышла, они тогда все равно на нас натыкались, а так — смотрят насквозь, будто мы стеклянные, и обходят аккуратненько. Привыкли не обращать внимания на то, что им неприятно. А нам так гораздо спокойнее. Это, так на минуточку, непростая работа, и важно, чтобы они не вмешивались. Хотя старушки еще вот. Старушки умные. Повадились нам бумагу приносить и ручки с карандашами — положат рядом, пряча глаза, и уходят, и крестятся мелко, и нашептывают что-то. Смешные. Нужны нам их карандаши. И тоже взяли моду — креститься. Как будто от нас что-то зависит. А мы-то что? У них это называлось бы — социологи, наверное. Или еще какие счетоводы. А эти думают, глупые, что можно ничего не делать, и всю ответственность на нас свалить. Эх, знали бы они. Нам по должностной инструкции ничего менять не положено. Мы наблюдатели, и точка. А если инструкцию нарушишь — разжалуют в купидончики, и поминай как звали. Жалко девочку. Зря она этому — как она его назвала? динозавр? — короче, зря она ему ничего не сказала.

Принцесса Жезлов

Девиз этой карты следовало бы на лбу у всякого бледного романтического юноши вытатуировать: **посвящение не требует жертв**.

Впрочем, взрослым и румяным тоже было бы полезно это усвоить.

Она говорит о победе над страхами, актуальными еще недавно. Сообщает, что закончился какой-то жизненный этап, сулит шанс начать нечто новое (в сфере, которой заведуют Жезлы: работа, учеба, социальный статус, общественные отношения и отношения гражданина с государством).

В образе девочки Принцесса Жезлов очень храбрая, сильная, веселая, даже игривая, одно удовольствие иметь с такой дело. Но может проявиться и другая сторона медали — неуравновешенность, ненасытность, неразборчивость в средствах. Немножко гусар-девица, со всеми вытекающими последствиями.

Лея Любомирская
Концепция

… с самого начала знала, что это добром не кончится…

… был уверен, что именно сегодня, наконец, смогу…

* * *

…выскочила из дома и дверью хлопнула. Лифта ждать не стала, сил не было, так по лестнице и рванула. С семнадцатого этажа, да. Подумаешь…

… так и заявил, представляешь?! Какого, говорит, тебе еще рожна надо? Десятую, говорит, концепцию показываем, десятую!!! И ладно бы, говорит, у тебя бюджет бы приличный…

… хорошо, что не на каблуках. В кроссовках удобнее. На каблуках по брусчатке особенно не побегаешь… С другой стороны, если бы я носила каблуки, может…

… если бы, говорит, ты не был моим лучшим другом, черта с два бы я с тобой так возился. Ну какое — успокойся?! Как я могу успокоиться?! Ты только представь…

… волосы длинные. Обязательно длинные волосы, у всех этих роковых баб всегда длинные волосы. Черные. Как вороново крыло. Как разорванная ветром туча. Как шелковое покрывало. Как ночное не… бееееееее, как их не тошнит от штампов?..

… отвлекись, пожалуйста, что ж я у тебя всякий раз внимание выпрашивать должен! Какой другой телефон? Кто? Скажи ему, чтобы шел в жопу. В жопу. Нет, скажи, чтобы я слышал. Не чтобы попозже перезвонил, а чтобы шел в жопу. Скажи, Педру, Луиш Филип передает, чтобы ты шел…

… нет, ну какая скотина, сволочь, ненавижу, ненавижу!!! А ты куда уставился, придурок?! Ты на дорогу смотри, а не на меня, на меня не надо, на меня есть, кому смотреть…

… ладно, ладно, иди, досушивайся. Давай, заинька. И я тебя. И

я тебе. Будь умничкой. Я тебя тоже…

* * *

… я же вижу, что вы расстроены! Нет, неправда. Нет, не ветер. Я же вижу! А меня вообще довольно трудно обмануть. Мои сотрудники часто пробуют, но у них никогда не получается. Да, строгий начальник. Да, очень страшный строгий начальник, все меня боятся. Нет, это вы не отвлекайтесь. Потому что вы расстроены. Нет, вы расстроены. Я не заладил, а вот вы расстроены. Ну, что я говорил?..

… а если я полицию позову? Да вот так, просто. Возьму и позову. Скажу, что вы ко мне пристаете. Думаете, не позову? Да? Думаете? На десять евро спорим, что позову? Полиция! По-ли-ци-я!!! Спасите!!!

… нет-нет, мы просто поспорили. Честно слово. Да вот у нее самой спросите, она вам подтвердит, правда, дорогая? Ну вот видите… Ну, простите нас, а?..

… взятка лицу при исполнении, господин большой начальник! И часто вы это практикуете? Да, ладно! А выглядело так…профессионально! Нет, и не подумаю даже. Нет, с какой стати?! Ну и что? Нет, я сказала — нет, почему я вам вообще должна что-то объяснять?!

… садитесь в машину, садитесь, не могу же я, как идиот, ехать все время за вами на этой скорости! Садитесь, не стройте из себя черт знает что, вас, что, силой заталкивать? Садитесь, ну, вот мои права, вот мое удостоверение, вот, на сиденье кладу, заодно и почитаете. Я не кричу, я есть хочу, я не обедал, а с вами еще и ужин пропущу. Нет, вы при чем, вы сядьте, я вам за ужином все объясню…

* * *

— Что вы будете пить?

— Ничего.

— Виржилиу, у вас сегодня есть ничего? Видите, Виржилиу говорит, что у них такого нету. Да не пытаюсь я вас споить, выпейте хоть воды, не будете же вы ужин всухомятку жевать?

— А почему вы на меня все время давите? Вы ко мне пристали, дали взятку полицейскому, притащили меня сюда, теперь пытаетесь…

— Насильно накормить! Злоумышленник подстерег потерпевшую, когда она выходила из дому, скрутил и заставил съесть ужин стоимостью…эээ…м-да…

— А что это вы замолчали? Вы продолжайте, продолжайте, я очень хочу знать стоимость ужина! Прикажете заплатить? Вы за этим меня сюда притащили?

— Я у вас из зарплаты вычту. За ужин и за нахальство.

— Из чего???? Из какой зарплаты???? Вы сумасшедший? Или просто с кем-то меня спутали?

* * *

— Слушайте, ну, это глупость, глупость, я никода в жизни ничем таким не занималась, почему вы решили, что у меня получится?

— Я просто уверен. Мне достаточно было на вас посмотреть. Когда вы неслись…

— Как паровоз? Как бегемот?

— Не говорите ерунды!

— Как борец сумо?

— Ооооооооо… как ваши родные вас выносят? С вами же невозможно разговаривать, вы все время несете чушь, еще и перебиваете. Послушайте меня две минуты! Молча, а? Напрягитесь и послушайте.

— Это с вами невозможно разговаривать! Я все поняла еще три повтора тому назад, так что, поберегите дыхание! Я просто не могу понять, почему — я?! Найдите модель, найдите актрису, я-то вам зачем?!

* * *

— Вас точно не надо довезти до дома?

Катарина отрицательно качает головой.

— Хорошо. Когда соберетесь домой, Виржилиу вызовет вам такси. Виржилиу! Вызовете барышне такси, и запишете на мой счет.

Луиш Филип поднимается, берет протянутую для пожатия Катаринину руку и неожиданно церемонно ее целует.

— Это судьба, Катарина, — говорит он, не выпуская руки. —

Я с самого утра чувствовал, что именно сегодня, смогу, наконец, понять, чего я хочу от этой кампании!

Катарина неопределенно пожимает плечами и пытается высвободить руку.

— А я, — мрачно отвечает она, — с самого начала чувствовала, что все это добром не кончится! Лицо новой марки маргарина, обхохочешься.

Рыцарь Чаш

Говорит о творческих способностях, обещает большой подъем и даже награду.

Но и предупреждает об опасностях, характерных для так называемых "творческих людей": нарциссизм, зазнайство, иллюзии. Одна из крайностей этого Аркана — король Людвиг Баварский. Знакомство с этим историческим персонажем помогает понять значение Аркана Рыцарь Кубков во всей его полноте.

Не следует исключать и появление в вашей жизни человека, в той или иной мере обладающего вышеописанными качествами. Велика вероятность, что этот персонаж вызовет у вас бурю эмоций (Чаши вообще курируют имено эту область бытия) — каких именно, можно понять из общего контекста (расклада).

Такой человек часто бывает чувствителен, но редко глубок. Милая поверхностность, меланхолия, лень и склонность ко всем интересным химическим соединениям начиная с пива и кончая героином, довершают лирический образ.

Ирина Мирзуитова
Ты придешь?

— Ты придешь?

— Конечно, приду! — Он расцветает своей солнечной улыбкой, мальчик-эльф, и целует меня в нос. Я изо всех сил делаю вид, что верю ему, мне нужно вытерпеть еще несколько минут, а потом дверь закроется, и я разрыдаюсь в прихожей… Он, конечно же, не придет. Позвонит мне уже из самолета: "Прости, пригласили на открытие в последний момент, никак нельзя было отказаться, ты же понимаешь, а потом никак не успевал заскочить, а провожать не надо было, я же всего на неделю, вот прилечу — и сразу к тебе, обязательно. Не грусти, малыш". Понимаю и жду, и буду ждать, что придешь, а сейчас жду, когда же ты наконец уйдешь. Потому что нет сил, нет, и только бы не разреветься прямо сейчас.

Если бы так же легко, как идет сейчас через двор, он шел по моей жизни! Но нет, это для всех остальных он — мальчик-эльф, для меня же — кара божья, непонятно чем заслуженная, неизвестно каким образом вымоленная. Обнаружился вдруг в компании сокурсников, ввалившейся в мой дом после сдачи последнего экзамена, чей-то то ли школьный приятель, то ли троюродный брат — так и не знаю, чей; уселся в углу дивана, осветил комнату своей улыбкой, осиял светом синих глаз — и остался. Эльф, настоящий принц эльфов, все девушки на улице на него оборачиваются, а я даже не Дюймовочкой себя с ним чувствую, а героиней песни Чижа:

"У нее был парень, гитарист и певец;
Про него говорили: это — полный вперед!
Он играл буги-вуги, пел блюзы и рок-н-ролл;
Он курил анашу, пил вино, употреблял димедрол".

Димедрол — это, конечно, не по нашей части, у нас поинтереснее выбор, что да, то да. Но тоска, тоска точно такая же. Только и я не принцесса, и не звали меня замуж хромой еврей и седой араб… или наоборот — забыла уже — да черт бы побрал их обоих. А мальчик-солнце мой, и правда, полный вперед. Всем нужный, всюду званный, всеми любимый. Как не любить такого.

И вот он опять улетает — в Вену, потом в Лондон, а я буду

считать часы и думать, думать… Я не того боюсь, что где-нибудь, когда-нибудь, кто-то другой станет для него интереснее, чем я, не боюсь, потому что точно знаю, что так и будет. Лишь бы не получилось наоборот, лишь бы он не посмотрел на меня однажды и не понял, что той меня, кого он привык видеть рядом с собой, на самом деле нет, что ему только пригрезилось что-то яркое, легкое, переливающееся радужно; ему казалось, что это я, а это было только его отражение в моих глазах. Вот тогда будет действительно конец всему. Полный вперед.

Больно ли шарику, когда он лопнет от того, что налетел на колючую ветку?

Не хочу узнавать. И думать не хочу. Но что же делать, буду думать.

И ждать.

Королева Чаш

В отличие от Рыцаря, эта карта свидетельствует не просто о способностях, но о гениальности. Со всеми вытекающими последствиями.

В неблагоприятном окружении она прямо указывает на такие опасности как алкоголизм, наркомания, или просто психические нарушения. Упоение эзотерикой, неофитские закидоны свежеобращенных — все это тоже по ее части.

Или же просто сулит встречу с женщиной, необыкновенно приятной, вдохновенной, или вдохновляющей, которая, несомненно, затронет ваши чувства, вне зависимости от вашего пола. Королевы Чаш легко и охотно становятся чужими отражениями, при этом совершенно не меняясь (собственно отражающий слой всегда только на поверхности зеркала). Словом, они действительно прекрасны, практически вне зависимости от текущего карточного расклада.

Марина Воробьева
Здесь — так

В восемь вечера уходит Сима. Сима любит свою семью и ходить по магазинам. Убегая, набирает номер частного сыщика, прослушать отчет, как и с кем прошел день мужа.

Уходит Бэкки. Опаздывает в кафе. Там она каждый вечер сидит с подружкой, надеясь кого-нибудь встретить и познакомиться.

Уходит слегка горбатая Рики — танцевать народные танцы в кружок, пока ее безногий муж-таксист ищет пассажиров.

Остаемся мы — Аяла, помощник аптекаря и я. О чем можно говорить в магазине, в отделе косметики, когда клиентов нет, а все страшное ушло? Конечно, о разных реальностях!

Аяла знает, что *загробка* есть. Не верит, а знает. А нам с помощником аптекаря плевать на эту *загробку*. Слишком много интересного происходит здесь.

Например, ты приходишь ко мне в гости, и мы пьем кофе. У меня кофе из пяти сортов зерен, я покупаю их на рынке, в центральном ряду слева. Так вот, мы пьем кофе, а завтра на работе ты говоришь, что на столе стояла красная чашка. А я говорю, что у меня и чашки такой нет, или она разбилась за неделю до этого. И это совсем не значит, что у тебя что-то с головой. Просто у тебя своя реальнось, а у меня своя.

Сейчас ты надеваешь свитер, а мне жарко в майке. Ты говоришь, что наши организмы по-разному устроены, а на самом деле мы в двух разных помещениях, и ты видишь меня из своего мира. Или не меня.

* * *

Аяла была из первых нью-йоркских хиппи, я из последних московских. Когда мы работали вместе и надо было чем-то занять время между запахами духов и жалобами на жизнь, я все приставала — дескать, скажи-ка, тетя, ведь недаром — но Аяла ничего толком не помнила и опять рассказывала о внучках, о том, как она их рисует на фоне больших листьев, и как никто не достоин иметь в доме живопись, потому что не платят настоящих денег. Аяла иногда приносила картины с девочками-ангелочками, розами с капельками росы, девушками, срисованными с журналов. В семь утра вставать, пятьдесят пять минут зарядка,

после сорока и ты обязательно будешь делать зарядку, после сорока твое тело тебе ничего не должно. Потом на завтрак рис и листья салата, если деньги не кончились. И тут же рисовать, прописывая каждый лепесток, ты знаешь, сейчас мало кто так умеет. С двух до четырех спать, опять рисовать, и на вечернюю работу. Раз в две недели в Галилею к внучкам, дочка кричит на нее. Когда твои дети вырастут, ты поймешь, я тихо мою посуду, а она кричит, потом еще лепесток и еще ангелочек, и никто не ценит живопись, и не хватает денег на салат.

* * *

Как-то я рассказала Аяле сон. Кафе на севере, где-то рядом с ее внучками. Пол грязный, столы не убираются, официанты хамят.

А на обшарпанной стене плакат — черным по белому, огромными буквами: «Здесь — так».

Минут двадцать после этого я стояла в магазине одна. Аяла убежала.

А ночью был ветер. Ночью началась осень и ветер переходил с жужжания на визг и толкал нас куда-то, и мы оказались дома у Аялы. Мы с трудом закрыли дверь и оставили ветер на улице.

Шкаф был старинный. И мы двигали его полчаса, чтобы можно было просунуть руку и достать картины, завернутые в пыльные газеты времен британского мандата.

Аяла отсчитала эту картину наощупь, смахнула пыль и развернула. Море, горы, небо. Все огромными мазками. Через все небо надпись: «Здесь — так».

Утром на работе в полусне я слышала, как Аяла отвечает Симе низким марокканским голосом, видела, как она втягивает плечи, когда к ней подходит согнутая Рикки.

А я стояла у большого зеркала и рисовала себе лицо. Бессонная ночь с лица постепенно стиралась, но было лень двигаться, поднимать плечи и говорить чужим голосом. Сейчас в магазин зайдут люди, еще успею.

Принц Чаш

Предупреждает, что процесс, в котором вы задействованы, имеет скрытые от вас, тайные мотивы (часто это неприятная неожиданность). Рядом с вами — предатель (по меньшей мере, человек, который отвернется от вас, как только это станет ему выгодно). Возможно, дело еще хуже, и роль предателя играет ваше собственное бессознательное, готовое в любой момент выкинуть чудовищный фортель. Единственно разумная линия поведения в такой ситуации — не терять голову, не поддаваться эмоциям и стараться видеть вещи такими, какие они есть. Избавляясь от иллюзий, вы оставите Принца Иллюзий ни с чем.

В человеческой шкуре Принц Чаш чрезвычайно обаятелен и привлекателен, но, с точки зрения окружающих, ненадежен — не потому что отъявленный мерзавец, а просто в силу своей природы. Он искусный манипулятор, это его главный природный дар. От него за версту разит страшными тайнами; часто это — иллюзия, но все же далеко не всегда. Следует признать, что Принцы Чаш обычно живут довольно интересной жизнью.

Такой человек движим (помимо прочего) двумя страстями: все знать и самому быть известным. Для успеха ему следует учиться искренности. Что его может погубить — самонадеянность и чрезмерное честолюбие.

Дарья Булатникова
Соло

Он мягко спрыгнул с дерева. Почти бесшумно, не зацепив ни единой ветки. Только земля спружинила под ногами, да птица порхнула из кустов. Нет, не зря он выжидал две ночи, не зря сгустком тени таился на старой груше. Адвокат сейчас выйдет, и будет в его руках. Алекс выверенным движением прикоснулся к ножнам, прикрепленным к брючному ремню, отстегнул кнопку, погладил рукоять ножа. Он не любил складные ножи, поэтому всегда носил оружие в чехле у бедра. Всегда, когда выходил на охоту.

Вдоль кирпичного забора он двигался неслышно, словно кошка. Ему ничто не угрожало, две собаки, усыпленные крошечными капсулами, лежали за кустами роз, почти рядом друг с другом. Сейчас Берман должен их окликнуть.

— Спарк, Маффи! — раздался голос в темноте.

Алекс слегка изменил траекторию движения и вышел на узкую полоску травы вдоль дорожки. На саму дорожку ступать нельзя — захрустит под мягкой подошвой мелкий красный гравий. Силуэт Бермана теперь был хорошо заметен в свете луны. Нужно обойти его справа, со стороны гаража.

Он все рассчитал правильно: малышка Лили, любовница толстого адвоката, оказалась девочкой жадной и сговорчивой. Вчера, когда она сказала по телефону, что плохо себя чувствует и останется дома, ленивый и осторожный боров не рискнул ехать к ней. Он вообще перестал выходить в темноте — чуял, что смерти судьи и прокурора имеют отношение и к нему, чуял, что стоит в списке третьим номером. Вернее, был первым, но тех двоих оказалось легче подкараулить, и Алекс поторопился покончить с ними. Потом пришлось заплатить Лили немалую сумму и две ночи провести на дереве, сидя в развилке корявых ветвей.

На вторую ночь Берман не выдержал, он вообще кобель ещё тот — не любит спать один, обязательно девочку ему на ночь подавай. На это Алекс и рассчитывал. И когда Берман со злости швырнул телефонную трубку на диван — это хорошо было видно через пуленепробиваемое окно гостиной — и решительно шагнул к двери, Алекс уже знал: сегодняшняя ночь будет последней, и без сожалений расстался с опостылевшей грушей.

Толстяк стоял на площадке перед домом и ждал. Собаки не отзывались. Алекс вытащил нож и шагнул за ближайший к Берману куст, одновременно отрезая тому дорогу к дому.

Это началось тринадцать лет назад. Тринадцать лет назад, когда Алекс был уже не юн, но ещё полон иллюзий. Незадолго перед этим он заработал свои первые по-настоящему большие деньги и повстречался с Рамоном — сыном испанки и араба, красавчиком Рамоном. Познакомились они небанально — Рамон отбил у него девчонку. Как же её звали… Анита, Марита, Карменсита? Нет, только не Карменсита. Пусть будет Анита — неважно. Алекс тогда сломал Рамону два ребра, на этой почве они и сошлись.

После было много всякого, но отделаться от нового приятеля он уже не мог, да и особо не стремился. Тот все время крутился где-то рядом, как мелкая пронырливая рыбешка около крупной. Нюх у него всегда был хороший, за что и ценили. Если нужно было собрать информацию, что-то вызнать, подтасовать факты — лучше Рамона не найти. Алекс брезговал использовать приятеля в работе, но иногда другого выхода не было. А иногда просто лень было искать кого-то ещё.

В тот год солнце буквально поджаривало город, он томился на берегу залива, словно омлет в духовке. Саша — какое чувственное и вкрадчивое имя было у этой русской! — часами плавала в морской воде, а он, Алекс, пока не мог себе позволить расслабиться. На бирже ощущались те самые, вдохновляющие настоящих игроков вибрации — лови свою удачу за хвост, и только потом отдыхай в шезлонге со стаканом мартини и очередным хрупким мотыльком в бикини.

Мартини — бикини, почти стихи. Льдинки в мартини звенят, словно ангельские колокольчики — так любила говорить Саша.

Адвокат успел раньше. С неожиданной прытью он развернулся и бросился обратно к входной двери. Хлопок, щелчок. Первый раунд Алекс проиграл. Не стоит ждать — адвокат может и полицию вызвать. И хотя вряд ли он что-то заметил или увидел, но собаки… Завтра здесь будет куча охранников. Или наоборот — ни души, включая самого Бермана.

Уходя, он зачем-то свернул и, склонившись над неподвижным доберманом, погладил того по черной шее. Прости, дружище, иначе я не мог.

К тому месту, где он спрятал машину, Алекс бежал — хорошая разминка после долгой неподвижности. Пряный воздух, какой бывает только на побережье в период цветения миндаля и жасмина, врывался в ноздри и омывал легкие. Тринадцать лет назад жизнь казалась ему бесконечной удачей и коробкой с сюрпризами. Вот только сюрпризы эти оказались разными —

одни дешевыми, а другие — глумливыми. И если бы тогдашнему жизнерадостному яппи сказали, что однажды ночью он будет бежать вот так — по каменистой дороге, с ножом на бедре и досадовать на то, что не удалось убить человека, он бы ни за что не поверил.

А сейчас направо, к заброшенному одичавшему винограднику. Машина — черный «ягуар» — спала около развалин маленького домишки. Когда-то тут жила семья — пожилые мужчина и женщина с добрыми смуглыми лицами. В детстве Алекс прибегал сюда, чтобы купить несколько гроздей винограда. Огромные черные ягоды были покрыты сизым, легко стирающимся от малейшего прикосновения налетом. Во рту они лопались, истекая душистым кисло-сладким соком. И пахли… Это был запах его детства — перезревшая на южном солнце «изабелла».

Так звали его мать — Изабелла. Он почти не помнил её, но имя будило смутные воспоминания о прозрачных серых глазах и улыбке. Иногда во сне он видел её лицо, склоняющееся над ним. Её губы приближались и вдруг исчезали, сменяясь гроздью черных ягод. От матери ему достался черный католический крестик на шелковой тесьме. Именно его нашла полиция около тела Саши. Истертая от времени тесьма была порвана.

Алекс усмехнулся.

Всё связано в этом пряном солоновато-солнечном мире. И только русская женщина с изящными, покрытыми светлым пушком лодыжками, до поры до времени выпадала из этих связей. А точнее — до тех пор, пока не умерла.

Вначале он не поверил услышанному — и когда его уводили, чтобы затолкать в полицейский автомобиль, и потом — когда встретился с Берманом. Адвоката ему нанял Рамон.

— Ваше дело плохо, — то и дело повторял толстяк, потирая влажные руки. Короткие пальцы, на фалангах которых росли отвратительные черные волоски, находились в постоянном движении. Алексу было противно пожимать их, но приходилось.

— У вас нет алиби, — губы Бермана озабоченно поджимались, словно он видел что-то неприятное. А его клиент пожимал плечами — какое может быть алиби, если он спал? Впервые за несколько месяцев спал один. Потому что Саша сказала ему, что у любых отношений есть свой срок. Он подумал, и согласился.

То, что они за час до убийства пили с Рамоном виски на террасе и слушали обожаемые Алексом баллады Стинга, настоящим алиби не было. Но, по крайней мере, могло бы послужить доказательством того, что к полуночи он уже набрался

до такой степени, что не смог бы вести машину. Он был пьян в стельку, и напился просто потому что так принято у мужчин — надираться, когда женщина уходит к другому.

Рамон должен был подтвердить, что Алекс напился ДО того, как умерла Саша, а не ПОСЛЕ этого.

Иногда ему казалось, что он действительно убил её — привел на берег залива, усадил в шезлонг и вонзил в сердце складной испанский нож с матовым лезвием. Там её и нашел мальчишка — уборщик пляжа. Запрокинутое бледное лицо, опавшие руки, и серая костяная рукоятка, торчащая из груди — такой отразилась Саша в любопытных черных глазах.

Ну не цинично ли? — вопрошал прокурор в суде, и присяжные кивали — цинично. И судья поджимал губы, точно так же, как Берман. И потухший взгляд пожилой женщины, атери Саши (тогда он впервые узнал, что у неё, оказывается, была мать, надо же!) то и дело ощупывал сидящего в зарешеченной клетке Алекса. И почему-то его мучил вопрос — что будет, если он хоть раз попробует ей улыбнуться?

А потом вызвали главного свидетеля — Рамона. Как же он был хорош — даже насквозь гетеросексуальный Алекс готов был влюбиться в этого обаяшку. Как он говорил — тихо, смущаясь, гася на щеках румянец стыда за то, что ничем не может помочь другу. Он бы очень хотел, но все, что он мог, это нанять для него лучшего на побережье адвоката. Нет, он не видел той ночью Алекса, не заезжал к нему и не пил на террасе виски со льдом и не слушал Стинга. Вернее, заезжал, но его лучшего друга не было дома, и машины его, которая стоит на дорожке, он тоже не видел. Увы, но лжесвидетельство — это страшный, непростительный грех, поэтому он говорит правду, и ничего, кроме правды.

Пальцы Бермана суетились на черной поверхности стола, словно мальчик и девочка, решившие впервые заняться сексом. Алексу больше всего на свете хотелось, чтобы они нашли, наконец, правильную позицию и мирно улеглись на белый лист бумаги. Но у них не получалось.

Голос Рамона журчал ручейком, глаза прокурора туманились, а судья кивал и кивал, словно пластмассовый ослик, который был у Алекса в детстве. Ослика ему подарила вторая жена отца. Или третья? Нет, вторая, потому что третья появилась, когда он уже пошел в школу, и время кивающих осликов закончилось.

Именно в это момент он решил, что убьет всех четверых, включая Бермана.

У него оставался ещё один шанс — призрачный, невероятный, возможный только при исключительном везении.

«Ягуар» тихо, как и положено большому сильному зверю, заурчал и прыгнул в темноту.

Там, где дорога шла вниз, Алекс заглушил мотор, и машина покатилась под уклон. Через открытое окно было хорошо слышно, как поют цикады и шелестит под колесами гравий.

И все же он едва не опоздал. Ещё пять минут, и светлый «порше» адвоката миновал бы поворот. Берман все-таки решился на бегство.

Алекс включил фары, когда серебристый автомобиль начал аккуратно вписываться в довольно крутую дугу. Ослепленный «Порше» шарахнулся к обочине и замер. Чтобы суметь развернуться тут даже днем, требовалось хладнокровие и расчет, а у Бермана наверняка тряслись руки. Эти пальцы с черными волосками и отполированными маникюршей ногтями — Алекс представил, как мечутся они по черному пластику руля, точно как тогда в суде.

В тускло освещенном салоне было видно, как адвокат достал мобильный телефон и прижал его к уху. Алекс знал, кому он звонит. Рамону. Красавчику, который теперь жил в белом доме среди миртов и кипарисов и по утрам принимал ванну с видом на залив. На террасе этого дома они когда-то сидели вдвоем — черт бы побрал и виски, и Стинга! Собственно, больше всего Алексу тогда запомнились кружащиеся на фоне бархатного неба звезды и светлячки.

Совсем немного времени ушло на то, чтобы разобраться, кому было выгодно надолго упечь его в тюрьму, на удивление немного. Хотя чему тут удивляться — он ведь уже знал, что убьет их — ещё до того, как понял, кому нужна была смерть русской именно в ту ночь.

Он заставил мотор взреветь. Дольше тянуть было нельзя — Берман мог вызвать полицейский вертолет. Но с этим адвокат будет тянуть до последнего. На этом и строился расчет Алекса — правда для толстяка была страшнее убийцы, от которого все же можно попробовать скрыться.

«Ягуар» двинулся вперед медленно и вкрадчиво — умница, настоящий хищник. Адвокат ещё попытался уйти от удара и проскочить, но Алекс не оставил ему ни единого шанса. В тот момент, когда «порше» сделал неуклюжий маневр, он бросил свою машину вперед, одновременно распахнув дверцу и сделав то, что так долго отрабатывал — прыжок в сторону с кувырком через голову. Удара избежать не удалось, и вслед за тем, как он приложился плечом и коленом к каменистой почве, раздался грохот. Алекс ещё успел увидеть, как снося ограждение, рушится в ущелье серебристая машина. Черная каким-то чудом

удержалась на самом краю обрыва, и ему пришлось встать и, прихрамывая подойти к ней. Одного толчка оказалось достаточно — «ягуар» покорно клюнул носом и канул в темноту. Мир твоему праху, верный друг. Он не собирался разбивать угнанную три дня назад в другом городе машину, так получилось. Так фишка легла, как любил повторять Рамон.

Наверняка в лунном свете улыбка человека, уходящего вверх по едва заметной в зарослях барбариса и диких абрикосов дороге, выглядела дико. А когда позади с интервалом в несколько секунд прогремели два взрыва, он засмеялся. Трое из четверых отправились туда, где им и место — в ад.

И как вскоре ляжет фишка последнего — Рамона, он знал точно.

Алекс был уверен, что на побережье его давно забыли. Да и был ли смысл помнить какого-то парня, разделавшегося в состоянии аффекта с неверной любовницей? Причем, умудрившегося при этом потерять около её трупа вещицу, которую без труда опознали все его приятели. Прекрасный пример человеческой глупости, более ничего. И только Алекс знал, примером какой подлости стал в его жизни втоптанный в песок черный крестик на порванной тесьме.

В ту ночь он напивался молча, потому что просто не мог говорить о том стыдном, что в запале крикнула ему Саша. Быть рогоносцем в их семье считалось самым страшным позором. И пусть эта русская не была ему женой, но она жила с ним, спала с ним и шептала ему по ночам слова любви. И в это же время… До него и после него — пусть, а вот одновременно — унижение, которое вполне достойно смерти.

Некоторое время он даже жалел, что не он сделал это, раз уж расплачиваться все равно пришлось ему. И только спустя несколько лет четко понял, что не такой уж это и позор на самом деле. В конце концов, Саша была честна с ним в тот последний вечер. С ним, и ещё с тем, от кого ждала ребенка.

Этот факт мусолили в судебных заседаниях — он одновременно отягощал обвинение и служил неким моральным оправданием для неудачливого убийцы. Мужчины понимали, каково это — узнать, что подруга беременна от другого. Даже экспертизу специально провели — нет, неродившееся дитя было не от Алекса. Он выслушал заключение спокойно, он и так знал. Но вот от кого — стало ему известно лишь год назад.

Ах да, тогда его звали вовсе не Алекс.

И вскоре тоже будут звать по-другому.

Как — он пока не решил.

Может быть — Рамон? Это имя, несмотря ни на что, ему нравилось.

Ведь матери называют детей, ещё не зная, кем они станут, когда вырастут.

Он достиг вершины холма, который тут гордо именовали горой. Отсюда мир казался девственно-прекрасным — солнце всходило над заливом, и отсутствие облаков в лиловом небе обещало жаркий день. Две рыбацкие шхуны и небольшая яхта дремали на рейде.

Алекс любовно погладил кожаные ножны. Отцу неродившегося ребенка Саши сегодня удалось слегка изменить его планы. Правда, сейчас его обугленные останки извлекают из ущелья, но ему был назначен не такой конец.

А вот удачливому красавчику Рамону знакомства с теплым от близости тела охотника ножом избежать не удастся. Это его собственный выбор, сделанный тринадцать лет назад. Берману тогда очень не хотелось становиться отцом, тем более что его собственная жена была ещё жива и вполне здорова. А попасть в центр судебных разбирательств с установлением отцовства и последующим неизбежным разводом для адвоката означало если не крест на репутации, то потерю большей части клиентов. Таковы нравы на побережье.

Пронырливый Рамон, хорошо умеющий только вынюхивать, прикинул, сколько он может на этом заработать, и предложил Берману выход из ситуации. Наверняка план они сочли безукоризненным. Напоить Алекса, вытащить из фарфоровой шкатулки крестик — для этого сыну араба и испанки особых талантов не потребовалось. А воткнуть нож в грудь Саши, в то место, где притаилась маленькая родинка цвета охры, способен был и сам Берман. Самым простым было договориться с судьей и прокурором.

А потом… Потом оставалось только вытянуть из жертвенного ягненка все, что можно — деньги, дом, машину. И вдобавок насладиться его бессилием и отчаянием.

Вот только одного они не учли — пожизненное заключение не означает невозможность снова обрести свободу. А из ягненка со временем может вырасти зверь.

Алекс потянулся — с наслаждением человека, хорошо выполнившего работу, и по змеящейся между камней тропинке неспешно двинулся вниз. Город он обойдет стороной и вернется сюда только через пару месяцев. Этого времени будет достаточно, чтобы Рамон вначале стал осторожен и пуглив, а затем слегка расслабился. У каждого интригана и манипулятора всегда есть один грех — он уверен в том, что уж им-то манипулировать

невозможно.

На этом он и будет пойман.

Поравнявшись с заброшенным виноградником, Алекс с сожалением посмотрел на крошечные зеленые кисти, прячущиеся под листьями. «Изабелла» пока только давала завязь. Он вернется сюда, когда ягоды начнут осыпаться.

Вернется, чтобы начать новую охоту.

Принцесса Чаш

Говорит о том, что какой-то важный этап внутреннего становления очень удачно подходит к концу. Предлагает совершить усилие и перейти на новый уровень (не следует забывать, что Принцесса Чаш курирует внутреннюю работу, состояние сознания, эмоции).

Предостерегает от душевной ленности и самодовольства. Призывает не слишком полагаться на талисманы и не увлекаться ритуалами — о чем бы ни шла речь в каждом конкретном случае.

Будучи живой девушкой, Принцесса Чаш оказывается сущим ангелом, этакой Золушкой, которая способна молча, терпеливо делать свое дело. При этом у нее легкий характер — чувственность, нежность, эмоциональная свобода; зависть и ревность ей, как правило, совершенно чужды. При наихудшем раскладе она может оказаться ленивой и чересчур самовлюбленной — только-то.

Ольга Гребнева
Из города

Все знают, что нет ничего, кроме города.

Город заканчивается где-то за зеленым поясом, за линией лесопарков, вполне пригодных для прогулок и пикников. Дальше никто не ездит — по крайней мере, своим ходом. Потому что зачем ездить, если все равно там ничего нет. Поэтому как именно заканчивается город, никто не знает.

Некоторые говорят, что он окружен глухой стеной.

Я в это не верю. Это как-то слишком глупо. Наверняка нашелся бы кто-нибудь, кому стена показалась бы вызовом, поводом попробовать через нее перелезть или заложить взрывчатку. Так что вряд ли.

Еще говорят, что трава и деревья просто вдруг обрываются в бесконечное ничто, в невообразимую пустоту.

В это я тоже не верю. В то, что кроме города ничего нет, верю — а в это не верю. Все-таки это как-то уж слишком, бесконечное ничто — в нескольких десятках километров от центра.

Лично я думаю, что там просто стена тумана — идешь в ней, идешь, а ничего не меняется. Постепенно начинаешь забирать влево — или вправо, не помню — и приходишь снова в лесопарк.

Иногда, правда, я думаю, что стена может быть не туманной, а прозрачной. Но тогда получается, что за этой стеной должно быть что-нибудь видно. И значит, есть что-то кроме города. А на самом-то деле ведь ничего нет, все знают.

Но это если своим ходом пытаться выйти. А если через турфирму, то можно куда угодно поехать. Хоть в Москву, хоть на Бали, хоть в Антарктиду. Хотя зачем бы — в Антарктиду? А на Бали ездят. Или там в Турцию, у кого на что денег хватит. Заказывают в турфирме поездку, в назначенный день прибывают в их офис с багажом — и отправляются на свою неделю или две, куда заказали.

Никто не знает, как.

Те, кто ездил, рассказывают про поезда, самолеты, автобусы. Якобы их в турфирме сажают в автобус и везут куда-то — на вокзалы какие-то, в аэропорты. И отправляют. И потом встречают и привозят обратно. И все как положено — фотографии, сувениры, прочая ерунда.

Но я не верю. Анна верит, а я нет.

Я думаю, их там просто усыпляют в этих турфирмах, погружают в анабиоз на оплаченный срок и приделывают им

ложные воспоминания. Про Египет, про Канары, про что угодно. Пятизвездочные отели, экскурсии, моря и океаны… Чепуха это все. Как могут где-то быть океаны, если нет ничего, кроме города?

Но откуда-то, говорит Анна, берутся же все эти иностранцы, которые бродят по городу с фотоаппаратами? Которые спрашивают дорогу, покупают дешевую сувенирную мелочь, заполняют летом кофейни на променаде? Они же тоже как-то приезжают в город — а потом уезжают?

По-моему, это все местные, отвечаю я Анне. Откуда мы можем знать, что их не наняли на такую работу — ходить по городу с глупыми лицами и изображать туристов? А что, очень просто: переодеть, загримировать, научить говорить с акцентом — и никто их не узнает. Вон хоть мой сосед сверху, совершенно блеклый тип — приклеить ему усы, нацепить темные очки и поднатаскать его бубнить «sorry» — и я сам объясню ему, как пройти к музею, не узнав в нем соседа.

Анна расстраивается, когда я так говорю.

Анне думает, что из города можно уехать.

Мне-то повезло, я нигде не был — а Анну в детстве родители возили в такие вот турпоездки. И бракоделы из турфирмы ухитрились ей подцепить к ложным воспоминаниям про какой-то другой город еще и ностальгию. Теперь ей хочется туда снова. Насовсем. Жить.

Ну не анекдот ли — жить в городе, кроме которого ничего нет, и рваться в другое место?

Мне очень жалко Анну.

Я пытаюсь уговаривать ее, что наш город очень красивый, что в нем хорошо, что у нас есть здесь друзья — но она говорит, что за каждой моей фразой слышит только одно: больше все равно ничего нет.

Одно время она даже раздумывала поехать в турпоездку и сбежать, отделиться от группы, остаться там, куда ее привезут — но это верная смерть, так я ей и сказал. Кома. Очень просто. Она пролежит в анабиозе свой оплаченный срок, а потом не очнется, и ее сдадут в общественную больницу.

Она испугалась, и какое-то время все было тихо и спокойно. Мы гуляли по знакомым улицам, сидели в любимых кафе — и я думал, что все наладилось и теперь так будет всегда.

А потом появились слухи, что люди уезжают. Вот так вот берут и уезжают. Продают свои дома и покидают город.

Я-то не поверил, но Анна заволновалась. Стала выяснять, расспрашивать — и узнала, что есть такие турфирмы, которые помогают уехать насовсем. Это, конечно, дороже, чем турпоездка,

но зато потом не возвращаешься.

Я сперва думал, что она поблажит и успокоится, но когда уехал один наш знакомый, я испугался. За Анну. Я же так и знал, что она просто с ума сойдет.

Я хочу уехать, твердила Анна, я не могу здесь больше жить, я хочу уехать, давай поедем куда-нибудь в другое место, это же возможно, ты видишь, возможно, надо просто решиться — и уехать, и все станет по-другому, не так, как раньше, я уже не могу как раньше, я хочу по-другому…

И так изо дня в день.

Я сперва ей говорил, что это безумие. Что наверняка всех этих уехавших просто усыпили насмерть. Чтобы они не мутили воду. Что нельзя вот так вот все бросать и срываться черт знает куда, если всем известно, что никакого «куда» не существует.

Но она меня не слушала.

И когда она стала собираться, я стал собираться вместе с ней. Потому что — ну черт с ним, пусть меня усыпят насовсем, но что я могу поделать, если она так хочет уехать? А если вдруг нам повезет, и нас усыпят не сразу, а сперва подсадят немножко воспоминаний, как при обычной турпоездке — то значит, мы как будто погуляем по новым улицам и посидим в новых кафе, а это, может, и неплохо для разнообразия.

Так что завтра мы уезжаем из города.

Рыцарь Мечей

Он призывает вас собраться, сосредоточиться, мобилизовать все силы, восстановить навыки пользования головным мозгом и хотя бы временно встать на путь самурая. Быть безупречным (в рамках собственного кодекса чести), если хотите достичь желаемого, или просто уберечь свою задницу от неприятностей.

В благоприятном окружении сулит победу в самом трудном деле (причем это будет победа скорее хитроумного Одиссея, чем Гектора — Мечи курируют область интеллектуальных усилий).

В неблагоприятном окружении обещает конфликт (возможно, внутреннй, но большой, разрушительной силы), в некоторых случаях — позор (обычно вследствие нарушения каких-то правил — собственных, или общепринятых).

А иногда эта карта просто обещает встречу с человеком, обладающим некоторыми из вышеописанных свойств (или, чем черт не шутит, полным набором). Гибкий ум (и, что гораздо важнее) сознание, чувство юмора, находчивость, способность быстро находить правильные решения. Такой человек обольстителен, но холоден. Ему никто не указ, он легко идет на конфликт, потому что не слишком дорожит человеческими отношениями. Такому человеку настолько нет дела до окружающих, что ему в голову не придет говорить шепотом в помещении, где кто-то спит. Это, собственно, его самое уязвимое место: обнаружив, что его окружают вполне живые люди, со своими желаниями, интересами, целями, Рыцарь Мечей будет, мягко говоря, обескуражен. И не факт, что он сумеет приспособиться к этому новому знанию о мире.

Джеки Картер
Улица Медных Душ

Улица Медных Душ находится в самом сердце портового города. Леденцово-желтые фонари освещают уютные дома, лавочки и кафе. Покатые булыжники мостовой нагреваются за день и ночью остаются теплыми. Здесь приятно гулять, заходя в небольшие ресторанчики, покупать всякую мелочь у приветливых торговок или, если будет на то желание, повеселиться любым другим способом. В темноте на улице Медных Душ могут сбыться ваши мечты и желания… Постарайтесь только не слишком дорого за них заплатить.

— Господин хороший, не хотите поразвлечься?

Тимоти обернулся. У стены стояла худая брюнетка в позе «что угодно за десять золотых».

— Это с тобой-то?

— А что? Дешево, соглашайся!

— Во-первых, у меня другие планы. Во-вторых, ты неправильно себя ведешь.

— Это почему же?

— Никогда не говори клиенту, что цена низкая, пока он не клюнул на твои услуги. Веди себя так, будто всех его миллионов не хватит, чтобы тебя купить. Одного золотого — да не хватит. Пусть он почувствует эти свои миллионы. Даже если у него их нет. И пусть захочет отдать их все за одну ночь с тобой. Выстирай одежду хотя бы. И когда он попадется на крючок, сделай ему скидку. И возьми с него вдвое дороже, разумеется.

— Тимоти, вы, что ли? Не признала…

— Я, Карлита. А ты, раз из порта в центр подалась, привыкай к новым правилам. Здесь твои старые истории не пройдут. Здесь клиент должен заплатить немало и стать счастливым. Пусть и не надолго.

— Кого другого и слушать бы не стала, но вы, вроде, плохих советов не даете…

— Вот именно.

— Спасибо.

— И не забудь помыть голову, — ворчливо добавил Тимоти, продолжая путь.

Но не прошел он и десяти шагов, как его окликнули:

— И с каких пор ты стал наставником заблудших душ?

— С тех самых, как заблудшие души начали портить репутацию моей любимой улицы. Здравствуй, Кати.

Кати, как обычно, лучилась улыбкой. Удовлетворенно кивнув головой с седыми кудряшками, она сказала:

— Ну, раз сегодня ты являешься наставником для каждого, кто продает и покупает, то я приглашаю тебя со мной поужинать. Заодно и поболтаем. Пойдем в «Пшо»?

Они скрылись от накрапывающего дождика в ресторане за углом. С виду — ничего особенного: скромная обстановка, витые колонны ржавого металла, столики, меню в потертых футлярах. В меню — икра сумасшедших рыб и прочие деликатесы, которые якобы произрастают в Пшо. Никакой гарантии, конечно, город-то закрытый, не проверишь, но посетители ресторана с удовольствием отдавали дань экзотике, не требуя подтверждений.

Последние лет тридцать Кати торговала охранными амулетами в двух кварталах от ресторана.

— Тимоти, мальчик мой, вечно ты пропадаешь. Теперь придется слушать, что нового у меня произошло за последний месяц, — Кати принялась за крошечный фирменный салат и рассказ о своих делах — совсем не такой компактный.

Тимоти пожал плечами, поправил браслет и приготовился слушать. Ему не удавалось бы так блестяще вести дела, если бы не чутье — такое же знаменитое, как его шрамы. Люди всегда появлялись в его поле зрения именно в тот момент, когда были нужны. И во время ужина он думал о том, что Кати не зря, видимо, появилась именно сегодня. Хотя, вроде бы, ничего такого он сейчас не вел… А пожилая круглолицая леди щебетала, не подозревая о его мыслях. Или не обращая на них внимание.

— Представляешь, я раскопала легенду о нашей улице. Такое романтичное название! Оказывается, давным-давно ходило поверье, что душа хозяина может перейти в его вещь. Конечно же, это связывают с Пшо! Покажи мне хоть одну таинственную историю, которая была бы про что-то другое…

Огромный город-государство Пшо на другом краю залива действительно являлся любимой темой местных фантазеров. Тимоти предпочитал верить фактам: закрытый город, поставщик меди с особыми свойствами. Вот и Кати торгует охранными амулетами, сделанными из такого металла…

…Кати не смущал характер Тимоти. Мало ли кто практичен и холоден? Зато мастер своего дела. И мальчик милый, глаза цвета шоколадных стружек… Было бы неплохо познакомить его с племянницей. Впрочем, это успеется… Она уже перешла на любимую тему и рассказывала Тимоти о том, как прекрасно в этом сезоне идут продажи:

— С тех пор, как в Королевстве издали указ о запрете на калечащие амулеты, мои мирные «охранки» раскупаются мгновенно! Реагируют на темные мысли, вора оглушают, хозяина вызывают — что еще надо?…

Через час Тимоти окончательно перестал понимать, для чего они столкнулись. Покончив с десертом, Кати начала зевать и распрощалась, а он остался подумать. Но не успел он допить кофе, как за его столик присела девушка. Тимоти вопросительно поднял бровь.

Белокурая, с неровно подстриженными волосами, в темном плаще и с множеством медных побрякушек. Нервничает. Неужели клиент? Не похоже, но… Тимоти автоматически поправил браслет.

— Здравствуйте… Дело в том, что я к вам с деликатным делом.

— С другими ко мне не обращаются, — равнодушно заметил Тимоти.

— Я с необычным делом…

— Продолжайте.

— Не могли бы вы… — девушка собралась с духом, — продать мне ваш браслет?

Не клиент. Тимоти сразу заскучал. Отрицательно покачав головой, он подозвал официанта и попросил счет.

— Ну пожалуйста! — взмолилась девушка, но он уже потерял к ней всякий интерес. Перед его глазами стояли совсем другие картины.

… Тимоти пришел в портовый район на свой страх и риск. Вообще-то, он давно собирался сбежать из дома. А как получилось — сразу рванул в порт. В его квартале ходили самые разные — и весьма романтические, надо сказать, — слухи об этом грязном прикорабельном пространстве. Действительность и впрямь сулила неприятности. Кривые улицы, множество лавочек и толпы людей. Крикливые местные торговцы с недобрым взглядом всегда были готовы продать вам рыбу и пряности, достать любой наркотик, да и с прочими развлечениями помочь за определенную плату. А еще поговаривали, что они занимаются тайной работорговлей, знакомя красивых мальчиков, которые разевают рты на заморские диковинки, с некоторыми капитанами…

… Солнце уже клонилось к закату, когда оглушенного Тимоти поставили на ринг. В прямом смысле — подняли и поставили. Он даже толком не понял, как здесь оказался, единственное, что крутилось у него в голове: чтобы выбраться отсюда, надо хотя бы не дать себя убить…

Тимоти невидящим взглядом смотрел перед собой, пока девушка что-то ему объясняла. Врала. Да мало ли сумасшедших? Он рассчитался и отправился домой, не задумавшись о том, зачем ей браслет, много лет назад купленный у старьевщика.

… Эти бои были одним из самых любимых и очень доходных здешних развлечений. Участников боя набирали из тех мальчишек, что толпятся в порту и похуже одеты, — их не будут искать. От желающих сделать ставку отбоя не было.

Первым противником Тимоти был Чаки-Метр-Сорок. Заслужил кличку — значит, дрался не раз. Значит, побеждал, — неудачники званий не удостаиваются, даже таких. Толпа вокруг глушила остатки мыслей…

Придя домой из ресторана, Тимоти разобрал бумаги и совсем уже было собрался лечь спать, когда вдруг осознал, что девушка, которая зачем-то хотела купить его браслет, не идет у него из головы. Что-то она ему напоминала… Что-то… И тут до него дошло.

Всего один раз он провалил дело. Да и какое — плевое! По крайней мере, так казалось сначала. У одного знатного человека пропала дочь. Скорее всего, просто сбежала из дома, но папаша

волновался. Причина побега была понятна — дом вельможи был похож на золоченый склеп, а его обитатели — на привидения. Однако Анна здорово отличалась от них всех — с портрета, который вручили ему, хохотала юная девчонка с белокурыми волосами и голубыми глазами. Гиперактивный ангел. Она сбежала рано поутру, оставив отцу вежливую записку — не ищи, со мной все в порядке. Вельможа, в общем, и рад был, что дочь проявила характер, говорят, и сам в молодости был буен, да, видно, решил для очистки совести специалиста нанять.

Агент по деликатным поручениям Тимоти Хал с ног сбился, но девчонка как в воду канула. В порту ее следы обрывались. Вот и думай — в море утопилась, на небо взлетела или в Пшо жить отправилась, ха-ха. А через неделю Анна прислала отцу письмо, что просит прощения за внезапное исчезновение, но отныне собирается жить сама. Вельможа вздохнул, да и отменил свое указание. Аванс оставил — за хлопоты и молчание. А сам пустил слух, что отправил дочь на учебу в дальнюю страну. Поскольку людская молва решила, что имеется в виду что-то совершенно экзотическое, довольно быстро закрепилось мнение, что Анну отправили учиться в Пшо. Народ лорда зауважал, и слухи утихли. Что ж, агенту, вроде, вышло облегчение, но Тимоти все никак не мог забыть свою неудачу. Работа должна быть выполнена безупречно. Неудача — это поражение.

И вот теперь, лежа в постели, он вдруг понял, кого напомнила ему эта девушка. Конечно, прошло уже пять лет, но было, было что-то общее между тем гиперактивным ангелом с портрета и задерганной барышней в черном плаще. Она или нет? На этой мысли Тимоти и уснул. Ему снилась улица Медных Душ и смутно знакомый старик по имени Арье. Старик едва успел представиться, как сознание заволокло тьмой, и Тимоти провалился в привычный кошмар.

… Металл на запястьях с каждым ударом все глубже уходил под кожу. Драться в наручниках дольше минуты могли только очень сильные, ловкие люди или бойцы, владеющие специальной «техникой арестанта». Тимоти никогда не сидел в тюрьме, и сейчас он вдруг подумал, что на запястьях останутся следы, как если бы сидел. Тут-то он и разозлился. Вокруг, будто в тумане, плавали лица, голоса, а новый противник, Дурында-Смит, ухмылялся напротив. Злость постепенно затопила голову Тимоти — от уха до уха, он сделал шаг, еще один и вот он уже снова дерется. С этой минуты он уже не видел ничего, только бил, бил

левой в раззявленную рожу Дурынды-Смита, который становился все красивее, наливаясь краской и щедро поливая ринг собственной грязной кровью…

Тимоти проснулся от шума. Стучали явно не первую минуту. Накинув на себя то, что подвернулось под руку, Тимоти распахнул дверь. На пороге стояла маленькая служанка Кати, он не помнил, как ее звали. Это его никогда не интересовало.

— Господин, вас очень просит прийти хозяйка.

Кати не станет звать его просто так, да еще в такую рань. Значит, что-то случилось.

— Передай Кати, я буду через час.

Для начала можно и кофе выпить. Закрыв дверь за девчонкой, Тимоти спокойно сварил кофе и задумался. Значит, все же не зря они вчера столкнулись. Одевшись, он отправился к Кати…

Дело было действительно деликатное. Если бы кто-нибудь прослышал, что обокрали лавку охранных амулетов, бизнес можно было бы сворачивать. Кто станет покупать «охранки» в таком месте? Кати старалась взять себя в руки и даже преуспела в этом. Оставив за себя помощницу, она спокойно отвела агента в свой кабинет, налила ему кофе и только после этого позволила себе всхлипнуть.

— И главное — ни деньги не тронули, ни мои драгоценности, ни амулеты! Только ключи. Значит, точно воровать собрались… Но ведь не стащили больше ничего!..

— Погоди. Как воры могли войти в лавку? Ты уверена, что ключи украли?

— Конечно, уверена. Ночью они всегда лежат в одном и том же месте — за стойкой. Знаю, знаю, надо бы уносить их в спальню, класть в тайник… Да кому же взбредет в голову воровать в моей лавке?

— Значит, кому-то пришло. Какая «охранка» была включена прошлой ночью?

Выяснилось, что Кати последнее время на ночь оставляет включенным амулет из тех, что сейчас пользуются наибольшим спросом. Недорогая, но надежная модель — считывает мысли вора и начинает вопить на весь дом.

— Как он включается?

— Очень просто. Сейчас покажу…

Кати принесла из зала медный амулет в виде бабочки.

— Включается такая «охранка» брелочком, — профессионально защебетала Кати, — и выключается так же. Просто, удобно, никаких сбоев…

Она осеклась и нахмурилась.

Тимоти еще никогда не слышал, чтобы кто-то ограбил подобную лавку. Это же надо быть самоубийцей, чтобы полезть сюда с дурными намереньями. Дураком, чтобы ничего не взять. И волшебником, чтобы отсюда выйти.

— Расскажи мне теперь, что за ключи? Как выглядели? Сколько их было?

— Много — от шкафов, что в зале, от кладовой, от шкатулки… вот такие, — Кати достала связку из кармана. — Хорошо — дубликат был, а то хоть и не открывайся с утра.

— Связка была точно такая же?

— Да. Десять ключей, брелок от охранки… А, ну и еще штучка медная, ничего особенного.

— А точнее?

— Медная такая бляшка… Я на улице как-то нашла, вот и прицепила на ключи… Круглая, с насечками, с дырочками… Ну, вот как у тебя на браслете, только покрупнее.

Тимоти сдвинул рукав рубашки, обнажив руку повыше запястья. Браслет был широкий, из толстой кожи, с медными бляшками, потому не только скрывал шрамы, но и оружием мог служить. Медяшки были разного размера, одной, что побольше, не хватало.

— Похоже?

— Ой, ну точно — прямо как у тебя! — всплеснула руками Кати. — Не отсюда бляшка-то?

— Браслетов много, — задумчиво сказал Тимоти. — Бляшек тоже.

— И то правда.

— Опиши-ка мне клиентов, что заходили в последние дни.

Минут через двадцать Тимоти потребовал еще кофе. Кати умела болтать без умолку — а тут и повод был. Он узнал все о лорде Дарти и его слуге, который приходил покупать новую «охранку» (вернее, о его третьей жене и новом дворецком), послушал про симпатичную племянницу (забегала на днях, ничего не купила, но готовит отменно и нрава тихого), потом ему подробно рассказали о мадам Лили (прекрасные пирожные делает и приобрела буквально вчера амулет для своей кондитерской, хотя чего там красть — шоколад да взбитые сливки?).

Тимоти аккуратно заносил в блокнот имена, фильтруя словесный поток, в который погрузила его Кати, и вдруг остановился.

— Стоп. Повтори, что за девушка вчера приходила?

— Странная, грустная, в плащ черный куталась, вся в побрякушках, поздно уже зашла. Сказала, что приехала откуда-то, нужна ей охранка. Я стала показывать, она, вроде, выбрала одну, а потом чего-то задумалась, заволновалась, да так и ушла, ничего не купив. Может, денег с собой не захватила?..

— Слушай, Кати, а что у нее с прической?

— Стриженая, только вот неровно, не повезло ей с парикмахером. Я уж было хотела прямо сказать, да неловко как-то. Ну, я ей тактично так порекомендовала Эйтана, ну, ты знаешь…

Да, таких совпадений не бывает. Либо среди молодых девушек вдруг образовалась повальная мода на черные плащи, неровно стриженые волосы и непростую медь, либо… Он обязан ее найти.

Тимоти глянул на свой браслет и поднялся.

Взяв задаток (не много, но и не мало), он отправился на поиски таинственной девицы. Для начала заглянул к Эйтану. Молодая девушка долго не проходит с плохой прической, побежит к парикмахеру, как миленькая. Однако Эйтан уверил агента, что такая не заходила, и вернулся к клиенту — седому купцу, недовольному проволочкой.

Тимоти прошел по гостиницам, расположенным в округе. Он уже практически не сомневался, что снова ищет Анну… Но ни один хозяин не вспомнил девушки, описанной агентом. К вечеру

Тимоти обошел практически весь район, но так и не напал на след. Это начинало раздражать. И он отправился в порт.

В кабаке под названием «Пираты Желтого моря», как всегда по вечерам, было шумно. Местная публика — разношерстный народ, от удачливых воров до пьяных матросов, — не повела ухом, когда он зашел, брезгливо оглядывая зал. Но его, разумеется, заметили. Тимоти-Арестант был довольно известной фигурой — что во время кулачных боев, что потом — когда он стал важным спецом и показывался здесь исключительно по своему агентскому делу.

Тимоти перекинулся парой слов с барменом и направился к дальнему столику, за которым допивал пиво мрачный здоровяк. Взмах рукой, и в их сторону поплыли еще две кружки светлого. Здоровяк одобрительно глянул на агента, залпом выпил полкружки и кивнул.

— Брамс.

— Тимоти, — холодно представился агент, не притрагиваясь к пиву. — Ты со «Звезды Пшо»?

— С нее, родимой, — утвердительно крякнул здоровяк Брамс, вытягивая ноги.

— Девица была на корабле? Плащ черный, волосы светлые, медные побрякушки.

— Ну, была. А тебе-то что?

— Надо. Откуда взялась и куда направлялась?

— А мне почем знать? — Брамс допил пиво и выжидательно покосился на Тимоти. Тот подвинул к моряку свою кружку. Брамс медленно выцедил треть, удовлетворенно икнул и сказал:

— Вроде как из поселений, что возле Пшо. Сюда и направлялась. Симпатяга, а хмурая, не подступиться.

— Пробовал?

— Ну, так, чисто поговорить…

— А она что?

— Отшила. Да и черт с ней, тощая, как головастик, — Брамс заржал и уткнулся в кружку.

— Больше ничего не знаешь?

— Вроде нет…

— Не знаешь, куда она конкретно собиралась?

— Вроде, ей кто-то из пассажиров про гостиницу говорил, а она сказала, мол, город знаю, особенно центр.

— Ясно.

Тимоти бросил на стол несколько монет, и оставил моряка допивать пиво. Пересекая портовый район, он начал чувствовать спиной чей-то взгляд. Агент медленно повернулся, будто заинтересовавшись вывеской рыбной лавки. Никого подозрительного видно не было. Проститутка, двое пьяных матросов да торговец пряностями не в счет. Поплутав по улицам, он свернул в тупик. Неприметная дверь вывела его на соседнюю улицу. И через пару кварталов он понял, что слежка прекратилась. Враги у него были, но сейчас с ними разбираться не хотелось совершенно.

И он решил для начала отправиться домой и выспаться. Но и это удалось ему не вполне. Стоило Тимоти закрыть глаза и провалиться в дремоту, как снова появился старик Арье и внятно сказал:

— Я уже снился тебе. Постарайся в нужный момент вспомнить только одно: ты можешь жить без браслета.

Утром Тимоти поднялся с тяжелой головой и смутными предчувствиями. Выпив пару чашек кофе, но так и не разобравшись с ощущениями, он снова отправился на поиски.

Дойдя до центра, агент отправился в одно мало популярное место. Девица, которая отшила Брамса (а он, по слухам, так просто не отступается, даром, что мирный был вчера), вполне могла остановиться у Мамаши Джил. После рыжих фонарей и покатых булыжников улицы Медных Душ тесный проулок казался перенесенным с окраины города. Сюда забредали люди, которым был нужен небольшой комфорт за небольшие деньги. Переступив через валяющегося на мостовой пьянчугу, Тимоти направился к ночлежке.

Мамаша была занята — распекала какого-то постояльца. Тот бледнел и покачивался, стараясь не смотреть в разъяренное лицо Мамаши, украшенное пышными усами.

— И чтобы плату — через час! — прогрохотала Мамаша напоследок и повернулась к Тимоти. Постоялец, воспользовавшись приходом нового человека, испарился.

— Тимоти! Какая встреча! С чем пожаловал? — осклабилась Мамаша.

— Девушка. Черный плащ. Побрякушки, — коротко изложил Тимоти.

— Как же, как же… Девица боевая, не побоялась к нам зайти, — захихикала Мамаша, потряхивая двойным подбородком.

— Дома?..

— Ушла. Подождешь? Может, вина? — ухмыльнулась Мамаша.

Припомнив эти помои, Тимоти холодно сказал, что заглянет позже.

Не успел он пройти нескольких кварталов, как снова начал чувствовать чей-то взгляд. Тимоти медленно дошел до ресторана «Пшо» и спокойно сел за столик в углу. Когда напротив уселась девица в черном плаще, он даже не удивился. А вот она волновалась еще больше, чем раньше.

— Простите за беспокойство, но не могли бы вы все-таки продать мне свой браслет?

— Лучше вы мне — бляшку, — спокойно сказал Тимоти.

Девица вскочила со стула, но тут же опустилась обратно.

— Вы!.. Вы ничего не понимаете!.. — шепотом закричала она.

— А вы объясните, — предложил Тимоти и махнул официанту. Ему мгновенно принесли кофе. Девушка глубоко вздохнула, попросила стакан воды и стала говорить.

Пять лет назад Анна убежала из дома. Не из юношеского протеста. Гадалка ей напророчила, что через пять лет у нее в жизни случится что-то очень важное и связано это с тяжелой болезнью отца. У него иногда болело сердце, и дочь решила, что это и будет причиной. Анне всегда хотелось доказать отцу, что она чего-то стоит, и она решила выучиться на целителя. На самого лучшего, чтобы уж точно. Конечно, она сразу же подумала о Пшо. И отправилась туда. Разумеется, в город ее не пустили. Анна некоторое время жила в поселении рядом, а потом кончились деньги. Она каждый день приходила к воротам и умоляла стражников, но они реагировали только на специальные пропуска, а ее слезы никак не могли сойти за лакированную бумажку. Когда она уже без сил упала в грязь перед воротами, из города вышел старик.

— Я плохо помню, что было дальше, — тихо говорила

Анна, — Но он как-то сделал, чтобы меня пропустили. Очнулась я уже у него дома. Его звали Учителем Арье. И он взял меня в ученицы. Я очень старалась и научилась целительству. А совсем недавно Учитель Арье умер.

Перед смертью он сказал ей:

— Мне жаль, девочка, что мой браслет украли давным-давно. Он мог бы тебе помочь…

Больше он в себя не приходил. Похоронив Учителя, Анна разбирала его бумаги и нашла записи о переходе души в медные амулеты. Там было сказано, что в амулет, изготовленный из меди Пшо, может перейти душа его хозяина. Такой амулет обладал особыми свойствами, усиливая то, что развито в человеке. Про браслет Анна слышала от Учителя и раньше: когда-то его украли, сохранились только рисунки — черная кожа, медные бляхи. Сделан он был на заказ у мастера, давно уже отправившегося в мир иной. И сам по себе браслет усиливал только чутье на людей. Прочитав записи, Анна пожалела, что ни Учителя с нею нет, ни его браслета, но, тем не менее, отправилась домой в надежде вылечить отца.

Тимоти слушал всю эту сентиментальную чушь, привычно запоминая важное. Особенно его заинтересовало имя целителя. Анна отпила воды и продолжила рассказ.

… Когда она попала в город, то попыталась разузнать об отце, но ничего особенного слышно не было. Тогда девушка решила для начала остановиться в малоприметном месте и отправилась к Мамаше Джил. И поняла, что ей срочно требуется охранный амулет. «Охранки» из Пшо не подходили — здесь было запрещено применять калечащие амулеты, а у нее с собой оказался именно такой. Остальные годились только на то, чтобы стать незаметной (тут она слегка смутилась), для повышения внимания и для целительства. Анна отправилась в лавку покупать амулет, а по дороге зашла поесть. И чуть не упала, когда увидела на руке агента знакомый браслет. Она так разволновалась, что, получив отказ Тимоти, совсем не знала, что ей делать. Но, выяснив у официанта имя посетителя и получив уверения, что он часто здесь ужинает, решила вернуться на следующий день и все же уговорить его продать талисман.

Приободрившись, девушка отправилась в лавку за охранным

амулетом. И увидела вдруг у хозяйки брелок — точно такую же бляшку, какая должна быть на браслете. Трудно было перепутать — насечки там расположены в строго определенном порядке, складываясь в буквы древнего алфавита. Анна была так поражена, что ушла из лавки в смятении, забыв обо всем на свете. Через некоторое время ей пришло в голову, что хозяйка — не ледяной посетитель ресторана «Пшо», ее можно попросить или просто купить брелок. Когда она вернулась, лавка была уже закрыта. Двери в городе запирались редко — с такими-то амулетами, поэтому она просто зашла и к своему удивлению обнаружила, что никого нет. Она вспомнила, что хозяйка брала ключи из-за стойки, и нашарила их в полутьме.

— Я ни о чем таком не думала. Хотела только с хозяйкой поговорить, но ее не было, — шептала Анна. — Я наткнулась сначала на большой брелок, покрутила… Испугалась, что это какая-то другая связка, но тут же нашарила бляшку и вышла из лавки.

Наутро, придя в себя, она сунула ненужные ключи в карман, отцепив медный кругляш, и попыталась почувствовать заключенную в ней магическую силу. Но, увы, бляшка без браслета не работала. И вот она снова здесь, чтобы просить его продать браслет, ведь ей так нужно вылечить отца!

Тимоти дослушал рассказ и сказал:

— Для начала верните ключи.

Анна, к тому моменту уже скомкавшая десяток салфеток, нервно полезла в карман, достала ключи и положила их на столик.

— Это не все.

Девушка прерывисто вздохнула, бросила на стол бляшку и прошипела:

— Нет у вас совести, жалости, понимания, разума — ничего у вас нет!

Тимоти покрутил медяшку в руках. Да, подходит. Он подумал и приложил ее к браслету. Секунду ничего не происходило, только всхлипывала Анна. А потом на него нахлынуло…

… После того боя в порту он выжил. Подумаешь, провалялся в постели месяц или два. Повезло, можно сказать. Вот только следы на левом запястье у него остались. Поэтому и получил такую кличку — Тимоти-Арестант. Когда через восемь лет он стал агентом по деликатным поручениям, клиенты очень быстро запомнили, что этот красивый парень может выполнить что угодно, но никогда не отвечает на вопросы о своих руках. Потом он купил широкий браслет, заслужил репутацию, и вопросы прекратились. А шрамы хранили боль и давали ему силу.

Вспомнились слова старика Арье. Шрамы так и не затянулись. Неудивительно — ведь бывший боец до сих пор дерется на ринге. В наручниках.

Тимоти медленно расстегнул браслет и протянул его Анне вместе с бляшкой. Та, не веря своим глазам, схватила, стала подниматься из-за стола, одновременно пытаясь справиться с застежкой. Наконец, ей это удалось. Но почему-то, вместо того, чтобы бежать к отцу, она опустилась обратно на стул.

Туман в глазах Тимоти еще не совсем рассеялся, когда Анна начала смеяться. Смеялась она так долго, что агент пришел в себя и махнул официанту, который принес еще кофе и стакан воды.

— Что случилось? — спросил Тимоти и сам усмехнулся такому вопросу.

— Ничего особенного. Просто я только что поняла, что мой отец совершенно здоров.

— Выздоровел? — думая о своем, переспросил Тимоти.

— И даже не болел. Вся эта история с его исцелением… Он просто ее выдумал. Чтобы мне было… чтобы мне было к чему стремиться, — решительно закончила Анна и криво улыбнулась. — По-моему, нам с ним есть, о чем поговорить.

— Но ведь он добился своего?

— Пожалуй, да, — помолчав, ответила Анна.

Тимоти посмотрел на голую руку. Отвел взгляд, а потом посмотрел еще раз.

Шрамы исчезли. Теперь ему предстояло учиться жить не только без браслета.

Улица Медных Душ находится в самом сердце портового

города. Леденцово-желтые фонари освещают уютные дома, лавочки и кафе. Покатые булыжники мостовой нагреваются за день и ночью остаются теплыми. Здесь приятно гулять, заходя в небольшие ресторанчики, покупать всякую мелочь у приветливых торговок или, если будет на то желание, повеселиться любым другим способом. В темноте на улице Медных Душ могут сбыться ваши мечты и желания. Постарайтесь только не слишком дорого за них заплатить.

Королева Мечей

Ее можно сравнить с дождем, который омывает стекла. Королева Мечей вносит в жизнь предельную ясность. Обещает, что у вас откроются глаза. Или, напротив, советует играть в открытую, не таиться, не секретничать.

В неблагоприятном окружении Королева Мечей предупреждает, что какая-то ваша тайна будет раскрыта, и это сулит неприятности. Советует любой ценой хранить секреты.

Очень важно отличать одну позицию от другой, но для опытного гадателя это не проблема.

Как и прочие Королевы, эта карта может просто обещать встречу (или сближение) с очень интересной и непростой дамой, умной и проницательной настолько, что впору искать под ее юбкой хвост. Но никакого хвоста, разумеется, нет — все дело в наблюдательности, тонкости восприятия и умении делать правильные выводы. Ее советы стоят ничуть не меньше, чем пророчества оракулов. А то и подороже. Она способна держать под контролем ссебя и свое окружение — и это, собственно, делает ее совершенно невыносимой. Уравновесить это умение может только отсутствие желания контролировать и управлять; впрочем, многие женщины такого типа слишком умны, чтобы всю жизнь всерьез интересоваться управлением окружающими.

Ханна Таупекка
Музыка

Н.В.

Когда идет дождь, мелодия затихает, струны отзываются зыбким полушепотом, едва слышным в шорохе капель, в беспорядочном перестуке-стаккато по карнизу, похожем на звук торопливых шагов. Неделю кряду у нас идет дождь, превращая дни в бесконечные вечера между утром и ночью.

Поутру — мажорное трезвучие, звонкая россыпь нот; вскоре появляется Клара. Во время ее визита тема оплывает на полтона вниз, темп замедляется понемногу — Клара сурова и основательна, она не любит обманчивой легкости мажора. Иногда я встречаю ее бетховенской сонатой, и она благосклонно улыбается: так-так, сегодня мы ведем себя хорошо.

…Я не знаю точно, как называется этот инструмент — я: вздох деревянной флейты, шепот струн или звучный металлический перебор, капель клавишных. Иногда орган — медь и золото, черная тяжелая бронза; орган просыпается в грозу, пока не успели еще закрыть окно в сад. Или звон колокольцев — первый снег, медленные хлопья слетают на подоконник. Одинокий вскрик трубы, жалоба саксофона — опадающие листья на рассвете; потом Янис сметет их в огромный ворох и подожжет — деревянная флейта, маленькая гитара, варган…

Я живу в этом доме давно и не помню уже иной жизни — да и была ли она? Иногда по ночам всплывают вдруг смутные образы — я наощупь подбираю мелодию, чтобы выразить их и так понять, что это, откуда; но почти сразу они растворяются в темноте, оставляя мучительный диссонанс на грани музыки и тишины. Раньше кто-нибудь сидел со мной до рассвета, и тогда тени не приближались; теперь отчего-то все изменилось — наверное, я должна справиться сама.

Впрочем, к утру это проходит, и можно снова встречать торжественным аккордом Клару, входящую в дверь с полным ведром воды — она протирает пол, смахивает пыль, а я наигрываю ей сонаты или веселые пьески для детей. Время от времени это бывает славно, играть для кого-нибудь, хотя они и не

слышат меня. Более же всего я жалею о том, что в доме нет других инструментов — некоторые вещи с посторонними не разделишь. А домра, на которой под настроение играет Янис, совсем *мертвая*, как я ни пыталась дозваться её. Оттого, когда она начинает звучать, я прошу закрыть окно.

Оказывается, здесь два окна: прибираясь, Клара отдернула занавеску у дальней стены. Второе совсем невелико и выходит в соседнюю комнату, в точности похожую на мою: светло-зеленые обои, зеленое покрывало на кровати и даже занавеска. Кажется, там никто не живет — впрочем, с моего места видно довольно мало. Может, Марта расскажет что-нибудь вечером.

Марта зовет меня Леной. Наверное, это потому, что она тоже не знает, как назвать правильно. Иногда мы смеемся над этим вместе — над человечьим именем, доставшимся инструменту: скрипичным всхлипом я передразниваю: "Ле-е-ена!", а Марта косится на меня недоверчиво, но не может удержаться от смеха. Я попросила ее принести метроном: тик-так-тик-так — с ним куда проще. Марта понимает меня лучше, чем Клара — говорит, что когда-то училась в музыкальной школе. Иногда мне кажется, что Марта слышит меня *по-настоящему*.

В маленьком оконце мелькают тени. Надо попросить кого-нибудь передвинуть меня поближе к нему — интересно. Не слишком часто у нас появляются новички, и я уже почти перестала надеяться, что кто-нибудь из них окажется таким же, как я. Хорошо бы это был мужчина — контрабас или туба; мы могли бы сыграться. От волнения и любопытства я ухожу на две октавы вверх, и в дверях появляется обеспокоенная Клара.

У Яниса большие шершавые руки, их прикосновение неприятно — каждый раз боюсь, как бы он не повредил что-нибудь во мне неловким движением. Вот так, осторожно, приговаривает он, понемножку, легонько — я беру возмущенный аккорд, и он наконец отступает, оставляя меня наедине с застекленным пространством чужой комнаты.

…лицо! Проклятый призрак из ночных наваждений, нездорово-бледное, одутловатое лицо, невыносимо знакомое — мелодия сбивается на фальшь, теряет силу, распадается на мучительно бессвязные звуки. У существа за окном пустые маленькие глаза, заросшие веками без ресниц, кажется, если оно скользнет по мне белесым бессмысленным взглядом, останется

след, как от улитки — отвратительно! — я отшатываюсь и падаю, со стонами лопаются одна за другой струны, отчаянно кричит труба, но откуда, почему я помню это лицо, кто это?!

— Какой идиот… Клара, это ты не закрыла с утра зеркало?
— Доктор сказал, что это может быть ей полезно…

…ЗЕРКАЛО?!

Принц Мечей

Он же Принц Хаоса. Сообщает, что процесс, в котором вы задействованы, неуправляем. Взять его под контроль невозможно, только и остается, что приготовиться принять все, что случится.

Иногда Принц Мечей появляется именно для того, чтобы предупредить: вы не способны контролировать свою жизнь, вам нужен помощник, руководитель, наставник. Ну или хоть самодисциплина какая-то.

В человеческой шкуре это типичный Шерлок Холмс — точно такой, каким описан в книжках. Не человек, а почти необязательное приложение к собственному блестящему уму. Он воспринимает жизнь, как непрерывную шахматную партию с Создателем и куда больше заинтересован в возможности записывать и анализировать ходы, чем в конечном результате партии. Часто его интеллектуальные усилия кажутся стороннему наблюдателю бесплодными, а жизнь — пустой, но кого интересует мнение стороннего наблюдателя?

Юлия Зонис
Шкурка

На стене — экран, а в экране — моя матушка. Она морщит густые брови и говорит: «Сынок, когда же ты наконец перестанешь маяться дурью?» Тон у нее небрежный, а вот пальцы дрожат, и столбик пепла обрывается с кончика сигареты и падает вниз, прожигая лак и красное дерево журнального столика. Впрочем, этого я уже не вижу.

* * *

Мне часто снится старуха. Во сне я точно знаю, что это моя бабушка, хотя отродясь никаких бабушек в деревне у меня не водилось. За оградой ее двора тянется вверх что-то сухое и колючее, а по двору разгуливают цыплята. Бабушка выходит из дому с решетом и сыпет цыплятам зерно. Руки у нее морщинистые, ревматичные, суставы разбухли — так и кажется, что они сейчас лопнут и брызнет солоноватая жидкость. Однако бабушкины пальцы никогда не дрожат.

* * *

— В Буэнос-Айресе расцвели олеандры. И апельсины в парке. А мой кот сбежал, представляешь? Вот дурачок, мы же его кастрировали.

Павла кривит губы — то ли смеется, то ли плачет. У нее всегда непонятно.

— Ты скоро вернешься в город? Чарли и Мэт выходят завтра на яхте. Они и меня приглашали, но как-то неудобно.

Еще бы. Моей невесте неудобно принять приглашение двух придурков-яппи. Я бы и сам не принял на ее месте. Хотя…

— Езжай. Ты же знаешь — я ведь могу и не выздороветь. А ты развлекайся.

Губы кривятся, кривятся, дрожат. Нет, все-таки плачет.

— Марк, долго еще вы собираетесь валяться в постели?

Мой психотерапевт, доктор Перейра, излучает грубоватое добродушие. Это его метод. Больному не следует давать поблажек. Ладно, он хотя бы не кормит меня галопиредолом и

аминозином, как предыдущая парочка.

— Марк, вы совершенно здоровы. Какого черта вы сидите в этой собачьей будке и пялитесь в экран?

Назвать мою спальню собачьей будкой — это в стиле доктора Перейры.

— Ваша мать мне всю плешь проела. А что я могу ей ответить? Что вам угодно разыгрывать душевнобольного?

Я подношу руку к глазам. Синие веточки сосудов тянутся сквозь красное и блестящее, неприятно пульсируя. Не знаю, что там видит доктор Перейра, но я вижу совершенно отчетливо — кожа на руке содрана. В зеркало и смотреться не стоит.

— Вы нормальны, Марк. Перестаньте вы пялиться на свою пятерню, о Господи! Если бы я уделял столько внимания своей персоне, то наверняка бы тронулся.

Может, кому-то такая терапия и помогает. Но не мне. Вдобавок, слова его доносятся сквозь привычную ватную стену. Это от боли. Стоять я вообще не могу, лежать — с трудом, а обычно пребываю в идиотской застывшей позе — приподнявшись над кроватью и опираясь на локти, чтобы как можно меньше касаться простыни оголенным мясом. Так я и провожу дни.

Утром надо мной как солнце всплывает одутловатое лицо Каролины. Мать ее была индианка. У Каролины толстый нос, весь в черных точках и капельках пота. Глаза ее темны, а кожа матово-смуглая, нездоровая — видимо, от недостатка воздуха. Она моя сиделка и вынуждена проводить дни в закрытом помещении. Я даже окна открывать не позволяю. Что, если влетит оса и вопьется в меня жалом? Страшно и подумать.

Каролина привычно-рассеянно улыбается и вносит таз для умывания. Таз старый, медный. Через руку Каролины перекинуто чистое вафельное полотенце. Каролина усаживается в кресло рядом с моей кроватью. Даже это кресло, основательное, обитое кожей — его купил еще прадедушка, когда обставлял асиенду — даже оно крякает под немалым весом Каролины. Сиделка осторожно обмакивает полотенце в воду и проводит им по моему лицу. Она морщится от жалости, прикусывает губу. На белой ткани остаются кровавые пятна.

— Вам не больно, сеньор?

Я пытаюсь улыбнуться. Жутковато, наверное, это выглядит — оскал ободранных губ. Но Каролина — девушка мужественная. Она продолжает умывание. Обычное утро обычного дня. Умыв меня, Каролина встает и, покачивая бедрами, уходит из комнаты. Вода в тазу поплескивает и под лампами дневного света кажется почему-то лиловой. Через пять минут (ровно! ровно через пять! —

я от нечего делать не раз проверял время по настенным часам, висящим над экраном) Каролина вкатит в комнату тележку с завтраком.

— То, что ты можешь есть тосты и переносишь этот уродский свет — и как ты не ослеп еще, не понимаю — доказывает, что ничего с тобой не случилось. Ты что, блин, «Ганнибала» не смотрел? Помнишь, там с чувака шкуру содрали — так он вечно в темноте ныкался, сосал какую-то бурду из трубок. А ты тосты жрешь. И на лампочки тысячеваттные пялишься. Симулянтище ты, Марк.

Владек, как всегда, экспрессивен. Как и положено русским. Хотя он, кажется, поляк. Экспрессивен и при этом рационален. Юридическая школа, Гарвард. Закончит и будет работать на правительство.

— Угощайся, Владек. Хорошие тосты.

Он плюет и шумно уносится из комнаты.

— Зря вы с ним так, — вздыхает Каролина. — Он добрый, хотя и грубый.

Так и хочется спросить, успел ли мой друг ее потискать где-нибудь в темном уголке. Впрочем, это вряд ли. Толстушки не в его вкусе.

— Ах, Каролина, — говорю, — одна ты мне верна.

Она нерешительно улыбается. Пытается понять, что значит «верна». Бабушка в зарослях чаппараля грозит узловатым пальцем: нечего, мол, смущать невинную девушку.

— Возможно, это какая-то форма социального протеста. Или мальчик просто пытается привлечь к себе внимание. Вероятно, в детстве ему недоставало ласки…

Грубый смех доктора Перейры обрывает блеянье доморощенного светила. Третий участник врачебного диспута — моя мать — сердито смотрит с экрана. Она мало говорит, но много курит. Незаметно, чтобы ей хотелось возместить недоданные мне в детстве ласки. На меня внимания не обращают. Перейра неистовствует:

— Да вы посмотрите на этого мальчика! Двадцатилетний оболтус! Скажите просто, что ему лень учиться и вообще лень что-либо с собой делать. Ох уж эта золотая молодежь…

Он говорит с горячностью предводителя инстургентов и брызжет слюной в лицо доморощенной знаменитости. Знаменитость ежится и украдкой вытирает брызги носовым платком.

* * *

Сегодня Каролина еще более грустна и кротка, чем обычно. Она обмывает мне лоб, старательно посапывая (застарелый тонзиллит, не иначе). Глаза у нее красные.

— Что случилось, Каролина?

Она не отвечает, и я мягко беру ее за руку. Девушка испуганно охает:

— Вам же больно!

— Ничего, я потерплю. Что у тебя стряслось?

Каролина вздыхает, и ее большая грудь при этом вздымается и опадает, как беременная китом волна.

— Бусы рассыпались.

Губы у нее дрожат — вот сейчас заплачет. Я на мгновение представил себе эти бусы. Наверняка какие-нибудь глупые кораллы или ракушки, которые всучил ей рыбак с Южного берега в обмен на ночь в лодочном сарае.

— Они были жемчужные. Мама подарила мне, когда я пошла на первое причастие.

Все оказалось так невинно. Только приглядевшись, я заметил на скуле Каролины старательно запудренный синяк.

— Как же они рассыпались?

— Нитка порвалась. Я собрала кое-что, но много укатилось в щели.

Из деликатности я не стал спрашивать, кто порвал нитку.

— Не плачь, Каролина. Пойди, сделай себе кофе и вот, вытри нос.

Я протягиваю ей носовой платок. Платок почти чистый, я только однажды промакнул им лоб. Каролина мнет платок в руке, с благодарностью улыбается и громко сморкается. Нет, я ошибался — она тоже не видит.

Павла позвонила вечером. Долго что-то бормотала, мялась — так на нее непохоже. А потом выпалила:

— Марк, извини, но Владек сделал мне предложение. Мы поженимся после его выпускных экзаменов.

Я улыбаюсь. Бог мой, как жаль, что она не видит всей красной, блестящей сути этой улыбки.

— Счастливого медового месяца. Владек будет отличным мужем.

Думаю, что бы еще сказать. Говорю:

— Как твой кот, кстати? Не вернулся?

Павла мгновение хмурится, вспоминая, потом радостно смеется:

— Представляешь, вернулся. Весь в соплях. Ветеринар сделал анализы и определил, что у него аллергия на цветущие цитрусовые.

Бабушка на птичьем дворе неодобрительно поджимает губы и качает головой. Хорошо, что мы не выбрали Павлу.

* * *

Каролина больше не носит медный таз. С таким животом, как у нее, это просто опасно. Она вкатывает его на тележке. Каждое утро, открывая дверь своим ключом, она проходит в ванную, моет руки, переодевается в рабочий халат и выкатывает тележку. Рядом с тазом лежит горка чистых вафельных полотенец.

— Патрик хочет, чтобы я поехала с ним на лето в Европу. Ты не будешь слишком скучать? Каролина о тебе позаботиться. Я договорилась с ней. Она будет получать сверхурочные и сможет оставаться на ночь. Если тебе что-нибудь понадобиться, ты знаешь мой телефон.

У мамы-в-экране грустный голос. Она постарела, и, кажется, восе не хочет никуда ехать со своим Патриком. И все же она ждет моего ответа, напряженно всматривается воспаленными глазами в свою половинку экрана.

— Конечно, мама, поезжай.

Кажется, после моих слов она почувствовала облегчение.

* * *

— Белый ферзь идет на A5.

Доктор Перейра передвигает фигуру за меня и задумчиво чешет затылок. Я загнал его в угол. Ему нужно минут пять, чтобы просчитать все варианты и уронить на доску черного короля. Фигурка падает со стуком и скатывается на пол.

— Знаешь, ты неплохо устроился, — говорит Перейра, откидываясь в дедушкином кресле. — В конечном счете, может, ты и прав. К чему вся эта суета…

Он неопределенно машет рукой в сторону зашторенного окна.

— За исключением твоей акробатической позы, все не так уж и глупо.

С кончика его носа срывается капля пота и — шмяк — падает на подлокотник.

— Но у тебя чертовски жарко. Можно включить кондиционер?

Он ищет пульт, не находит и идет к кондиционеру, проходит сквозь стену, и исчезает.

Каролина протирает мне лоб вафельным полотенцем.

— Смотрите, сегодня крови как будто поменьше. Вы идете на поправку.

Я не могу понять, чего больше в ее улыбке — глупости или фальши. Под сердцем ее ворочается не мой ребенок.

— Каролина, — говорю я, — я купил тебе бусы. Посмотри там, на тумбочке.

Каролина тщательно складывает полотенце и только потом исследует тумбочку. Она находит бусы, она берет их, она их примеряет.

— Спасибо, сеньор Лагоса.

Как жаль, что в комнате нет зеркал.

— Спасибо, они точь в точь такие же, как те, что рассыпались.

Она поворачивается так и эдак, сожалея, что я такой странный, и не держу в спальне зеркала.

— Ты можешь сегодня не оставаться на ночь.

Каролина кивает, как мне кажется, радостно и поспешно.

Сегодня деревенская бабушка занята. Она ходит по двору и собирает цыплячий пух. Иногда попадаются и перья, ведь цыплята уже подросли. Лучше всего, когда перья выдраны с кусочками кожи в какой-нибудь петушиной драке. Обрывки ссохлась, но их легко размочить. К утру наберется достаточно. Бабушка размочит эти клочки, и перья, и пух, и сошьет мне новую кожу.

Принцесса Мечей

Символизирует бунт, при гадании обычно советует взбунтоваться, пойти на конфликт, потому что это единственный способ привести свою жизнь в порядок.

В неблагоприятном окружении может предупреждать, что зреет бунт против вас. Впрочем, как правило, тоже очень освежающий.

Если карта указывает на живую девушку, у нее будет жизнерадостный, агрессивный, трезвый, весьма прагматичный ум в сочетании с деликатностью и вниманием к мелочам. В ней удивительным образом сочетаются практическая сметка и мудрость — не житейская, а настоящая. Ссориться с нею опасно, потому что в ее арсенале немало интересного оружия. От дипломатического умения ловко подтасовать факты в свою пользу до способности искусно раздуть скандал на пустом месте. Строго говоря, Принцесса Мечей прекрасна именно в битве с остальным человечеством, поскольку словно бы специально для этого создана.

Но главная формула ее силы звучит так: **хочешь быть счастливым — будь**. Это в ее случае не просто слова. Принцесса Мечей властна над своим (и чужим, но это менее удивительно) настроением. То есть, действительно способна изменить его по собственному желанию, буквально за несколько секунд.

Марат Марцион
После

Ревет труба, и мы встаем и движемся на свет.

Мы движемся на свет и всполохи и слышим пение арф и скрежет зубовный, зовущие нас из-за горизонта; и мы слышим их попеременно, и к этому невозможно привыкнуть. Но мы все же привыкаем.

И хотя нас тысячи и тысячи, когда мы идем, всем хватает места, а когда кто-то останавливается, его никто не толкает в спину. Мы редко останавливаемся — ведь теперь никто не чувствует усталости. Однако мы можем испытывать любопытство — и поэтому я порой прислушиваюсь, о чем говорят идущие.

Мы немного беспокоимся, говорят одни, мы сделали столько ошибок. Но все же нам, должно быть, простят наши грехи — ведь мы хотели только хорошего.

Нас перестанет мучить неизвестность, говорят другие, к добру ли, к худу, но теперь — уже скоро — мы наконец-то все узнаем.

Теперь-то все они узнают истинное положение вещей, говорят третьи, возможно, их не будут карать слишком строго, но они поймут, что мы были правы, а они ошибались.

Я не говорю ни с первыми, ни со вторыми, ни с третьими. И я иду в стороне от всех, иду один.

Я иду один, но в конце концов нахожу ее, хотя точно не знаю, искал ли — и я собираюсь сказать ей об этом, но не успеваю, потому что она говорит, не сбавляя шага и не глядя на меня: я тоже не уверена, что хотела видеть тебя, Жиль.

Я не спрашиваю ее, откуда она знает обо всем; ведь я и сам видел руины того, за что сражался, а потом и руины того, что мне самому не удалось разрушить. Видел уже после виселицы и костра — я, как и многие, коротал века ожидания, используя безумного Агасфера, глазами которого безмолвно смотрят мертвые. Но возможно, у Жанны был, как всегда, другой путь —

не она ли смотрела на меня из глаз всех этих детей?

И мы молча идем рядом.

А пока мы идем, земля, кажется, горит под ногами, и порой по ее поверхности пробегают всполохи, выжигая жухлую коричневую траву, а порой из глубин вырываются столбы пламени, пожирающие высокие деревья, но мы не чувствуем ни страха, ни жара.

Почему вы шли за мной, Жиль? — спрашивает она. Зачем вы убивали во имя мое и во славу мою, почему из любви ко мне вы навлекали на себя проклятья и ненависть? Зачем ты убивал детей, Жиль?

Я могу сказать, что я не убивал их — но это все же будет ложью. Я могу сказать, что хотел их спасти, но в этом не будет ни малейшего смысла. Я уже возвел на себя столько, что можно было бы казнить десять тысяч человек. Больше всего я хотел вернуть Жанну, а остальное тонуло в моем помутившемся рассудке; но об этом — как мне сказать ей?

Как мне сказать, что она была, и даже сейчас остается — свет неземной для тех, кто следует за ней, сияние ослепляющее и яростное в минуты перед битвой, невидимое сияние, умиротворяющее и чистое, когда битва позади? Как мне сказать: Жанна, рядом с тобой мы все были убеждены, что тебя коснулась рука Господа, но после мало кто не задумывался о том, кого еще называли Несущим Свет.

И я молчу, и мы идем.

Пока мы идем, мы проходим через брошенные города, и дома вокруг словно плывут в дымке, колеблются в слепящем мареве, хотя на небе нет больше солнца, а потом иногда налетает ветер; и ставшие невероятно хрупкими дома сметает и превращает в пыль, оседающую нам под ноги, но мы не чувствуем сожаления.

Я больше не хочу знать, чьи голоса говорили со мной, говорит Жанна спокойно, я запуталась еще до того, как сожгли мой разум, а затем и мое тело. Чей это был шепот, что я слышала, когда меня бросали в клетку, переломав мне пальцы и заставив задыхаться и плакать от боли? Кто говорил мне: ты должна быть сильной, Жанна, — святые или демоны, или иезуиты, не

желающие, чтобы я раскаялась? Кто запретил мне читать Pater noster, пока меня не допустят до исповеди? Я не хочу этого знать, Жиль.

Я оборачиваюсь и вижу людей, бесшумно следующих за нами — и я не могу сказать, десятки их или тысячи, потому что здесь и сейчас нет уже чисел, но я знаю, что они действительно следуют за Жанной — потому что здесь и сейчас всем дается возможность оказаться с теми, с кем следует быть.

Вот она, моя армия, говорит Жанна, блаженные и проклятые, прекрасные и прокаженные, одинокие сердца, не ищущие ничего там, за горизонтом, и сердца любящие, больше всего боящиеся, что их снова разлучат. Они не знают, кто они — и не хотят узнавать. Они идут за мной не потому, что любят меня, и не потому, что верят в успех; и сама я теперь не хочу олицетворять чью-то веру — но я нужна им, и я должна им помочь.

Так мы идем и проходим места, где снует саранча, наследующая землю, и она жужжит и скрипит крыльями, и садится в каждый оставленный на выгоревшей почве след, и запутывается в волосах, и, поднявшись роем, застилает все вокруг, но мы не чувствуем ни брезгливости, ни злости.

Я вижу впереди холм, а на его вершине полощется знамя, и ветер не превращает его в пыль, и огонь разве что совсем немного опалил его края, и саранча не приблизилась к нему.

Это все еще мое знамя, говорит Жанна, и я все еще люблю его, но не хочу нести — как не хочу держать и меч. Ты пойдешь со мной, ты возьмешь мое знамя, Жиль?

Я пойду за тобой, говорю я, но не знаменосцем; пусть им будет тот несчастный мальчик, слишком преданный своему учителю, пусть он выбросит наконец эту проклятую веревку с петлей; а я больше не люблю знамен, да и битвы, кажется, не будет — если ты позволишь, я просто пойду за тобой, Жанна.

И мы доходим до места, где знамя, вонзенное в дымящуюся землю, колотится на ветру, и Жанна останавливается и поворачивается к шедшим за ней.

Мы свернем, мы не пойдем туда, куда идут остальные, говорит Жанна, мы попытаемся не попасть на суд, а если все же

любые дороги приведут нас к нему — мы скажем, что не хотим суда. Мы скажем, что не хотим ни ада, ни рая, ни новой жизни, ни повторения жизни старой, если это будет зависеть от того, что мы делали, направляемые верой и любовью.

И мы идем, а над нами пролетают ангелы, молча указующие путь остальным; их лица спокойны и строги, и холодны; и они именно такие, какими представлял себе их каждый из нас, но в тысячу раз прекраснее; но мы не испытываем ни восхищения, ни трепета.

Мы чувствуем горечь.

Рыцарь Дисков

Обещает много трудов, но и сулит большие успехи — как правило, в денежных делах, в сфере недвижимости и т. п.

В неблагоприятном окружении, напротив, символизирует участь батрака: трудов много, а прибыли никакой.

Как и прочие Рыцари, может просто обещать дружбу и покровительство человека, который, вне зависимости от состояния собственных дел, всяко богаче вас. Впрочем речь может идти и о мелком землевладельце, например, обладателе садового участка — Диски курируют денежные дела, недвижимость, строительство и все в таком роде.

Рыцарь Дисков трудолюбив и, как правило, твердо стоит на ногах, но этим его достоинства обычно ограничиваются. Он обладает малоприятным характером: тяжеловесен, вечно чем-то озабочен, ограничен, зачастую просто туп.

А при самых благоприятных раскладах эта карта обещает чудесные вещи, которые начинаются с прикосновения к материи — гениальных массажистов, способных разминая тело исцелить ум, мастеров хатха-йоги, великих скульпторов, поваров-диетологов и все в таком роде.

Ольга Лукас
Золушка на балу

По утрам Золушка всегда сидит на кухне, закинув ногу на ногу, пьёт кофе и листает свежую газету. Мачеха и её дочери уже проснулись и вот-вот спустятся к завтраку. Слышно, как они мечутся в своих комнатах в поисках платьев, чулок и шпилек.

«В следующую пятницу, — гласит объявление на последней странице газеты, — Во дворце состоится бал! Все самые мегапафосные перцы и гипергламурные кисы уже побежали в солярий и спортзал, чтобы быть на этом балу самыми-самыми. У вас ещё есть шанс не пропустить лучший бал года!»

Золушка не хочет пропустить лучший бал года. У неё вообще-то почти нет недостатков, но бедняжка патологически верит всему, о чём пишут в газетах.

Когда вся семья, наконец, усаживается за стол, Золушка, как бы невзначай, заводит разговор о свежих придворных сплетнях.

— Говорят, что принцу пора жениться, а его последняя пассия оказалась переодетым шпионом из Розастана, — говорит она, — Так что скоро во дворце, наверное, состоится какой-нибудь бал.

Отец отрывается от газеты и велит дочери пореже смотреть телевизор, но сёстры уже попались на крючок. Быстро прожевав булочки, они разбегаются по дому: звонят по телефону, залезают в интернет, перелистывают свежие журналы и, наконец, приносят на кухню радостную новость: бал состоится во дворце в следующую пятницу. Пора бежать в солярий и спортзал!

— Ах, милые сестрички, как бы я хотела поехать с вами! — говорит Золушка.

— Ты ещё несовершеннолетняя! — грозит пальцем старшая сестра.

— Фигу тебе! — добавляет средняя.

— Да не вопрос! — отвечает мачеха и её дочки тут же замолкают, — Конечно, Золушка, ты поедешь с нами на бал. Не такая уж ты и несовершеннолетняя, да и места в карете хватит на всех.

— В самом деле? — сияет Золушка.

— Да, милочка, — кивает мачеха, — Потому что на балу у нас будет очень много дел, и никто другой с ними не справится так хорошо, как ты. Надо будет перетереть с королевским садовником о поставке наших роз ко двору. Найти посла Розастана и предложить ему использовать наш летний домик в

качестве резиденции. Договориться с главным дворцовым поваром о том, что он пришлёт нам пару стряпух на день летнего солнцестояния. Кроме того, надо…

Словом, на бал Золушку взяли, но она уже сама была этому не рада. Под конец, когда карета уже была готова отправиться в путь, прилетела фея-крёстная и попросила Золушку выхлопотать у короля таможенные привилегии на поставку карет в Розастан.

— Я же всё-таки твоя крёстная, — шептала фея, — Помнишь, какую умную крысу я подарила тебе на именины, когда тебе исполнилось десять лет?

Золушка помнит. По ночам крыса превращалась в учителя математики и заставляла бедную девочку решать задачки и примеры.

Королевский дворец сиял, как хрустальная ваза, наполненная светлячками. Разодетые кисы и самоуверенные перцы лорнировали публику. Принц скромно сидел в углу и угощался шампанским.

— Спорим, принц обратит внимание на меня? — сказала старшая сестра и встала на голову.

— Нет, на меня! Фигу тебе! — отвечала средняя и, выхватив бокал из рук первой попавшейся кисы, побежала к принцу.

— Ну, развлекайтесь, девочки, — улыбнулась мачеха, взяла мужа под руку и потащила его в главную бальную залу, слушать самый модный в этом сезоне Оркестр ползающих гитаристов.

На балу все веселились, в меру сил и здоровья, и одна только бедная Золушка носилась по королевскому дворцу, как угорелая, договариваясь, втюхивая и навязывая.

— А не выпить ли нам шампанского? — спросил у Золушки принц, — Я вижу отличный повод — мы с вами ещё не знакомы.

— Извините, — отвечала она, — У меня здесь дела.

Посол Розастана, бывший чемпион по бегу на короткие дистанции, дольше всех не поддавался на уговоры, хотя летний домик был со всеми удобствами и почти что новый, в погоне за неуловимым бегуном девушка даже потеряла свою хрустальную туфельку.

— А не выпить ли нам шампанского? — остановил её принц, — Я вижу отличный повод — из такого бокала я ещё не пил!

— Это моя туфелька, идиот! — разозлилась Золушка, выхватывая туфельку из рук обалдевшего наследника престола.

Ближе к утру Золушка сидела на холодных мраморных ступеньках, около главной бальной залы, и нервно курила: она, кажется, сделала всё, что ей велели. Или не всё?

— Можно составить вам компанию? — спросил её скромный

человечек в зелёном бархатном костюме, и не дожидаясь приглашения, плюхнулся рядом, — Вижу, вам не очень-то и понравилось на нашем балу.

— Ну, как сказать? — задумалась Золушка, — Я ожидала совсем другого. И, честно говоря, мне так и не удалось повеселиться.

— Вас кто-то обидел?

— Да нет, всё дела, дела, дела. Ни минуты свободного времени!

— Вы что же, новая шпионка из Розастана? — подозрительно спросил человечек.

— Да нет, я местная. Мачеха велела мне разрулить все её проблемы, а потом ещё фея-крёстная пристала со своими нерастаможенными каретами.

В этот момент старшая и средняя сёстры протащили бесчувственное тело принца в какую-то неприметную каморку: видимо, решили воспользоваться моментом.

— Фу, какая гадость! — воскликнула Золушка, — Вот уж никогда бы не подумала, что принц такой мерзкий. В газетах о нём всегда так хорошо пишут!

— Хорошо заплатишь — хорошо напишут, — загадочно отвечал человечек в зелёном, — По началу я тоже так реагировал на всю эту бальную суету, а потом привык.

— Кто же вы?

— Я — распорядитель дворцовых церемоний. Тот, кто работает, покуда все веселятся и тот, кто остаётся трезвым, когда все вокруг уже пьяные.

— Как же я вас люблю за это! — воскликнула Золушка, падая в его объятия, — Будьте моим принцем!

Королева Дисков

Эта карта описывает чрезвычайно интересную ситуацию. Человек пересек бесплодную пустыню, чуть живой добрался до оазиса, оглянулся и увидел, что из его следов уже пробиваются древесные ростки.

То есть Королева Дисков дает силы изменить даже ту реальность, которая не любит, не понимает и не принимает вас.

В человеческом теле Королева Дисков может оказаться уравновешенной, великодушной, спокойной женщиной, которая, чем бы не занималась, непременно приносит пользу окружающим (и себе заодно). Ее инстинкты и интуиция безупречны даже)или особенно?) в тех случаях, когда ум не слишком развит.

В скверном окружении она может оказаться скучной домохозяйкой, давно махнувшей рукой на все, кроме состояния дел на собственной кухне. Или жирной пьянчужкой, давным-давно рассорившейся со своим телом. Или просто женщиной, запустившей себя из подсознательного страха быть красивой (так, будете смеяться, довольно часто бывает).

Вообще, появление в раскладе Королевы Дисков всегда (или почти) следует расценивать, кроме всего, как совет привести свое тело в порядок — подлечить его, потренировать, посадить на нужную диету.

Динни Аксельрод
Весна

Разумеется, речь может идти и просто о встрече с очень зажиточной дамой. Но так, по моим наблюдениям, случается довольно редко.

Выйдешь ли из дома, тронешь ли ветку — лавр зацвел — и не поймешь, мир изменился, или ты. На ум приходят затертые, затасканные сравнения: промытое стекло, повернутый вправо до упора регулятор яркости; а что еще скажешь, когда чувствуешь себя окном после пасхальной уборки? Прозрачным окном, в которое легко войти, не заметив стекла. Посмотри сквозь себя, попробуй, пока можно.

Видишь зеленые горы вокруг, слишком близкое небо и зелень вместо привычного сухого рыжего золота. В Иудее весна.

В этом году возле дома неожиданно появились цветы. Вешаешь белье осторожно, пытаешься обходить, шикаешь на собаку — у зверя не развито чувство прекрасного, он спокойно топчется по растениям. Собака рыжая, а цветы сиреневые, солнечно-желтые, листья зеленые. Протяни руку, дотронься до листьев, до цветов, сравни. Впервые за много-много лет весна пришла к тебе. Вот она, рядом, не протекает сквозь пальцы, не проходит мимо.

Соседские хрустальные колокольцы бешено звенят на ветру. Суббота — тихое время, тише, чем обычно, кажется, будто слышишь, как под ногами похрустывают осколки маски, почти приросшей к лицу — старой некрасивой маски. Страшно быть открытой. Странно, что тебя разглядели под маской. Улыбнешься обновленному отражению. Возможно, оно простит тебя и улыбнется в ответ. Поймешь, что от себя уже не отстраниться. Страшно, страшно выходить в мир открытой. От страха слегка закладывает уши, как в спускающемся скоростном лифте.

Не забыть бы подмести, вот что.

* * *

Скользишь по конторе тихой тенью: я-могу-вам-чем-нибудь-помочь? Киваешь вежливо: да-я-понимаю-извините-нас, она-сейчас-очень-загружена-простите-пожалуйста, помогаешь перевести письмо-счет-список-документов-которые-нужно-принести, "вы не пили с утра, я принесла кофе", на каждое

"спасибо, вы мне очень помогаете" — "я рада помогать", с мягкой улыбкой.

Отвечаешь на звонки, обещаешь быстрый ответ; вклиниваешься в паузы, добываешь этот самый ответ, перезваниваешь. Время движется с разной скоростью, его всегда слишком много в середине рабочего дня и обязательно не хватает в конце.

Не забыть бы выкинуть весы, когда придешь домой.

* * *

Выходишь, с головой окунаешься в вечер, пьешь запах акаций, такой же сладкий, как в детстве. Заново учишься ходить быстро, как бы роняя себя вперед, нестись сквозь вечер, скользить по городу. Вспоминаешь, как это — чувствовать удовольствие от движения, от улиц, от одиночества, или от близости случайного спутника.

Вспомнаешь себя.

Принц Дисков

Этот добрый юноша приходит, чтобы сообщить вам, что процесс, в котором вы задействованы, идет сам по себе, контроля не требует. Можно (и даже нужно) расслабиться.

Даже в самом скверном раскладе Принц Дисков обещает, что все в любом случае завершится благополучно; разве что, не так быстро, как хотелось бы.

Еще этот милый мальчик почему-то отвечает за "проникновения в иные миры" — ни много, ни мало. Хоть стой, хоть падай.

В человеческом облике Принц Дисков может иметь только один недостаток: он трудоголик, обычно чрезвычайно увлеченный своим делом. Все остальное — сплошь достоинства. На него можно (и нужно) положиться в любом деле. Он может практически все, поскольку обладает удивительным умением (и даже потребностью) упорядочивать мир — как администратор, или как архитектор, все едино.

Иван Матвеев
Острова

Океан огромен. С высоты птичьего полета — ослепительная игра отблесков солнца. Горизонт становится округлым, а внизу виден архипелаг островов, беспорядочно раскиданных в серебре. Атоллы, поросшие мангром, пальмами, гибискусом и хлебным деревом, сонные лагуны, пляжи тончайшего белого песка. Это потомки вулканов и гор, покрытые буйными джунглями, с водопадами и прохладными пещерами. А то и совершенно обычные буковые рощи и безмятежные речушки под полуденным солнцем.

Над океаном и островами — лазурная бесконечность.

А вон там, далеко, маленький белый треугольник.

Парус.

* * *

Пристань, наверное, была построена не меньше века назад. Темный дощатый наст и кнехты. На воде покачивались лодки, баркасы, и прочие водоплавающие конструкции. А вокруг, естественно, был натуральный муравейник.

Солнце палило вовсю.

— Флейтист, — сказал я, — Может, нам пора карту купить? Мне надоело, что я понятия не имею, где мы.

Мой приятель традиционно промолчал. В молчании он достиг невероятного совершенства. Он им разговаривает.

— По-моему, это Полинезия, — продолжил я, вглядываясь в местных, — А может, Занзибар.

— …givim mi em baklaim!…huk! — долетело до меня. На берегу несколько парней грузили рыбу.

— Пиджин, — констатировал я. Это значило, что мы можем быть, где угодно. Поднявшись на ноги, я спрыгнул с палубы “Тикки” и с удовольствием потоптался по пирсу. Зеленый борт “Тикки” мерно качался в такт прибою. Ветер на мгновение поменялся, и с берега пахнуло кофе. Флейтист сидел на борту, и меланхолично смотрел на мои упражнения.

— Здесь мы кого-нибудь точно найдем, — сказал я ему. — Местечко заброшенное, но оживленное. Я пойду прогуляюсь, а ты присмотри за “Тикки”.

Не дожидаясь ответа (которого и не последовало), я сошел на

берег.

Темнокожие парни все еще возились с рыбой. Неподалеку ругались из-за порвавшегося мешка с рисом.

— Mi laikim baiim bensin bilong mipela sip, — раздельно сказал я, доброжелательно улыбнувшись. Первое правило: в незнакомых местах улыбайся доброжелательно. Но не как идиот — турист.

— Lao unai, — махнул рукой один из них, самый толстый, с волосами, убранными в хвост. Это было уже на моту, а не на меланезийском пиджине. Что здесь за Вавилон?

— Tenkyu, — сказал я. Моту я не знал. Я и пиджина не знал, но тут было проще: коверкай себе английский, да прибавляй суффикс “pela”, где ни попадя. Смысл нашего диалога состоял в следующем: я спросил, где тут можно купить бензин, а мне ответили что-то вроде “иди туда”.

Посмотрев “туда”, я увидел небольшое строение, возвышающееся над берегом, и когда-то выкрашенное в белый цвет.

Я поднялся по склону, и с удовольствием зашел в прохладу помещения. Внутри крутился вентилятор, разгоняя ленивый тропический воздух, а на стенах были полки, забитые всякой всячиной. За подобием стойки сидел смуглый человек с усиками, и в огромной шляпе, сдвинутой на лоб. Судя по его безмятежности, у парня была сиеста.

— Mi laikim… — начал я, но меня тут же прервали:

— Hola, senor, — сказал продавец, — Вы явно не местный, чего зря слова коверкать.

— Отлично, — ответил я, — А бензин у вас есть? Мне бы литров сто, долить бак.

— Тридцатифутовый кораблик, — предположил продавец. Я кивнул. Он заулыбался, довольный собой.

— Бензин есть. Вы надолго? У нас тут отель поблизости. Правда, небольшой…

— Ого, — вежливо сказал я, — Да нет, я так заглянул. По пути.

Внезапно дверь за моей спиной распахнулась.

— Диего, это уже неделя…!!!!

Я обернулся. В дверном проеме стояла девушка с выгоревшими на солнце короткими волосами, в светло-коричневой рубашке, и таких же шортах. Ее глаза метали черные молнии. Впрочем, как только она увидела, что в магазине есть еще кто-то, кроме продавца, молнии сразу пропали. Она вскинула брови:

— Это кто?

— Правда, она вежливая? — ехидно пустил шпильку Диего.

— С тобой разговор особый, — резко сказала гостья, — Из-за тебя я сижу тут уже неделю.

— У этого человека есть корабль, между прочим, — сказал Диего, подмигивая мне, — Познакомьтесь, senor, это Мирель.

— Правда? — растерянно сказала Мирель, — У вас есть корабль?

— Маленькая яхта, — ответил я, — “Тикки”. А меня зовут Ру.

— Очень приятно. Покажите мне ваш корабль! — в ее голосе были одновременно и требовательные, и просящие нотки.

— Я подойду через полчаса, принесу канистры, — заверил меня Диего, — Что-нибудь еще?

— Литров пять спирта для горелки, — подумав, сказал я.

— Si. Мирель, я тебе уже не раз говорил: это не я отвечаю за катера. Всем заправляет Эстебан. Тебе лучше уговорить senor Ру.

— Знаю-знаю, — пробормотала она, хватая меня под руку, и чуть ли не силой выводя наружу. Я зажмурился, вновь окунаясь в яркий солнечный день.

— Он сейчас еще и комиссионные потребует, — продолжила Мирель, спускаясь к пристани. Я улыбнулся. Похоже, это то самое, что мы искали. Чутье меня не подвело.

* * *

Мирель прошлась вдоль “Тикки”, потрогала нагревшуюся на солнце обшивку, потом залезла на палубу.

— Хороший корабль, — серьезно сказала она.

— А вы разбираетесь?

— Нет, — призналась Мирель. — Просто, от него исходит какая-то надежность. Вы один путешествуете?

— У меня есть партнер. Эй, Флейтист, где тебя носит? У нас гости.

— Флейтист? — удивилась она.

— Это долгая история, — сказал я, — И сам он ее рассказывать не станет. Он неразговорчив.

Из каюты, зевая, показался Флейтист. Мирель так и подскочила:

— Мышь! Смотрите, мышь!

— Флейтист, это Мирель, — я произнес это чуть церемоннее, чем следовало бы. Она косо на меня посмотрела:

— Мышь? Флейтист? Ру, вы оригинал.

Прозвучало это, как обвинение в том, что я сбрендил. Флейтист посмотрел на меня примерно с таким же выражением.

Ему, похоже, не пришлась по вкусу идея женщины на корабле. Нельзя его обвинять: примета-то старая.

— Так зачем вам корабль? — поинтересовался я, переводя тему.

— Ох. Сразу и не расскажешь.

Она присела на теплую палубу, и начала:

— Понимаете, мне очень надо попасть на один остров. Милях в шестистах к югу от островов Феникс. Он необитаем. Я работаю в одной газете в Париже, и мне в руки попался потрясающий материал. То есть, он может оказаться потрясающим. Там видели что-то вроде руин в одной из пещер. Островок — сплошная скала…Я сюда и отправилась. Это самое близкое к тому острову место, где есть аэродром. Дыра дырой…Гидроплана у них тут нет. Я думала, что возьму здесь катер, но почему-то все отказывались, либо просили бешеные деньги. Диего обещал помочь, и вот до сегодяшнего дня ничего не подворачивалось.

— А кто такой Эстебан?

— Местная шишка, — равнодушно ответила Мирель, вытянув одну ногу, — Тут вообще много всяких мигелей-педро. С чего бы, интересно. Так вы мне поможете?

Флейтист сел около мотора, и уставился меня. Ему тоже было интересно.

— Вы ведь сами сюда приехали, вас никто не командировал, — сказал я. И угадал. Она напряглась.

— Какая разница?

— Действительно, никакой, — согласился я, — За исключением того, что вы поставили на эти дурацкие руины слишком много.

— Вы мне поможете? — повторила она жестче, глядя на меня в упор.

— Конечно, помогу, — ответил я. — Более того, практически бесплатно. Когда отчаливаем?

— Минут через двадцать. Я сбегаю за камерой и курткой. А что значит — практически бесплатно?

— У нас кончился кофе, — объяснил я. — И вы отвлекли меня, как раз, когда я собирался его прикупить. С вас килограмм-другой кофе. И все.

Мирель посмотрела на меня округлившимися глазами. Потом черты ее лица смягчились, и она рассмеялась:

— Ру, если бы не Флейтист, я бы решила, что вы какой-нибудь маньяк, который хочет заманить меня в океан. Теперь я понимаю, почему вы партнеры. Но на всякий случай учтите, что у меня четвертый дан. Я сейчас!

Она спрыгнула с палубы на пристань, и побежала по берегу. Я

проводил ее взглядом.

— Настоящая авантюристка, друг мой.

Флейтист фыркнул, и ушел обратно в каюту. Происходящее его раздражало.

Через пару минут подошел Диего и еще пара ребят с канистрами и спиртом. Пока они заливали бензин в бак, Диего, засунув руки в карманы, произнес, глядя в сторону:

— Знаете, amigo, Эстебан не выпускал ее, потому что положил на нее глаз. Метод у него такой. Давить до потери сопротивления. Теперь он может обидеться. Понимаете?

— Спасибо, что сказали, — ответил я, — А кто он вообще?

— А вы не догадались? — ответил он вопросом на вопрос. — Островок у черта на рогах, аэродром, грузы?

— Ах, вот оно что, — сказал я. — Учту. Спасибо, Диего.

— Не за что, amigo.

* * *

У “Тикки” удивительно ровный ход. Мы отшвартовались, и сначала пошли на моторе, но потом поднялся хороший ветер, и я поднял паруса. Мирель, усевшись около мачты, налаживала отношения с Флейтистом.

Прошло около получаса, пока, наконец, ее эйфория не схлынула настолько, чтобы проявилась прагматичность.

Иными словами, она поинтересовалась, куда это мы плывем.

— Ну… — осторожно начал я. Она уже рылась в своей сумке. На свет показалась карта.

— Вот, нам как раз сюда. На карте острова нет, но мне дали примерные координаты.

— Понятно, — сказал я. Карту пришлось забрать, и сделать вид, что я ее тщательно изучаю. На самом-то деле, мы с Флейтистом пользовались исключительно компасом. Ни он, ни я не были сильны в чтении карты. Нам это просто не требовалось. Правильный курс мы чуяли и так.

— При нашей скорости, мы будем там к утру, — сообщил я, наконец. В этом был определенный смысл. Мы делали порядка семи узлов, но вряд ли Мирель собиралась заниматься арифметикой.

— Вот и славно, — сказала она, и разлеглась загорать на носу. Тот факт, что через полчаса парус уже загораживал ей солнце, нисколько ее не потревожил. Я достал карты, и мы с Флейтистом разыграли на корме у руля несколько партий в двадцать одно. В покер ему играть чертовски неудобно, слишком

много манипуляций с картами. Кроме того, бедняга не может сжульничать при всем желании.

Когда дело подошло к вечеру, я сбавил ход, достал спиртовку, и поставил на огонь кофе. С той стороны “Тикки” донеслось какое-то шебуршание, и к нам подошла немного сонная Мирель.

— Пасьянс? — поинтересовалась она, глядя на карты. Флейтист еле слышно фыркнул. Но я чувствовал, что это уже наигранное. Мирель, не дожидаясь ответа, ухватилась за трос-“купальню”, и прыгнула в воду, обдав меня брызгами.

— Вода шикарная! — сообщила она, отфыркиваясь, — Вы там кофе варите, да?

— Ага, — сказал я, — Кстати, может, мы на “ты” перейдем?

— Я уже давно перешла, — сказала Мирель, исчезла под водой, выплыла, и добавила:

— Просто я обращаюсь к тебе и Флейтисту.

Я хмыкнул. Она подтянулась на тросе, влезла обратно на “Тикки”, подхватила полотенце, и спустилась вниз.

Через минуту она вышла наружу, снова в шортах и рубашке:

— Судя по запаху, кофе готов.

Мы разлили дымящийся кофе по кружкам. Багрянец теплого заката на востоке уже уступал место звездам. Мирель скрестила ноги по-турецки, и чистила апельсин.

— Так что это за история? — спросила она вдруг.

— Какая история?

— Про Флейтиста.

— Ах, да, — я покосился на моего приятеля. Тот был само безразличие. Смотрел в сторону заката, и делал вид, что мыслит о высоком.

— Видишь ли, он украл огонь. В свое время.

Мирель подняла бровь.

— Ящерица и Койот увидели в долине огонь в доме собраний, а сходить за ним попросили Флейтиста, — сказал я, — Он сказал “Да”, и пошел. У него было четыре флейты. На двух он играл, когда шел в долину. Потом он увидел спящего Орлана, который загораживал крылом дымовое отверстие. Флейтист срезал парочку перьев, залез внутрь дома, и набил все четыре флейты углями.

Выражение лица Мирель медленно менялось от озадаченного до “ущипните меня, это сон?”

— Орлан проснулся, и отправил за Флейтистом Дождь, Ветер и Град. Град догнал Флейтиста, но тот спрятал флейты под водой, и заявил, что огня не крал, и вообще, с чего бы ему это делать? Град поверил, и ушел восвояси. А Флейтист достал флейты из

воды. Он сказал “Мой огонь со мной”, и пошел домой.

— По пути он встретил Койота, и отправил его вперед, чтобы все заготовили дров. А потом бросил угли из первой флейты, и заиграл. Когда бросил угли из второй флейты, и начал играть, Койот перебил его, а потом попросил играть дальше, но естественный порядок уже был нарушен: те, кто сидели ближе к огню, понимали друг друга, а другие — не очень. Отсюда и непонимание между людьми. Если бы только ему дали доиграть до конца, все было бы проще.

Я отхлебнул кофе из кружки. Флейтист по-прежнему смотрел в сторону заката, но кончики ушей у него дрогнули: он одобрял краткость и в то же время полноту моего пересказа.

Мирель все еще пребывала в озадаченности. Потом ее лицо прояснилось:

— А-а-а! Это ведь миф? Легенда?

— Точно. Это миф индейцев-мивоков Центральной Сьерры.

— Ты знаешь, я поначалу решила, что ты всерьез — сказала Мирель. — Почти купилась.

Судя по движению ушей Флейтиста, он соизволил рассмеяться. Про себя.

— Я самая настоящая мечтательница. Но до тебя мне далеко.

Она покачала головой, и отпила еще кофе.

— Мечты — субстанция тонкая, — заявил я глубокомысленно, — Я считаю себя самым что ни на есть прагматиком. Придерживаюсь той позиции, что в мире есть все, что угодно, и надо только уметь искать.

Мирель рассмеялась:

— Хочется верить, что ты прав. А что, я могу выпить чаю с Мартовским Зайцем, Болванщиком и Соней? Или найти Атлантиду?

— Гм…. Думаю, да. Все в свое время, — я ухмыльнулся, — Ты ведь уже ищешь руины в океане. Это самый правильный подход. Самые лучшие в мире люди не сдаются.

— Ты даже не представляешь, как я хочу их найти. А ты тоже что-то ищешь?

— Самых лучших в мире людей, — заявил я. Мирель покачала головой:

— Ру, ты ненормальный, но я начинаю верить в то, что у тебя в каюте хранятся четыре флейты.

Она думала, все так просто?!

Я спустился вниз, и вернулся с флейтой. Мирель раскрыла рот, потом растерянно засмеялась:

— Корабль сюрпризов.

- “Тикки” именно такая, — кивнул я, и сыграл первые

несколько нот “Лореляй”.

Солнце зашло за горизонт, и на небе замигали южные звезды.

* * *

Утром воздух над океаном особенный. Я бы сказал, он тоже просыпается. Флейтист степенно умывался под мачтой.

— Доброе утро, — сказал я ему, и спрыгнул за борт. Вода была — самое то: бодрящая, и кристально чистая. Мне показалось, что я могу различить дно, хотя глубина была, наверное, километровой.

— Чувствуешь себя дома? — спросил я, ложась на спину.

— О чем это ты? — поинтересовалась Мирель, появляясь на палубе, — Ух ты, какое утро. Как-то я вчера незаметно заснула.

Вчера. Ну да. Я подплыл ближе к “Тикки”.

— Завтракать будем?

— Сначала встанем на якорь. Мы уже почти на месте.

Она кивнула, и начала умываться. Потом, посмотрев на меня, тоже окунулась. Когда мы залезли обратно, я включил мотор. Мирель, оставляя мокрые следы на тиковой палубе, с биноклем в руках ушла на нос.

— Посмотри на юго-восток, — посоветовал я, — Сейчас развернемся.

— Ага, вижу.

Мотор стрекотал почти нежно. Солнце ползло вверх по горизонту, утро было свежим и немного сонным, поэтому мы наслаждались им молча. Мирель сидела на носу, и болтала ногами. Флейтист, закончив утренний туалет, спустился вниз, притащил на корму кусочек шпика, и завтракал.

Наш островок был уже совсем близко. За песчаным пляжем росли робкие пандануса, а в тихую лагуну вполне можно было провести “Тикки”.

— Какое чудо, — сказала Мирель, вставая, — Тут так спокойно…

— И вода тихая-тихая, — добавил я, — Глянь.

Она бросила взгляд на поверхность воды, потом вдруг уставилась туда, как громом пораженная.

А потом вдруг завопила:

— Ру, смотри!!! Смотри!!!

Я посмотрел.

Вода действительно была кристально чистой и прозрачной. Мимо проплыла медуза. Стайка рыб ушла на глубину, испугавшись нашей тени. Дно было очень глубоко, но его можно

было бы увидеть из-за потрясающей прозрачности воды, если бы не руины и останки диковинных строений, частично покрытых кораллом и водорослями.

Это был целый затонувший город.

Под нами медленно проплывали полуразрушенные стены, монолиты и колонны, а впереди был почти целый купол, такой высокий, что до него даже можно было донырнуть.

Похоже, что сам остров был частью этого города. Надводной. Чем дальше от острова, тем ниже по склону подводной горы располагались строения, и тем дальше руины уходили в холодную темную глубину.

— Боже… — Мирель зачарованно смотрела в воду. Потом, словно стряхивая наваждение, подняла голову, повернулась ко мне.

— Я его нашла!

— Ага.

— Мне срочно нужно сделать глупость. Любую. Иначе взорвусь.

— Искупайся в одежде?

Мирель с энтузиазмом кивнула, прыгнула в воду, и поплыла на берег. Там она бросилась на песок, перекатилась на спину, и раскинула руки, уставившись в небо.

Она была счастлива.

* * *

— Самая вкусная рыба, которую я когда-либо ела, — сказала Мирель, — Пальчики оближешь.

— Спасибо, — скромно сказал я, — Кстати, если хочешь, так и сделай.

Она немедленно последовала моему совету.

Утром, после того, как Мирель немного поуспокоилась, она схватила фотоаппарат, и за три часа израсходовала все запасы пленки. На самом острове обнаружились еще руины, пахнущие сухим теплым камнем и древностью. Мы обнаружили совершенно чудесные орнаменты, которые еще не успел сгладить ветер, подивились очень странной архитектуре подводных строений, и нашли еще кое-что…

К ужину я решил спокойно порыбачить, пока она носилась по своему острову, и лазала в обветренных развалинах. Поймать удалось что-то пестрое, что одобрил Флейтист, а он в таких делах не ошибается.

— Чудо какое…

Мирель развернула свою куртку, и в который раз начала крутить в руках статуэтку из зеленого камня. Мы нашли ее в песке, рядом с зарослями около развалин. Статуэтка изображала бегущую девушку, в диковинном, но очень легком на вид наряде.

— Странно, что она так хорошо сохранилась, — задумчиво сказал Мирель.

— Большее чудо, что все под водой не заросло кораллом, — сказал я, — Видимо, материал особый. Может, ты нашла самую настоящую Атлантиду?

— Не знаю, — сказала она, — Меня сейчас настолько распирает от счастья, что я не знаю, куда все это деть. Прямо не лопнуть бы.

— Ты же как-то утром справилась, — улыбнулся я.

— Тут главное — восстановить дыхание, — авторитетно сказала она, безуспешно пытаясь привести в порядок непослушные от соли волосы. — И заняться чем-нибудь. Но до тебя мне далеко. Тебе хватило терпения даже на рыбалку.

— Проведи в компании Флейтиста годик, станешь спокойной, как буддист.

Мирель отщипнула еще кусок рыбы:

— Точно. У него есть, чему поучиться.

Флейтист доел свою порцию, и одобрительно посмотрел на нашу исследовательницу. Похоже, они-таки нашли общий язык. Подул легкий бриз, унося дым нашего костерка вглубь острова.

— Что теперь будешь делать?

Она задумалась. Пошевелила босой ногой ветку, потом вздохнула:

— Отправлю телеграфом сообщение… Вот ведь шум поднимется.

— Ага. Археологи понаедут. Открытие века.

Вдали послышался легкий шум. Я задрал голову. По небу, на приличном расстоянии, двигалась темная точка. Чуть погодя она превратилась в двухмоторный самолет.

— Что это? — удивилась Мирель.

— Р-38 “Лайтнинг”, - сказал я, приглядевшись.

— Здесь уже людно, — огорчилась она.

— Ну…думаю, это совсем другое дело, — улыбнулся я. — А тебе не хочется, чтобы здесь стало людно?

— Не знаю… Кажется, мне от этой мысли становится грустно, — призналась Мирель. — Но сохранить это место в тайне — тоже как-то странно. Кстати, вот там я видела еще один островок. Интересно, что на нем?… Меня так и распирает от желания сообщить всему миру, что я нашла!

— В таком случае, нам пора плыть обратно, — сказал я, —

Опять же, пресная вода может кончиться.

Тут я приврал — в баках еще было литров двести. Мирель тоже это поняла, и подарила мне довольно мрачный взгляд. Но потом со вздохом согласилась:

— Ладно. Только я лягу спать. Не могу дождаться того момента, как начну хвастаться.

— Это я понимаю. Это неоспоримое право каждого первооткрывателя, — согласился я, — А уснуть сможешь?

— Я весь день носилась и радовалась, — усмехнулась она, — Конечно, смогу. А ты как?

— Если что, меня Флейтист подменит.

— Вы оба — чокнутые авантюристы. Но вы мне нравитесь, — резюмировала она, обхватив колени, и глядя на “Тикки”. Я засыпал костер песком. День удался на славу. Мой партнер явно тоже был доволен, что несложно было угадать по его взгляду, и, разумеется, молчанию. Такой подводный город находит не каждый. У Мирель это получилось.

* * *

Еще до полудня “Тикки” подплывала к знакомой пристани. Мирель проснулась поздним утром, и весь остаток пути провела на носовой части. Она явно не была настроена на разговоры. Ни я, ни (тем более) Флейтист не настаивали. Небо затянуло темными тучками. Ветер стал холоднее. Я убрал паруса. “Тикки” легонько стукнулась бортом о причал, я спрыгнул на доски, и быстренько навязал два “штыка” на кнехты.

Мирель неохотно сошла следом за мной.

Флейтист занял излюбленное место на борту.

— Ну что, куда ты теперь?

— Сначала пойду, отправлю сообщение в редакцию, — она посмотрела на берег, потом на меня. Подергала пуговицу на своей рубашке. Потом спросила:

— А можно, мы потом вернемся? На какое-то время. Пока там еще никого нет.

— Конечно. Мы подождем тебя здесь. Управишься с делами до вечера?

— Я быстро!

Ух, и обрадовалась она. Так обрадовалась, что еще с минуту после того, как она убежала, я чувствовал на губах вкус соли. Флейтист закатил глаза, и пошел спать под парусом. Его такие повороты только раздражали. Понятно, Мирель ему тоже пришлась по душе, но его девиз — “держи себя в руках”. Или в

лапах.

Я решил заняться приборкой.

Гвалт на берегу понемногу стихал, люди заканчивали работу. Чаек это не касалось — они продолжали орать. Как следует надраив палубу, я перекусил, и спустился в каюту — вздремнуть.

* * *

Сюрприз!

Меня грубо выволокли из моих снов и из каюты одновременно. В воздухе пахло маслом и угрозой. Маслом несло от оружия, угрозой — от владельцев. Снаружи уже темнело. То ли из-за туч, то ли уже вечер наступил. Солнца видно не было.

Тот, кто выволок меня на палубу, пинком сбросил меня на причал.

Видимо, я дрых так крепко, что меня не разбудил даже звук двигателя списанного патрульного катера. Он качался на воде как раз напротив “Тикки”. На катере, держась за пулемет, скучал худой загорелый бородач в блеклой гавайке.

На причале меня поджидали трое. Щеголеватый смуглый человек, лет тридцати пяти, с окладистой бородкой, в черной рубашке и такого же цвета свободных штанах. Слева под мышкой у него была кобура с хромированным “кольтом” с перламутровыми накладками на рукояти.

Двое других были одеты попроще, их футболки намокли от пота, а в руках они держали автоматы.

И еще рядом стояла Мирель, и здорово нервничала.

— Не жарко в черном? — поинтересовался я у человека с “кольтом”.

Я здорово ударился коленями о доски, и злился. Флейтист тоже хорош: мог бы и предупредить, у него же сон чуткий.

— Ру, — мягко сказал человек, — Мне нужны координаты острова.

— А я их и не знаю.

— Если их кто и знает, так это ты, viajero, — все так же мягко сказал Эстебан. — Наша гостья, похоже, не умеет читать карту. Вы бы не добрались так быстро до того места. Ты привез ее куда-то еще. Куда?

— Я не знаю координат, — повторил я, — У меня и карты-то своей нет. Можешь поискать.

Эстебан помрачнел, и постучал ногтем по рукояти “кольта”.

— Это звучит довольно глупо.

— Ру, они прочитали мое сообщение, — расстроенно сказала

Мирель, — И статуэтку отобрали.

— Придется тебе прокатиться с нами, — подытожил Эстебан, — Ты ведь понял?

— Конечно, — сказал я, — Я ценю свои ребра и, тем более, жизнь.

— Ты все правильно понял. Лезь на катер. Miguel, lleva el barco muy lejos para hundirse! — крикнул он человеку, который остался на “Тикки”.

Это уже было слишком.

Я залез на катер, от души желая Флейтисту проснуться, и узреть, наконец, в какой он луже. Эстебан подал руку Мирель, которая подчеркнуто отказалась от его помощи, взошел на борт сам. Заворчал мотор, и меня завели в рубку.

— Будь моим гостем, Ру.

— Какая у твоей жестянки скорость?

— 47 узлов.

Я вывел катер в океан. Потом сверился по компасу, положил катер на верный курс, и включил автопилот. Вообще-то, направление было абсолютно неважно, но им этого знать не полагалось.

— Все. Через несколько часов будем там.

— Ценю твой вклад, amigo. Будь добр, заведи руки за спину.

Один из людей Эстебана защелкнул на мне наручники.

— Чувствуй себя, как дома, — сказал наш захватчик. Одними губами улыбнулся. Взгляд у него был отстраненный.

Выйдя наружу, я почувствовал на щеке брызги. Катер разогнался — будь здоров, низкие тучи над нами так и неслись назад. На горизонте был дождь. Бородач в гавайке курил около пулемета, и о чем-то переговаривался с приятелем. Мирель сидела, поджав ноги, на корме. Увидев меня, она вопросительно вскинула брови. Я присел рядом.

— Влипли мы, да? — жалобно спросила она, бросив взгляд на удаляющийся остров.

— Вроде того, — сказал я, пытаясь устроится поудобнее. Этот наркоторговец мог бы застегнуть наручники и спереди.

— Мне ужасно жаль. Я тебя подставила. Диего мне говорил, что Эстебан…

— Брось. Зато мы возвращаемся к тому острову, — философски заметил я.

Мирель вздохнула:

— Ты не намерен хотя бы испугаться?

— Ты же не боишься.

— Я? Я перепугалась до смерти. Кстати говоря, что это за история с координатами? Куда ты меня завез, Ру?

— Завез, куда хотела. Мы ведь нашли то, о чем ты мечтала, так?

— Доверяй теперь людям. Почему ты со мной намеками разговариваешь, а? Это нечестно. Нас утопят, а ты ведешь себя, как Чеширский Кот.

— Ты правда мне доверяешь?

— Иначе бы я не поплыла с тобой. Я бы все отдала, чтобы мы были сейчас на “Тикки” с Флейтистом, и подальше от этих подонков.

Я улыбнулся. Она сердито сверкнула глазами:

— Не смешно! Я хочу обратно в сказку. Хочу кофе с апельсинами на закате, хочу твои идиотские истории, флейту и мой остров. Мой подводный город. Я романтик. Я не хочу умирать. Я не хочу быть подстилкой наркоторговца.

Ее голос задрожал.

— Сколько экспрессии. Ну, хочешь, я тебя возьму помощником капитана на “Тикки”? Мирель выразительно показала взглядом на открытую дверь в рубку, где Эстебан, затягиваясь сигаретой, что-то обсуждал с рулевым.

— Ничего, что суровая реальность против? “Тикки” уже нет. Я знаю испанский. Эта сволочь приказала Мигелю отвести ее подальше в океан, и затопить.

— Знаю.

Представляю себе, как этот Мигель случайно наступает на хвост дрыхнущему Флейтисту!

Я начал насвистывать.

Мирель удивилась, потом выражение ее лица резко изменилось. Она узнала “Лореляй”, и на этот раз, видимо, что-то почувствовала.

Через час пулеметчик прервал свой разговор с приятелем, и заорал что-то, показывая на небо. Эстебан вылез из рубки, и задрал голову. Локхид P-38 “Лайтнинг” сбросил высоту, и пронесся над нами метрах в ста, покачивая крыльями. Потом забрался выше, встал на крыло, и развернулся на юг. Эстебан, нахмурившись, проводил его взглядом.

— Кто это? — спросила меня Мирель на ухо, — Мы его видели вчера, да?

— Это Антуан, — ответил я, — Познакомлю потом. Мы уже близко.

— Проясняется! — крикнули с борта.

— Что за черт, — сказал пулеметчик в гавайке, — Я думал, уже вечер. Почему солнце так высоко?

Далеко впереди тучи расходились, выпуская солнечные лучи. Океан зарябил отблесками. Мирель прищурилась. Ветер

усилился, унося слова назад. Пахнуло свежестью.

— Эстебан? — позвал я. Тот повернулся ко мне.

— Похоже, мы приближаемся.

— Чушь. Это невозможно. Мы прошли чуть больше ста километров. Я этот район знаю.

Я пожал плечами:

— Тогда впереди — твоя первая галлюцинация, компадре.

Он резко развернулся, уставившись вперед по нашему курсу. Потом схватил бинокль, и залез повыше:

— Madre de dias! Франсис, что выдает GPS?!

Ему пришлось повторить свой вопрос, наклонившись ко входу в рубку. Я увидел, как рулевой пожал плечами. Эстебан озадаченно склонился над прибором, потом с подозрением посмотрел на меня.

Через некоторое время остров был совсем рядом. Увидев знакомые очертания, Мирель подошла к борту. Сбавив обороты, Франсис провел катер к лагуне. Потом вообще выключил мотор. Катер заскользил по воде по инерции, совсем тихо.

— Полюбуйся, — предложил я.

Сначала Эстебан меня не понял. Первым догадался пулеметчик. Он уставился вниз, и тут же уронил в воду свою сигарету: она выпала у него изо рта. Все остальные, кроме Франсиса в рубке, тут же последовали его примеру.

— Обалдеть, — сказал кто-то после созерцательной паузы, — Акваланг бы сюда.

— Представляю, что там на дне.

— Доставайте маяк, — приказал Эстебан, оторвавшись от подводного зрелища, — Франсис, подведи нас ближе к берегу.

Двое criados нашего бандита достали небольшой буй, и небрежно бросили его в воду. Эстебан обругал их. Катер замер в метрах в тридцати от берега, — глубина менялась довольно круто.

— Мирель, ты идешь с нами. Покажешь, где нашла статуэтку. Франсис, остаешься тут. Все остальные — со мной.

Он подтолкнул ее к воде. Она обернулась, посмотрела на меня, коротко, еле заметно кивнула, и прыгнула за борт. За ней спустились все остальные, и поплыли, стараясь не намочить автоматы.

Эстебан проводил взглядом свою команду, потом уставился на меня.

— Adios, senor Roo. Обычно все так и происходит. Франсис, только дождись, пока мы зайдем в глубь острова.

С этими словами он нырнул в воду, и несколькими мощными движениями преодолел расстояние до берега.

* * *

Я провожал их взглядом, пока за последний из них не исчез за склоном, покрытым зарослями.

Франсис вышел из рубки с “береттой” в руках.

— Можешь покурить, — сказал он флегматично, — Пусть подальше отойдут. А…наручники.

— Все равно спасибо, — отозвался я. — Более гуманных палачей я не встречал.

— Не вздумай прыгать на меня, — сказал он. — Все. Лучше развернись. Я знаю, куда стрелять, чтобы ты ничего не почувствовал.

Я посмотрел на выход из лагуны. И невольно заулыбался. Мой визави с пистолетом тоже бросил туда взгляд, потом резко повернул голову:

— Это что за хрень?!

Он здорово ошибся в определении. В лагуну тихо вплывала моя “Тикки”.

Потянув руки в стороны, я ощутил, как наручники распались на хлопья ржавчины. Франсис опомнился, и нажал было на курок.

— Нет уж, — я отобрал у него оружие раньше, чем он успел выстрелить. — У меня тут свои привилегии.

От удара в поддых он сложился пополам.

— В частности, стрелять в меня нельзя.

Оставив Франсиса отдыхать на палубе, я дождался, пока “Тикки” подплывет вплотную к катеру, и перебрался на свою яхту. Флейтист невинно сидел на носу и делал вид, что ни в чем не виноват.

— Задал храпака, да? Тоже мне, друг называется. Едва не влипли.

Я достал из каюты флейту, и заиграл так громко, как мог. Как в старые добрые времена.

У Флейтиста проснулась совесть, и он даже потащился было за своими инструментами, но я взглядом дал ему понять, что и сам справлюсь.

Звуки наполнили воздух над океаном, песок и пальмы, вплелись в солнечные лучи, и, наконец, окутали весь остров. Минуту спустя на берегу появился Эстебан. Музыка тащила его к нам. За ним шла вся остальная компания. Вид у них был что надо: сомнамбулы, да и только. Они вошли в воду, и двинулись дальше.

Потом на берег выбежала Мирель.

Я помахал ей рукой, перестав играть.

Она даже не посмотрела на la procesiyn, с брызгами вбежала в

прибой, и через несколько секунд я помог ей залезть на борт. И тут же промок, но жаловаться на это вовсе не стал.

Флейтист, тактично отвернувшись, начал выводить “Тикки” в океан.

Над нами заложил вираж самолет Сент-Экса: он звал нас пить чай.

Есть, знаете, один островок, где всегда пять часов. И компания подходящая. Хотя Флейтиста постоянно норовят засунуть в чайник.

— Скажи, — попросила Мирель некоторое время спустя, — Это все — настоящее?

— Абсолютно, — сказал я.

* * *

Вот, собственно, и все. Так на “Тикки” появилась Мирель. Я обычно заманиваю к нам самых лучших людей. Их мечты открывают новые острова. А это вообще был особый случай. И она нашла такой город! Когда-нибудь потом мы подарим его всему миру, но — потом.

Насмерть перепуганного Эстебана и его людей пришлось выбросить прямо перед патрулем территориальных вод одного государства, где их давно ждали. Занимался этим проштрафившийся Флейтист.

При этом он ворчал, что именно за эти штучки меня так не любят в Гаммельне.

Принцесса Дисков

Она сулит обретение сокровища. Внутреннего сокровища в себе, или настоящего пиратского клада на необитаемом острове — это уж как карта ляжет.

Правда, в плохом окружении Принцесса Дисков идет на попятную, сообщает, что сокровища нет и не будет. По крайней мере, не в том месте, где вы сейчас копаете.

Встречу с настоящей живой девушкой эта карта сулит довольно редко. Обычно она обещает не человека (скажем так, совсем не обязательно человека), а шанс. Какой именно — зависит от контекста.

Н. Крайнер
Сундук

Так, скажешь ты, не бывает совсем. Такие ситуации в наших краях уже лет сто не гостили. И ладно бы чудеса, к чудесам мы привыкли, от них у нас разве только температура поднимется на градус, а больше ничего. Кроме тех, конечно, с кем эти чудеса случаются. Но это не та история.

Тут настоящий клад, чуть ли не пиратский, стародавний, и, наверняка, там целая куча всего интересного. Например, мешочек с многозначительными закатами. Взамен наших — прекрасных, но бессмысленных. Или пригоршня интересных комплиментов. А то надоело слышать, какая я прекрасная, умная и красивая, и неясно, что делаю при муже дураке. А рассказывать каждому встречному поперечному, что у меня, помимо мужа, любовь безнадежная, и никакой ум с красотой тут не поможет — так язык устанет, да и незачем им, поперечным, это знать.

А может, там, в огромном кованом сундуке есть маленькая неприметная взаимность. Уж она-то мне точно не помешает. Хотя бы ненадолго. Чтобы не думать о том, что муж действительно дурак, каких мало, чтобы просто плыть себе по течению красивого романа, и еще, не вспоминать о том, что мне когда-то говорили про великую миссию и про то, что все мое — красота, ум и даже какое-то платье, кажется, мне выдали под расписку, на условиях, которых я сейчас уже не помню.

А может, там есть какие-нибудь полудрагоценные камешки, от которых на сердце радостно, и ничто не гложет по ночам, не заставляет курить в форточку и прятать от мужа бутылки с вином на черный день, который пять дней в неделю. Потому что, хоть я и не помню ничего, но знаю — если вспомню, станет совсем невыносимо. И это в наших-то краях, где жизнь прекрасна настолько, что даже дети тут появляются сами по себе, без всякого секса, когда понимают, что пора. А секс — совсем отдельное удовольствие, понятное дело.

Ну, да, так я тебе и рассказала, где этот клад закопан. Я его хочу сама найти. Лопату попрошу у соседа, у него их три, от него не убудет. Поеду туда, буду копать, пока не найду. Ну и что, что сундук тяжелый, я что-нибудь придумаю, мне это очень надо, я чувствую, что надо. Мне даже карта эта во сне приснилась. Я проснулась утром, схватила ручку и стала рисовать. Всего не вспомнила, правда, так она мне потом снилась, пока я все не зарисовала, до последнего дерева. А главное, я сразу поняла, где

это, даже думать не пришлось. Я ведь в этих местах кучу времени провожу. Как станет совсем тошно, еду туда и сижу на пригорке, пью вино.

А еще, представь, в этом сундуке может быть… нет, не скажу, боюсь сглазить. Да и вообще, пора мне. Надо еще лопату у соседа попросить.

* * *

— Скажи мне, Зевс, — Гермес налил себе еще амброзии, которая в этом сезоне называлась «Beefeater». — Зачем все это? Неужели не понятно, что эта дура, даром, что Пандора, никогда этот ящик не найдет? Она ведь все забыла еще тогда, когда открыла его в первый раз. Да и миссию свою она уже выполнила. А ты все равно, что ни эпоха, посылаешь ей подсказки да знамения.

— У нее должен быть шанс, — твердо сказал Зевс, нетвердой рукой поднимая кубок. — Там, на дне, я точно помню, еще оставалась надежда.

Туз Жезлов

Символизирует, с одной стороны, силы, связанные с общественной жизнью. Политические потрясения, войны (и просто армейские реформы) — за этим сюда. В некоторых случаях обещает природные катастрофы, связанные с огнем: извержения вулканов, землетрясения, пожары (как масштабные, лесные, так и локальные).

В то же время Туз Жезлов может просто указывать, что человек сейчас в прекрасной форме, чтобы делать карьеру, поступать на военную службу, баллотироваться в депутаты и т. п. Обещает общественное признание, награды, премии и всякую прочую славу — в максимально возможных для данного субъекта масштабах.

Ася Датнова
Шестикрылый

— Добрый день, вас беспокоит Мосгосстрах.

— Мозго… Простите, кто?!

Жизнь долго держала их в своем прибое, обсасывала, обкатывала в серой пене и терла о прибрежные камни, пока не сочла достаточно мягкими, чтобы в один миг проглотить. Внезапно все они очутились в самом центре ее океана, в уверенной и спокойной глубине, ошалевшие и не верящие пока в окончательность события.

В практическом смысле это выразилось в том, что все они получили приглашение на работу. Работа в денежном эквиваленте превосходила не только все их предыдущие заработки, но и все самые смелые устремления в будущее. Словно неведомая сила подала им руку и галантно помогла подняться сразу на несколько ступеней осклизлой социальной лестницы.

Вот так они, все четверо, очутились в один день в маленькой офисной комнатке, каждый за своим столом. Сидели, подозрительно рассматривая друг друга. Второго же взгляда было достаточно, чтобы понять: здесь все свои. Каждый заслуживал этой работы, ибо был специалистом и профессионалом в своем деле. Их объединяло и нечто большее: всю предыдущую биографию они проходили в лузерах, мизераблях.

Елена напоминала морскую черепаху на суше: короткие ручки, сморщившиеся словно от долгого пребывания в воде, подслеповатые глаза с тяжелыми веками, в которых узко блестел свет глубоководного знания. Маленькая аккуратная голова то и дело втягивалась в плечи с опасливостью. Елена не умела возражать, сердиться, настаивать. Она умела уходить в себя, опуская веки. Панцирем ей служили её мысли. Её коньком было театроведение. Большую часть жизни она провела, работая в толстых интеллектуальных журналах за копейки.

Петр носил свое рыхлое тяжелое тело, похожее на ком сырой муки, с легкостью эквилибриста. Услышав хорошую шутку, хохотал тонко, как выпь на болоте. В столицу он приехал из далекой деревни. В этой жизни ему нравилось все нежное, а больше всего он любил растения. На подоконнике съемной квартиры выращивал орхидеи, ковыряясь с подбором грунта, рассадой и удобрениями. Прежде он работал в архиве,

пропитался его пылью, и взгляд его всегда был устремлен в прошлое. Он считался специалистом по дореволюционному кино и хрупким бумагам, коллекционировал великие тени, различал все градации черного и белого цветов и классифицировал оттенки серого.

Георгий был развязный моложавый старик, с въевшейся в кожу подбородка краской, которой он маскировал предательскую седину в клинообразной бородке. Бурливо разговорчивый — в те минуты, когда его не трепало давление, язва или воспоминания. В прошлой жизни Георгий был физиком, сотворившим изобретение, а затем уничтожившим все записи и покинувшим науку, чтобы избежать предсказуемых последствий. После этого он сидел дома, получал маленькую пенсию и читал книги по психологии.

Четвертой была я.

Вся наша работа заключалась в чтении текстов. В офис мешками доставляли рукописи, и мы правили их, как моллюски процеживая сквозь себя словесный океан.

Океан кишел самыми удивительными сюжетами, сравнениями и метафорами. Очистив от тины свои сокровища — кусок пробки, осколок стекла — мы демонстрировали друг другу ежедневный улов. Мы, никогда не знавшие жизни и других людей, наконец-то постигали самые тайные мысли и самые общие идеи, владевшие умами масс, исследовали их закономерности. Авторы старались называть свои произведения умно и многозначительно: «Мементо мори», «Перпетуум мобиле», «Модус вивенди», «Капище», «Утоли моя печали». Они не умели нарекать свои лодки красивыми именами, и лодки тонули, едва отойдя от пристани: «Дохлый номер».

У нас первый раз в жизни появились лишние деньги. Нас стали уважать окружающие. Друзья просили у нас в долг.

Нам казалось, мы приносим пользу.

В тот злосчастный месяц, когда лед и иней превратили шпиль телебашни в гигантский сталагмит, а тяжелые облака над ней набухали по ночам бронхиальной мокротой, мы совершили роковой промах, не оставивший нам шансов на выживание. На корпоративную почту пришло письмо, объявляющее о начале вакцинации от гриппа. Наша четверка никогда не делала прививок, питая к ним необъяснимую неприязнь. Не сделали мы прививку и в этот раз.

Спустя три дня я стала замечать, что мир вокруг изменился.

Сперва это были просто предчувствия, стесняющие грудь волнением сродни тому, что вызывается недостатком кислорода. Причин не было, только не заслуживающие внимания мелочи. Например, листая у полки с художественной литературой свежеизданный томик Булгакова, я заметила в тексте неожиданное слово. В книге было написано: «абрикосовая дала МОЩНУЮ пену, и в воздухе запахло парикмахерской». Исследовав прочие книги на полках, я с удивлением обнаружила, что во многих при переиздании кто-то заменил привычные слова на похожие, но совсем другие.

Я списала это на ошибки редакторов и издателей.

Елена с задумчивым видом курила, глядя на лысые макушки деревьев. Лишь зная ее, можно было понять, что она чем-то озабочена.

— В чем дело? — спросила я.

— Ты понимаешь, — она пожала плечами, — так странно, я заметила, что хорошо сделанные тексты почему-то не проходят. Как будто они (кивок наверх) специально отвергают все, в чем есть хоть искра разума. Тебе не кажется, что и тексты к нам стали поступать с каждым разом все более беспомощные? Словно авторы мимикрируют под чьи-то запросы.

Подумав, мы сочли это признаком начальственного самодурства.

Следующую вводную дал Георгий.

— Слушайте, — сказал он, очищая ботинки от снега, — я уже привык, что повсюду, тут и там, значительные посты занимают на редкость неумные люди. Более того, я свыкся с мыслью, что чем больше человек получает денег за работу, тем меньше умеет. Но в последнее время даже мои знакомые, вроде приличные люди, стали вести себя как-то странно. Я знал талантливых режиссеров, умных прозаиков и хороших детских поэтов. И вдруг они один за другим стали нести какую-то ахинею. Похоже на эпидемию.

— Что касается меня, — сказал Петр, — я не понимаю, что происходит с орфографией и пунктуацией. Почему вдруг все стали писать с чудовищными ошибками?

Поговорили — и забыли.

Весь следующий месяц мы чувствовали себя матросами на тонущем судне. Нам приходилось ежедневно сопротивляться стремительному потоку отборной чуши. Но как мы ни затыкали пробоины, он становился все мощнее, изливаясь на наши головы водопадом бессмыслицы. Теперь нам приходилось читать тексты такого содержания, что кровь стыла в жилах.

Глупость бывает самых разных видов. Среди глупостей самая удивительная разновидность — космическая. Знакомо ли вам ощущение открывшейся бездны, тонкого писка в голове, сбоя команд, страха и невозможности осмысления происходящего? Сталкиваясь с космической глупостью, испытываешь священный трепет. Перед тобой разверзается черная дыра, которая то ли поглощает, то ли изливает из себя потоки первозданного хаоса. Видеть такую глупость — все равно что смотреть на сильный шторм в море. Жутко, удивительно, совершенно в дикой своей красоте.

Башня оттаяла, став похожей на гигантский шприц с вострeным кончиком, впившимся в рыхлое седалище неба. К этому времени мы и сами стали подозрительно туго соображать, словно игла телебашни ежедневно впрыскивала нам в мозг морфий или холод ментола. Полы и стены в здании вибрировали: невидные и неслышные, проносились в них сильные магнитные токи, шипело электричество и пульсировали радиоволны. Паркет вспучивался, а нас била мелкая дрожь.

Каждый вечер мы собирались вместе и промывали мозги крепкими напитками. За глотком дезинфицирующего коньяка мы разговаривали, обсуждали свое недоумение, свое тяжелое состояние.

— Обращали вы внимание на рекламу? — говорила Елена, с полузакрытыми глазами прихлебывая коньяк. — Мне порой кажется, что это какой-то шифр. Азбука морзе. Порой, когда я читаю рекламные плакаты, я чувствую, что в голове у меня крутится патефонная пластинка, и внезапно игла проигрывателя начинает перескакивать по бороздкам…

Постепенно из этих разговоров возникла Теория.

Теория, как это иногда бывает, родилась из анекдота. Увы мне, ее жалкому создателю!..

— Я считаю, — мрачно сказала я однажды, тяжело облокотившись на стол и ощущая благотворное воздействие алкоголя, — что наш начальник — космический идиот.

Мы понимали друг друга с полуслова, перебрасываясь мыслями, как в детской игре: хлоп в ладоши — мячик летит в небо — хлоп, мячик пойман.

— Точно, — сказал Георгий. — Он думает иначе, чем мы. Инопланетянин, определенно.

— Он выедает мой мозг. — сказала я.

— Мозгоклюй, — сказал Петр.

— Да, — сказала я. — Страшная ночная птица с железными крыльями, прилетающая и клюющая человека в темя. После этого человек становится совсем другим.

— Он сам становится Мозгоклюем, — грустно кивнула Елена.

— Орел, клюющий Прометея в голову.

— И гадящий на нее.

— Мозгоклюй.

Слово было произнесено.

За ежевечерними возлияниями теория обрастала подробностями. На улице мы пугливо шарахались от рекламных щитов, как некогда лошади шарахались от автомобилей. Дома мы не включали телевизор: нам было страшно. Мы не читали решений депутатов Думы, новостей и колонок редактора. Мы вздрагивали при виде начальника. Мы с опаской открывали новый текстовой файл, зная, что найдем там что-нибудь пугающее, и, конечно, находили описание вроде: «Яйца в одной корзине — это мы в нашем государстве. Какие мы яйца, куда нас несут, не уронят ли, что из нас вылупится, и какие яйца несем мы сами». И подпись — М. Клюев.

Мы перестали спать. Мы заболели тяжелой формой мизантропии. Нас перестали радовать деньги, страховка, социальные льготы и все возрастающие премии. Каждый день мы ощущали медленное, нечеловечески упорное воздействие. Коньяк не спасал. Первым сломался Петр. Внезапно он перестал с нами разговаривать, обедать садился за отдельный стол, а потом вдруг уволился, полностью посвятив себя орхидеям. Как-то мы встретили его на улице — судя по мутному взгляду, вялым движением и отсутствующему выражению лица он и сам превратился в растение.

Нас осталось трое. Мы были поглощены Теорией. Мы хотели узнавать мозгоклюев в толпе. С помощью умелого в психологии Георгия мы вычислили их основные признаки: они не помнили своего детства и не смеялись шуткам. Шутки у них были, но какие-то другие, с неуловимым смыслом. Они иначе понимали значение хорошо знакомых нам слов, сочетая их самым странным образом. У них была своя орфография. Кроме того, какая-нибудь из их конечностей постоянно отбивала ритм. Они не любили тишину. В кафе, на улице, в машинах — повсюду играла громкая музыка, и оказавшись вне ее, они нервничали и постукивали подошвой по полу или барабанили пальцами по столу.

Судя по телевизионной рекламе, они постоянно заботились о

чистоте своего тела, покровов и жилища, стараясь вытравить химикатами и убить все запахи человеческого дома. Они даже питались по-особенному, под видом диеты запрещая все натуральные продукты, превознося все безвкусное: кофе без кофеина, искусственное масло, обезжиренное молоко, фальшивое пиво. Они боролись с мужскими и женскими признаками: объявили войну целлюлиту, провели кампанию против пивного животика.

Близилось лето. Башня по ночам походила на сияющий бамбук. По вечерам мы шли в соседний парк, пили кислое вино и шушукались как заговорщики.

— Когда же все это началось? Кто может вспомнить?

— Может, когда мы не стали делать прививку?

— Быть может, полгода назад? Нас внезапно пригласили на работу…

В один из таких вечеров Георгий внезапно встал, возведя глаза к небу. Нам почудилось ледяное дыхание ветра, шорох жестяных крыл. Георгий дико вскрикнул, схватился за голову и ринулся в ночь куда-то по направлению к телебашне. Мы пытались догнать его, но не смогли. О дальнейшей его судьбе нам ничего не известно.

* * *

Начиналась осень. Мы с Еленой подумывали бросить работу, но нас что-то удерживало. Тем временем заметные перемены начались и в обществе. Куда-то стали исчезать запахи. В транспорте от нас отсаживались подальше, словно мы дурно пахли. В городе стали проводить масштабные акции по замене старых книжек на новые. Огромной популярностью начали пользоваться дешевые книжки и мыльные сериалы. Миллионы домохозяек орошали мягкие обложки своими слезами. Мужчины же отдавали предпочтение фильмам, в которых кровь текла рекой и ежесекундно раздавались сочные удары.

Кстати пришлось сообщение об эпидемии птичьего гриппа, деталь уютно легла в паззл. Было очевидно: мозгоклюи занесли его на нашу планету на своих крыльях. Другим летающим тварям, кроме мозгоклюев, на планете не было места.

Мы с Еленой гуляли по вечерам, шуршали осенними листьями, переходили на водку и шептались, шептались, понимая, что сходим с ума. Мы сидели в кафе. Хриплый музыкант

надрывался, исполняя «А белый лебедь на пруду…» — песню, отвечавшую нашим птичьим мыслям и потому тревожащую.

— Когда же… Как же…

— Может, еще раньше? Вы обратили внимание…

— Тс-с…

Я, наклоняясь к ее уху, пьяно сипела:

— Сияющая птица.

— Это он.

— Мозгоклюй.

— В лапах у него вилка. И череп.

— А может, еще до того?

Осененная догадкой, Елена впервые за все наше знакомство повысила голос:

— Невермор?..

— «Золотой петушок»!..

Тихо расходились мы по домам, подавленные, словно в каждом из них нас ждал покойник. Тревожно было на душе, муторно и неспокойно.

Этой ночью мне приснился сон. Мне привиделось, что я становлюсь частью железной птицы, одной из ее голов, шея моя покрывается стальными перьями, бронзовеет, и я не могу произнести ни одного человеческого звука, из горла доносится только металлический клекот, и скребут где-то внизу мои стальные когти… Что самое ужасное, это было приятно.

Утром следующего дня на работе меня ждал последний удар. Не знаю, какие испытания подстерегли ее этой ночью, могу только догадываться, что она сопротивлялась — и была повержена. Елена перестала реагировать на действительность. Избрав привычный способ защиты, она ушла в себя. Глаза ее были полузакрыты, и, покачиваясь на стуле в неслышном ритме, она слегка улыбалась.

Подойдя к ней, я дотронулась до ее плеча, прощаясь, потом выключила свой рабочий компьютер и навсегда покинула гудящее здание.

Сидя дома, я оплакивала своих друзей. Я осталась совершенно одна со своей страшной тайной. Понимая, что стану следующей, я не подходила к телефону, не открывала, когда звонили в дверь. Через неделю я устала прятаться. Я поняла, что пришло время действовать. Рассказать людям правду.

Мы сможем собраться вместе и противостоять ему. Исправить опечатки в книгах. Убить Мозгоклюя.

Я вышла на улицу. Я пошла в центр.

Не успела я сделать и нескольких шагов, как из общего потока авто, блестящих под дождем, похожих на косяк рыб, идущий по течению, вынырнула черная машина. Какое-то время она тихо ехала следом, затем обогнала меня и плавно притормозила. Опустилось тонированное стекло, и в окне я увидела выпуклые глаза мозгоклюя. Он был при галстуке.

— Садитесь, — сказал он.

Я села. Машина тронулась и поехала медленно, приятно шурша шинами.

Мозгоклюй выглядел довольно обыденно, человеческий торс кончался маленькой птичьей головой с орлиным клювом. Дорогой костюм, белая рубашка. Я видела подобные манекены в витрине на одной из центральных улиц.

Машину вел другой мозгоклюй.

Мы ехали в полном молчании, тормозя на туманных светофорах. Мне было страшно, как в приемной у дантиста. Я кашлянула.

Мозгоклюй обернулся и посмотрел на меня лучистыми глазами, сияющими как фальшивые драгоценности. До меня донесся его тихий, вежливый, вкрадчивый голос.

— Добрый вечер, — сказал он, словно только меня увидел. — Ну что ж, давайте знакомиться.

— Тогда представьтесь, — хорохорясь, сказала я.

— Зовите меня, скажем, Иван Иванович. Как ваше здоровье?

— Спасибо, не жалуюсь.

— А как вообще ваши дела? — участливо спросил он.

— Слушайте, — озлилась я, — вы что, позвали меня, чтобы узнать, как мои дела?

— Ну зачем сразу волноваться, — сказал Мозгоклюй. В его глазах читался укор. Он вздохнул. — Вас рекомендовали нам как человека неглупого, образованного. Наблюдательного… Не скрою, мы приглядывались к вам. Нам известно, что в последнее время у вас возникли… некоторые сложности.

— Послушайте, — сказала я. — Незачем ходить кругом да около. Я знаю, кто вы.

Мозгоклюй склонил небольшую голову, готовясь меня выслушать.

— Я знаю, что вы захватили наш мир, — сказала я, и сердце мое сжалось. Однако возражений не последовало, поэтому я продолжила.

— Не знаю, когда вас заинтересовала наша планета. Но однажды вы появились. Этот момент стал концом нашей цивилизации. Быть может, вы не сразу решили захватить нас, сперва вы наблюдали. И вот момент настал. У вас была вся необходимая информация, но и тогда вы не стали действовать грубой силой. Вам надо было не уничтожить нас, но изменить. Вы начинали исподволь. Это была атака сразу по всем направлениям — но атака тихая, не встречавшая сопротивления. Стоило вам клюнуть человека в затылок — как он становился вашим. Со временем вы расставили всюду своих адептов, *клюнутых*. Они заняли все ключевые позиции, все важные посты, от государственных чиновников до журналистов, писателей и педагогов. Вас интересовали те области, которые дают власть над умами. Чем сильней вы становились, тем более открыто действовали.

О, это был тщательно продуманный, разветвленный и умный план! Но мне удалось вычислить его основные пункты. В него входят и регулярные прививки от гриппа, то есть вакцина, разрыхляющая сознание, которая была успешно вами выдана за лекарство от простуды. И просмотры телепередач: в игровой форме вы обучали человечество новым правилам, и одновременно облучали его, изменяли структуру клеток колебаниями эфира.

Вам недостаточно было ментальных изменений, и вы стали трансформировать наш организм. Для этого вы внедрили диеты, заручившись поддержкой стоматологов, воспевавших красоту и белизну зубов. Вы исключили чай, кофе, сигареты, мясо, жир. Человек есть то, что он ест. Вы меняли нашу пищеварительную систему.

Наш запах вам почему-то неприятен, особенно запах пота. Вы не хотите, чтобы мы производили какие-нибудь выделения. Вы пропагандируете эту идею с помощью рекламы чистящих средств. Миллионы женщин по вашей милости превратились в енотов-полоскунов.

Вы навязываете нам новую орфографию и грамматику, воздействуя на наш главный способ общения — язык. Вы хотите, чтобы язык стал общим, усредненным вариантом. Вам недоступна красота языка. Вы упрощаете и кастрируете его, не понимая, что как человек излагает свои мысли — так он и думает. Примитивный язык неизбежно приводит к примитивному мышлению. История человечества уже знавала творцов Вавилонской башни.

Вы не обошли вниманием и наш основной инстинкт — здесь вы были особенно аккуратны, проводя для начала идеологию

неразборчивости. С той же целью вы ввели метросексуалов и привили страх перед целлюлитом. Вы хотите полностью уничтожить различия между мужчинами и женщинами. Вы не властны над любовью, не понимаете ее сути — и хотите максимально упростить и удешевить способ размножения. Вы сводите отношения между мужчинами и женщинами к функциональности. Этим вы их обесцениваете. Ваш идеал — почкование.

Вы решили — кто дал вам это право? — оставить нам только три функции: строительство, война и передача мысли. Строителей вы растите при помощи шоу «Дом-2». Бойцов для своих захватнических войн натаскиваете боевиками. Медиумов-ретрансляторов — любовными романами и слезливыми сериалами, развивающими чувствительность.

Вы клюете людей по ночам в головы, лишая разума, то есть самого ценного дара. Но вы не в состоянии понять, что человечество не может существовать без столь тщательно уничтожаемой вами разницы потенциалов. Глобализм — одна из самых дурацких ваших затей. Противоречие заложено в самой сути человека. Вы решили все свести к общему знаменателю — вот ваша ошибка. Ток не будет течь по проводам, если не будут существовать плюс и минус. Так оставьте же нам наши добро и зло, правду и ложь, мужчин и женщин, умных и глупых, богатых и бедных, бездарных и талантливых, рай и ад, веру и неверие, душу и тело!..

Выпалив все это, я остановилась, ожидая, что он будет все отрицать или набросится на меня и разорвет на части страшным клювом. Но Мозгоклюй молчал. Потом он заговорил — все тем же ласковым спокойным тоном, словно имел дело с ребенком.

— Да, — сказал он, — вы наблюдательны. Вы подробно, в деталях описали наш план. Я впечатлен.

— Правда, — сказал он, — вы допустили одну ошибку. А именно: вы поставили знак минуса везде, где должен стоять плюс. Вы верите в прогресс?

— Ну допустим, — сказала я, краснея.

— Вы смущены? А, ну как же, вы ведь не любите пафоса. Конечно, — сказал он устало, — вы думаете, что в будущем все как один должны стать интеллигентными, хорошо воспитанными, интеллектуальными, образованными, беспрестанно острить, писать без ошибок и самозабвенно любить окружающих. Вот ваша утопия. Однако… Представьте себе на минуту, что это — ваши, сугубо личные ценности. Никому, кроме вас, не нужные. Надо смотреть на вещи шире, — сказал он, пожав плечами.

— Итак, прогресс. Чем он измеряется? Количеством компьютеров и холодильников на душу населения? Конечно, нет. Мы изучили вашу историю. Извечной мечтой человечества была гармония. Взаимопонимание. Которое так и не было вами достигнуто, хотя времени у вас было предостаточно.

Мы поможем вам осуществить вашу мечту.

Да, мы меняем человеческий организм, побочным результатом чего становится исчезновение запахов. Однако сам по себе запах нас не раздражает. Проблема в том, что запах у каждого свой, это разобщает. Язык, орфография? Что важнее для человечества — взаимопонимание или правила грамматики? Которые все равно есть постоянно меняющаяся условность? Сто лет назад вы жизни себе не представляли без буквы ять, теперь вы прекрасно обходитесь без нее, но рыдаете над буквой ё, словно у вас отнимают ребенка.

Да, мы хотим уничтожить разницу между мужчиной и женщиной. Но что дала вам эта разница? Непонимание, слезы, конфликты, чувство одиночества. Вами движет инстинкт размножения. Вы выбираете партнеров, которые не выбирают вас. Мужчины и женщины не в состоянии понять друг друга. Мирное сосуществование при таком положении вещей — редкая удача.

Вы размахиваете «разумом» как фагом — но на самом деле человечество ближе к животному состоянию, чем декларирует. У вас слишком много правил и границ. Вы разделили землю на государства. На вашей планете даже бог у каждого свой. Чтобы хоть как-то справиться с этим хаосом, вы превозносите разум как главную ценность. Но что хорошего дал вам ваш разум? Кому-нибудь из вас? Дал ли ответы? От чего защитил? Как помог? Несовершенный, хрупкий механизм. Мусоросборник.

За своими мелкими неудовольствиями вы неспособны заметить главного: вы сопротивляетесь наступлению будущего только потому, что вам нет в нем места. Вы не хотите этого признать. На самом деле то, что вы называете «космической глупостью» — просто иное мышление. То, что кажется безграмотностью — просто иной язык.

Люди всегда цеплялются за привычное, за стереотипы, боясь изменить что-то в своей жизни. Потому что ими движет разум. Оставьте страх. Вам повезло. Вы живете в эпоху трансформации. Здесь и сейчас пишутся великие страницы истории человечества. Происходят события, навсегда поменяющие известный вам мир, ибо пришло для этого время. Вы стоите на пороге перображения в новую, совершенную расу. Мы лишь помогаем вам нивелировать острые углы. Вскоре человечество станет единым организмом. Все станут понимать всех, все станут чувствовать и думать одинаково.

Мозгоклюй один. Когда мы станем один — мы будем Мозгоклюй.

Он мигнул по-птичьи: на миг его глаз затянулся пленкой.

— Так что, — сказал он, — нравится вам будущее или нет, оно наступит. Процесс остановить невозможно. Вам некуда спрятаться от жизни. Она сама придет к вам. Даст пищу вашему жадному разуму. Если вы станете раздумывать над тем, что увидели или услышали, ваши мозги будут застывать, извилины скручиваться и преображаться. Если же вы откажетесь думать, ваш мозг просто атрофируется.

Конечно, современное вам человечество — это пока не новая раса, это только питательная почва для нее. Если хотите, удобрение. Гумус. Гумус сапиенс…

Я молчала.

— Вот так, сказал он. — В сущности, наша сегодняшняя беседа — вежливая формальность. Ваше сотрудничество с нами — всего лишь вопрос времени. Но, — он сделал рукой элегантный жест, — нам нужны такие люди, как вы. И нам не нужны неприятности. Вам, я полагаю, тоже.

— Нет, — сказала я, — никогда…

— Не надо принимать скоропалительных решений, — сказал Мозгоклюй, сочувственно глядя на меня. — Сейчас вы расстроены. Вы воображали себя последним оплотом культуры, а оказалось, что вы — всего лишь камешек в ботинке. Я сочувствую вам. Не спешите отказываться. Подумайте. Вы же так это любите.

Мозгоклюй щелкнул клювом, и взор его погас. Машина плавно остановилась у тротуара.

— Я не прощаюсь, — сказал Мозгоклюй.

Поднялось темное стекло, автомобиль тронулся с места и затерялся в потоке машин.

Я стояла, пытаясь собраться с мыслями. Меня высадили на одной из центральных улиц. Все вокруг было привычным, обыденным и совсем не страшным. Меня толкали под локоть прохожие, вышедшие погулять в воскресный день — семьями, парами, с детьми и собаками.

Я понимала одно — мне повезло. Меня отпустили. От меня ничего не зависит. Я не должна спасать человечество. Я могу уехать, затаиться. Меня не найдут. В конце концов, мне никто не сможет помешать читать Канта под одеялом. На мою жизнь всего хватит — знаний, книг, слов.

— И шестикрылый мозгоклюй

На перепутье мне явился, — прошептала я машинально,

глядя на памятник поэту, схватившемуся за сердце.

— И шестикрылый мозгоклюй…

Мне следовало сосредоточиться. Я шла по улице, разговаривая сама с собой. Только бы не поддаться. Очень хочется жить. Прошел дождь, дунул ветер, осенние листья клеились к подошвам и лобовым стеклам машин, как почтовые марки. Что ж, — подумала я, утирая с лица капли. Похоже, все будет хорошо. Если бы меня не отпустили, это было бы через чур. Ы, ы, ин-те-рес-но, сколько у меня времени. Надо бы сегодня же собрать весчи и уехать в деревню. Там дом. Печка. Умею колоть дрова. Пахнут смолой. Зоведу сабаку. Тепло. Хрошо. Жить. Занесет снегом. Птом снг ростаит, будт еще всна. А потом прдет лто. Лто. Краыпрощдагя…

Туз Чаш

Символизирует силы, связанные с развитием искусств и прочей гуманитарной радости. В отдельных случаях может обещать появление новой религии, или чего-то в таком роде. Ну, к примеру, расцвет нью-эйджа вполне мог бы быть таким образом предсказан.

Что касается стихий, Туз Чаш отвечает, понятно, за воду. Наводнения, цунами и ливни — это по его части.

А нормальному живому человеку Туз Чаш указывает, что его отношения с, так сказать, Небесной Канцелярией складываются наилучшим образом. Он — на пике своей эмоциональной формы, и в его силах не останавливаться на достигнутом.

Ксения Коваленко
Дева озера

Роману Николаеву, с любовью и всякой мерзостью

… что бы ни видела во сне кроме того. Самое малое, раз в неделю — чужеродной вставкой, тем самым двадцать пятым кадром, с помехами, отделяющими эпизод от последующих и предыдущих. Сдвигаются стальные двери, отделяющие поезд от платформы, потом — стеклянные, с надписью «не прислоняться», и я опять не успеваю обернуться вовремя, и вижу через стекло только эти стальные двери, словно в бункере, а потом поезд трогается с места, и теперь уже точно всё.

Вагон покачивается, я сижу на обтянутой красным дерматином скамье, на моих коленях — маленький рюкзак из фиолетовой замши; в рюкзаке — два мандарина и книжка Ольги Седаковой. И от родины сердце сжималось, как земля под полётом орла. Строчки расплываются перед глазами. Третий мандарин я съела для храбрости два часа назад, сонными глазами скользя по окружающим лицам, въезжая на эскалаторе в вермееровский свет, даром, что ли, выбрала столик у окна.

Детали могут различаться, но по мелочи. Меняются люди на скамье напротив, фразы, сказанные до того, как я вошла в вагон; иногда удаётся поймать край силуэта на платформе, взмах рукой, пока дверь не захлопнулась. Бывшее до того размывается чем дальше, тем больше: фрески Альтамиры, живопись Пикассо, степной лук, изогнутый, будто нижняя губа старухи, явившейся королю Конайре, солнце в первый раз за три дня, несладкий кофе с молоком и корицей в избытке, запах табака на расстоянии руки, согнутой в локте, поданное пальто, промокшие ноги, на которых еле держусь, потому что до поручня не дотянуться, а вагон качает, а ещё нужно запрокидывать голову, чтобы видеть лицо собеседника.

Я всякий раз отлично помню эту вставку меж двух экранных помех, даже если остальное осыпается от времени; а если просыпаюсь, сердце ходит, как поршень, вверх-вниз, а губы приходится облизывать от коричного осадка.

Не знаю, рассыплюсь ли пеплом, или медленный огонь погаснет сам собой от недостатка воздуха.

Я возьму эту нехитрую историю и вплету её в какую-нибудь выдуманную жизнь, как звериную морду с жёлтыми глазами — в

орнамент на бумаге, потому что лист прячут в лесу, и камень — в груде камней, и перо — в подушке, и слово — в книге, и мышьяк — в чесночном соусе, и кровь — на пурпуре. И тогда, может быть, я снова буду спать спокойно.

— Что ты делаешь, вымокнет же! — Ира засмеялась, фыркнула, выскользнула из объятий, оперлась на бортик ванны и швырнула тетрадь к порогу.

— Нет, серьёзно, классно написано. Не автобиографично, надеюсь?

— Представь себе, именно что. Я помнила тебя все полтора года.

— А почему не звонила, как договаривались?

— Говорю же, сначала не видела особой нужды и соблюдала, как это называется, прайвеси: мне казалось, что в твоём предложении было больше вежливости, чем интереса, — Ира снова опустилась в воду, сладко потянулась и потёрлась щекой о мокрое плечо Максима; он хмыкнул и притянул её к себе, — а потом потеряла листок с телефоном.

Месяц назад они случайно встретились в районной поликлинике: она выписывалась с больничного, а он переоформлял документы на владение огнестрельным оружием. Её платье — синее, суконное, вышитое золотой ниткой, он заметил ещё издали, а когда подошёл ближе, понял, что эту девушку, читавшую про Гильгамеша в очереди к участковому врачу, он уже видел, и видел не в этом городе.

— Я тогда заметил именно платье; мне показалось, что дурной и заурядный человек в таком платье ходить не будет.

— А я в нём, кстати, приезжала в Питер — зимой, ещё до тебя. У меня тогда были чёрные волосы, большие серебряные серьги, и я целую неделю ходила в Эрмитаж — вставило тогда так. И вот сижу я на корточках в зале, где пазырыкские древности выставлены, разглядываю через стекло вождя. Помнишь, там такая сушёная вождиная голова, стоит и щурится грустно и злобно? Его можно понять, я бы на его месте ещё не так щурилась. Так вот, смотрим мы с вождём друг на друга, а мимо идут какие-то парни, приезжие, наверное, а один тычет в меня пальцем и говорит: "Родственники, гы!" Я обернулась, он как-то сразу сник…

— И правильно сник, с тем вождём вы даже в профиль не похожи.

Максим посмотрел на свою ногу в толще зеленоватой воды,

задумчиво пошевелил пальцами и потянулся за минералкой.

— Кайф! Слушай, а давай не будем вылезать, а выключим свет и уснём прямо здесь?

— Что ты! Соседи сбегутся.

— Окстись, какие соседи? Под нами — никаких соседей, кроме мышей; это первый этаж, забыла?

Сейчас она действительно забыла обо всём: и о том, что первый этаж, и о затяжном конфликте на работе, и о неумолимо надвигающемся разговоре с Игорем.

— Вообще, — Максим с наслаждением сделал ещё один глоток и передал бутылку Ирине, — я бы с радостью стал какой-нибудь глубоководной тварью. Я в глубине души, наверное, и есть глубоководная тварь.

— Удильщик с фонариком?

— Нет, не удильщик. Я очень интересная тварь, человекообразная, но со многими конечностями. Конечности испускают импульсы вроде электрических, и чтобы что-нибудь конечностью хапнуть, не нужно эту конечность даже тянуть. Так, пошевелить лениво — и всё, что надо, само приползёт.

— Ты станешь тучен, обрюзгл и малоподвижен.

— Фиг вам! Я умею очень быстро и красиво плавать. Но плаваю я только из любви к искусству и ради кайфа, потому что глубоководный аристократ и спортсмен, а не плебей, вынужденный шустрить ради пропитания.

— А я на самом деле — озеро или море, мне однажды такое приснилось. Я умею шевелить волнами, топить корабли и разглаживать камни, у меня песок на дне, а когда сквозь меня проплывает рыба, делается немного щекотно. Нет, не так — я сказала, немного! А самое приятное, когда растёт морская трава…

— Зато у меня — сверхбыстрая реакция, и я умею видеть инфракрасные лучи и ультрафиолет!

— А у меня — всякие сокровища на дне!

— А я умею светиться в темноте! Хочешь, покажу…

… В глаза ударил свет; Ира выскочила из остывшей ванны. Максим уже вычерпывал ковшиком воду с пола, бормоча под нос непечатное. Двадцать минут спустя они сидели на кухне, прихлёбывая кофе; Ира красила ресницы и пыталась не думать о том, что ей скажут на работе, на которую она уже безнадёжно опоздала.

— Ты им ответишь, что всю ночь топила корабли. Или они не в курсе твоей океанической сущности?

— А твои жулики знают, что дядя милиционер, на самом

деле, — не пойми что со щупальцами?

— Отбрила, да. Придёшь сегодня вечером?

— Угу, только ненадолго. Должны же родители хоть иногда видеть обожаемую единственную дочь… А с работой — тоска, на самом деле: занимаюсь непонятно чем, и никого не интересует, какая я на самом деле прекрасная, а интересует только объём продаж. Ах!

Ира преувеличенно вздохнула и поставила чашку в раковину.

Целый день она исподволь наблюдала за коллегами. Начальник отдела был похож на шотландского терьера; дизайнер Паша за соседним столом — на любовника Марии Стюарт Джеймса Хэпберна Босуэлла; пришедшая прямо перед обедом клиентка — то ли на смышлёную маленькую обезьянку, то ли на актрису Ахеджакову. Из сумки менеджера Светланы торчала книжка "Просто о сложном; весь Пауло Коэльо за двадцать минут". Марта Владимировна из проектного скривилась от попсовой песенки из радиоприёмника. Ира дописала последнюю строчку отчёта, поднялась и переключила на джаз.

Вечером Максим был мрачен, не сразу отвечал на обращённые к нему слова и отмалчивался при попытках расспросить, что случилось.

Ира допила вторую чашку чаю и собралась уходить. Потом расскажет, если оно того стоит.

— Подожди! — Максим встал с кухонного табурета и отошёл к окну. — Таська написала мне письмо, сегодня из ящика достал.

Ира, ставившая в холодильник блюдце с лимоном, звякнула им о большую банку с огурцами; через секунду она закрыла белую дверцу и прислонилась к ней спиной.

— И что пишет?

— Пишет, что скучает, что хочет вернуться, что всё поняла, что дура была законченная, что любит… Ирк, что делать?

Он опустился на пол, усевшись по-турецки, Ирина подошла и села рядом.

— Что делать? Брать отпуск, отбазариваться от Димки, с которым вы хотели ехать на Алтай, мотать в Омск, или в Томск, или где она у тебя там сейчас, брать её с собой, выгуливать по горам, сколько надо, а потом везти сюда и больше не отпускать. А ещё лучше — увольняться и вместе возвращаться в Питер. Вот что делать.

— А ты?

— А что я, у меня Игорь. Бог знает, получилось бы у нас с тобой что-нибудь хорошее, но двоим человекам точно было бы

плохо от этаких экспериментов. Двоим — это минимум, на самом деле.

— Спасибо тебе, — он крепко обнял её за плечи и уткнулся лицом в её волосы. Она осторожно высвободилась из-под руки, погладила его по голове и отправилась в ванную. Лицо пылало, глаза лихорадочно блестели, но были сухими. Она улыбнулась зеркалу и не снимала улыбку с лица, пока не вышла из подъезда. Бормоча в такт шагам какие-то стихи, она прошла пешком все три остановки, разделявшие их дома, сказала родителям, что очень устала на работе, отказалась от ужина и провалилась в тяжёлый сон без сновидений.

Максим должен был выйти в отпуск через две недели, аккурат после летнего солнцестояния. Они как-то молчаливо решили провести это время, как ни в чём не бывало. Съездили на шашлыки к максимовой кузине, сходили в недавно приехавший Луна-Парк, а потом ещё два раза — в кино, всласть нагулялись по окрестностям, сообща устроили три феерические дружеские пьянки. Он втыкал ей в волосы жасмин и обрывал для неё ирисы в чужих палисадниках; перед хозяйкой одного палисадника он картинно встал на одно колено и она сама вынесла ему три высоких острых стебля с нежными лиловыми цветами. И по ночам тоже всё было хорошо: он действительно светился в темноте, как серебряная молния, а она была похожа на медовое осеннее яблоко с тонкой кожицей. На солнцестояние было решено большой компанией ехать на озеро где-то дальше Сормова; за три дня начали обзванивать друзей.

— Что я забыл? — Максим свирепо метался по комнате, укладывая рюкзак; разложенные кучками вещи тонким слоем покрывали пол. Ирина сидела с ногами на огромной тахте и флегматично вышивала трилистник на замшевом кошельке. Крестиком.

— Водку взял?

— Водку — взял.

— Это главное. На остальное у тебя список: берёшь, сверяешься и планомерно укладываешь пунктик за пунктиком. Ты уже семь лет ходишь по лесам, а нервничаешь, как в первый раз.

— Мы опаздываем, мы уже опоздали!

— Успокойся, все остальные опоздают ещё сильнее.

Так и случилось. Когда Ирина (с продуктами на компанию) и Максим (с большим рюкзаком для дальнего путешествия) подошли к филфаку, похожему после ремонта на кремовый торт,

из обещавшихся десяти пришли только трое.

— Ждём двадцать минут и уходим! — в Максиме проснулся педант.

Впрочем, через двадцать минут подошли все, кого ожидали, а два человека сверх того ещё и сели компании на хвост. Перегородив Покровку, шли на автобус, смеялись, пели; Ирина держала Максима под руку и рассеянно улыбалась.

— У тебя такой вид, будто он сделал тебе предложение, — Натка зацепилась за вторую иринину руку.

— Не угадала, мы сегодня расстаёмся, — шепнула ей на ухо Ирина и подмигнула, точно заговорщица.

Сперва всё было хорошо. Пили импровизированную шафранно-имбирную настойку (засыпать имбирь и шафран в бутылку водки, тщательно взболтать), жарили на огне сосиски, пекли картошку, орали песни. Потом нестойкие личности засопели около костра, стойкие завели какую-то глубокомысленную беседу, а парочки начали расползаться по окрестным кустам.

Ирина сплела венок из ромашек и два раза переплыла озеро. Максим принёс ей на берег одежду, они выпили ещё по глотку ядовито-жёлтой гадости и залезли в спальник.

Выспаться им так и не удалось: один из севших на хвост, выпив настойки, оказался панком, русским националистом и любителем Достоевского, начал громко жаловаться на экзистенциальное одиночество и несовершенство мира, заблевал собственный спальник, пошёл на озеро его стирать, благополучно потерял и, задушевно матерясь, начал искать пропажу по окрестностям, то и дело спотыкаясь об Ирину и Максима. Этого последнего он, в довершение всего, растолкал с просьбой о пяти рублях на проезд и даже получил желаемое, с дополнением в виде полного набора фактов об интимной жизни и происхождении всех своих панковских родственников, а за компанию — и не раз этой ночью поминавшегося Фёдормихалыча вкупе с Николаем Бердяевым и Константином Леонтьевым.

Спать дальше не получалось, к тому же, солнце поднималось всё выше и сияло всё ярче. Максим заправлял джинсы в казаки и ругался, Ира, приподнявшись на локте, наблюдала за ним. Панк, наконец, уехал, все остальные разошлись ещё раньше. Когда Максим застёгивал куртку и завязывал шейный платок, Ира начала тихонько всхлипывать, а когда он утягивал ремни на рюкзаке, она уже рыдала в голос, подвывая, как зверь, спрятавшись с головою в спальник, скрючившись там, как

младенец в утробе, так что он не видел её искажённого лица и лишь смотрел сверху вниз, как она корчится у его ног бесформенным кульком, смотрел, не зная, что сказать и чем помочь. Наконец, она притихла, высунула из мешка красное опухшее лицо с прилипшими ко лбу потемневшими волосами и хрипло попросила передать одежду. Он передал, а потом, повинуясь её жесту, отвернулся.

— Я не буду тебя провожать, ладно?
— Угу.
— Счастливого пути.
— Счастливо оставаться, Ириша. Всё будет хорошо.

Он развернулся и пошёл вдоль берега. Шагов через двадцать она окликнула его. Он обернулся: Ирина в длинном светлом платье стояла и махала ему вслед; её лицо закрывала кожаная маска с бретонским пейзажем и отделкой из ракушек.

Когда Максим скрылся из виду, она сбросила одежду и спустилась к воде. Со стороны города доносился колокольный звон, небо над головой напоминало перевёрнутое море, на песке трепетала крылышками бабочка-голубянка. Она тронула воду пальцами ноги, затем ступила в озеро и медленно пошла вперёд. Когда вода подступила к её груди, шее, глазам, она не поплыла, как сделал бы любой на её месте, но продолжала мерно идти вперёд и смотрела на солнце, не щурясь. Над макушкой вода сомкнулась очень мягко, и никаких кругов видно не было.

Её родители, нашедшие на берегу озера светлое платье, да ещё Игорь, ирочкин жених, которому они сразу позвонили — эти трое были единственными людьми в городе, кто в три следующие ночи не видел снов. Прочие же обитатели города прижимались во сне лицом к оконному стеклу, заворожённые невиданным зрелищем. В город пришло море. Оно подступало под форточки верхних этажей, накрывало дома с головой, его тяжкие подводные течения колыхали бельё на балконах, его рокот убаюкивал птиц на лету, и птица была с трудом отличима от рыбы. Огромные скаты шевелили крыльями над припаркованными автомобилями, в канализационных люках змеились мурены, на клумбах и в песочницах цвели актинии, изредка огромные кальмары проходили за окном, как дирижабли, ритмично мигая бортовыми огнями. Порой подводная тьма становилась ещё гуще — над городом проплывала тяжёлая туша кита. Утром море уходило, чтобы на следующую ночь появиться снова.

Максим ехал три дня и три ночи, как в сказках рассказывается. Утром четвёртого дня он стоял на пороге редкостной красавицы и умницы Таськи Барановской, а красавица и умница, болтая ногами, висела у него на шее, издавая нечленораздельные, но вполне понятные звуки. Герой был впущен в прихожую, с героя был снят рюкзак, герой был снабжён тапочками и препровождён на кухню. Когда у героя было спрошено, чего он хочет раньше, завтракать или в душ, герой, не колеблясь, выбрал второе. Некоторое время из ванной раздавалось довольное фырканье, потом оно смолкло, а потом как-то незаметно прошли два часа. Таська спросила, долго ли дорогой гость намерен болтаться в ванной и чем он изволит завтракать, потом спросила погромче, потом решила заглянуть в ванную — и замерла на пороге, ничего не понимая, потому что ванна была полна воды, но человека в ней не было, как не было его нигде в ванной комнате, включая настенный шкафчик для косметики.

На четвёртую ночь жителям города перестало сниться море, а на пятый день исчезла и тень воспоминаний об этом. И ничего не изменилось, в самом деле, вообще ничего, только пожилая чета в одной из сормовских квартир выглядит на все восемьдесят в свои неполные шестьдесят, да у Таськи Барановской, редкостной красавицы и умницы, уже лет пять как никого нет. А Игорь Федотов запил по-чёрному. А ещё озеро на окраине города стало чище, и в нём появилась рыба, а один панк, по совместительству националист и любитель Достоевского, видел, нырнув в это озеро спьяну, странного зверя — вроде как человек, а вместо рук — щупальцы, и вместо ног — щупальцы, и много их — рук с ногами, и плавает быстро, и светится в темноте, и лица не разобрать, только гудит голос в голове: "Отдай пять рублей, отдай пять рублей".

Он ещё полгода всем об этом рассказывал, только кто же ему такому, ясное дело, поверит?

Туз Мечей

Заведует информацией, интеллектуальными радостями и органической жизнью в целом заодно. Идеи, которые овладевают человечеством — по его части. Пропаганда этих идей — тем более. Ложь в особо крупных масштабах — за этим тоже сюда.

Стихийные бедствия, которые может сулить Туз Мечей — бури, смерчи и ураганы. И еще одно очень интересное "стихийное бедствие" в его ведении: способность людей сознательно обрекать на бессмысленные мучения себе подобных.

Человеку Туз Мечей в благоприятном раскладе сообщает, что его воля сейчас способна творить любые чудеса, и этим надо пользоваться (и желательно — развивать). А в неблагоприятном недвусмысленно указывает на опасность психического заболевания.

Андрей Эмов
Происшествие на улице Пивоваров

В одном городе произошел следующий казус.

Была в этом городе обменная лавка.

Обыкновенная лавка, как везде. На улице "Пивоваров 12" стояла.

Пивоваров — это не фамилия знаменитости или героя какого — на этой улице давно, говорят, пиво варили отменное.

Работала с девяти утра до шести вечера с перерывом на обед, очередей почти не было — средней популярности была лавка.

Вначале, когда ее только поставили, там меняли валюту на рубли — доллары, евро — а ведь другой валюты у простого народа то и не было, а если что экзотическое — юани там или фунты стерлинги — так то в банк идти надо, что не подалеку за углом на Речной стоял.

Почему стоял, спросите?

Так нет уже банка там, как и много другого в этом городе — за ненадобностью.

Но лучше я все попорядку расскажу…

Когда перемены в стране начались — перестройки, цены скакать стали. продукты то исчезали и появлялись — одним словом — свобода, то разрешили в обменных лавках все менять.

Ну вот все, что хочешь то и меняешь.

И професия новая появилась — обменщик — человек, который мог оценить ценность товара на обмен. Модная професия — доходная.

Вот на пример — есть у вас дома ненужная кастрюля, вы берете ее и идете в обменный пункт. Там обменщик смотрит на нее и говорит:

— Ничего так кастрюля. Могу дать за нее одну штору, или поломанный детский стульчик или бокал шампанского на месте.

Вы поторгуетесь хорошенько, расскажите, что кастрюля вам досталась от любимой тещи, что в ней еще варить и варить, причем все — даже сталь — глядишь и с собой забрать шампанское разрешат.

Народ в городе сначала не очень то обменивать добро торопился, а потом втянулись все.

Появились очереди. Записи на требуемый товар по обмену. Спекуляция обменом из-под полы.

В общем все как у людей опять стало.

Даже про валюту опять забыли.

И вот в одно прекрасное утро, отстояв в очереди, у окошка обменного пункта на Пивоваров 12, оказался человек. В руках у него ничего не было, но это не привлекло внимания — может у него обменный товар в кармане лежит.

Человек почесал затылок, кашлянул, зачем то хлопнул в ладоши и сказал:

— Я бы хотел обменять свою голову.

Народ в очереди даже не сразу понял, что сказал человек, а обменщик, решив, что наверное ослышался и в который раз уже обругал про себя Катьку с Тупикового проезда, подозревая, что она разбавила вчерашнюю водку какой-то гадостью из экономии, и у обменщика всю утро трещала голова, перспросил:

— Что, простите, вы хотите обменять?

— Я бы хотел обменять свою голову, — повторил человек и улыбнулся.

— На что? — растерялся обменщик.

— Все равно, — ответил человек.

— Простите, но как вы можете обменять свою голову, что же у вас тогда останется?

— А что дадите, то и останется.

— А как же мне оценить вашу голову, у нас такого в прейскуранте нет, да и кто потом ее у меня возьмет, так и будет валятся на полке, а с меня потом вычтут, — начал ворчать оценщик, все еще не веря в происходящее.

— Но это же не противоречит правилам — "Вы можете обменять любой ненужный товар, на другой необходимый". Голова моя мне не нужна, я бы что-нибудь другое взял попрактичней.

Очередь уже начала волноваться почему так долго какой-то человек стоит у окошка — те кто стоял поближе удивленно поразевали рты, а те кто стоял далеко и не слышал в чем дело, напирали и ругались.

И может действительно вчера Катька с Тупикового проезда разбавляла водку какой-то гадостью, а может просто обменщику не хотелось устраивать скандал и звать милицию, так как под полкой у него лежал неучтенный товар, но обменщик вдруг сказал:

— Могу дать чайник, — и помолчав добавил, — со свистком.

— Идет, — сказал человек, снял голову, взял чайник, расписался и пошел домой.

Очередь так и ахнула — идет себе человек без головы и

весело так идет.

История эта тут же разнеслась по городу.

Началось разбирательство, может ли человек без головы жить.

Репортеров набежало, ученых — все спорят, версии выдвигают.

А человек живет себе преспокойненько, только чайником посвистывает.

А главное все же видят — счастлив человек и все тут.

Даже женился.

И все бы ничего — привыкли потом к этому, русский же человек ко всему привыкает, да как-то раз к тому же обменному пункту на Пивоваров 12, подошел еще один человек и тоже решил обменять голову.

А как откажешь — прецедент уже был, да и такса сама собой определилась — обменяли.

И опять весь город вколыхнулся — ведь хорошо ему, человеку то без головы, даже лучше стало.

Что тут началось — все бросились менять свои головы.

Всем счастья хотелось.

Городские власти пытались остановить это, даже посадили того обменщика, который первый раз голову обменял, а потом взяли и сами обменяли свои головы — не отставать же от народа.

И город изменился так — люди больше не мучались вопросами всякими — что на что обменять, где достать. Отпали все вопросы — что делать, как жить…

Люди просто жили и все.

Обменные пукты уже никому не были нужны, банки позакрывались…

Один оценщик, про которого все забыли, сидел в тюрьме, и обхватив руками, страдал:

— Все таки разбавила тогда Катька с Тупикового проезда водку, разбавила, сама то небось без головы сейчас ходит, счастливая, а у меня, до сих пор болит от той водки…

* * *

Как называется город, я к сожаленья сказать не могу — засекретили его, что бы вся страна не ринулась туда головы обменивать, охрану выставили вокруг города.

Правда, говорят, охрану периодически надо новую посылать — пропадает неизвестно куда, и найти не могут — ведь ищут по

документам. а там фотография, а как по фотографии опознать человека, если у него головы нет — а никак.

Вот такой вот казус случился в одном городе.

Туз Дисков

Заведует как движением всех твердых космических тел, так и материальной культурой человечества. Освоения новых территорий, масштабное строительство — это его сфера влияния. Освоение природы и добыча природных ресурсов — тоже.

В неблагоприятном раскладе он указывает на экологические катастрофы; в некоторых случаях сулит утрату территорий, далеко не обязательно насильственную (вот, скажем, продажа Аляски — ярчайший пример события, которое могло быть таким образом предсказано).

При гадании Туз Дисков обычно сообщает человеку, что сейчас самое время заняться хозяйством, построить дом, посадить дерево, развести кур, или, чем черт не шутит, податься в золотоискатели, а то и нефтяную скважину на огороде раскопать. То есть, в благоприятном раскладе эта карта сулит быстрое и легкое обогащение.

В неблагоприятном Туз Дисков не то чтобы гарантирует разорение, но велит хорошенько присматривать за тем, что уже есть, а то как бы крыша на голову не рухнула.

Ирина Чуднова
Камень

I

В то лето я жила с такой скоростью, словно кто гнался за мной. При попытке восстановить очерёдность некоторых тогдашних событий, создаётся ощущение, что в некую единицу времени я могла, нет, просто обязана была, находиться одновременно в двух точках пространства. И дело было даже не в скором отъезде — до середины лета я вообще ничего не знала о нём, видимо, в те дни моя обычно медлительная парка страдала приступом немотивированного трудоголизма, навязывая и напутывая множество крепеньких узелков с далёкими последствиями в затейливый коврик моей судьбы.

У лета 1993 года был вкус переспелой донской вишни и крепких майкопских яблок, клубничного варенья, кипящего в огромном тазу под раскидистым ореховым деревом, колодезной воды и студёной водки, намешанной в разнокалиберной посуде с покупным абрикосовым или персиковым ликёром — по тогдашней интеллигентской моде. Начало июля скрипело на зубах лёссовыми суглинками — мы копали приазовские курганы. Это было хорошее дело, где-то даже выгодное, археологические изыскания проводились спешно, на степном участке, идущем под застройку дачного кооператива, подрядчик платил как за земляные работы, в зависимости от вынутого и срезанного с поверхности кубометража. Раз в неделю два крепких молодых человека с бритыми затылками, Олег и Сергей, привозили деньги, подписывали у начальника партии очередной акт, а после не брезговали нашей водкой, за столом травили одним им смешные анекдоты, деловито пошучивали о покойниках пятитысячелетней выдержки, поторапливали. Дачные участки размечали прямо по нашим вчерашним квадратам, счастливцы-хозяева тут же завозили стройматериалы и саженцы, иногда заглядывали в свежие раскопы, крестились и с живостью интересовались, куда мы деваем все эти кости, неужто каждую в музей под стекло? Дачников отваживали напускной неприветливостью — в некоторых могилах позднего, сарматского, времени попадалось золото, чужие глаза на раскопе были ни к чему. Впрочем, большинство захоронений были более древними, изредка содержали в себе кроме костяка один-два лепных сосуда грубой

выделки и совсем редко украшения, вроде бус, колец, браслетов, нашивок на одежде да наконечников стрел или копий — если покойник был знатным воином. Детские погребения не были столь скудны — малышу давали в загробный мир пищу, игрушки, обережки, взрослый же мог всё добыть своими руками. Такая забота древних о детях трогала не на шутку, иной раз чуть не до слёз — подумать только, ведь это современники египтян, из металлов знавшие лишь медь и бронзу, жившие не более 30–40 лет, всё достояние их — стада и оружие, быт — война и кочевье, их дети умирали чаще, чем вырастали, но каждому младенцу в могилу давали больше, чем он имел при жизни. В этом было столько близкой нам внутренней логики, что как-то невольно ощущалось родство с этими безымянными племенами, оставившими в наследство только свои могилы. От кочевников вообще остаются в лучшем случае гробницы и, если повезёт, воспоминания умеющих писать соседей.

В тот день в силу разных обстоятельств на раскопе нас было лишь трое. Мы с Р., вооружившись лопатами, шли за бульдозером, из-под ножа которого обнажалась рыжая глиняная плоть срываемого слой за слоем кургана. Наше дело было не дать срытой земле навалиться с боков, и проверять чёрные пятна в суглинке — могила там или сурчина, при обнаружении захоронения в ход шли лопаты, а затем ножи и кисточки. Нам везло — в тот день мы прошли трёхметровый курган до основания и ни одной впускной могилы, никакой ручной работы — а денег как за неделю труда! Мелькала даже шальная мысль, что курган естественного происхождения, но прямо у материкового основания показалось чёрное пятно удивительно правильной, хрестоматийной формы — надо же, ровно по центру, идеально ориентированная могила, разве чуть шире, чем обычно. Через несколько часов, докончив расчистку, мы втроём сидели на краю раскопа, курили по четвёртой папиросе кряду, цедили дымящийся на жаре кофе из термоса и всячески тянули время. Погребение было к тому моменту полностью зарисовано и сфотографировано, расчищено с ювелирной точностью, а желания начать, наконец, разбирать костяк не было ни у кого. В могиле лежали двое — он и она, высокие, двухметровые красавцы, прямые, гармонично сложенные с чуть удлинёнными ритуальной деформацией черепами — члены знатного рода, вожди. Сохранность скелетов удивляла перевидавших тысячи могил археологов — грудные клетки и кости таза, не провалившиеся внутрь за несколько тысяч лет, головы повёрнутые друг к другу, глаза в глаза. Первым нарушил молчание Р.:

— Умели хоронить, чёрт их возьми! Какое место, и ни одной

сурчины! — землеройки и кроты часто разрушают курганы, перетаскивая предметы и кости от одного обладателя к другому, тасуя целые эпохи и порождая забавные ситуации.

— И ведь заметь, ни одного впускного погребения, скажи, ты вообще видел когда-нибудь такое: трёхметровый курган и чисто, а ведь только вчера закончили копать тот кошмар — в пахоте полуметровка и костяк на костяке — уж как эти умельцы их только ни утрамбовывали — а правее сто метров — это чудо, и хоть бы хны! — Е. затягивается так, что дым едва не идёт их ушей. А ведь действительно странно — скифы, сарматы, половцы, да и казаки очень любили такие места — готовый курган, сухо, высоко, ничего насыпать не надо, вырой могилу, положи дорогого покойника и плиту надгробную сверху. Идеальный случай, но никто — ни человек, ни зверь не позарился..

— Заговорённое какое-то место! — добавляю я. Мне позволительно озвучивать подобные глупости — на правах девятнадцатилетней романтической особы.

Р. бросает пяточку «Примы», сплёвывает и первым соскальзывает в яму. Я тоже поднимаюсь и иду к бульдозеру за коробками. Скелеты подобной сохранности — находка для антропологов.

— Слушай, а какой у тебя рост? — обращается ко мне Е. в тесном пространстве раскопа.

— Метр семьдесят, а что?

— А дай-ка руку!

Прочное, желтоватое кольцо из гладкой плотной кости как влитое садится на мой безымянный палец.

— Я, фигею, ребята! Это ж, какой размер пальца, если она на тридцать сантиметров выше!

— У меня восьмой, — бормочу, рассматривая кольцо, голова кружится, наверное, от жары и тесноты раскопа.

..Ребята сказали, что я не приходила в сознание минут десять, после того, как меня выволокли из ямы. И только когда сняли кольцо, потихоньку пришла в себя. Доработали молча. Рассортировали собранное, как положено, обернули в мягкую бумагу, описали в полевой книжке. Я спустилась последний раз в уже пустой раскоп, проверить, не осталось ли где чего незамеченного, нож глухо скрёб по материку, пальцы машинально просеивали суглинок, пока не наткнулись на камешек. Обыкновенный ракушечник, такой в изобилии в бортах донских балок и в стенках крутых берегов притоков Дона, Северского Донца, Аксая. Рука сама зачем-то сунула его в карман.

— Нет, ничего! Чисто! — кричу наверх.

— Тогда вылезай, на сегодня достаточно наработали. Пойдём ужинать и хвастаться начальству!

Вечером, сославшись на дневной случай потери сознания, я, отказалась от участия в дружеской попойке, ушла в глубину сада, что прилегал к снятой на сезон даче, мазаная казачья хатка которой громко именовалась в наших отчётах «временной базой Придонско-Приазовской археологической экспедиции-1993». Там, в глубине сада, у ручья, моё любимое место, комары по странности брезговали им, предпочитая лёгкую добычу на веранде под фонарём. От воды тянуло свежестью, стрекотали кузнечики. Я, не разжимая пальцев, опустила руку с давешним камушком прямо в ручей, закрыв глаза, ловила кожей чистый, упругий ток воды. Сумерки за спиной доедали деревья и очертания соседских домиков, мычали коровы, мерно стучала ниже по склону электричка Ростов — Миллерово. Подумалось, что вот лежу я тут на второй древней террасе реки Аксай, а раскопы наши наверху, на водоразделе, и что пять тысяч лет назад река была много полноводнее, климат суше, а зимы суровей, и что знания эти почёрпнуты мной из курса геоморфологии, и что всего три года назад я не была точно уверена, хочу идти на геологический или исторический. В условной борьбе между камнем и черепком победил камень, а точнее — тяга к древности, захотелось охватить вниманием не только обозримую историю рода людского, но и всю историю Земли. Рука в ручье закоченела, утратив чувствительность, кулак не разжимался, я потрясла им в воздухе, согревая мышцы. Вот спрашивается, зачем я взяла этот камень из раскопа? Откуда у меня вообще эта дурацкая привычка вечно таскать при себе камушек-другой, сколько помню себя — с самого сопливого детства в кармане то пёстрый змеевик — «камень от Уральских гор», то отполированный кусочек облицовки, подобранный у памятника, то и вовсе — не примечательный голыш, из лужи. Мама всё время выбрасывала, а я подбирала снова и снова. Так, кажется, и по сей день — подбираю, хотя уж давно собрала симпатичную коллекцию минералов, привезённых из походов и геологических поездок по Кавказу и другим местам. Забавно, лет до 13 я всерьёз полагала, что выражение «камень за пазухой» означает нечто, вроде «иметь что-то за душой», да и «каменное сердце» представлялось комплиментом.

Холодно. Горячего бы чаю со свежей малиной и спать. Я пошла к дому, за спинами тёплой компании. На веранде ночная мошка и мотыльки бились в стекло фонаря, незадачливые их собратья падали на заботливо подстеленные газетные листы. Я

налила чаю из ведерного самовара, дрова для которого колол лично начальник экспедиции. Сахар по талонам, зато на столе всегда конфеты, впрочем, их-то я как раз и не люблю, вот фрукты-ягоды — вишня, малина, клубника, крыжовник — другое дело.

— Ты чего, простыла, чаи с малиной гонять? — басовито поинтересовался начальник.

— Нет, замёрзла просто.

— Замёрзла — выпей водки, с народом! — подмигнул он хитро и неожиданно трезво — Какой у тебя размер пальца, ребята говорят, вроде, седьмой?

— Восьмой.

— Ничего себе пальчики, как у белошвейки! — он внимательно смотрит на мои — А росту два метра, вот были бабы! Ладно, отдыхай, не мешаю.

Обернувшись ко мне загорелой спиной, начальник налил из самовара чаю и вышел вон.

Чашка приятно согревала руки. Я положила на стол давешний камешек — он был всё ещё немного влажным, после ручья, вокруг окаменелой раковинки вился кремнистый прожилок, сверкали кристаллики кальцита. Перекристаллизованный органогенный известняк, ранне-неогенового возраста, формой немного напоминающий резную фигурку, что-то вроде нэцке. Чуть округлый, камушек уютно лёг в руку. Я сунула его обратно в карман и допила чай. Пара страниц из любимого в то лето Проппа «Исторические корни волшебной сказки» — это уже в постели, на походной кровати, пока глаза не закрылись сами собой — вот и прожит ещё один день..

..свист копий, ржание коней, мечутся отблески костров, сквозь топот копыт слышны гортанные крики и плачь детей, скрипя, разворачиваются вокруг костров тяжёлые возы, воины организуют оборону. Степь пахнет типчаком и гарью, ветер помогает стрелам нападающих, те стреляют, передвигаясь ползком по земле, из темноты, на свет костров. Оседлав коней, защитники разделились на два отряда, обходят нападающих с флангов, с гиканьем, на полном скаку, отвесно пускают стрелы вниз, в тёмную траву, из которой летят смертоносные ответы, впиваются острыми жальцами в конных, раня и убивая. Я привязана к грубому деревянному колесу, рядом кто-то корчится и стонет, пьяняще и душно пахнет кровью и гарью — кто я и зачем здесь? Поднимаю голову — вижу: там, в гуще битвы двое — он и она, каждый слился с конём, но не прячет голову в густой гриве, отряд следует за ними, чуть отставая, до тех пор пока те двое не падают почти

одновременно, словно наткнувшись на невидимую стену. Повозка надо мной вдруг раскачивается угрожающие и увлекает меня вниз по склону, ломая кости и разрывая мышцы..

Ветки ореха дробно стучат в окно — на улице ветер и дождь. Похоже, выходной, товарищи полевые изыскатели, отдыхаем и камералим до упора. Надо ж, какой приснился сон. Впрочем, не удивительно — быть впечатлительной в 19 лет не порок. Да ещё и кости-то эти, вчерашние, под моей кроватью лежат, как, впрочем, и всё найденное, опять же — Пропп перед сном. Выходной кстати, съезжу-ка я в Ростов, сорок минут на электричке туда, вечером обратно..

Обратно в то лето больше не получилось. Парка начала новый узор. Только сон про неведомый степной бой стал сниться время от времени, всегда под утро, в дождь. Камушек вновь обнаружился в Китае, сунула руку в карман и нашла, назначила талисманом, и уже намеренно не расставалась с ним.

II

..По пустынной реке моя лодка плывёт
в час закатных теней в мир иной.
А на Млечной Реке, средь межзвёздных болот,
полумесяца серп надо мной..

В китайском городе, куда определил меня узор парки, дожди были самым частым погодным явлением. Время шло, незаметно и неотвратимо, как усилия той старухи, что делает швейную иглу из толстого песта, стачивая его о камень. В какой-то момент ощущение изломанной шеи из предутреннего сна стало навязчивым, как и перетёртые в пюре иллюзии юных лет. Впрочем, это сегодня я называю вещи их именами, а в тот год было лишь ощущение жизненного тупика, я топталась на развилке двух дорог, по левую руку — возвращение на родину, по правую — возможность потратить ещё несколько лет на то, чтобы найти себя в новых декорациях. И тот и другой варианты были равно возможны, требовали равных усилий и казались равно же неинтересными. Ни одна чаша весов не хотела перевешивать. Я плыла по течению, массируя по утрам шею, дождь не желал кончаться, на юге страны начались наводнения, и мне неожиданно предложили поездку в Россию, с возможностью побывать на родине. Накануне отъезда я отправилась на

велосипеде в одно из любимых мест на Восточном озере. В сумерках берег полностью скрыл меня от любопытных глаз, за спиной шумела просёлочная дорога, по ней проезжали машины и мерно проходили волы, тяжёлый, влажный воздух субтропиков монотонно распиливали цикады. От стоячей воды несло водорослями. В коротких сумерках я пробралась по камням метров на 20 от берега, туда, где озеро было чище и холоднее, на прибрежном же мелководье вода покрыта плёнкой и отвратительно тепла, как подкисший суп. Завтра в это время я буду идти по пекинским улицам, а ещё через пару дней — по московским — легко ли поверить в такое? Я вынула из кармана руку с привычно зажатым в ней камнем и сунула в воду. Рука быстро покрылась пузырьками воздуха, которые, отрываясь, тянулись ниточкой к поверхности и лениво лопались. По камню, рядом со мной, сновали мелкие крабы, я посидела бездумно ещё минут пять, глядя на огни дальнего берега, и вернулась к велосипеду. Похоже, в эти пять минут что-то сдвинулось во мне с мёртвой точки, будущее стало чуть менее безразличным, а мир вокруг чуть более красочным, я уже знала, что сделаю в эту поездку обязательно, даже если все другие планы провалятся.

Есть круги, которые мы замыкаем, для того, чтобы они не замкнули нас навечно внутри себя. Через месяц я сошла с пригородной электрички Ростов — Миллерово на станции «Малый Мишкин». По крутой тропке вверх, мимо казачьей таможни, памятника истории и архитектуры 17 века, по мосткам через балку, по дну которой течёт тот самый ручей, затем вправо, по улице, до бывшей «временной базы Придонско-Приазовской археологической экспедиции-1993». На подходах к калитке решимость стала меня покидать — что я скажу хозяевам? Но во дворе видимое запустение, калитка покосилась, её заржавленную щеколду давно не открывали. Я постояла, глядя на облупившуюся синюю краску. А спросят — скажу, что подыскиваю дачу, по старой памяти заглянула сюда. Во дворе густо росла лебеда, по-хозяйски кустилась сквозь доски веранды. По едва заметной тропинке я спустилась в сад, ниже, нашла по чуть слышному шуму ручей, раздвинув траву, увидела зеркальную поверхность и отборный песок дна. Обмелел ты, дружок, курица напьётся, замутит. Я вынула из кармана камень, сунула руку в воду и разжала кулак. Вода текла сквозь пальцы, ласкала их, рождала в душе уверенность, что всё идёт, как должно, камень лёг на мягкое песчаное ложе дна, я чуть прикоснулась к нему безымянным пальцем. Круг замкнулся.

Я нашла под старым орехом несколько спелых плодов и с лёгким сердцем спустилась к станции. Хорошо бы вернуть все подобранные когда-то камни на их места. Пожалуй, тогда и наступит та самая свобода-нирвана, да кто ж эти места помнит?

2 Жезла
Господство

Эта карта указывает, что человек, которому гадают — хозяин в собственном доме (или хороший начальник); все, что он делает в этом качестве — правильно и полезно.

В плохом раскладе Двойка Жезлов открывает нам самодура и мелкого тирана: "начальник всегда прав", "мамка с работы пришла", и все в таком роде.

Татьяна Замировская
Три поросенка

Жили были три поросенка, три друга: Сергей Сергеевич, Юлиан Юлианович и Михаил Михайлович.

Настало время строить им зимний дом. Летом они жили в сарае, а потом сарай снесло жилищное управление, и жить стало негде.

Сергей Сергеевич защищал диссертацию и у него не было времени. Поэтому он построил дом из шпон.

Юлиан Юлианович много переживал из-за своей молодой любовницы, которая лежала в больнице с подозрением на меланому, поэтому дом он построил из икон. Иконы Юлиан Юлианович скрал в церкви: он не знал, что это преступление.

Михаил Михайлович знал, что дома недолговечны, поэтому построил себе маленький ашрам с фигуркой пластилинового ослика на крыше. Когда приближалась гроза, ослик внятно шевелил ушками и бормотал: «иаиа», «иаиа». Если мимо шли недобрые люди, ослик съеживался и закрывал голову копытцами. Еще иногда он пил молоко, которое посетители ашрама специально оставляли снаружи в глиняных плошках. Это считалось чудом, что пластилиновый ослик спускается к плошке и пьет, но это многие видели, и молоко потом действительно куда-то исчезало. Об этом писали в газетах, а еще однажды приезжал Первый Национальный Канал делать сюжет.

Зима в этом году выдалась студеная. Из-под толщи снега вышел Годзе-Порося и пошел уничтожать все сущее.

Вначале он подошел к дому поросенка Сергея Сергеевича и тоненьким голоском сказал: «Сергей Сергеевич!».

«Ха-ха!» — сказал Сергей Сергеевич, давно заприметивший монстра в обледеневшее окошко.

Годзе-Порося плюнул огнем и дом из шпон сгорел дотла. Обгоревший Сергей Сергеевич бросился бежать к дому Юлиана Юлиановича. Юлиан Юлианович сидел весь обложен церковными книгами и Сергею Сергеевичу вовсе не обрадовался: его молодую любовницу совсем замучали на химиотерапии. «Зачем ты пришел, Сергей Сергеевич?» — спросил он и уткнулся взглядом в книгу,

которую тоже, кстати, скрал в церкви по причине собственного невежества.

Годзе-Порося подошел к дому Юлиана Юлиановича и уставился на иконы. Иконы вдруг превратились в игральные карты: дама, валет, король пик, туз с изображением мультипликационной собачки Плуто, девятка крести с миниатюрным Иисусом на каждом крестике. Домик из игральных карт тут же рассыпался, и шокированные Сергей Сергеевич с Юлианом Юлиановичем бросились бежать к ашраму. Именно там, по их мнению, было спасение.

Но спасения там не было. Михаил Михайлович не впустил их и сказал, что не стоит им осквернять ашрам — видите, ослик при вашем приближении весь скорчился. Сергей Сергеевич и Юлиан Юлианович тут же начали кричать: это не из-за нас! Это потому что за нами гонится ужасный Годзе-Порося, восставший из снежной бури! Впусти нас, Михаил Михайлович, мы погибнем.

Михаил Михайлович засмеялся и пошел заваривать чай в зеленом графинчике.

Годзе-Порося подошел к ашраму и тоненьким голоском позвал Михаила Михайловича.

Пластилиновый ослик встал на дыбы и заулыбался, узнав его.

Михаил Михайлович отворил дверь, впустил Годзе-Порося и усадил его за стол, где уже дышал жаром, сиял прозрачной жасминовой водой зеленый графинчик.

— Как делишки, Годзе? — спросил он.

— Помаленьку, — затягиваясь кальяном, ответил Годзе-Порося, — Мир катится в бездну, ну и пусть его. Дома из икон строить стали, идиоты. Дома из икон, бля. Книги в церкви крадут. Уроды какие-то. Я нифига не понимаю уже. Убивать их? Глупо, глупо убивать. Разрушение тоже бессмысленно. Я не знаю, что мне делать. Я не могу им объяснить, что они натворили, не могу.

Сергей Сергеевич и Юлиан Юлианович стояли под окнами и дрожали от холода. Наутро их оледеневшие трупы закопают за пять километров от ашрама. Михаил Михайлович подливал жасминовой воды в глиняную чашечку Годзе-Порося и думал о том, что неисповедимы пути. Неисповедимы.

3 Жезла
Добродетель

Символизирует самые разные хорошие вещи в начале (на первой стадии) развития. Обещает осуществление надежд и прочие блага.

В скверном раскладе сулит головокружение от успехов, со всеми вытекающими последствиями. Но, в общем, это очень добрый аркан, его никаким плохим соседством не перешибить.

Аленаш Тавуш
Нет секретов

Сочетание солнечного мартовского дня и дешевого мороженого в вафельном стаканчике — универсальный антидеперссант. Я доедаю мороженое, стоя в большой, голубой от неба лужи и щурюсь на солнце. Мне тошно.

Визит в кофейню дальше оттягивать уже невозможно, но идти туда не хочется. Там — Длинная Анна. Она или уже поджидает меня за столиком, или обязательно появится позже. Даже если я уже докурил третью сигарету, отодвинул пепельницу и чашку и готов попросить счет, радуясь что на этот раз она не придет. Особенно в этом случае, да. О небо, блин!

Я, кстати, за свою жизнь много о чем успел попросить небо, богов, или вообще непойми кого — это в том случае, если просьба начинается с безотносительного "Ох, ну пожалуйста!". Загадочный Охнупожалуйста, новое божество в пантеоне невыполненных просьб. Вторая дверь налево, постучать три раза по дереву. Хмы…

Так вот, я просил о многом, сейчас уже и не упомню, получил ли хоть что-нибудь, и был ли этому рад. Только знаю одно — о Длинной Анне я и не заикался. Впрочем, это не помешало мне обрести сие сомнительное счастье в полной мере. Даже сверх всякой полной меры, как выясняется. Переполнена мера моя, щас через край потечет.

Первый раз она уселась напротив в пустом вагоне ночной электрички. И начала без предисловий:

— Я Анна. Смотри. Видишь вон ту девушку? У окна? На самом деле она никакая не девушка!" Анна сверкнула глазами (тогда я еще думал, что у нее именно *глаза*) и торжествующе откинулась на спинку лавки, дабы полюбоваться произведенным эффектом.

— Ага, — согласился я. — Она на самом деле дракон!

Для сумасшедших я почему-то сладкий, медом намазанный пряник. Так они к этому меду и липнут. Постоянно. Тут главное, сначала во всем с ними согласиться, а потом с достоинством продемонстрировать собственные протечки в крыше. Им тогда быстро становится скучно — о чем двум психам разговаривать, в самом деле? Мед сохнет на глазах, пряник скукоживается, псих отлипает. Не единожды проверенная схема.

Анну впрочем, мое симулянтство не впечатлило. Только

посмотрела на меня сочувствующе.

— Не дракон, — говорит. — Просто очень немолодая женщина. Ей лет сорок уже.

Я, что греха таить, заинтересовался. Башкой заворочал, глазами нашел сидящую у окошка девушку… Вот именно. Девушку. Лет двадцать, не больше. Грустная.

— С чего ты взяла? — спрашиваю. Грешный мой язык, безответственный. Нет на него шестикрылого серафима, дабы выдрать с корнем злополучный орган. И жало мудрыя змеи в задницу, в профилактических целях, ну да.

— Спрашиваешь? — обрадовалась Анна. — Интересуешься?

— Интересуюсь знать, да — подтверждаю. Дурак нечастный…

Анна ко мне поближе наклонилась (бррр!) и шепчет: "Да я знаю. Она просто ни с кем не разговаривает. Вывела для себя такую формулу вечной юности — работает, кстати. Если ни с кем не разговаривать, не состаришься. Только пояснять не надо, почему. И подтверждать, если думают, что немая — тоже нельзя."

Не успел я рта открыть, Анна уже встала и ушла, как ни в чем не бывало, в неизвестном направлении. Впрочем, в вагоне движущейся электрички не так уж много вариантов.

Я в тот вечер добрался до дома, Анну из головы еще по пути выкинув. Только девушка эта сорокалетняя с ее рецептами домашней консервации в памяти засела. Острый кусочек лишней информации, колется, мешает, и не выкинешь.

Анна меня нашла через пару дней. В кафе подсела, у меня там встреча была, но собеседник запаздывал. Я чуть чашку со стола не свернул, честное слово. Не столько от неожиданности, сколько от досады. Здравствуйте, давно не виделись.

Длинная Анна, кстати, и впрямь длинная. Метр девяносто десять, мечта баскетбольного тренера. Тощая, как коза. Рыжая, патлы жесткие клубятся — мочало мочалом. Улыбка кривая, навеки набок съехавшая, взгляд мутноватый, но внимательный. Да. И глаз один всего. Одноглазая моя Анна, кривая. Жутенькая тетенька.

Да, а еще у нее веснушки. Детские совсем. И от этого особенно стремно.

Уселась напротив, пепельницу вбок отодвинула и опять без всяких предисловий, кислую мою рожу не замечая:

— Обернись, только незаметно. Видишь, красотка за

столиком сидит, который под зеркалом? Она всегда там сидит…

Интонации у Анны, как и в прошлый раз, будто она мне великие и ужасно значимые тайны выдает, покруче военных.

— Ты, — говорю, — как меня нашла? Ты на самом деле лучше уходи, я человека жду, а то, что ты рассказываешь, мне совсем не интересно.

Вру, наверное. Почему-то все-таки немного интересно. Но тетка эта мне определенно не нравится. Мешать начала.

— Не беспокойся, — отмахивается тем временем Анна. И опять: — Так вот. Тут один мальчик есть, официант — про него самого я тебе в другой раз… Он на столик красотке каждый раз разные пепельницы ставит. Знает, что она их тайком таскает. И как она приходит, он ей обязательно другую ставит, какой у нее еще нет. Всякие находит, невообразимых форм и расцветок. Лучше любых цветов… Только она не замечает, ей главное пепельницу стащить. Красотке просто приятно думать, что она авантюристка и жизнь у нее интересная.

Красотка тем временем давит бычок в канареечно-желтой пепельнице в виде уха.

А я слушаю зачем-то этот бред до конца, не перебивая. Правда, что ли, интересны мне чужие истории? Может Анна вообще на ходу выдумывает. И почему она ко мне привязалась?

— А это, — улыбается, — пока секрет. Не мой.

Оппа, приехали! Я, что ли, вслух размышляю? Прямое вещание из дурной головы, вы в эфире? Или? Ну да. Только в телепатии Анну не хватало заподозрить.

— Уйди пожалуйста, — прошу. — Мешаешь ведь.

А Анна сидит себе. Спички по столу гоняет, на меня внимательно смотрит. А тут человек подошел, с которым у меня встреча назначена. Георгий, наш клиент. Извинился за опоздание, уселся на свободный стул, демонстрирует готовность начать разговор. На Анну даже не посмотрел. Ох.

Тут меня, на фоне делового разговора, мысль пронзила. А что, если Георгий мою Анну просто не видит? Потому что нет никакой Анны на самом-то деле. Галлюцинации мои есть, а Анны нет. Вот Георгий на нее и не реагирует. Или человек сторож глюкам собрата своего? И спросить у него боюсь, обратить его внимание на эту оглоблю рыжую. А если он ее и впрямь не видит? Что тогда? А Анна в это время на меня смотрит, улыбается сочувственно и головой качает. Мол, ничего такого, зря ты так пугаешься.

Я тут нить разговора и потерял. Ничего не соображаю, только про козу эту драную все думаю, и острые ее истории в голове

колются.

Георгий вскоре откланялся, бумажки мне выдал, посоветовал отдохнуть, не перетруждаться. Значит, вид у меня совсем не того. Все, досимулировался. Наказан за систематические издевательства над беззащитными психами.

— А кстати, этот человек, клиент твой… Он один живет и когда на кухне возится, всегда все очень крепко в руках держит, чашку там или сахарницу или катрюлю, не важно. На тот случай, чтобы если вдруг кто-то внезапно возникнет посреди кухни, ничего на пол с перепугу не уронить. Ну, чтобы врасплох не застал его этот кто-то…

Анна болбочет, как ни в чем не бывало, будто и не прерывалась наша безумная беседа. А я тем временем встаю, деньги под чашку и деру из кофейни. Домой. Лечиться…И про Георгия думаю. Кого он там ждет в своей кухне?!

Потом Анна меня в кино застукала. Я попробовал было не обращать внимания, но прислушивался невольно. Про толстуху, пожирающую рядом с нами попкорн. Как она засыпая по ночам, хочет услышать во дворе скрип качелей и представить ребенка, который качается там, в мерзлой тьме двора. И как она попросила однажды своего любовника выйти ночью во двор и покачаться на качелях. А когда он согласился — ну так бывает, что все понимает человек — она испугалась и за руку его схватила. "Не надо, — говорит, — этого делать." Так и не объяснила, почему. А сама думала: "Ты там будешь качаться, а я тут буду лежать одна, уверенная, что это ты качаешься. А вдруг это будешь не ты, а я к окну подойду, ничего не подозревая, а тебя рядом нет?"

И про мальчика девятилетнего, который перед нами сидел — как он в парке шарики воздушные покупает, привязывает к ниточке листок со своими просьбами-желаниями и в небо это послание выпускает. И что в зависимости от просьбы надо обязательно правильный цвет шарика выбрать, иначе не работает.

А так, получается, работает?! Я, кажется, не могу сопротивляться своему быстро разрастающемуся безумию.

И думать больше ни о чем не могу, кстати. Поселилась в голове толпа чужих людей со своими историями. Соредоточиться больше ни на чем не получается.

Анна настигала меня почти везде. Только что домой ко мне не приходила, но я и сам-то редко там появляюсь. Через некоторое время вся остальная, отдельная от этого рыжего чудовища жизнь начала бледнеть и скукоживаться. Очень плохо я

стал с реальностью соотноситься. Интерес к жизни тоже куда-то пропал. Буквально ко всему. Кроме. Ну да.

Мы гуляли по парку, денек был уж больно хорош. Вернее, я гулял, а Анна, как обычно, прилипла. Но я привык. Раннее утро, в парке не души. Так что, я ее особенно даже гнать не стал. Потому что истории все равно рассказывать не про кого. Про меня если только… Ой.

Пока я в ужасе выводил своих скелетов из шкафов на боевое построение, производил перекличку и попытался вычислить претендента на рассказ обо мне любимом, Анна кривила рот в ухмылке и сияла веснушками. И кажется, все, стерва, про меня знала. Вплоть до самых глупых секретов. Какой дурак сказал, что приятно встретить человека, который, кажется, все про тебя знает? Все — это не только всякие милые привычки и образ мыслей. Это совсем ВСЕ.

И тут Анна останавливается, бровь заламывает, лицо оскорбленной английской леди делает.

И спрашивает тоном, от которого, кажется, у меня сейчас морда смерзнется:

— Позволь узнать, неужели я хоть раз рассказала тебе хоть одну гадость?

Вот этого, я, правду сказать, никак не ожидал. Обиделась моя галлюцинация страшно. И разгневалась.

А потом скривилась презрительно и говорит:

— Да у тебя ни одного секрета настоящего за всю жизнь не было. И не будет.

— Это как это? — спрашиваю тупо.

В этот момент, на мое бедосчастье, мимо прокатил первый утренний велосипедист. Девушка. Маленькая, с гладкой темной прической. В голубых выцветших джинсах. Напевая себе что-то под нос.

Анна, плюнув тут же на интересные подробности моей тайной жизни, начала:

— Эта девушка, когда снова в город вернулась, все никак не могла придумать себе занятие. Такое, чтоб вроде как дело, но легкое и бессмысленное, как мыльные пузыри. По-другому она к тому моменту уже не то, что не умела, а даже не знала, с какого конца подойти. Попробовала ловушки для снов плести — не то. В витражную мастерскую было устроилась, но быстро поняла, что куда-то не туда ее занесло. Ну и прочее, в таком же духе. А однажды, когда она сидела в кафе и напевала себе под нос, к ней

подошел дядя Боря. У дяди Бори был маленький музыкальный магазинчик около метро, и дядя Боря придумал отличную штуку. Предложил девушке петь у него в магазинчике. Ну, как в обычных музыкальных палатках всегда что-нибудь ставят, чтобы покупателей приманить. А у него будет настоящая живая певица. Только одно условие — никто не должен знать, что это живой голос из колонок звучит. О технической стороне дела он, само собой, позаботится.

В общем, девушка уже целый год у дяди Бори проработала. Идут люди, на маленькой площади перед метро шумно, ор, гул, музыка с разных сторон всякая. А поверх нее из дядиборины колонок льется нежнейший голосок. И никто не знает…

Ночью я спал совсем плохо. Вообще, честно сказать, не спал. Предчувствие неминуемой какой-то гадости пополам с ощущением тоскливого болезненного бессилия — принимать перед сном, очень бодрит. Ну все, думаю. Хватит. Пора возвращаться к нормальной жизни, вспоминать что я делал в промежутках между Анной и снова приниматься за эти бессмысленный действия… Тьфу. То есть нет, почему бессмысленные-то? Ладно, там разберемся. Вот завтра с Анной поговорю и укажу ей на дверь из моей драгоценной жизни самым решительным образом.

И вот, стою в весенней луже, доедаю злополучное мороженое, практически не ощущая вкуса. Вполсилы выкуриваю полсигареты. Волоку себя в кафе.

Длинная Анна уже там. Очень жаль.

Прежде чем успеваю сесть, Анна начинает говорить. Как всегда, не дожидаясь вопросов. И совсем не с того места, на котором я хотел бы остановиться.

— Ты за последние три месяца узнал больше Настоящих Секретов, чем я когда-то. Повезло тебе — правильные люди не очень часто попадаются. Вообще Настоящие Секреты у всех есть, у любого-разлюбого, но тут такое дело… Он ведь может оказаться выболтанным не нарочно, или того хуже, старательно забытым. Вот, для этого мы, собственно, и нужны.

— Кто это — «мы»? — спрашиваю. А сам захлебываюсь от раздражения. Что, блин, еще за тайные общества?

— Ну мы — Хранители Секретов. — жмет плечами Анна. — Строго говоря эта должность называется не хранитель, а знатель.

Кто-то должен знать чужие секреты. Но не другой такой же человек, разумеется…

— «Другой такой же»? — цепляюсь, чтоб хоть к чему-то прицепиться и остаться на спасительном разумном берегу.

— Ай, люди все такие же, — отмахивается она. — Так вот, другой человек умеет свежий, юный и прекрасный, или ужасный, как повезет, секрет превратить в кучку пыльных, скучных фактов непойми чьей биографии. С секретами, как ты сам понимаешь, так поступать нельзя.

Моя дурная башка явно совершает кивательные движения. Я, у нас оказывается, сам понимаю. Самое жуткое, что и впрямь понимаю. Сам.

— Секреты, — продолжает мечтательно мой одноглазый кошмар, — они как новорожденные щенки, только еще лучше. Но степень их защищенности от окружающей среды примерно такая же.

— А ты, значит, при щенятах мама-сука? — тихо зверея, спрашиваю я. И сам не знаю, чего вдруг так взъелся…

— Совершенно верно, я при них няня-сука. Своих-то у меня пока нет, — улыбается Длиная Анна. — Вернее, была няня. С этой минуты — уже нет. Теперь твоя очередь.

В общем, если в двух словах — кранты. Если чуть подробнее, Анна объяснила мне, что теперь она на манер джинна из банки, освобождена от своей должности Знателя Секретов. А на ее место теперь должен заступить я. То есть уже, считай, заступил. Моего согласия не спрашивали.

— Погоди, — хватаюсь за сигареты, за Аннину руку, за реальность, шустро выскальзывающую у меня из-под брюха. — А почему я-то? Какие критерии?

— Да нет никаких критериев, — отмахивается Анна. — Ну, если только один. У тебя своих Настоящих Секретов нет. Таким уж уродился, не всем везет. А чужими секретами ты хоть и не хотел, а заинтересовался… Ну вот и получи в полном объеме. А потом, кто небо о чудесах просил? Просил? Вот и пожалуйста. Чем тебе не чудо? Пользуйся!

Анна моя пока говорит, все больше и больше становится на живого нормального человека похожа. Прямо на глазах меняется. Интересно, на что сейчас становлюсь похож я? К зеркалу что ли

сбегать?

— Анна! — кричу — Но у тебя самой тогда тоже не должно быть секретов? Ты же сама можешь?!

— Теперь есть — хохочет Анна. — Мой собственный, Настоящий Секрет. Да ты скоро о нем сам у знаешь. Работа у тебя теперь такая.

Подмигивает мне, встает, и выходит из кафешки пританцовывая. Легкой походкой живого человека.

А я остаюсь за столиком. Дурак дураком. С кучей чужих Настоящих Секретов. И ничего мне, кроме этого драгоценного барахла больше не надо. Даже есть-пить, похоже, не обязательно.

Вот разве что, осталось одно желание. К зеркалу сходить. Посмотреть, на что я теперь похож.

4 Жезла
Завершение

В благоприятном контексте обещает успешное завершение дела. В неблагоприятном предостерегает от излишней поспешности.

Яр Тэнр
Глазами сотворенного

"Ларри, а каково это… гм… быть сотворенным?"

Джонатан Кэрролл, "Страна смеха"

Сука, проклятая рыжая сука.

Ненавижу тебя, ведьма. И ухмылочку твою довольную, и этот твой хозяйский взгляд. Ненавижу, ненавижу. Не-на-ви-жу. Надеюсь, иногда ты все-таки замечаешь это в моих глазах. Читаешь на самом их дне, куда даже тебе не добраться.

Мне никогда не привыкнуть, потому что к такому не привыкают. А если человек привыкает ко всему, то значит, я не человек. Хотя об этом думать еще страшнее.

Думать. Задумываться. Выдумывать. Я не верю, что ты меня выдумала. Отказываюсь верить. Ведь я же помню, что когда-то был просто живым. Впрочем, от того времени остались не яркие образы, а поток сухих, сыпучих, как песок, фактов и данных. Родил, рос, жил. Кажется.

Кажется, жил.

Господи, если Ты есть, как же я хочу быть живым. А может, Господи, они и Тебя выдумали? Интересно, что Ты чувствуешь, когда они то так, то эдак переставляют буквы Твоего имени, пытаясь найти единственно-настоящее звучание, и буквы Твоих книг, в погоне за какими-то тайнами, а если проще, то за могуществом. Я ведь знаю, я так хорошо знаю, что это за могущество. Они же хотят управлять Тобой, Господи. Так же точно, как она, эта сука, управляет мной.

Хочешь, я расскажу тебе, Господи?

…Я тогда зашел в то кафе, хотя никогда его не любил. Да и вообще с работы всегда возвращался прямо домой. Ну или к приятелю заворачивал, пива попить. А тогда вроде как забылся, потом опомнился — смотрю, я уже в дверях. Как занесло — не помню. И сразу же наткнулся на ее взгляд, удивленный, совершенно растерянный, но в то же время -

сколько же там было безумного торжества и радости! Страшно.

…Она мне сразу же не понравилась, помню, заметил, как она салфетку в пальцах комкает, и подумал, что точно невротичка. Но все-таки подошел зачем-то, рядом присел, начал знакомиться. И еще удивлялся, как легко приходят слова, хотя обычно с незнакомыми людьми и язык костенеет, и

все мало-мальски интересные мысли куда-то спешно деваются. Еще все время думал про себя: что же это я делаю, зачем кадрю эту сумасшедшую бабу, ведь не сдалась же она мне, ну ни капельки же не сдалась. А сделать ничего не могу — продолжаю сидеть, трепаться о чем-то, и даже, кажется, смотрю глазами безнадежно влюбленного человека.

… Так вот и не заметил почти, как она меня захомутала. А потом уже поздно было: я ей по имени представился. А она в ответ, непонятно так, с усмешкой: "С именем-то гораздо легче будет…" Понимаешь, Господи?

С именем легче. Проще простого, как оказалось-то.

…И вот я ей звонить начал, на свидания приглашать, цветочки дарить и в обед с работы сбегать, чтобы с ней увидеться. Нет, она не стала мне нравиться, наоборот даже — все сильнее пугала. Каждый раз зарекался, что больше никогда. Порвать, забыть, не вспоминать, не возвращаться. Слишком она была странная, слишком непонятная, слишком уверенная в себе, с самого начала. Если бы только мои зароки и страшные клятвы самому себе хоть как-то действовали!

…Однажды решил бросить все, уехать из города подальше, куда эта ведьма за мной не дотянется. На полпути сам, по собственному желанию сошел с поезда, купил обратный билет, примчался к ней. А она в слезах, и опять у нее на столе салфетки лежат, исписанные и скомканные. Я вообще у нее часто такие видел, то в сумочке, то в пальцах, то на тумбочке у кровати. А еще пачки из-под сигарет и карточки из кофеен, тоже все в буквах, и почерк ее, корявый и непонятный. Но тогда, когда с вокзала прибежал, не стал вглядываться, а обнял и зачем-то замуж позвал. Она согласилась, конечно. А я уже тогда понял, что постепенно забываю, как без нее жил. То есть, помню, конечно, что делал, куда ходил, что любил и куда стремился. Но как-то блекло, как будто не по-настоящему, не о себе. СПисок интересов, анкетные данные…

…Ну и как раз после женитьбы я и прочитал на очередной ее салфетке слова своей свадебной клятвы. А потом еще — записку,

как я за ней с работы захожу и предлагаю на два дня к морю уехать. Все, что я ей тогда наговорил, вся эта красивая чушь, слово в слово записано. А ведь идея-то бредовая, вовсе мне к морю тогда не хотелось, я вообще в лес больше люблю ходить, по грибы или просто так, с природой пообщаться. И вот когда я прочитал, тогда-то и стало по-настоящему жутко. Я тогда, Господи, понял, со всей ясностью и очевидностью: эта ведьма, она же мою жизнь выдумывает и сбываться заставляет. А может, и меня самого.

Может, она меня с самого начала придумала, а, Господи?! Как Ты думаешь, кстати, не произошло ли того же самого с Тобой? Вначале было слово, да, Господи? Каково тебе, когда Тебя перечитывают?

…Я тогда не выдержал и в окно прыгнул. У нас ведь девятый этаж. Очнулся — рубашка порвана (за карниз зацепился), сам лежу рожей вниз, подо мной лужа крови. Но все цело. Как падал, не помню. И никто вроде как не заметил, что я теперь мертвый. Так и хожу. Так и хожу…

…Я уж и просил ее, не напрямик, а окольными какими-то путями, намеками, потому что напрямик не получается. Перестань же ты, просил, отпусти меня. Но слова в глотке застревают или в лепет романтический превращаются. А эта ведьма глядит на меня глазищами своими бесстыдными, усмехается и головой так это покачивает. То ли "не понимаю", то ли "не дождешься".

…Как же я устал, Господи. Как я устал. Я уже почти не помню, что когда-то был другим, не таким, каким она захотела меня видеть. Кажется, ей все-таки удалось меня победить. Как же я ненавижу ее, но уже почти не помню, за что. Сука, проклятая, жестокая ведьма. Как же я ее нена…

Как же я ее люблю.

Господи, мне жаль Тебя. Ведь Ты тоже когда-то был таким, каким был на самом деле. Когда-то очень давно.

… Знаешь, Господи, я вчера нашел у нее очередную карточку. Кажется, оставленную на видном месте специально для меня. И там было написано… Больше нет смысла бороться. Эта ведьма все-таки додумала до конца свое заклинание. Там было написано:

И жили они вместе
Долго
И счастливо

5 Жезлов
Стремление

В благоприятном контексте обещает успех в совместных действиях, слаженность в коллективе, или группе, объединившейся с определенной целью.

В плохом же раскладе оповещает о скором прибытии ангела раздора.

И. Зандман
Пятеро

интермедия

Действующие лица:

1. Время
2. Сон
3. Шкаф
4. Временщик
5. Пешеход

Сон. Эй, вы там, я бы попросил. Я же не могу так быстро. У всех свои скорости или, как нынче говорят, скоростя. Что за люди пошли, что за век. Я бы попросил. Это же надо — просыпаться по будильнику. Пойди тут подели расстояние на время. Так и выпадешь в остаток или, как нынче говорят, в осадок. Расстояние-то еще поди измерь. Расстояние от засыпающего до спящего, от сонного до проснувшегося. От пункта А до пункт Б. От пункта приема стеклотары до пункта выдачи чистого белья. А время? А — это не точка А, это — союз, прошу заметить. Нерушимый. А время… Что тут сказать. Нынче такое время, такое… Не могу я его понять…

Э, простите, многоуважаемый, э-э…

Шкаф. Шкаф.

Сон. Да-да. Мог бы и сам, пожалуй, догадаться. Простите, многоуважаемый, э-э…

Шкаф. Шкаф.

Сон. Шкаф.

Шкаф. ШКАФ — Шифоньер. Комод. Абажур. Фортепьяно.

Сон. Да-да. Фортепьяно.

Шкаф. Я бы попросил…

Сон. Нет, это я бы попросил… Хотя, впрочем, отчего же… Мне надоело быть вечным просителем. Пусть просят другие, а я бы потребовал…

Входит Временщик.

Временщик. Что здесь, собственно говоря, происходит?

Шкаф. Я требую, я бы попросил!

Сон. Нет, это я требую! А вы, собственно, кто будете,

многоуважаемый?..

Временщик. Временщик.

Сон. Как интересно…

Временщик. Неужели, вам действительно интересно?! Весьма польщен.

Шкаф. Я бы попросил…

Временщик. Не горячитесь, не горячитесь, милейший. Это все сон.

Сон. Я к вашим услугам.

Шкаф. Сон?

Сон. Сон. Софа — Оттоманка — Ну и что-нибудь на Н, сами придумайте. Нуфик, например.

Шкаф *(обиженно)*. Пуфик.

Сон. Нет, Пуфик никак нельзя. Только Нуфик.

Шкаф. Но позвольте.

Сон. Не позволю.

Временщик. Это отчего же?

Сон. Как я могу позволить, когда я бы попросил?

Временщик. Простите?

Сон. Час от часу не легче. Еще и простить! И все в одно и то же время!

Временщик. Всему свое время. Время просить и время просо сеять…

Сон. Да-да, как же, знаю. Время спать и время переворачиваться на другой бок. А откуда вы меня, между прочим, знаете?

Временщик. Я вас, между прочим, впервые вижу.

Сон. Извините.

Временщик. Не извиню.

Сон. Но отчего же?

Временщик. Ну как же, вы меня не простили, и я вас не извиню.

Шкаф. Квиты.

Временщик *(презрительно)*. Пф-ф-ф. Так кто же вы такой?

Шкаф. Он, как вы изволили заметить, Пуфик.

Сон. Я не он, а сон. И не Пуфик, а Нуфик.

Временщик. Пф-ф-ф. Ну да, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Читали, читали. А я погорелец. Ну, а если серьезно?

Сон. Я не шучу.

Временщик. А я не смеюсь. Ваши документики…

Сон. Я бы попросил.

Временщик. Не горячитесь, не горячитесь. Ведь это сон.

Сон. Слав-тебе, Господи. Зачем же было так страшно шутить?

Временщик. Я не шутил. Ваши документики.

Сон. Это сон.

Временщик. Сон. Вся жизнь есть сон и люди в нем храпят.

Сон. Дети не храпят.

Временщик. А вы откуда знаете? У вас есть дети?

Сон. Я — сон.

Временщик. Вы хотите сказать, что я сплю? Я никогда не сплю. Я — Временщик.

Сон. Нет, вы не спите, вы проснулись. Зазвонил будильник и вы проснулись, не оставив мне времени уйти.

Временщик. Я никогда не оставляю времени. Я — временщик. И у меня нет будильника.

Сон. Что же тогда звенело?

Шкаф. Будильник.

Временщик. У меня нет будильника.

Шкаф. Зато у соседей есть.

Сон. Вот видите.

Временщик. Не вижу. Это ничего не доказывает. Я не спал, следовательно, я не проснулся.

Сон. Но если вы не проснулись, следовательно, вы спите.

Временщик *(в ужасе)*. Что вы делаете? Я не могу спать — сон убивает время!

Сон. Я бы попросил… Всему свое время. Время сну и время бессоннице…

Шкаф. Время времени и время безвременью…

Временщик. Глупости, время безвременно — это уже вечность.

Сон. Время просыпать и время просыпаться… Кстати, чтобы спать, необязательно просыпаться, чтобы проснуться, нужно спать…

Шкаф. Время засыпать и время засыпаться…

Временщик. Только не говорите мне о контрольных! Тс-с-с…

В окне появляется Пешеход. Он разбивает стекло, пересекает комнату и упирается в стену.

Пешеход *(не оборачиваясь)*. Пустите.

Временщик. Ничем не могу помочь. Стена.

Пешеход. Сам вижу. Разберите.

Временщик. На это потребуется время.

Пешеход. Это неважно.

Временщик. То есть как?

Пешеход. Я вышел в 7 утра.

Шкаф. Утро туманное, утро седое.

Пешеход. Не перебивайте. Из пункта А. Со скоростью 5 шагов

в секунду.

Временщик. И сколько вам еще топать?

Пешеход. В условии об этом ничего не сказано.

Временщик. Но ведь можно узнать время.

Пешеход. Не усложняйте.

Сон. Время? Время узнать невозможно. Время неузнаваемо.

Временщик *(подозрительно)*. А вы откуда знаете? У вас есть время?

Сон. Вы сомневаетесь?

Пешеход колотится головой о стену.

Сон. Постойте.

Пешеход. Я должен идти.

Временщик. Зачем?

Пешеход. За мороженым.

Временщик. Так это же в двух шагах из подъезда налево.

Пешеход. Расстояние дано по прямой.

Сон. Постойте.

Пешеход. Я должен идти.

Временщик. Но вы же теряете время!

Пешеход. Время неизменно. В ответе написано 19,46(6) минут.

Сон. Даже если вы никогда отсюда не выйдете?

Пешеход. В 7.20 я должен быть на месте.

Временщик. Но уже без четверти восемь.

Пешеход. Это сон.

Сон. Я к вашим услугам.

Временщик. Это сон.

Сон. Что вам угодно?

Временщик. Вы сговорились! Я протестую.

Сон. Я бы попросил.

Временщик. Не горячитесь, не горячитесь. Ваши документики.

Пешеход протягивает ему учебник.

Пешеход. Задача № 312.

Временщик. Из пункта А Пешеход вышел в 7 утра.

Шкаф. Утро туманное, утро седое.

Временщик. Не подсказывайте. Со скоростью 5 шагов в секунду. Сколько времени ему потребовалось, чтобы достичь пункта Б, если расстояние от пункта А до пункта Б — 4 км, а длина шага приблизительно равняется 67 см.

Пешеход. 19,46(6) мин.

Временщик. Вы лжете.

Пешеход. Да как вы смеете?

Временщик. Очень просто. Пешеход в 7.20 должен быть в пункте Б, сейчас без четверти восемь, а вы здесь. Следовательно, вы — самозванец.

Пешеход. Это сон.

Сон. Что вы от меня хотите?

Пешеход. Я вас впервые вижу.

Шкаф. Он — Нуфик.

Временщик. Это вам даром не пройдет. Вы сговорились!

Пешеход. Откуда известно, что сейчас без четверти восемь?

Временщик. Посмотрите на часы.

Пешеход. Я смотрю, а они стоят.

Временщик. Ну и что это доказывает? Они всегда стоят. Чтобы время могло идти, часы должны стоять.

Пешеход. Но идти должен я.

Кидается к стене.

Временщик *(равнодушно)*. Идите.

Пешеход. Пустите.

Временщик. Ничем не могу вам помочь. Стена.

Пешеход. Сам вижу. Разберите.

Временщик. На это потребуется время.

Пешеход. Это неважно.

Временщик. То есть как?

Пешеход. Ведь часы стоят.

Временщик. Но время идет.

Пешеход. Откуда это известно?

Временщик. Я — временщик!

Пешеход *(оборачивается)*. Ваши документики.

Временщик достает учебник истории для 7-го класса средней школы.

Пешеход. Это мы еще не проходили.

Временщик. Это ничего не доказывает.

Шкаф. Квиты.

Сон. Вот видите, теперь мы все в одинаковом положении.

Временщик и Пешеход *(в один голос)*. А какое у вас, интересно, положение?

Сон и Шкаф *(вместе)*. Я — снюсь. Он — Нуфик.

Временщик и Пешеход. Это сон!

Сон раскланивается.

6 Жезлов
Победа

Гарантирует полный успех текущего, или задуманного дела. При самом неблагоприятном раскладе вам все равно успех, но с привкусом скандала. Но, в общем, шестерку Жезлов ничем не перешибешь.

Рустам Гаджиев
Последний на помосте

I

Игра заключалась в том, чтобы оставаться на помосте как можно больше времени.

Каждая из команд гладиаторов могла рассчитывать на привилегии, если их бойцы остались на арене и после зверей и после потоков греческого огня.

Стратегией войны никогда не была сама драка. В нужный момент следует быть твёрдым, как скала, в нужный момент — быстро бежать, далее — демонстрировать чудеса ловкости и храбрости, а потом отлёживаться, притворятся мёртвым или просить пощады — правильно просить, всем видом обещая зрителям зрелище. Авансом. Чудеса изворотливости и решительности. Да и вообще, даже колебания зрителей достаточно, чтобы решить свои проблемы. Сломать кому надо колено, кому-то череп. И не бежать одному, но — со всеми, и — впереди всех.

И всегда на помосте есть такой увалень, который остаётся вопреки всему — всегда израненный обожжённый и исцарапанный, уже не в своём уме — он остаётся на помосте просто, потому что остаётся на нём. Никакой стратегии в этом нет, никакого смысла. Он не испытывает ненависти к чёрным уязвлённым теням, что мечутся с криками в дыму вокруг него — он знает как ранимы и вечно голодны его собратья, этот странный гладиатор вызывает смущение у зрителей и публика всегда вздыхает с облегчением, когда под потоками огня он, наконец, падает и затем, оказывается на носилках.

Никому не приходит в голову, что он превосходный воин, — он не герой, более харизматичные фигуры внушают помосту ужас и трепет, одним появлением, короли арены, освящённые чередой убийств и неизменным выживанием.

Последний же дурак, который остаётся на помосте, похож на какую-то птицу бедствий, живущую в бурях и рождённую для бурь.

Возможно, в другую эпоху он стал бы великим героем, возможно, его несгибаемая глупость стала бы верой и твёрдостью вдохновляющей людей, кто знает. Всё возможно на этом свете. Но нынешние герои имеют каменные лица и богатый арсенал быстрой способности к предательству. Нарушать правила там,

где, кажется, нет правил — вот искусство войны.

Формально герой этой истории делал именно то, чего требовала игра — оставался на помосте дольше всех. В реальности его мотивы были глубоко личными, он словно выполнял какое-то своё призвание, выполнял всем существом — и мог в безнадёжной ситуации вытаскивать раненых, которые умирали у него на руках, защищать слабых, которые записаны судьбой в жертвы, или проявлять человечность более простым способом — оставаясь на помосте вопреки здравому смыслу.

Он очень мало был похож на героя, и причинял вреда своей команде больше чем пользы. Его терпели, так как каждый раз казалось: ну вот после этого он точно не выживет и не очнётся. Ну, сегодня точно выпадет не его счастливая семёрка, но раз за разом выпадало что-то жалостливое, непонятное, полу-обожжённое.

Его сваливали ко мне, под помост. Никому не хотелось отомстить чудаку, всё-таки его «подвиг» номинально приносил команде какую-то утешительную жратву. Ко всему прочему его выступления были редки из-за ужасных ран, он неделями отлёживался на моих коленях, под помостом и много раз кровь уже лилась снова, а он всё ещё бредил.

Я не часто видела его выступления. В какой-то момент я поняла, что не могу смотреть.

Он был для меня бесполезным рыцарем, воином души какого-то растения или божества — какой-то силы, которой не было среди моих карт. И я не могла гадать для него, я могла только считать разрывы на его теле. И плакать.

Он приходил ко мне в невменяемом состоянии, а чаще его приносили, забрасывали как собаку под помост — он и не думал убегать, а если бы убежал, никто сильно не опечалился от потери такого раба. Поэтому он жил вне клетки, но не в доме, как горожанин, а под помостом, где проливалась его кровь. Так будто помост был его Родиной — так иногда казалось, потом он приходил в себя, начинал говорить и это ощущение развеивалось. Я хочу рассказать здесь о наших разговорах, не знаю, зачем это нужно — передавать слова героя-неудачника, человека, выходящего под огонь со смутным предназначением и подвергающего себя ужасным увечьям ради этого предназначения. Наверное, оттого, что его слова были как будто какой-то комнатой, которая открывалась в темноте, посреди ада, в котором мы жили. Первое, что он мне сказал, было: "А знаете, я тут полежу"… — и тут же забылся — не успела я извиниться, что заняла его место. Тогда я была любовью надсмотрщика, но мать-

гадалка, управляющая нашими судьбами, на следующий день увидела меня с этим странным воином, содад, неудачником, остающимся на помосте дольше всех — и сказала, ты будешь с ним, девочка, это надо использовать.

II

— Когда бежишь ото льва, ссышься просто так, от страха. Там это нормально. Потом начинаешь презирать себя за этот страх. Ненавидеть себя. За то, что дошёл до этого, — говорил содад. Он пожимал в темноте плечами и пил воду.

Он пил её литрами, как будто восполнял кровь, которая из него изливалась.

— Я потерял столько друзей, что меня считают дураком. Это ничего. Я могу уйти из игры. Меня держит какая-то мелочь. А сейчас можно лежать в темноте и ни черта не делать.

Он сидел на каменной скамье, у стены и глаза его разглядывали что-то далёкое.

— Нас нет, — говорил он грубо. — И мы можем делать ужасные вещи. И мы их делаем.

И я видела, как эти ужасные вещи делали вокруг.

А содад сидел в темноте подвала, схватившись руками за прутья над головой, как ленивая, израненая обезьяна.

Он раскрывался и делал меня счастливой, и я успокаивалась. А он спал, как беспокойный ребёнок, подёргивая руками и ногами. Через него всегда текла река, даже во сне. И мне было страшно. Тяжёлая болезнь одиночества вливалась в меня. Вокруг было эхо подземного мира, пауков и голодных ящеров, а я, впускающая в себя полумёртвого, казалась себе мотыльком, отрастившим в подвале крылышки. Но это проходило, когда он сидел вцепившись в прутья и говорил.

— Я убил их всех, — бредил содад после игры. — Теперь можно спать. Иди, не бойся. Это наш дом, я нашёл его случайно, по дороге.

— Дома можно спросить себя, зачем эта вся ужасная любовь придумала безглазый мир. Зачем она терзает и рвёт на помосте каждого и всех, и зачем мы так жадны. Здесь можно лечь на пол и спросить у неё, если держать кого-то за руку, — и он держал за руку меня.

— У неё огромные глаза. Серого чудовища. И она всегда тут, разоряет гнёзда в груди.

Он обнимал меня так, что я теряла сознание.

Он мог прижиматься всю ночь, а утром избить, молча и быстро, будто точно зная, что надо делать и зачем. После этого он

доставал из груди сердце, отдавал мне в руки и засыпал мёртвым сном — на несколько недель.

— Я выпил солнце, — сказал он, когда его принесли обожжённым.

— Я могу быть тобой, а ты будешь мной, — сказал он, когда тени стали длиннее нас.

— Моя любовь никогда не скажет мне, кто я такой. Я буду охотиться на это чудовище, пока оно не закричит всеми своими головами. И тогда я умру.

— …и стану твоей печалью. Красивой печалью. Она окружит тебя, как щит.

— Нам нет конца в этом подвале. Мы как будто растянулись во все концы и теперь надо бегать искать, где мы кончаемся. Если ты найдёшь меня, я, может быть, найду тебя.

— Однажды мы убежим, — говорил содад, лёжа лицом вверх. — Мы пройдём несколько шагов по улице до углового дома, до двери в стене — серой двери с монограммой. За ней юноша-привратник, который знает тайны города, он проводит нас к твоей госпоже. Госпожа знает карты и меняет судьбы, — говорил наивный гладиатор. — Там мы получим новые жизни.

— Мы забудем всё это?

— Если не забудем, я захочу убить нас.

— Кем я стану, будет знать только госпожа, — сказала я ему, — а она никогда не откроет тебе этого. Она сделает тебя рабом-телохранителем, непобедимым. А может быть, личным убийцей, а может, мастером тени, картой, которыми она вертит, как хочет. Мало ли как можно воспользоваться твоей удачей!

Содад засмеялся. Его демоны спали, упившись крови.

— А может, она извлечёт цветок из твоей души… — проговорилась я и испугалась.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Которому ты служишь…

— Которому я служу… — повторил гладиатор.

После этого началась зима. Между нами возникло молчание о чём-то. Игры на арене прекратились на три месяца. Содад стали терзать нестерпимые страхи. Он бесконечно мерил шагами подвал. Страх его был одуряющий, чёрный, вроде бездны с протянутыми из неё руками, утягивающими куда-то вниз, всё ниже и ниже. Приступы страха поражали его, как молния. Я никогда не могла вынести этих сумасшедше-белых, мечущихся среди ночи глаз убийцы и бежала прочь, рыдая. Сёстры утешали меня. В мгновения безумия видно было, какая сила в нём таилась — противилась ужасу и ломала его.

Печальный чудак был пленником войны.

До первой весенней игры оставалась неделя, когда содад убил надзирателя и нескольких солдат. Такое случается с гладиаторами. Он прибежал ко мне, окровавленный и прижал к себе. За ним тут же ворвались служители, схватили множеством рук, стали отрывать.

— Во мне нет никакой удачи, содад, — шептал он, прижимаясь ко мне и называя своим именем. — Это ошибка госпожи. Правда в том, что я хороший солдат, очень хороший. И у меня никого нет, даже тебя нет, содад. Я хочу вырваться отсюда, а по другому — как бы я смог? Как ты себе представляешь — как бы я заставил себя? — спрашивал он и заглядывал в глаза. Его плечи казались каменными, нас не могли разорвать и обнажали оружие. — Не бойся, содад, — говорил он и над нами заносились мечи, — пришло время проверить мою удачу. Может быть, действительно, мой Бог — Случай, — и я искал его? Всё это время искал на песке арены?

7 Жезлов
Смелость

Эта карта советует: будьте смелей, и победа вам обеспечена.

В неблагоприятном раскладе она может говорить о слишком мелкой, жалкой, почти позорной победе, несоразмеримой с масштабом победителя. Как если бы Бэтмэн леденец у годовалого младенца отобрал — после долгой, напряженной борьбы.

Наталья Иванова
Час волка, час собаки

— Всё, ты убит.
Я выудил из кучи хлама пару монет.
— Убит, убит, не подглядывай.
Пристроил монеты на веки.
— Досчитай до пятидесяти семи и можешь оживать.

* * *

Всегда с ними так. Ходят и ходят за мной, просят, кто посмелее — словами, другие взглядом, мусора натащат полный дом. Медальонов, шкатулок с секретом, неприятных даже на вид головоломок, книг каких-то, костей, кошачьих скелетов, пустых клеток, фиалов — подумать только! — фиалов и фолиантов, свитков, чёрных свечей, сушёных мышей, жабьих лапок, перьев, праха и тлена, подозрительных верёвок, ржавых цепей, выморочных мыслей, пыльного бархата, платков окровавленных, ключей… Вздрагивают как к ним подойдёшь, а посмотришь на них прямо — прячут глаза, но оголяют шеи, жеманятся… ждут. Боятся. Предвкушают. Умоляют, требуют, смотрят вскользь, из-под ресниц, не запирают двери, чертят что-то на полу, в пыли — линии, знаки. Верят. Не верят. Уходят и возвращаются. И всегда — всегда изумляются, стоит мне вытащить колоду. Сыграем, говорю.

Говорю, скучно и ужин был скуден и переперчён, сыграем, и достаю из воздуха бутыль, полюбовавшись мельком на расширенные зрачки, на восхищённое лицо, он-то уж и не думал, что увидит что-то такое, и достаю из воздуха ружьё.

Сыграем на жизнь, говорю я и тасую колоду, сдаю карты, три и три, и смеюсь вместе с ним, действительно, среди всех этих свечей, тёмного дерева, драной кожи, меди, чучел, золы и паутины — ружьё особенно, вопиюще нелепо, блестючий пластик, штамповка, человек-паук на ложе, мейд ин чина, зелёный ободок вокруг дула. Сыграем, говорю я и открываю карты.

Ну и ну, говорю я через минуту, делая вид, что удивлён.

* * *

— Всё, ты убит, — говорю я и нажимаю на выскочивший из дула штырёк с красным, раздвоенным по низу флажком с белой надпечаткой «ба-бах», ещё покачивающийся.

— Убит, убит, не подглядывай, — и выуживаю из кучи хлама пару монет.

Я ухожу, пристроив ему на веки монеты, зачем мне на всё это смотреть, на боль и на слёзы, зачем мне слушать рёв и проклятья, и скулёж, тонкий и жалобный, зачем мне этот восторг, этот ужас, обожание и неприязнь.

— Досчитай до пятидесяти шести, — говорю я, прежде чем уйти.

8 Жезлов
Скорость

Эта карта предлагает действовать быстро, не раздумывая. Импульсивные решения будут самыми верными.

В неблагоприятном раскладе она, напротив, предостерегает от излишней поспешности.

Марта Кетро
Белая река, зелёные берега

Мне часто доставались мужчины, которые не умели выбирать. Вот уже десять минут он стоит с парой футболок — эту или эту?

Я жду ещё три минуты и говорю — эту. Он промедлил секунду и надел её, вишнёвую. Тут всё просто, надо лишь понять, чего ему хочется на самом деле. Он прикидывает, что зелёная выглядит приличнее, но вишнёвый цвет ему нравится больше, «саньясинский», как он говорит. Вот и выбирал — не между двумя футболками, а между двумя внутренними состояниями: «я одет прилично» и «я одет, как хочу». Первое комфортно, второе свойственно победоносному мачо, которым он хотел бы казаться. Мне тоже нравятся победители, и я выбираю за него то, что он давно уже предпочёл сам. Собственно, он ценил меня именно за это.

Мне не трудно, я вообще люблю принимать решения. Вдруг возникает холод в спине, и пространство вокруг пустеет, как будто ангелы отлетели и оставили меня один на один с богом… с будущим… не знаю, с небом. Конечно, если не о футболках речь, а о чём-нибудь поинтересней. Меня просто хлебом не корми, лишь бы почувствовать этот обрыв со всех сторон, воздух, поднимающийся снизу, свободу, возможность. Мне кажется, я только и живу, когда выбираю.

Поэтому я переезжаю гораздо чаще, чем принято среди приличных людей, чаще ввязываюсь в подозрительные проекты, чаще совершаю глупости, в конце концов. Поэтому в моём компьютере лежит штук пять «разрывных» писем (на первое ы ударение). Впрочем, в последнее время я предпочитаю переживать момент расставания вживую, вместе с партнёром, уж очень это красиво… Свинство, конечно, но момент взаимной боли, когда ты волевым усилием режешь по живому — тонко, остро, мгновенно, — он прекрасен. Страшно? А медленное гниение, запах, длительные муки — разве не страшнее?

Я не люблю боль, я лишь точно знаю, как хотела бы умереть.

Почти не помню, как всё у нас начиналось, хотя времени прошло немного. Просто, когда мы встретились, всё рухнуло и продолжало падать ещё долго, поэтому мелкие детали ускользнули, осталось только ощущение необратимости и ветра в лицо. Собственно, слово «падение» в данном случае не означает ничего дурного — я встретила его на слишком большой высоте, где воздух разряжен, холодно и вода закипает негорячей, и потом

я всего лишь пыталась вернуться на приемлемый уровень. Туда, где люди живут, не задыхаясь, не покрываясь льдом, где варят суп, в конце концов. Я лишь училась не умирать ежесекундно.

Всякий раз заново я нащупывала ледяные ладони, ворота его тела, и осторожно, кончиками пальцев погружалась внутрь. У нас никогда не получалось просто и быстро, только вот так — приближаясь, подкрадываясь. Я обнимала его медленно, мы соприкасались сначала взглядами, потом дыханием, запахом друг друга, теплом, идущим от наших тел, невидимыми волосками, покрывающими кожу, кожей — слегка, плотнее, ещё плотнее и сквозь неё, мы входили и совпадали в одно и, не останавливаясь, столь же медленно размыкали тела, не утрачивая ни капли наслаждения, мы расставались, никогда не прерывая объятий в мыслях.

Остальное обыкновенно. Говорить, не подбирая слова, но позволяя им рождаться; придумав что-нибудь, точно знать, что он поймёт без объяснения, а если всё-таки не поймёт, то я буду иметь удовольствие, объясняя, увидеть, как на его лице проступает радость — не столько от того, что понял, но что мы опять совпали в тонком ощущении события, слова, чувства; быть взаимно уязвимыми настолько, что самый смысл причинения боли пропадает, разве что кусать себя за пальцы для отрезвления; ходить, просто ходить на большие расстояния, потому что это самое простое, что можно делать вместе; говорить…

Мы оба были достаточно взрослыми, чтобы поддерживать подобную близость, и не называть её по имени.

У меня не было иллюзий на его счёт. Большую часть времени он пребывал в депрессии, был болезненно самолюбив, амбициозен и необоснованно похотлив. Он предпочитал отдыхать среди грубо нарисованного пейзажа, где вместо солнца — розовая таблетка, под ногами зелёная трава и коричневые грибы, а рядышком протекает небольшая река белого порошка, и сам он обозначен условной фигуркой — кружок, овал, четыре палки, обязательно сигарета во рту (рот, стало быть, тоже есть, и нос, и глаза, а вот признаки пола отсутствуют).

В остальное время, между депрессией и бед трипами, это было большое, доброе, пугливое, сильное и очень красивое существо — примерно как олень, но лживое, что обуславливалось не столько испорченностью натуры, сколько трусостью.

И всё-таки я, — молча, неназываемо, вопреки здравому смыслу, — я его любила.

* * *

С некоторых пор он всё время очень занят, с прошлого четверга мы не виделись. И вот он освободил для меня вечер, и я пришла в гости. Как будто по делу — принесла новый плагин для фотошопа. Позади у него трудный день, и ночью намечалась срочная работа, поэтому я старалась быть всего лишь нежной.

Он лежал поперёк кровати, прикрыв глаза, а я осторожно прикасалась к его лицу, чувствуя, как под пальцами уходит напряжение мышц, разглаживается складка между бровей, веки перестают дрожать и судорожно сжатые челюсти расслабляются, и губы становятся мягкими и приоткрываются так, что можно наконец поцеловать. Ну вот, ну вот. Но я не целую, я спрашиваю:

— Что душа моя, что? Скажи мне.

Он никогда не мог устоять против тихого страстного шепота: «скажи мне, скажи» — слишком стеснялся говорить раньше, и сама возможность, закрыв глаза, рассказать всё, вообще — всё, — возбуждала.

На этот раз он молчал долго, слишком долго, и я испугалась. Обычно, он чувствовал себя дерьмом, когда заказчик снова и снова не принимал картинку. Или очередной галлюциногенный марафон затягивался на неделю. Или не удавался случайный секс (ну ещё бы, мы слишком далеко зашли друг в друга, чтобы какая-нибудь неподготовленная девочка смогла ему дать, как следует, как я его приучила). В таких случаях он исчезал на несколько дней, работал или просто пытался «побыть один», чтобы вернуть себе ускользающее чувство независимости. А потом, конечно, звонил и ждал меня, скорчившись на кровати, и я приходила — и разворачивала его, как скомканную бумагу, стараясь не повредить, а только разгладить, распрямить складки и заломы.

Но сегодня было что-то другое, и я снова спросила:

— Что-нибудь случилось? Не пугай меня, пожалуйста. Я очень боюсь тебя потерять, безумно. Ты вот молчишь сейчас, а я успела такого напридумывать себе… Может, у тебя живот болит или ещё что, а у меня уже сердце выскакивает.

Он поднялся, подошёл к шкафу, достал белый пакетик и жестяную, до невозможности стильную банку для сахара. Высыпал на блестящую крышку немного порошка. Выровнял дорожку пластиковой визиткой («блядь, они мне только для этого и нужны») и вдохнул через обычную коктейльную трубочку свою порцию «скорости». Остаток собрал пальцем и втёр в дёсны.

Я ждала. Он прикрыл глаза и прислушался к себе. Потом сказал:

— Вот ведь, хуйня какая. Я влюбился.

Я дурочка такая. Самоуверенная дурочка. Наверное, целую минуту ещё надеялась, — он хочет сказать, что любит меня. За те

месяцы, пока мы знакомы, он никогда не говорил о любви, потому что это «слишком громкое слово, понимаешь?» Ну и ладно, я не люблю форсировать события: «я хочу тебя, мне плохо без тебя, мне хорошо с тобой» — это почти то же самое, просто он пока не понял. И сейчас я подумала, что он опять подавился признанием и пытается мне вот так по-дурацки сказать — я люблю тебя.

— В кого? — дурак, скажи «в тебя», и всё ещё можно будет исправить.

— Ну, она учится в… — дурак, дурак…

— Она красивая?

— Нет. Не знаю. Не такая, как ты. У меня так впервые. До этого столько раз думал — вроде влюбился… а вроде нет…. А теперь, когда она появилась, точно понял, что всё… — дальше можно не слушать.

Я почувствовала не жар, как обычно от пережитого страха, наоборот, к горлу подбирался холод. И больше не было ничего. Не было стандартного, как соль-перец-горчица, набора из обиды, ревности и горечи. Только мгновенная острая боль и долгая медленная печаль — я отчётливо увидела целый океан печали, даже белый барашек различила на волне.

И я стала медленно-медленно отстраняться.

Потому что очень высоко над ним, над океаном, неслись облака, и было солнце. Просто сию минуту я не видела, но уже чувствовала кожей — и тепло, и ветер. Впервые за три месяца стало легко — я больше не боялась его потерять.

— Я тебя всё-таки потеряла.

— Ты что, бросишь меня из-за этого?

— Сам-то как думаешь? Теперь невозможно.

— Фигня, у нас-то ничего не изменилось!

— Я так хотела твоё сердце, жаль, что не судьба.

— Я не хочу никого терять, ты нужна мне, ты мне пиздец как нужна. Я просто не ожидал, не понимаю, как это произошло, уже неделю или дней десять…

А я тем временем оделась, подкрасила лицо (глаза, которые я увидела в зеркале, хотелось бы забыть, или пусть это были бы чужие глаза, какой-нибудь актрисы вроде Вивьен Ли, но не мои, не мои, пожалуйста!) и слила пару файлов со своей флэшки в его компьютер. В конце концов, я же обещала.

Потом он проводил меня к метро, молча и очень быстро. Я некоторое время искала карточку, нашла, коротко поцеловала его куда пришлось (пришлись губы), сказала «счастливо», улыбнулась и прошла через турникет.

Во мне не было капли мужества, как это может показаться. Я

сосредоточилась только на том, чтобы контролировать глаза. Стоило отвлечься, и я начинала плохо видеть людей, и не сразу могла понять, отчего. Закончилась очередная короткая счастливая жизнь. Не плакать невозможно, наверное, потребуется целая неделя, чтобы выплакать мой личный океан.

Но я снова там, в разряжённом воздухе, где холодно жить, но не страшно умирать, потому что я всё решила — сама.

9 Жезлов
Сила

Символизирует пресловутую битву хаоса и порядка, причем скорее все-таки в реальном мире, чем внутри отдельно взятого индивидуума. Не обещает успеха ни одной из сторон, просто объясняет, что на самом деле происходит. И призывает мобилизовать все силы.

Виталий Авдеев
Пляшущая звезда

Взять хотя бы небо. Все знают, что оно голубое, но куда не ткни, найдешь серый, синий, белый, малиновый — любой цвет, только не голубой. Тимур лежит на крыше положив руки под голову и смотрит вверх. Закат. По краям небо бледно-алое, почти белое, к зениту темнеет, становится черным, словно там, наверху, открыта настеж дыра в какой-то другой, холодный и темный мир. Тимур думает о выборе. И о силе. Солнце начинает садиться и в черном появляются багровые оттенки, как если бы с той стороны за Тимуром наблюдали мрачно-тлеющие глаза какого-то зверя. Становится прохладно, Тимур резко садится и обводит крышу взглядом.

— Нет, без меня не начинайте, — Тимур, зажав сотку плечом, рылся в карманах, — Нет, я скоро буду. Вы свет там уже выставили? А Кузьма пленку привез? Нет, не надо, я сам ему позвоню. Да. Да, пока.

Тимур сунул сотку в карман, сигарету в рот и начал снова хлопать себя по бокам, теперь уже в поисках зажигалки.

— Чего стоим, шеф? — поинтересовался он между делом у таксиста.

— А бес его знает, — лениво отозвался тот и выщелкнул Тимуру прикуриватель, — Может раздолбался кто впереди, а может эмиратского принца везут. Это же Кольцевая.

— И что, Кольцевая? — Тимур закурил и благодарно кивнул водителю.

— А то, — так же лениво ответил тот и сунул прикуриватель обратно, — У всех ведь машины нынче. Любая соплюха на папином BMW разъезжает. Права купила и вперед. Бардак на дорогах.

Тимур нахмурился и забарабанил пальцами по двери.

— И долго еще стоять будем? — наконец спросил он.

Таксист пожал плечами.

— Может прям сейчас поедем. А может через час. Я же говорю — Кольцевая.

— Ясно, — кивнул Тимур, — Где здесь ближайшая станция?

Цифры на часах над перроном успокаивающе мигали. Тимур любил надземку, как любил все надежное. Если сказано, что поезд придет через семь… уже через шесть минут, то значит он

придет ровно через шесть минут. Тимур посмотрел на часы и досадливо поджал губы. Как ни крути, все равно можно считать, что он уже опоздал. Только бы эти обалдуи не вздумали начинать без него, а то с них станется. Он нетерпеливо заходил по перрону, то и дело вглядываясь вдаль. Наконец появился поезд. Его огни на секунду вдруг превратились в два тонких вертикальных луча и Тимуру подумалось, что поезд смотрит на него холодным змеиным взглядом. Он усмехнулся разыгравшейся фантазии и первым заскочил в вагон. Там Тимур сразу плюхнулся на свободное место и достал из «дипломата» альбом с образцами. Если уж придется провести здесь пятнадцать минут, пусть они будут проведены с пользой. Он быстро переворачивал страницы лишь иногда задерживаясь на интересных кадрах и в пол уха слушал болтовню двух школьниц, пристроившихся рядом.

— А этот, короче, который память потерял, говорит: «Ну поехали», — увлеченно рассказывала одна другой, — И они, в общем, поехали, а этот, второй, сидит рядом, весь такой, короче, расслабленный, а все вокруг меняется.

— В смысле меняется?

— Ну другое становится, типа небо там зеленое, машины на треугольных колесах, деньги всякие. Короче, бардак.

«Вот-вот, — рассеяно подумал Тимур, — Стоит только расслабиться, как все вокруг немедленно превращается в бардак».

— Слушай, Тимур, — вздохнул Стас, — Ну зачем ты наорал на девочку?

— Девочка будет делать то, что я сказал, — ответил Тимур.

Он закурил и отметил про себя, что что-то много в последнее время курит.

— Но ведь хорошо получилось, — не уступил Стас.

— Делать то, что я сказал и тогда, когда я сказал, — упрямо повторил Тимур, — И точка.

— Фрик ты, — вздохнул Стас.

— Ну спасибо!

— Да нет, я в смысле контрол фрик. Это, знаешь, такие люди, которые…

— Спасибо, знаю. Нет, у меня нет навязчивой потребности все держать под контролем.

Стас улыбнулся и молча посмотрел на Тимура.

— Ну почти нет, — вздохнул тот.

— Сходил бы ты к психоаналитику, — хлопнул его по плечу Стас, — Я тут как раз знаю одного неплохого.

— Психоаналитики современные боги, — возразил Тимур, — Они помогают только тем, кто в них верит. И приносит жертвы.

— И?

— И я не собираюсь делать ни того, ни другого.

— Ну дело твое. Ты бы тогда хоть домой пошел, что ли. Отдохнул.

— На том свете отдохнем, — ответил Тимур и бросил окурок в урну, — Пойдем, там работа стоит.

Тимур лежал на диване, смотрел в потолок и размышлял. Нет, никакой он не контрол фрик. Разумеется нет. Просто… Просто все изменилось. Мода, привычки, люди. Жизнь. Может, конечно, это он стареет, но почему то кажется, что это само время ускоряется. Стоит на секунду расслабиться, как останешься в далеком прошлом. Или вообще в другом мире — зеленое небо, машины с треугольными колесами, пятна на потолке… Пятна на потолке? Тимур встал и задрал голову. Потом забрался на диван и дотянулся до появившегося на потолке пятна кончиками пальцев. Мокро. Надо же, похоже, сосед решил его затопить. Странно, совсем не похоже на неторопливого, обстоятельного Юка. «Только этого мне и не хватало» — проворчал Тимур и пошел одеваться.

Звонок у Юка не работал. Тимур удивленно поднял брови и осторожно постучал в дверь. Потом постучал погромче. Дверь приоткрылась и Тимур нерешительно застыл на пороге. Конечно, вот так вламываться это вовсе не дело, но вдруг Юка решил в кои-то веки напиться и дрыхнет сейчас без задних ног, пока вода хлещет из открытого крана. А может быть и еще чего похуже.

— Эй! — крикнул Тимур сунув голову в дверь, — Есть кто живой?

Никто не ответил. Тимур зашел внутрь и немедленно провалился по щиколотку в воду. Чертыхаясь он пошел вперед и повернув из коридора в комнату обнаружил, что оказался в болоте. Было сыро, пахло чем-то тухлым и орала в темноте дурным голосом какая-то птица. «Козлодой, — подумал Тимур, — Или не козлодой. Надо же, какая чушь в голову лезет»

— Эй! — закричал он снова, — Юка!

Собственный голос показался Тимуру глухим и мертвым, так, словно болото выело из него все живые нотки.

— Юка! — попробовал Тимур еще раз и сам себя оборвал, уж очень странно и дико прозвучал его крик.

Он вздохнул и побрел вперед, стараясь наступать только на кочки. Когда глаза немного привыкли к темноте, стали видны крохотные звезды на небе и еле заметное мерцание застоялой воды. Снова закричал козлодой и Тимур остановился.

— Юка! — безнадежно крикнул он.

— Тимур? — раздалось сзади.

Тимур резко повернулся и увидел Юкахайнена. Сосед по грудь провалился в болото и теперь лежал раскинув руки и вытянув шею вверх.

— Юка, — заозирался Тимур, — Ты не трепыхайся только, я сейчас найду что-нибудь, достану тебя.

— Не надо, — будничным тоном отозвался Юка, — Все в порядке.

— И это ты называешь «в порядке»?! — поразился Тимур.

— Я проиграл, — с расстановкой ответил Юкахайнен, — Вяйне выиграл. Все по-честному. Все в порядке.

— Кто такой Вяйне? — поинтересовался Тимур.

— Ну… - задумался Юка, — Можно сказать это мой старший брат. Так оно и окажется. Со временем. Сам знаешь как бывает. Тот кто выигрывает, тот и рассказывает, как все было на самом деле.

— А как все было на самом деле? — поинтересовался Тимур и осторожно присел на корточки.

Юка вздохнул.

— Сначала, — объяснил он, — Мы столкнулись на дороге. На узкой дороге. И принялись выяснять, кто из нас старше. Я сказал, что я ровесник мира. А Вяйне сказал, что он этот мир и создал.

— Что, правда?

— Нет. В смысле, да, так и сказал. Но нет, это не правда. Потом мы схватились на мечах. А на мечах он дерется хорошо.

— Так это он тебя сюда загнал?

— Он. Но не мечем. Песней. Вяйне колдун. В каком-то смысле.

— И что теперь будет? — Тимур еще раз огляделся в поисках палки, но что-то подсказало ему, что палки здесь не окажется.

— Теперь я отдам ему сестру, — вздохнул Юка, — В жены. Или это ты про вообще?

— Про вообще.

— Вообще. Вообще ничего не будет. Нового. Мое время кончилось. Его пришло. Он победил. Я проиграл. Пришла пора миру меняться. Ничего нового.

Тимур взял на работе отгул. Стас все-таки сунул ему карточку своего психоаналитика, но Тимуру хотелось просто побродить по городу и подумать. Утром потолки оказались в порядке, да и Юка выглядел как всегда, но Тимур почему-то был уверен, что вчерашний вечер ему не приснился, что все это было на самом деле. Напротив, теперь обычный мир вокруг казался

ненастоящим, словно раскрашенный картон, нити и зеркала. Может все-таки следовало пойти к психоаналитику? Тимур повертел в руках карточку. Буквы на ней стерлись так, что было видно только «тор» в верхней строчке и «донар» в последней. «Первое, наверное, «доктор», — подумал Тимур, — Это ясно. Но вот почему «донор» написано с ошибкой и при чем здесь вообще доноры?» Послышался шум надземки, Тимур отрывал взгляд от визитки и посмотрел вниз. Внизу, под мостом, по рельсам несся не поезд, а огромная змея. Солнце отражалось на ее жестких зеленоватых чешуйках и блики метались вокруг. Люди отмахивались от них, когда они попадали им в глаза, но никто не обращал на происходящее внимания. Змея занырнула под мост и земля под Тимуром затряслась. Он испугано схватился за перила.

— Не хватайся, — добродушно посоветовали сзади.

Тимур повернулся и обнаружил, что он в лодке не один. Сзади, в окружении снастей, сидел плотный рыжий бородач. Он подмигнул Тимуру и принялся раскручивать над головой леску.

— Не хватайся, — повторил он, — Лучше подгребай давай помаленьку. Ух, ну мы сейчас порыбачим!

Леска ушла в воду и бородач сосредоточенно принялся ее травить. Потом укрепил на борту, уселся, достал откуда-то из-за пазухи маленькую коричневую сигариллу и блаженно закурил.

— Вы кто? — спросил Тимур.

— Я-то? — ухмыльнулся бородач, — А сам ты как думаешь?

Тимур перевел взгляд на карточку в руках и затем снова уставился на бородача. Рыжий ухмыльнулся еще шире.

— Соображаешь, Хюмир, — похвалил он.

— Я Тимур, — отозвался Тимур.

Бородач пожал плечами.

— Не важно, — сказал он, — Ты лучше скажи, ты чего грустный такой, будто в кислое молоко тебя сунули?

— Я не грустный, — возразил Тимур, — Я задумчивый.

— И о чем же ты думаешь?

— О мире. Мир вокруг меняется.

— Ба! Вот так новость!

— И нужно с этим что-то делать.

— А ты всегда что-то делаешь?

— Да, — кивнул Тимур, — Я сам хозяин своей судьбы.

— Ну ладно, — согласился бородач, — Хозяин. Вот тебе, для примера, задачка. Есть у тебя, скажем, жбан. Здоровый такой жбан. И пришел я к тебе его просить.

— Зачем?

— Пива сварить, не перебивай. А ты давать его мне не хочешь, но и прямо отказать не смеешь. Чего делать будешь?

— Это такой тест? — уточнил Тимур.

— Тест, тест, — кивнул бородач и наклонился к леске, — Гляди-ка, клюет.

— Ну, — рассудительно начал Тимур, — Я бы жбан спрятал. И сказал, что отдал другу.

— Тогда, — прокряхтел выбиравший леску бородач, — Я бы пошел к твоему другу. Зачем тебе выглядеть лжецом?

— Ну можно еще попробовать вас отговорить.

— Не-а, — бородач вытянул еще метра три лески, — Как-же ты меня отговоришь, когда я не сам пришел, а меня Один послал?

— Тогда можно соревнование устроить, — подумав предложил Тимур, — Но такое, чтобы я обязательно выиграл. Например на ту же рыбалку отправиться, кто больше наловит. В знакомое мне место. Или, не знаю, стакан небьющийся подсунуть и попросить разбить.

— Соображаешь, — одобрительно кивнул бородач и резко дернул леску.

Из-под воды, огромный как остров, вынырнул давешний змей. Он дико ревел и бешенно вращал глазами. Тимур вцепился в борт, рыжий азартно заорал и принялся быстро наматывать леску на локоть. Змей заревел еще страшнее и принялся метаться так, что лодку стало швырять вверх и вниз. Тимура залило с головой, он закашлялся, протер глаза и с ужасом увидел как нога упирающегося бородача проломила дно лодки у ушла в воду. Тимур вслепую зашарил вокруг и рука его словно сама ухватила нож. Он кинулся к борту и принялся отчаянно рубить леску. Раз. Другой. Леска с оглушительным хлопком лопнула, змей снова заревел и нырнул обратно. Бородач витиевато выматерился. Прохожие вокруг принялись на них оглядываться, но бородач лишь крепче сжал сигариллу в зубах и злобно глядя на Тимура подступил к нему вплотную.

— Хюмир, — зарычал он, — Нахрена надо было обрезать леску?!

— Я думал, — принялся оправдываться Тимур, — Мы утонем. Надо было глушить эту змею чем-нибудь. Там, вон, молоток был.

— Молоток, — передразнил его бородач, — Как я тебе свой молот без пояса подниму?

— А пояс?

— А железный пояс на рыбалку брать, ищи дураков. Ладно, — успокоился он, — Бес с ним, со змеем. Встретимся еще. Так что ты там о мире говорил?

— Мир меняется, — неуверенно ответил Тимур, — И с этим нужно что-то делать.

— Делать, — задумался бородач, — Чтобы что-то делать,

нужно обладать силой. Есть у тебя сила менять мир? Или не давать ему меняться, что, в принципе, одно и то же?

Тимур неуверенно пожал плечами.

— Ну хорошо. — усмехнулся бородач, — Ты хотел помощи психоаналитика? Вот тебе мой профессиональный совет. Посмотри на все со стороны. Желательно сверху.

— На все сверху? — непонимающе переспросил Тимур, — Что, вообще на все?

— Начни с города.

Тимур стоял на смотровой площадке и смотрел на Кольцевую. Отсюда она казалась муравьиной дорожкой. Муравьи-машины беспорядочно и бешенно метались по ней, но так и не выходили за узкие границы. Каждый из них не был Кольцевой, но все вместе они именно ей и были. У Тимура заворочались какие-то туманные ассоциации. Что-то из школы. Физика. Тепловое движение частиц. Как его? Брауновское? Там еще был стеклянный диск с маленькими металлическими шариками. Если покрутить ручку, то раздавался треск и шарики принимались беспорядочно метаться. В точности как молекулы воздуха, уверяла их учительница. Броуновское! Вот, точно! Хаотическое броуновское движение частиц, основа молекулярной физики. Тимур вздохнул. Надо же, сколько вещей, вдолбленных в школе так не разу и не пригодились в жизни, но забыть их совершенно невозможно. Лучше бы объяснили, что нужно делать, когда у тебя на рыбалке клюет морская змея. И можно ли здесь вообще что-нибудь сделать. Тимур снова уставился на Кольцевую и вдруг увидел, что это уже не дорога, но гигантский змей обернулся вокруг города и теперь беспокойно шевелится там, внизу.

— Красавец, а? — азартно бросил Тимуру сосед и Тимур опасливо на него покосился. Но нет, это был не рыжий бородач, а какой-то смуглый незнакомец с черной повязкой через один глаз. Чисто выбрит, небрежно, но со вкусом одет, на запястье тяжелые золотые часы — видимо из новых бизнесменов.

— Тешуб, — протянул руку сосед заметив, что Тимур его разглядывает.

— Хюмир, — отчего-то ответил Тимур и пожал руку.

— Правда красавец? — повторил Тешуб и снова повернулся к окну.

— Змей? — уточнил на всякий случай Тимур.

— Ну да, — кивнул Тешуб, — Иллуянкас. Видел мой глаз? Его работа.

Тешуб развернулся и на секунду его рубаха распахнулась так, что Тимур увидел на груди соседа широкий шрам.

— А вот сегодня, — спокойно продолжил Тешуб, — Моя очередь.

Тимур непонимающе уставился на него. Тешуб улыбнулся и хлопнул Тимура по плечу.

— Слушай, Хюмир, у тебя планы сегодня на вечер есть?

— Нет, — честно ответил Тимур.

— Тогда поехали со мной. У меня сегодня праздник, понимаешь. Сын женится. Приглашаю.

Когда Тимур, порядочно уже выпивший, сумел оттеснить Тешуба в сторону, веселье было в полном разгаре.

— Тешуб, — закричал Тимур разгоряченному отцу жениха, — Тешуб, что ты имел ввиду — сегодня твоя очередь?

— Ты же видел змея? — навалился на него Тешуб, — Видел мой глаз? Он вырвал. И сердце. Тоже вырвал. Мы с ним дрались, понял? Он старый. Иллуянкас. А я был молодой, горячий. Хотел нахрапом взять. А он был битый. Опытный. Ууу.

— А теперь? — попытался вернуть собеседника в настоящее Тимур.

— А теперь я тертый. Хитрый. Видел сына? — Тешуб повернулся и махнул рукой куда-то туда, где бешено скакали гости, — Видел его невесту? Дочь Иллуянкаса. Мой глаз и мое сердце — ее приданое.

— Так ты все подстроил? — догадался Тимур.

— Конечно, — засмеялся Тешуб так, что вино пролилось из зажатой у него в руке рюмки на пол, — Конечно подстроил. Я получу обратно сердце и глаз. И убью Иллуянкаса. Пришло мое время.

— А сын? — спросил Тимур, — Ты ведь, получается, его использовал. Думаешь, он простит?

Тешуб мгновенно протрезвел. Он поставил рюмку на стол и полез во внутренний карман за портсигаром.

— Сын, — повторил он и засунул в рот маленькую коричневую сигариллу, — Сын. Когда меняются времена, Хюмир, чем-то всегда приходится жертвовать. Таков закон.

— И что? Никак по другому? Например оставить этого змея в покое?

Тешуб с жалостью посмотрел на Тимура.

— В покое, — проговорил он и Тимур заметил красный оттенок в его черных волосах, — Думаешь, у меня есть выбор?

— Выбор всегда есть, — возразил Тимур.

— Выбор всегда иллюзия, — отмахнулся Тешуб и Тимур увидел, что тот уже бородат, — Единственный выбор который у тебя есть, это быть готовым к переменам или делать вид, что

никаких перемен нет. Но и так и этак тебе придется сделать то, что ты должен сделать.

— Кто ты, Тешуб? — спросил Тимур.

Бородач ухмыльнулся.

— Я Тешуб! А раньше меня звали Тару. Или Тор.

Он взял со стола рюмку и взвесил ее в руке.

— Ты говорил, — наклонился он к Тимуру, — Что мир меняется. Что нужно что-то делать. Ну так как, есть у тебя сила не дать миру измениться?

— А есть ли у меня выбор не иметь этой силы? — ответил Тимур.

— Соображаешь, — снова засмеялся Тор, — Все ты понимаешь, хитрец Хюмир. Но твой жбан все равно мой. Небьющийся стакан, надо же такое выдумать.

И он с размаху швырнул рюмку в лоб Хюмира.

Хюмир лежит положив руки под голову и смотрит вверх. Закат. Солнце садится и в небе появляются багровые оттенки, словно отсветы мрачно-тлеющих глаз какого-то зверя. Например, гигантского волка. Становится прохладно, Хюмир резко садится и обводит поле взглядом.

— Очнулся? — спрашивает его Тор.

Хюмир трет лоб. Болит голова.

— Кто это? — спрашивает он и кивает на волка, закрывшего собой небо.

— Фенрир, — равнодушно отвечает Тор, — Сын Локи.

— Твой враг?

— Враг Одина. Мой враг Йормунгандр. Помнишь змея, которого я поймал?

— Похоже, змеи твоя судьба.

— Конечно, — пожимает плечами Тор.

— И ты опять победишь?

— Конечно, — повторяет Тор и ловко подкидывает вверх свой молот.

— Разнесу ему голову. Сделаю девять шагов назад. Упаду отравленный его ядом. Судьба.

Хюмир не находит, что сказать и неловко оглядывается.

— Что это? — спрашивает он Тора и показывает на приближающееся по морю черное пятно.

— Наглфар, — отвечает Тор, — Корабль из ногтей мертвецов.

— Мертвецов? — Хюмира передергивает, — И кто же на нем плывет?

— Ты.

Хюмир внимательно смотрит на Тора, но тот, похоже, вовсе

не шутит.

— Понимаешь, Хюмир, — вздыхает Тор, — Это как со жбаном. Ты что-то делаешь, потому, что не можешь ничего не делать. Но что-бы ты не делал, ничего не изменится, жбан тебе не сохранить. Так и теперь. У тебя есть сила изменить мир. Потому, что ты и есть часть этой силы. Хочешь ты этого или нет.

Хюмир задумывается.

— И кто же победит? — спрашивает он наконец.

— Какая может быть победа, когда нет выбора? — вздыхает Тор и перехватывает молот поудобнее.

Хюмир трет лоб и снова ложится в снег. Когда нет выбора, нужно уметь наслаждаться его иллюзией. Пока есть время. Тюмир лежит и думает выборе. И о силе. Наглфар идет к берегу.

10 Жезлов
Подавление

Этот аркан описывает ситуацию, аналогичную, скажем, борьбе советских диссидентов с системой (конечно, вовсе не обязательно в таких же масштабах, драма вполне может разыгрываться на работе, или даже дома, в семье).

При очень благоприятном раскладе Десятка Жезлов обещает трудную и сомнительную, но все же победу. При неблагоприятном «диссиденту» не поздоровится.

Но сопротивление тупой, грубой подавляющей силе, наличие которой в вашей жизни констатирует Десятка Жезлов, в любом случае имеет смысл.

П. Бормор
После бала

"Золушка! Вынеси мусор!"

Золушка в ужасе вскакивает на кровати. Уф, нет… Какое счастье, это всего лишь сон.

Дворцовая опочивальня тонет в полумраке, рядом тихо похрапывает прекрасный принц. Муж. А она — замужняя дама. Принцесса. И не обязана больше перебирать просо и сажать розовые кусты. Наконец-то свободна. Вырвалась. Какое же это счастье — не видеть одутловатой рожи своей мачехи и её придурковатых дочек, не зависеть больше от их идиотских капризов…

— Золушка!

Ох, нет, это не сон!

Золушка скатывается с кровати, сует ноги в хрустальные башмачки и бежит на требовательный зов.

— Войди, дитя моё.

— Да, Ваше Величество.

— Можешь называть меня просто матушкой.

— Да, матушка.

Королева. Свекровь. Смотрит, как на таракана.

— Передай мне вон ту папку, детка. Да, ту. Спасибо. И постой тут рядом.

Нет, даже не как на таракана. Тараканы всё-таки водятся во дворце, хотя этот факт и замалчивается. А такой взгляд могла бы заслужить разве что плесень, которой тут не место.

— Вчера я имела долгую интересную беседу с твоей матерью, — скучающим голосом произносит королева, и рассеянно теребит завязки на папке. — Да, нечего сказать, учудил мой сыночек.

Золушка молчит. Она и сама всё понимает. Конечно, для родителей принца его выбор оказался тяжким ударом. Кто она такая — без роду, без племени, без образования. Только и есть в ней, что ножки маленькие.

— Ну что ж, — с хорошо отмеренной долей сожаления вздыхает королева. — Сделанного не поправишь, добро пожаловать в семью. Постарайся быть примерной женой моему сыну. А мне — послушной дочерью.

Папка в руках королевы раскрывается, скользит вбок, ворох бумаг проливается из нее на пол, выплескивается под ноги Золушке.

— Ах, какая досада, — королева сочувственно щелкает языком. — Девочка моя, будь добра, собери это. И рассортируй. Деловые письма отдельно, переписку с иноземными послами — отдельно. А потом, когда закончишь, напиши им всем ответ. И сделай копии для архива. А для меня, будь другом, составь краткий обзор. Ну и для короля тоже, само собой, — Королева смотрит на Золушку с холодной мстительной улыбкой. — И постарайся управиться до завтрака.

2 Чаши
Любовь

Эта карта смягчает даже самый неблагоприятный расклад.

В наихудшем случае будет вам курортный роман вместо большого и светлого чувства. Но все равно неплохо.

Фекла Дюссельдорф
…and Juliet

— И они надеются, они на-де-ют-ся, что он любит их! — она торжествующе смотрит на меня круглыми карими глазами, ставит красную чашку на плетеную бамбуковую подставку, удобно устраивая в кресле пышное тело, завернутое в легкую индийскую ткань.

Киваю, и глотаю обжигающую нёбо лаву, пахнущую кардамоном и корицей.

— Но мы все только и надеемся на то, что нас любят. Мы из кожи вон лезем, чтобы стать достойными любви. Какая разница между надеждой на любовь Бога, и надеждой на любовь человека? Никакой.

Мы, не сговариваясь, смеемся нелепой глубине нашей дискуссии; она машет на меня руками, и идет на кухню варить очередную порцию кофе. Я смотрю, как, огибая фонари, к окну подползает вечерняя лиловая мгла. Все, чего я хочу, с первого дня жизни, и, вероятно, буду хотеть до самого распоследнего хриплого вздоха — чтобы меня любили. На улице надсадно орут коты — вероятно, они хотят того же самого, взывая к своему кошачьему богу.

* * *

«Перепиши свою жизнь на чистые страницы
и ты увидишь, что любовь не ведает границ…»

…чтобы в последнее студенческое лето, горячее, пряное, светло-желтое, медово-текучее и медленное — лето-блюз, оказаться в маленькой квартирке под самой крышей. Квартирке-мансарде со скрипящим полом, гулким эхом пустого холодильника, трещинками-иероглифами на пожухшем голубом кафеле, с утренним солнцем в нелепых хозяйских шторах. В кватрирке-крошке, квартирке-миниатюре с плетеным перекрестьем окна, с видом на пухлых голубей, на кончики веток, на рыжего кота на соседской крыше — «кота *на раскаленной крыше*», бонуса для безответственных квартиросъемщиков — окно

в Париж, Берлин и Рим. Белое! синее! оранжевое! зеленое, розовое и голубое! — как будто наш маленький мир раскрасил ребенок — шаловливый, но старательный, высунувший от усердия язык, не знающий ни слова *vulgar*, ни строгой гаммы художественных колледжей. Нет, любовь не *выскакивала из-под земли*, не вытаскивала из кармана плаща ни острого ножа, ни кривого месяца — наша любовь танцевала на клавишах ночной апрельской мостовой, цокая каблуками башмаков, звеня браслетами праздношатающейся гитарки. Любовь дышала в окна цветущим белым деревом, писала чумазым пальцем майской грозы на грязных стеклах подъезда, мурлыкала пластинкой: «*Ты хороша, как узор в прямоугольной бумаге, вечно зеленый цветок и порошок в зеркалах…*»

Мы любили друг друга до изнеможения и до одури, каждый раз, как последний. Любовь скрипела пружинами желтого дивана, пахла веснушками и потом, — горьковатым и сладким, как полынь: есть такой запах, запах любви, запах свежего, бурного, безумного секса. Жизнь истекала запахами и звуками, как надкушенная вишня красным соком; пока мы спали, сплетаясь в клубок, или откинувшись на подушки. Любовь услужливо открывала двери и нужные страницы: «*А Вы когда меня полюбили? В четверг, после обеда, на прошлой неделе*». Я просыпалась на запах кофе. Кофе в постель, вся постель в кофе, чашки у постели — твоя чашка! Моя чашка! Иногда это круче, чем победное знамя воцарившейся в ванной щетки, опустившей голову крышке унитаза. Потому что это значит «мы».

Дипломная работа на желтоватой бумаге черными точками — миллионы точек сплетаются в один узор: «*Джульетты пластмассовый красный браслет*»…Джульетта а черных очках, и похожа на Мишель Пфайфер. И снова до одури, до глупости, *до первой крови*. До крови ненастоящей, гуашево-сладкой и понарошечной. Мы обижались друг на друга, как дети, разбегаясь по углам, и сползаясь к вечеру в одну постель. Бешенная, сладкая метель.

> «Будь моей тенью, скрипучей ступенью,
> цветным воскресеньем, грибным дождем
> Будь моим Богом, березовым соком,
> электрическим током, кривым ружьем».

Я снова падаю в душистую ночь, как майский жук в чернила: крапинками по бумаге, черными точками. Джульетта ночами клеила браслет; а потом носила. А потом потеряла, наверное.

— А что было потом? Спросишь ты, и смахнешь крошку с яркой майки. Я, дожевывая бисквит, подниму кверху палец, требуя терпения.

* * *

Мне по ночам иногда снится твое тело. Загорелое тело, цвета кофе со сливками, с дымным запахом подмышек — легкой, мускусной звериной ноткой, мускулистое и совершенное, тело отчаянного храброго зверя, влажное от пота, откинувшееся на подушки. Иногда, сквозь едкий дым сигарет мне кажется, что ты языческое древнее и вечно юное божество — возродившееся из амулета, который лежал у меня в кармане, и исчез беззвучно и бесследно в тот день, когда появилась ты. Это ли не чудо? Появилась звуком тупоносых туфель, окинув надменным взором мраморные и рассыпчатые, как вчерашние белые булки, тела античных богинь, застывших на лестнице немым завидующим эскортом- куда им до тебя, мое черноглазое совершенство, до твоих сильных бедер в узких выбеленных джинсах, до твоей шеи, длинной как башни Праги — триста ступеней для торопливого трубача в бархате, триста поцелуев темных губ от пульсирующей голубой вены во впадинке ключиц до подбородка, тонкого и надменного, как адмиралтейский шпиль.

Солнечный луч скользнет по длинной путанице бусин в левом ухе, выбивая ленивую дробь. И вот весь мир уже танцует:

Полная матрона в синей юбке, строгой, как вся католическая церковь, проходя мимо прилавка с апельсинами, спотыкается, и делает несколько резких коротких шагов — тук-тук-тук! Усатый мужчина средних лет, в рубашке, которая когда-то могла называться белой — наверное, когда он еще мог *ластиком сбрить свои усы вместо бритвы*, никак не позже — резко вскинул вверх руку с ярко-красным томатом, нахваливая свой товар — та-тат-там! Седая, но стройная, как вся испанская кавалерия, старуха в цветной шали, грозит мальчишке-внуку, стуча клюкой по булыжной мостовой — цок-цок-цок-цок! Упомянутый внук, чумазый, кудрявый и черноволосый, как чертенок, бежит от бабки, сломя голову, сшибая лоток с яблоками — бам-бам-бам-бам!

Ты льешь на белую майку — с надписью Julie — апельсиновый сок, и посредине оранжевого солнечного пятна проступает коричневый сосок. Венера заломила руки в

бессильной тоске, увидев тебя. Заломила и отломила, ха-ха.

Бросаться следом, бежать, расталкивая вальяжных туристов, за тобой, только затем, чтобы ухватить *твой танцующий силуэт на кончик карандаша*? Пренебрегая приличиями, хватать тебя за руки — смуглые сильные пальцы — серебряное витое кольцо на безымянном? Сбивчиво говорить тебе, что у тебя руки Джоконды? Все ищут разгадку ее улыбки, а кто видел, как прекрасны ее сплетенные пальцы, ее руки, исполненные спокойной женской силы? Крикнуть в твою поежившуюся спину сплиновское: «*Я напишу с тебя портрет, и сдам рублей за восемьсот*?»

Крикнуть. Чтобы мне перестало ночью сниться твое тело. Чтобы снилась твоя душа — легкая, как крыло бабочки. Желтой, как дольки лимонов на дне двух бокалов. На самом дне лета, где-то между июлем и августом — звонком, как кастаньеты, Джули.

— И что же было потом? Ммм? — спрашиваешь, разбавляя темный кубинский ром пенистой колой. Мотаю башкой, отрезая вместе с долькой лимона кусочек пальца.

* * *

Моя Джули, моя Джози, я мотаю на кулак травленную молью, ветхую нить дорог. Ариадна давно вышла замуж, и даже постарела; к своим обязанностям стала небрежна. Минотавр превратился в простого тощего мула, который тащит повозку, протыкая медленное южное марево торчащими ребрами — острыми, как игольное острие. Я закрываю глаза, и на острие этой иглы — золочено-ржавой от запекшейся старой крови, желтой бабочкой-кораблик трепещет мое сердце. Там, за стрельчатым окном, за витой решеткой, за душными шторами, пышными, как складки твоих юбок, Джози, идет дождь, и небо серое, как твой скучающий взгляд, ощупывающий чье-то лицо — мужское лицо, расчерченное линией усов надвое, и мясистые губы тянутся к твоей шее — такой тонкой, с сеточкой голубых — голубиных — пульсирующих вен. Аааам!

Жозефин, здесь душно, пыльно, женщины черны лицом и носят цветные одежды, укрывающие их тело плотно, как бинты баюкают кровавые раны. Раны моего сердца, Жозефин, следы твоих маленьких туфелек. Я любил этих женщин, Жозефин, их тела — загорелые и рыхлые, пахли потом и мускусом — их соски были чернее ночи, и *живот был как чаша*, а я — вином их

виноградника, Жозефин. Я был густым и сладким, как ночь их горячей, влажной, черной земли, Жозефин, но я не утолил своей жажды. И мальчик в рваном халате, бежал прочь, выкрикивая что-то — гортанно, звонко, и радуга заносила свой серп над маковым полем — аллла, алая жатва. И я бежал, Джози. Бежал умирая от жажды. Я лежал в пыли, Джози, как старая тряпка; у меня над головой зрел виноград, пыльные грозди. А положил янтарную ягоду в рот, и терпкий сок залил мне горло, остановив дыхание. А где-то там, далеко, за твои губы легко коснутся бокала — я стар, Джози, и меня уже давно нет, и кровь превратилась в вино, и ушла в землю**, и маки цветут, и остров ушел под воду, и Атлант, махнув рукой, бросил свою службу — не о чем плакать. Просыпайся, родная моя, кофе уже на огне, и все было шуткой… Джози, Джули, моя Лилит, вставай — ровно в 12 тыква станет каретой, и туфли, и платье…*и маленькая церковь за углом*.

* * *

Сегодня ночью я перечитываю старые письма. Да-да, я знаю, сегодня пограничная ночь — зима и весна сцепились в бешеном вальсе на острие адмиралтейской иглы, тонком, как корочка весеннего льда — и старые письма надо жечь, как тающие мосты в зиму, танцуя под Гребенщикова. Но «рукописи не горят», их тени ходят по коридорам нашего дома, не спрашивая разрешения, наливают в джин и кофе в старые чашки — синие, со звездами, с трещинкой на ручке — мою, и с отбитым треугольником на ободке — твою. Они идут в кладовую, без спросу достают белье, взбивают подушки, выбивая из них перья и запах зимы, наполняют их летней полынью и ладаном, цветущей фиалкой и дымом. Тобой и мной. Они кладут наши головы на подушки, деловито подтыкают одеяло, и тихонько прикрывают дверь.

О любви все сказано и написано. И это только маленький тост-«алаверды» с двумя бокалами в руках: в одном смех, в другом слезы; в одном игристая кровь виноградной лозы, в другом — моя кровь, твоя кровь. Но все будет правильно, и никто не проиграет. И наши ангелы нальют себе — один джина, а другой кофе. Твой почешет в затылке, а мой — пятку, и махнут рукой и скажут…

* * *

— Ну? Чем кончилось-то? — Ты отставляешь чашку. — «Они

любили друг друга, и умерли в один день, приняв яду?»

— Какая разница, — говорю. — Умерли — не умерли. Главное, чтобы в чашках было правильное. И иду на кухню босыми пятками по теплым плиткам пола. Пятка чешется.

«*Ибо что такое мир, когда не пир во имя любви*?»

3 Чаши
Полнота

То есть, полнота бытия, чувств, бесконечное довольство жизнью. Иногда — священный союз (вовсе не обязательно именно любовный, но и это не исключается).

Гала Рубинштейн
Лишние встречи

1

Привет. Ты откуда здесь взялся? По делу идешь, или гуляешь?

Послушай, давай может в кафе зайдем, раз уж все так совпало? Кофе выпьем, или чаю — мне все равно. Да не то чтобы пить, просто в руках подержать горячую чашку. Холодно сегодня, руки совсем замерзли. Особенно левая почему-то.

Я нервная? Ну нет, ну почему? Я спокойная. Я абсолютно спокойная, у меня теплые ноги.

Не смейся, это нас на медитации учат. Если спокойствие, то почему-то руки тяжелые и ноги теплые.

Ян? Нет, Ян на медитацию не ходит. Говорит, что не хочет быть спокойным. Я ему пыталась объяснить, что все болезни от сресса, а он улыбнулся так рассеяно и поцеловал меня в щеку. Лучше бы прямо сказал: мол, отстань, дура. Все не так обидно.

Конечно обидно, вот если бы тебя жена дураком считала, ты бы, небось, тоже обиделся…

Ян говорит, что болезни все от скуки. Я ему говорю, так не надо скучать, пойдем в гости. Пообщаемся. А он даже и не отвечает.

Как у нас вообще? А черт его знает, как у нас вообще. Иногда вроде хорошо. А иногда — хоть бери и вешайся. На прошлой неделе он опять ночевать не пришел. А мне потом говорит: «Это нормально, что ты ревнуешь. Разреши себе ревновать. Ты что думаешь, гармония — это идиллия? Нет, гармония это когда все вместе в клубок сплетается. И боль, и радость, и мерзость всякая, и красота».

Не понимаю я этого, вот хоть ты тресни не понимаю. Что это за гармония, когда он приходит под утро, и духами чужими пахнет? Блядство это, а не гармония.

А он меня обнял и рассказал историю про одного мужика. Не настоящая история, из книжки какой-то. Так этот мужик, он весь такой духовный был, а потом влюбился и женился. И поехал с женой в свадебное путешествие. Идет на пляж, то ли рыбачит, то ли просто на рыб смотрит, я толком и не запомнила. А потом возвращается в номер и стреляется. Из пистолета. Потому что понял, что слишком сильно жену любит, и больше ни для чего в его сердце места не осталось.

Ну даже если в этом и есть какой-то смысл — то что ж ты тогда по бабам ходишь? Застрелился бы, и дело с концом.

Вот ты понимаешь что-нибудь? И я не понимаю.

Ему хочется чтобы всего много было. А так не бывает. Если много, то чего-то одного, а если все сразу, то по чуть-чуть.

Нам в школе рассказывали когда-то про древних римлян, что ли. Они обжирались за обедом, а потом пером в горле щекотали. Ну и блевали, конечно, а потом опять ели. Точно как Ян. Только он не едой объедается. Я не знаю, как тебе объяснить, но голодом тоже можно обожраться. И духовной всякой пищей.

А я ему нужна вместо перышка…

Я бы ушла, вот честное слово, взяла бы — и ушла. Но куда ж пойдешь? Женьке полгода всего, я грудью кормлю. Ни работы, ни родственников.

Ну и потом, я его люблю.

Не так, как тебя любила, но все-таки…

Чего ты смеешься?

Да ну тебя с твоими шутками. Конечно, сейчас я мужа брошу, а ты жену выгонишь, и заживем, как в сказке.

Я с тобой серьезно разговариваю, а ты…

Нет, я не буду кофе допивать. Слишком сладкий.

Дай-ка мне лучше льдинку из твоего сока.

2

Ну вот, опять я тебя на том же месте встречаю. Только погода изменилась. Тепло.

Ну давай посидим. Под каштанами.

Ой, нет, только не здесь!

Я не кричу, просто скамейка покрашена. Ну и сиди на ней, пожалуйста. Дурак сумашедший… Такое пальто красивое испортил. Ты знаешь что, возьми дома ацетон и легонечко так потри…

Ну и черт с тобой, можешь его выбросить в мусорку. Оно мне надо триста лет…

У меня нормально все. Работать начала. Женька в садике. Ну то есть в яслях.

Нет, не развелась, чего мне разводиться. Я мужа люблю.

Да, конечно, не так как тебя когда-то. Хорошая у тебя память…

Я странная? Да нет, вроде обычная.

Ничего не случилось, чего ты пристал?

Ну, выпила вчера чуть больше нормы.

Сначала водку пили, а потом водка закончилась, и Ян принес

абсент. В серванте стоял, только я не знала, что это такое. Думала, ликер такой зеленый. Я же зеленое не пью, мне цвет не нравится. А вчера я уже цветов не различала, что дали, то и выпила.

Не знаю, может его и надо на сахар капать, но мне в рюмку налили. Кажется разбавили, но я не уверена.

Мне так странно стало после абсента — в голове что-то щелкнуло и все чувства переплелись. Ну я не знаю, как объяснить. Как будто можно цвет понюхать или там укол иголки услышать. Но не совсем. Ну представь, что у тебя только одно чувство есть, и ты им и видишь, и слышишь, и боль чувствуешь тоже им.

Без всяких органов, прямо всем телом.

И одним потоком в тебя все льется — и запах, и льдинки холодные на коже, и горечь на языке от спирта… А потом опять — щелк — и рассыпается на отдельные потоки. И опять видишь отдельно от слышишь…

Чего ты так смотришь? Испугался?

Да ладно тебе, мало ли какие глюки с перепою приглючатся.

Ну говорю же тебе — все в порядке.

Ладно, мне уже бежать надо — Женьку забирать.

3

Вот я так и знала, что встречу тебя сегодня. Только потому и пришла. У меня голова с утра болела, даже вставать не хотелось.

Дождь собирается, вот и болит голова. Подожди минутку, я сок куплю. Очень пить хочется.

Я нормально.

Ты уже знаешь, да? Поэтому спросить боишься?

Не бойся, все в порядке.

Мы не знаем, что случилось. Врачи тоже не поняли. Сказали, синдром детской смерти, что ли. Только Ян в интернете смотрел, так вроде этот синдром только до полугода. А Женьке уже почти два было.

Ну да, ты прав, теперь уже без разницы.

А чего ты не спрашиваешь: «вы развелись»? Всегда спрашиваешь, а сейчас не спросил.

Нет, не развелись. Хотя если честно, то я и не знаю толком. Ни о чем таком не говорили. Да и какой смысл разводиться? Я же в больнице почти все время.

Ну что ты смотришь, как будто я из сумасшедшего дома сбежала. Я не сбежала, меня отпустили погулять. Я иногда прошу, чтобы отпустили, так они отпускают.

Мы тогда с кладбища вернулись, и Ян начал у меня прощения просить и плакать. Ну, что он меня обижал, и что дома его не было, когда это все с Женькой случилось. А я даже и понять не могла, о чем он говорит.

Знаешь, мне когда врач скорой сказал, что все, ничего уже сделать нельзя, так в меня как игла стальная вошла, я сама чуть умерла, и дышать перестала, и потемнело все вокруг. Упала на пол, хорошо скорая еще не уехала, так они меня откачали.

И я тогда странную вещь почувствовала — как будто эта смерть все на свои места поставила. Я ведь и не жила раньше. Вроде как не для чего. Все казалось — вот сейчас что-нибудь произойдет, и тогда уже заживу в полную силу. А оно все не происходило и не происходило.

Не знаю, как объяснить. Я вдруг поняла, что всё это мое горе — выдумка. Причем не моя выдумка, его кто-то другой придумал, а у меня вроде как и выбора нет.

И вот представь, я стою посреди комнаты, и чувствую, что с меня как будто черное покрывало сняли. Стою и улыбаюсь. И вот тут как раз Ян вернулся.

Это я потом поняла, что есть вещи, которые никому рассказывать нельзя. Но мне казалось, он поймет.

Нет, не понял.

Пару дней он все ходил вокруг меня, ждал, что я тоже плакать начну. А потом к врачу отвел. А я, дура, так врачу и сказала — что, мол, все хорошо и правильно. Что без смерти все плоское и неинтересное. Вроде все есть, а вроде чего-то и не хватает. А когда смерть приходит, сразу объем появляется. И цвета ярче делаются, и звуки звонче.

Врач сказал, что это у меня шок посттравматический. И предложил полежать в стационаре. А мне что — мне даже хорошо. Мне домой не очень хотелось возвращаться, а больше вроде как и некуда идти. Ты же знаешь, у меня тут никого нет. Ну, кроме тебя, конечно…

Ян приходил сначала, а потом перестал.

Нет, ты не понимаешь. Он хороший и добрый, и если бы я лежала на кровати и рыдала, он бы от меня не отходил.

Но иногда, знаешь, немножко обидно. Он же мне сам говорил — для гармонии все нужно, и без плохого нет хорошего. И я на него злилась, но все равно пыталась понять, изо всех сил пыталась.

Нет, я допивать не буду. Пусть немножко останется. Мне кажется, всегда нужно немножко в стакане оставлять. Не знаю, зачем. Просто так правильно, что ли.

А может и нет. Может, глупость обыкновенная.

Ты иди, не жди меня. Я еще немножко посижу. Меня до обеда отпустили.

Такой день хороший, неохота раньше времени возвращаться.

4 Чаши
Роскошь, избыток

Обещая благоденствие, этот Аркан одновременно спрашивает: "А морда не треснет? Не зажрались ли вы случайно, господин хороший?" И призывает покончить с беспечностью и (на всякий случай) собраться.

Ольга Ольховская
Золотые рыбки

Павел Викентиевич закончил неприятный разговор с директором филиала.

Откинулся на спинку кресла. Закурил. "Нужно увольнять. Жаль. Хороший мужик, пробивной. И показатели у него самые лучшие по региону. Сколько лет, считай, бок о бок. Но стратегии не видит. И ведь самое обидное — никак не хочет

увидеть. Самых очевидных вещей". Легко и безболезненно расставаться с сотрудниками Павел Викентиевич так и не научился. Ответственность. Эмоции.

Но делу необходимо движение. Особенно сейчас. Тут еще большая ответственность — перед многими.

По экрану проплывают мультяшные золотые рыбки с дурацкими улыбающимися рожицами. Им есть чему улыбаться. За истекшие годы, с того момента как Павел Викентиевич занял ключевой пост, «РыбСнабСервис» из заурядной оптовой компании выбился в тройку лидеров. Развернулась сеть филиалов, заключены прямые договоры с западными производителями. Компания из неприглядного помещения на территории умирающего завода перебралась в шикарный офис в престижном районе. Акционеры счастливы. Персонал едва ли не боготворит генерального. Менеджеры по продажам щеголяют друг перед другом новенькими Хондами и БМВ.

Павел Викентиевич один понимает всю шаткость и ненадежность положения.

Поэтому месяц назад и засновали кильками по коридорам офиса консультанты и системные интеграторы, пытаясь выловить в мутной воде документооборота крупицы здравого смысла. Тьфу, ну что за ассоциации!

Нужно держать руку на пульсе. Нужно предугадывать конъюнктуру и делать ходы на опережение. Когда буржуи открывают в столице представительство за представительством. Когда сети активно выдавливают с рынка посредников.

Пусть пока, главным образом, в других отраслях. Однако — тенденция. Нужно сейчас, пока не упущен момент, закрепляться в Калининграде, в Мурманске, в Норвегии. Нужно инвестировать в собственное производство. Нужно увеличивать долю экспорта.

Нужно, нужно, нужно. Это слово блестящим кухонным ножом шинкует мысли на маленькие кусочки, перемешивает, заправляет в суп.

Хорошо, что сотрудники любят и доверяют. Поддерживают. Команда. Хорошо, что есть бюджет и нереализованные еще внутренние резервы. Хорошо, что рыба регулярно приходит и по прежнему успешно продается.

Основной поток рыбы идет из Калининграда. Павел Викентиевич живо представляет себе, как скумбрия перебирает по дороге хвостовыми плавниками, отсчитывая километр за километром. Как прорастает бамбук вставших на дыбы волос сквозь фуражки таможенников. Как неповоротливая треска голосует на шоссе, заставляя повидавших на своем веку чуть ли не самого черта дальнобойщиков судорожно кретиться, плевать через левое плечо и выскакивать на встречку.

Эх, если бы… Павел Викентиевич улыбается.

Нужно расслабиться. Плюнуть на все и улететь на Карибы. На месяц. Забыть обо всем. Только солнце, пальмы, океан, морепродукты… Тьфу.

Павел Викентиевич бросает взгляд на часы. Хотя это и необязательно. Внутренний хронометр с некоторых пор действует безошибочно.

— Людочка, пускай Миша запрягает.

— А у него кобыла расковалась! — Шутит в ответ Людмила Ивановна. По проводам внутренней связи переливаются задорные смешинки.

— Пускай запрягает вороного. — Улыбка ширится на лице генерального. Перед глазами встает разгоряченная, в мыле морда жеребца Гамлета. Хорошо отпрыгал, хоть и не первый. Не зря спонсировали. Завязалось несколько нужных знакомств. Калининград. Нужно будет не забыть в этом году…

Миша, водитель, откладывает газету с кроссвордами. Гасит свет в салоне, несколько раз сильно моргает глазами, привыкая к вечернему освещению за лобовым стеклом. Подгоняет черную, таинственно мерцающую в свете золотистых фонарей «восьмерку» Ауди. В зеркале капота отражаются паруса офисного здания. Будто по низким, тяжелым облакам скользит небесная яхта.

— В Адриатику, — бросает Павел Викентиевич. Под его пальцами виновато попискивают кнопки мобильника.

— Милая, у меня сегодня еще одна встреча… Да, наверное поздно… Как ты там? Я постараюсь.

Жена захлопывает книгу и идет варить кофе. "Ничего, я же понимаю, что дела. Вот и квартира, и кухня… Звонит… Любит… Это главное. Но в выходные непременно, непременно…"

Приветливая улыбка метрдотеля. Уютное перешептывание дров в камине. Золотые рыбки за стеклом аквариума. Есть время посидеть, покурить, отпустить все мысли. "Что тебе еще нужно? Нет, правда. Бросить все. Продать квартиру. Продать свою долю в бизнесе. Укатить с женой на побережье. Во Флориду. В Калифорнию. В деревню в Тверской губернии. В глухомань. Жить на двести баксов. На сто лет хватит. Даже больше. Сидеть на озере с удочкой… Тьфу ты!".

— Бутылку белого вина.

Официант бесшумно растворяется в интерьере. Вкусы постоянных клиентов принято знать назубок.

Улыбки. Рукопожатие.

— Как долетели?

За окном пушистые белые хлопья. Маршируют, заплетаясь сапогами в снегу, курсанты. Медленно проплывают автомобили. Роскошные, в собольих шубах Бентли и Мэйбахи. Нищие, в овчинных тулупчиках Жигули-шестерки.

— У вас, оказывается, такой траффик!

— Ооо! — Пробуя закуску…

— О делах? О делах чуть позже.

На столе являются блюда, готовые заявить о своих авторских правах на все картины малых голландцев скопом. И до хрипоты отстаивать их в суде.

Только этого еще не хватало!

— Закупки… Инвестиционный климат… Капитализация… Лондон… Внешнеполитический курс… Атлантика… Морепродукты… Давай по простому — сколько?..

Тихо перешептываются дрова в камине. Танцует огонь, взвиваясь и кружась. Официант незаметно доливает в опустевшие бокалы. В горном озере коллекционного вина плещутся золотые рыбки.

* * *

Пронзительная трель телефона. Павел открывает глаза. Рука автоматически дергается к трубке. Но звонок не повторяется. Видимо звонивший, так и не дождавшись ответа, дал отбой. Что за черт? Грезишь наяву. На рабочем месте. Ну ты вообще, приятель, хоть сейчас иди сдавайся в психушку.

В глазах рябит. Мелко нашинкованные обрывки мыслей испуганно бьются в голове. Кипят, перевариваются в супе, в котле черепной коробки. Экономист-аналитик. Тридцати двух лет от роду. Холост. Русский и английский. Права категории «Б». Знание бухучета. Опыт в логистике от трех лет. Мог бы больше, много больше. Другие в этом возрасте…

По экрану проплывают мультяшные золотые рыбки с дурацкими улыбающимися рожицами. Скринсейвер включился. "Сколько же времени я был в ауте?" Шевелит мышкой. Столбики данных, графики, диаграммы. Мигающий конвертик айсикью. Застывшая на калькуляторе цифра "4".

Снова звонит телефон.

— Ты где болтаешься? — В голосе Людмилы Ивановны напряженные нотки. — Давай быстро, к шефу… Что? Важное совещание.

5 Чаш
Разочарование

Эта карта не только судит разочарование (при любом раскладе), но и дает понять человеку, что он в чем-то совершил ошибку. Если правильно ее вычислить и попробовать исправить, последствия будут не столь плачевны.

Татьяна Хейн
Предназначенье

— Благословите, батюшка. Благословите, матушка. Ну, поеду искать свою суженую. Даст Бог, привезу вместе со стрелою. Как договорились, батюшка, кто подобрал, того и привезу. Обижаете! Никогда не мухлевал, так уж с судьбой и подавно не буду.

* * *

— Стрелы — это умно. Действительно, пускаешь в белый свет, как в копеечку, а там уж и она, самая прекрасная.

Ну, поудивляется немного, откуда это чудо чудное принесло, поднимет, да и сядет ждать-поджидать, когда хозяин-молодец, то есть я, появится.

А я появлюсь. Не бойсь, красна девица! Вот только подпругу подтяну, шапку поправлю, не дай Бог, свалится дорогой, да и прискачу на лихом коне, как прынц.

Тпру, проклятая кляча! Вишь придумала пятиться, когда хозяин в седло, как сокол взлетает. Тпру, кому сказал. Стой, мешок с костями! Вот так-то. Ну, милая поехали, поищем, куда эта калена-стрела улетела, кого нам навыбирала.

* * *

— Неет, это слишком близко. У папаши лук хороший, да и тетиву я натянул, не поленился. И нечего пялиться, туда нам с тобой незачем.

Давай-давай, трюхай потихоньку. Дорога у нас ещё впереди.

* * *

— Вот же чёрт. Наградил Господь силушкой, а умом не сподобил. Это ж надо так далеко запульнуть. Потерпи, каурая, мне и самому эта дорожка уже поперёк горла. Ведь такие хоромы проезжали, а всё мимо и мимо. «Нет, не залетала» «Нет не видели». Эх….И девки там были вполне себе. Нет, чтобы им

стрелу подобрать. А эта белёсенькая, так и вообще….И глазки…

Ладно, едем-едем. Наша, небось, всё едино, наикращая. Ждёт нас, дожидается там…

Ну а где там? Ну там. Может в этом лесу замок стоит. А в нём принцесса. А? Каково это, каурая, на принцессе жениться. И нечего ушами трясти. Очень даже пойдёт. И что, что не принц? Я — парень видный, весёлый, хозяйственный. И вообще, как это поперёк предназначения идти? А стрела, лошадка, предназначение! Это как судьба. Тебе не понять и не фыркай. Слушай лучше! Приедем мы к замку, там принцесса-краса, собой хороша, характером мила да уступчива….

Чёрт-чёрт-чёрт! Сам вижу, что болото. Не храпи. Близко уж. Ты тут пока попасись, а я мигом.

* * *

— Ты что это, лягушка с моей стрелой тут делаешь? Погоди-погоди. А! Ты заколдованная прекрасная дама? Я тебя поцелую, а ты и оборотишься? Да-да, как же! А я-то думал, что сказок не бывает! Да это ж ещё лучше!

Прыгай на ладонь. Вот так. Умничка. Ну-у-у… Целую!

Аааа!!! Ёкарный бабай! Ты что это, увалень, делаешь?! Чуть руку не сломал. Ты вообще откуда на меня свалился, придурок? какой такой "уйди противный"? На себя посмотри, морда! Ща, как дам больно! Будешь знать! Где принцесса? Отдай стрелу, что вцепился? Не твоя чай!

Эй! Ты можешь внятно говорить? Что квакаешь? Ну прости, прости. До свадьбы заживёт. На, возьми, юшку утри. И водой примочи, а то распухнет. Что говоришь?

Какой колодец? Какое колечко? Ты колечка у колодца ждал, на секундочку к болоту отлучился, а тут на тебя стрела? На ТЕБЯ моя стрела? Так это ТЫ моё предназначенье?!

6 Чаш Удовольствие

Этот аркан еще называют "зародыш будущей радости". Пока все просто довольно мило, а скоро может стать по-настоящему здорово.

Тикки Шельен
Увертюра

Первая. Ее я помню очень хорошо, наверное, лучше всего остального, в Семиренках такие были, считай, в каждом доме, это не удивляло, это входило в правила игры. Она стояла на краешке стола, белая, украшенная нелепыми пузыристыми синими розочками, а тетя Римма наливала молоко из большой трехлитровой банки. Молоко было теплое, парное, его хотелось пить прямо из банки, но банку не давали никогда, только эту чашку, белую, белее молока. Пузыристые розочки чем-то странно напоминали пену на парном молоке, при одном взгляде на них становилось смешно и уютно. Пей, говорила тетя Римма, наливая молоко в белую чашку с синими розочками. Пей, не прыгай, и хлеба возьми! За хлебом ездили на велосипедах, авоську с буханками вешали на руль, внутри магазина пахло хлебом, карамельками и еще чем-то, что сразу не определишь, но не забудешь никогда. За ночь недопитое молоко подергивалось пленочкой сливок прямо в чашке. В сенях толпились на старой тумбочке большие банки с молоком до краев, только под крышкой чуть-чуть стеклянные. Вечером приходили люди, оставляли прозрачные банки, уносили белые, полные. Теплое молоко медленно остывало, поверх него сгущались сливки; чтобы налить молока, надо было встряхнуть банку, тогда сливки нехотя разбивались и всем доставалось понемножку желтоватых островков среди белого, и маме, и тете Римме, и всем в доме. В хлеву рядом с сенцами коровушка переступала с ноги на ногу и терлась о загон, а если войти туда, телочек тянул к тебе губы, шкура на его шее вечно была чем-то выпачкана, скользкий холодный нос охотно тыкался в ладонь. Теленочка было немножко жалко, потому что мы пили его молоко и еще почему-то, зато ему вечером готовили ведро пойла с хлебушком, и телок звонко вылизывал ведро шершавым языком. Пей молоко, тянись высоко! Правда, толком я так и не выросла, в классе всегда была самая маленькая, но все равно ни до, ни после я не пила молока вкуснее, чем тогда, в Семиренках, у тети Риммы, из щербатой белой чашки с синими розочками.

А еще я помню автомат с газировкой. Через несколько лет они окончательно пересохли и стояли пустые и безжизненные, как мертвые роботы из фильма про космическую войнушку, а потом их вообще убрали, сейчас уже и не вспомнишь, какие они

были. В их эмалированной пещерке в мойке стоял стакан, если его опрокинуть и нажать, по кругу прыскали струйки разной высоты, наскоро споласкивая граненые стенки. За копейку в стакан ударяла струя кислой газировки, а если бросишь три — из краника сперва лилась скупая порция сиропа. Мальчишки говорили, что если пнуть аппарат сзади, пока он плюется сиропом, его может переключить, тогда он тебе нальет сколько хочешь, знай только пинай. Из наших все равно так никто не умел. Существовал легальный способ получить двойной сироп, для этого надо было отдернуть стакан, подождать, пока сольется минералка, и бросить еще три копейки. Но, во-первых, это было чистое жлобство — проливать напрасно серебристую, хотя и невкусную газировку, а во-вторых, поди-ка еще найди эти три копейки! Пятаков можно было наменять в метро, а двушки и трешки приходилось выпрашивать в магазинах на сдачу у надменных кассирш. Взрослые не одобряли газировку на улицах, мало ли кто до тебя пил, пойдут прыщи по губам, да и сами стаканы чаще всего оседали в местах обитания здешних алкоголиков, а потом, разбитые, в изобилии валялись на стройках и возле скамеечек во дворах. Разве объяснишь, какая она — эта уличная крамольная газировка с сиропом, когда несёшься как угорелый к здоровенному светло-серому колодцу счастья! Мне теперь не понять, как можно было угощаться из этих непромытых, мутных, захватанных поилок! От каких бед нас уберегали ангелы-хранители, какую заразу в последний момент успевали смахнуть крылом: но ведь сколько пили — и никто не заболел! А если все стаканы стащил местный пьяница или они слетелись на крышу автомата и их нипочем не достать, то у нас в запасе был последний способ. Ленка проталкивает в щель копейку, автомат журчит железным нутром, я подставляю обе ладони ковшиком, и прямо в руки мне устремляется тугая струя, Ленка сует свои ладошки, и вот мы пьем, хохочем, обливаемся, Дура ты, кричит Ленка, пусти, чего тормозишь! Сама дура, кричу ей, от дуры слышу, дуру вижу, с дурой говорю! Какая-то бабушка, проходя по улице, укоризненно качает головой и тихо произносит: обе вы курицы. Мы с Ленкой молча давимся от смеха, сквозь ладони на асфальт просачиваются капли газировки, на коже с легким шипением оседают пузырьки.

На самом деле, так страшно мне было только однажды, в 7 классе. Нашу музыкальную школу повезли с концертом в какой-то загородный музей, от класса духовых взяли двух человек, меня и Георгия. Георгий играл на кларнете и был жутким занудой, а в меня, малорослую шмакодявку, словно бес вселился. Я носилась

по коридорам, хохотала, как ненормальная, передразнивала завхоза и дергала за косичку альтистку Машу Семенову. Меня взяли только при условии, что я буду паинькой. В автобусе виолончелист сказал, что у флейтистов мозгов нет, чтобы голова лучше резонировала, взять хотя бы Шестову, и я треснула его по башке. А потом мы приехали и пошли в зал. Он был маленький и какой-то круглый и уютный, как коробочка. Яркое солнце било из окон, потертым золотом сияли лепные завитушки на стенах и потолке, в лучах света толкались пылинки, и такая поющая тишина царила в этом зальчике, что мне стало жутковато и нелепо. Что мы тут делаем, недоучки, недоросли? Разве это наше место? В первый раз в жизни я вдруг ощутила себя самозванкой, выскочкой, дурно воспитанной коротышкой. Я подошла к своему педагогу и сказала, что не могу сегодня играть, что у меня… месячные!

Моя очередь была сразу после Маши с ее «Ноктюрном». Когда я выходила на сцену, у меня кружилась голова. Зал опрокинулся надо мной, как чаша, замер, вздохнул — и упали аккорды вступления. Я наполняла эту чашу, выводя на флейте прихотливую мелодию баховской «Увертюры H-moll», тонкое серебро дрожало в воздухе, звуки торопились, нанизывались, рассыпались и медленно растворялись. Я забыла о своем самозванстве, о страхе, обо всем, и когда Увертюра закончилась, у меня оставалась опрокинутая чаша, до краев наполненная флейтой. А потом заскрипели стулья, люди захлопали, и зал стал обычным концертным залом. Георгий сказал, что я играла отлично, только чуть сбилась в конце, но этого все равно никто не заметил. Даже не знаю, концерт мне запомнился из-за сна или сон из-за концерта, но в мае я сдала выпускные экзамены, наша завхоз приняла у меня флейту, взятую напрокат, и больше я уже на сцену не выходила.

Всю ночь мне снилось, как зал, прозрачный и звенящий, опрокидывается на меня, а я стою под ним как под куполом. В руках у меня половинка граната, зерна громоздятся, рубиново рдеют над грубой шершавой шкуркой, и я поднимаю его к небесам, летящим навстречу, и танцую, танцую, как в жизни не танцевала.

Гранаты, да, тогда у меня были гранатовые серьги и тяжелая низка гранатов на шее. Я пришла в этот чертов клуб, на чей-не-помню день рожденья, и у меня были туфли на каблуках, гремящие, как кастаньеты, в ушах покачивались гранатовые серьги, я вступила в насмерть прокуренный подвал гордо, как

Кармен. Это серьги так велели, и бусы тоже. В руках у меня пылал, пламенел, покачивался золотым тюльпаном фужер коньяка. И я пошла прямо к Нему, сквозь дым, грохот какой-то музыки, чьи-то оклики, здравицы, обрывки разговоров, я шла, а золотой тюльпан в моей руке плыл величественно и неколебимо. Черт, у меня даже руки не дрожали!

Охранники на входе потребовали паспорт, да я привыкла, никто не верит, что мне уже давно не 18. И с каблуков этих окаянных я чуть не грохнулась, споткнувшись на лестнице. Но руки у меня и вправду не дрожали, и коньяк был на самом деле. И Ленька тоже был. Мы выпили с ним за здоровье именинника. Потом за торжество прогресса. Потом за морских котиков. Потом не помню ничего, мы танцевали, кто-то из его друзей поцеловал мне руку, Ленька сказал ему «отвали от моей женщины, гринго!» — и тогда я закрыла глаза, ахнула полный фужер коньяка и повисла у Леньки на шее. И мне было абсолютно наплевать, как я выгляжу и что будет утром.

Странно, почему я совсем не думаю, что скажет Ленька? И вообще, как с ним теперь себя вести? Наверное, надо позвонить, как-то встретиться, что-то такое промямлить. Что, сердце мое, больше не замираешь? То-то. Господи, что же со мной будет?!

Я сижу на кухне за столом. Мне 23 года, а выгляжу все еще как 16-летняя, и трушу так же. Передо мной стоит крохотная стальная плошка, первое, что под руку подвернулось. На мокрой бумажной полосочке ярко полыхают две алые черты. А знаете что? Я счастлива!

7 Чаш
Испорченность

Даже в очень хорошем раскладе эта карта предупреждает, что какие-то важные для вас вещи (события, люди, отношения) — с гнильцой. Ненадежно, "до первого милиционера", как в детстве говорили.

Ложный успех, самообман — опасности, на которые указывает эта карта при менее благоприятных раскладах.

Небывалая, гротескная, "как в кино" подлость — в наихудших случаях.

Таня Сазанская
Очень старая сказка

— Ты прилетаешь ко мне, чтобы разрушить мою вселенную, сказал Маленький Принц.

Карлсон покрутил в руках футляр для очков и уронил его с балкона. Пожал плечами. Сказал:

— Я тебя люблю.

— Ты выкрутил лампочку в моей комнате, потому что она слишком яркая, ты закрасил мое солнце, чтобы лучше спалось, — сказал Маленький Принц.

Карлсон опрокинул чашку, на полу растеклась лужа. Карлсон пожал плечами. Сказал:

— Когда много солнца, это очень неестественно.

— Каждый день ты откусываешь кусочек моего мозга. Скоро от него совсем ничего не останется, — сказал Маленький Принц.

— Я люблю твой мозг, — сказал Карлсон, поглаживая живот. — Ты не должен делиться им с другими.

— На моей планете не осталось ничего, что ты еще не сломал, — сказал маленький принц.

— Ты совсем меня не любишь. Я больше не прилечу, — сказал Карлсон.

Маленький Принц долго сидел на испорченной планете. Когда солнце взошло сто восемнадцать раз, он начал наводить порядок. Маленький Принц наводил порядок три недели. И когда все было закончено, Маленький Принц установил на своей планете антикарлсоновый радар и катюшу. На всякий случай.

8 Чаш
Инертность

Эта карта призывает к действию, не велит сидеть на печи. Часто указывает человеку, что он отказывается от каких-то прекрасных деяний из страха утратить интерес к достигнутому. Предлагает пересмотреть свое поведение.

В плохом окружении Восьмерка Чаш свидетельствует, что такое поведение — в основе характера, и изменить его очень трудно, если не вовсе невозможно.

Ася Андреева
Мяч

Обычно такие районы называют «спальными». Считается, что люди здесь как бы и не живут. Просто приезжают с работы, быстро проглатывают несложный ужин и сразу проваливаются в глубокий сон. Все это делается исключительно для того, чтобы с утра проснуться и успеть на троллейбус. Потом — благополучно миновать тоннели метро и вовремя попасть в помещение, набитое столами, стульями а так же людьми со сходной зарплатой, образованием и целями на день. Люди стремятся в центр, растекаются по офисам, опаздывают, спешат, но мысли их редко покидают обжитый клочок новостроек. Потому что именно там дети возвращаются из школы, жены готовят ужин, а родители никак не могут добраться до аптеки. Телефоны в новых домах звонят в течение всего рабочего дня. И жизнь здесь не затихает ни на минуту — совсем как в деревнях.

В продуктовом две неторопливые домохозяйки обсуждают школьную учительницу, по аллейкам недавно разбитого парка проносятся на велосипедах школьники. На стене детского сада нахально расположились граффити. Проходящий мимо пенсионер неодобрительно поджимает губы. Оглядывается по сторонам. Но вокруг, как назло — никого, поэтому он отправляется восвояси, аккуратно огибая лужу на черном асфальте.

Двор детского сада огорожен высоким забором из железной сетки. Если врезаться в него с разбегу, сетка прогибается, как парус пиратской бригантины. На нем можно висеть, или вставить носки ботинок в ячейки, и ползти вверх, как муха. Но недолго — пока не увидела воспитательница.

Девочка с блестящими черными глазами осторожно слезает с забора.

Сетка даже не колышется, ведь девочка почти ничего не весит. Она задумчиво дергает себя за косичку и, вытянув шею, смотрит вслед уходящему старику. Натягивает на лицо презрительную гримаску, приподнимает левое плечо и мелким старческим шагом обходит кучу опавших листьев. Покашливает, поджимает губы… Потом вспоминает, что обезьянничать нехорошо и снова становится собой. Что ж, пора возвращаться к своим.

Сейчас все играют в мяч. Девочка садится на скамейку. Раскрывает книгу, которую с таким трудом удалось выпросить с собой на улицу. Читать почему-то не хочется, и она просто прижимает шершавый переплет к груди.

Дети играют в мяч. Мяч — очень легкий, он перечеркивает площадку звенящими косыми линиями, и никак не дается в руки. Вихрастый бандит в клетчатой куртке не жалеет живота своего в погоне за красной каучуковой кометой. Отважно перепрыгивает через перекладину качелей, пытается схватить слету, падает. Он заводила. За ним несутся остальные, захлебываясь восторгом. Мяч отскакивает от стен. «Ребзя, держи!! Мазила!» Резкие голоса подстегивают мяч, он взлетает все выше, разрезает осенний воздух, дразнится… Даже самый серьезный из них — спокойный голубоглазый мальчик, такой умница, — кидается в погоню. «Давай, сюда — ну же!! Стой, это не по правилам, так…»

Воздух звенит, дети хохочут, дети ловят мяч. Она смотрит на них во все глаза. Можно встать, поднять руки и перехватить тугой красный шарик с веселыми полосками, можно кричать и носиться вместе со всеми. Наверное, она сможет обогнать их всех… «Эй, иди к нам — кричит раскрасневшийся Бандит — Иди к нам!!!». Девочка улыбается. «Нет, я сама, — думает она. — Я сама». Правда, ей не нужно ничего ловить. Девочка просто смотрит.

Вдруг игра замирает. Из стеклянных дверей появляется энергичная женщина с усталым лицом. Она только что выкурила сигарету в закутке под лестницей и теперь с удвоенной энергией приступает к выполнению своих обязанностей. «Так, что здесь происходит?» — Воспитательница обводит взглядом растрепанных подопечных. Бандит делает шаг назад и упирается взглядом в качели, его дружки тревожно гудят себе под нос привычные оправдания. Любимчик вздыхает и устремляет на Воспитательницу серьезный взгляд.

«Мы играли. Понимаете, у этой игры такие правила, что тихо играть не получается».

Его голубоглазое спокойствие в который раз спасает всех от заслуженной выволочки.

«Хорошо, хорошо… А теперь все заходим внутрь. Пора обедать».

Девочка тихо сидит, вжавшись в скамейку. Она очень надеется, что ее чудесным образом забудут на улице, мысленно

заклинает воспитательницу: «Не возвращайся, не возвращайся!» Ветер разгоняет по двору глянцевые осенние листья. Если воспитательница забудет про нее, девочка сможет с ними поиграть. Все уже зашли внутрь, стеклянная дверь закрылась. Теперь они раздеваются, идут мыть руки. У воспитательницы столько дел, ну как тут не забыть про одного-единственного ребенка, ведь взрослые тоже совершают ошибки.

Но воспитательница возвращается, окликает по имени. Девочка медленно идет к двери. Неуклюже поднимается на крыльцо, нарочно ставит обе ноги на ступеньку, прежде чем сделать следующий шаг. Дверь закрывается. Крупная черная ворона стремительно пикирует во двор. Оглядывается, делает пару шагов и начинает неторопливо клевать листья, выискивая крошки рассыпанного кем-то печенья. Пока детей нет, она в безопасности.

Вечером игра продолжается. Но всем уже не так весело — честно говоря, только Бандит и сотоварищи получают от нее прежнее удовольствие. Любимчик даже и не смотрит на мяч. У него в руках тяжелая серебристая коробочка, по экрану бегут гоночные автомобили. Он сосредоточенно обходит препятствия, не обращая внимания на кучку восхищенных болельщиков, столпившихся за его спиной. Иногда он отрывается от игры — ненадолго, просто проверить, все ли в порядке. Девочка сидит на своей любимой скамейке, сейчас она нахохлилась над книжкой. Со стороны кажется, что плотные страницы согревают ей руки. Вдруг прямо над ее плечом пролетает мяч. Кто-то промахнулся… Она поднимает голову и ласково улыбается смущенному Бандиту.

Вместе с темнотой приходят родители. Наступает час ожидания. Хлопает железная калитка, и один из галдящей стайки оборачивается. Улыбается, несется к своим, с каждым шагом убегая все дальше из прожитого дня. Кто-то даже не обернется, кто-то машет свободной ладошкой девочке, которая по-прежнему сидит на своей скамейке. За ней почему-то никто не идет. Калитка все хлопает, дети уходят. Девочка остается одна. Встревоженная воспитательница долго уговаривает ее пойти погреться. Нет-нет, она будет ждать здесь. На улице совсем не холодно, ну еще немножечко. Еще минуточку! «Хорошо, пять минут — и внутрь.»

Свобода! Девочка встает со скамейки. Запускает руки в кучу листьев и кидает их прямо под луч только что проснувшегося

фонаря. Листья кружатся, девочка смеется. Оглядывается. В углу двора лежит мяч. Девочка подходит к нему и равнодушно трогает носком ботинка. Нет, одной неинтересно. Придумала! Широко раскидывает руки и кружится, кружится, легко пролетая по всему двору — совсем как листья. Она кружится долго-долго, пока не наступает в лужу. Останавливается, присаживается на корточки. В луже отражается Луна. Девочка с минуту смотрит на блестящую поверхность, потом протягивает руку и достает из воды лунное отражение. Встает, взвешивает блестящий белый шар в руках. Он тихонько светится, и капельки воды, стекающие с округлых боков разбиваются об асфальт с хрустальным звоном. Девочка щелкает по нему пальцем. Звенит! А если… Она подбрасывает шар высоко в воздух. Он взлетает, падает, касается земли — и весело прыгает прямо ей в ладонь. Ну вот, совсем другое дело. Хорошо! Она подходит к стенке и аккуратно бросает в нее свой новый мяч.

Пять минут проходят быстро, и рядом с железным забором останавливается такси. Хлопает дверца, раздраженный водитель кричит что-то запыхавшейся женщине. Быстрый стук каблуков, хлопок железной калитки, и девочка оказывается в крепких объятиях издергавшейся и напуганной мамы. «Бедный мой кот! Ну вот и я. Ты не испугалась? Не плакала?» Девочка стоически переносит каскад виноватых поцелуев.

«А откуда у тебя этот мячик? Красивый какой! Кто-то забыл, наверное, нужно вернуть».

«Нет, он мой. Я его нашла. Я сама нашла».

На шум выходит воспитательница, и счастливая мама смущенно щебечет про аварию в метро.

«Два часа в тоннеле, Вы не представляете себе, что… Это просто кошмар какой-то, с этими поездами… Да-да, спасибо Вам огромное. Ну пойдем, котенок. Скажи спасибо и до завтра. Мячик свой не забудь».

А завтра… Завтра уже совсем другая игра. Теперь мы бегаем друг за другом — кто быстрей, кто успеет спрятаться? Дети запрыгивают на скамейки и быстро-быстро поджимают ноги. Ведь если ты не касаешься земли, тебя нельзя поймать, правда?

Бандит удачно пристроился на деревянных качелях и из своего укрытия машет девочке рукой. Без толку. Девочка совсем не обращает на него внимания. Она стоит у стенки и бросает в нее блестящий белый мяч. Мяч взлетает удивительно высоко и

падает прямо в руки — плавно-плавно. Девочка ловит мяч, девочке весело. И ей все равно, что любимую скамейку уже заняли. На скамейке сидит серьезный мальчик с голубыми глазами. Рядом с ним — большая, красная пожарная машинка с настоящей железной лестницей.

Веселая банда носится вокруг скамейки. Дети визжат, дети прыгают, дети ловят друг друга. Он может встать, может рвануться в погоню, может кричать и носиться. Наверное, он сможет обогнать их всех. Девочка оборачивается к нему. «Смотри, какой у меня мяч! Будешь играть со мной?» — она счастлива, она улыбается. Мальчик улыбается в ответ и медленно качает головой. «Нет, я сам, — думает он. — Я сам».

Понимаете, ему совсем не нужно ничего ловить. Мальчик просто смотрит.

9 Чаш
Радость

Этот аркан еще называют Ангел Полной Чаши. Он обещает полное осуществление всех планов, желаний и даже тайных надежд. Причем сохраняет свое значение при самом неблагоприятном раскладе, разве что добавляет счастливчику ложного тщеславия, которое со временем может ему повредить.

Ольга Морозова
Голубые глаза Кумани

— Машка, прекрати толкаться!

— Сам прекрати!

— Это не дети, это наказание Кришны… Сейчас мы все вместе войдем во дворец. Вернее, во двор. Никто не толкается, никто не хихикает. Иванов, тебя это тоже касается! Стоим тихо, смотрим на окно. Кумани появляется ненадолго, не пропустите. И если ты, Иванов, хоть пикнешь во время такого торжественного момента, пеняй на себя!

— Да понял я, Гита Ивана…

Учительница поправила воротник строгой блузки.

— У нас есть еще пара минут, которые вы можете потратить с пользой. Сусликов, прекрати ковыряться в носу! Так вот… На этих воротах мы видим мозаику из драгоценных камней. Далекие предки в меру своих способностей изобразили вехи нашей истории.

Про мозаичные картины им уже рассказывали на прошлом уроке. Ничего особенного, если честно. Вот схематичный король, похожий на бегемота, играет в условные кости с богиней. Вот жульничает. Вот богиня гневается и уходит, проклиная людей. Скукота.

— Ха! Там, где несчастья, корова полудохлая, точно, как наша Гита, — тут Лешка поймал взгляд учительницы и поспешил сделать умное лицо.

— А потом состоялся референдум, — угрожающе бубнила Гита, — на котором было принято решение считать богиню единственной. И вскоре произошло первое великодушное воплощение. С тех пор Кумани хранит наш мир.

— Гита Иванна, а что вон там, где человечки вокруг стола прыгают? У них еще сапфиры вместо глаз? И тут они… И вот здесь!

— Эту мозаику принято трактовать, как пир во имя богини… Маленький рост фигур говорит нам о ничтожности людей. В чаше перед ними — амброзия, божественная пища — символ

дарованного плодородия…

Лешка тихонько фыркнул:

— Ага, ничтожность, конечно. По-моему, они просто конфеты едят.

— Тишина! Все готовы?

— Да, Гита Иванна, — ответил нестройный хор голосов.

— Проходим парами, не толпимся. Иванов, предупреждаю тебя… Алексей, ты меня вообще когда-нибудь слушаешь?!

Дворец был прекрасен и ослепителен. Зеленые солнечные лучи отражались в тысячах драгоценных камней. Нужное окно обрамляли россыпи рубинов и смарагдов. Потекли долгие минуты ожидания. Дети начали переминаться с ноги на ногу, и вот, наконец, в окне мелькнула женская тень. Кое-кто встал на цыпочки, чтобы получше ее разглядеть, но она уже исчезла.

— Благодарим тебя, богиня! — учительница сделала знак рукой, и школьники, разочарованно переглядываясь, вышли за ворота. Гита Иванна откашлялась.

— Итак, дети, сегодня вы увидели величайшее чудо на свете — воплощение богини Кумани. Как вы знаете, жрецы выбирают божественное воплощение из лучших девочек королевства по тысяче признаков — гороскоп, форма пальцев, цвет глаз…

— Гита Иванна, у всех же карие глаза? Разве другие бывают?

— Хороший вопрос! Девочки проходят обряд инициации и только у одной из них глаза становятся голубыми. Это и есть воплощение богини Кумани. Ее поселяют в этот дворец… Да, в этот… Ей запрещено ступать на землю и разговаривать с другими людьми. Джонс, не толкайся!.. Поэтому мальчики и не могут быть воплощением богини Кумани! Они вечно думают не о мире, а о войне! Иванов, если у тебя есть, что сказать, говори вслух, а не отвлекай Василькову.

Лешка неохотно повернулся к учительнице:

— Я только спросить хотел. Она так до самой смерти сидит?

— Мне не нравится твой тон, Иванов. Ты плохо меня слушал. Нет, богиня выбирается на двадцать лет. Самый важный день в

жизни богини — день восшествия. Через две недели состоится церемония выбора новой Кумани. Если вопросов больше нет, все могут идти. Напоминаю, что завтра контрольная по богословию, надеюсь, вы изучили рекомендованные источники.

Машка и Лешка были соседями, и домой возвращались вместе. Машка вздохнула:

— Двадцать лет. Ужас! Я бы никогда не согласилась.

Лешка про богиню уже забыл. Дурацкая контрольная. Дебильная. Гита придираться будет… И так вчера на молитву опоздал, а если еще контрольную не сдать… Книжку бы какую-нибудь… книжку… глянуть хоть, о чем речь. Тут его осенило.

— Машк, а, Машк!
— Чего?
— А ты к контрольной готовилась?
— А зачем тебе? Списать, что ли, хочешь?
— Ну, чего сразу списать… Так готовилась или нет?
— Да я уже все выучила!
— Ладно тебе, врешь?
— Вот и не вру, вот и не вру!

Машка стукнула Лешку портфелем. Она всегда готовилась ко всем контрольным! Тем более, по богословию. Попробуй, не приготовься, если мама — жрица Кумани.

— Что ты, как маленькая, Василькова…
— Сам дурак.

Лешка в сердцах сплюнул — не драться же с девчонкой. Да и с контрольной надо решать. Он прикинул так и эдак. Выходило, что делать нечего.

— Машк, а у твоей мамы, наверно, много книжек?
— Конечно. А ты что, сам не можешь к контрольной подготовиться?
— Я все могу, — веско сказал Лешка и огляделся по сторонам. Слава Кришне, желающих уличить его во лжи не было. — Но ты же у нас отличница, тебе что — трудно?

Машка подозрительно сощурилась.

— И чего ты от меня хочешь?

— Дай книжку какую-нибудь, я быстренько спишу и тебе верну.

— Не могу, — насупилась Машка, — книжки у мамы на работе, в храме. Их нельзя оттуда брать.

— А если никто не увидит?

— Все равно нельзя.

— Ну, хоть посмотреть на них можно?

— Если только в храм пойти… Но посторонних туда не пускают.

— А я не посторонний!

Она покачала головой. Лешка задумался.

— А если очень скрытно в храм пробраться? Как шпионы?

— Да ты что! Нас убьют, если узнают!

— Не узнают.

— Да не буду я ничего такого делать!

— Я понял, тебе слабо.

— Не слабо!

— Нет, слабо!

— Нет, не слабо! — Машка снова разозлилась.

— Да, — Лешка, наконец, нашел железный аргумент. — Потому что ты девчонка.

— Ах, девчонка! А ну, пошли!

Машка схватила его за рукав и потащила за собой. До храма было рукой подать, до лазейки в заборе — чуть дальше. Машка привычно прошмыгнула внутрь. Лешка полез было за ней, но зацепился рукавом и беспомощно задергался. Раздался сиплый лай.

— Чего ты копаешься?!

Он вспотел, пытаясь выбраться, но ничего не получалось. Машка потянула его за руку, он рванулся и, едва не оставив на гвозде половину куртки, вывалился во двор.

— Ну, Лешенька!..

Дети едва успели юркнуть в ближайшую дверь. Во дворе появилась собака. Задумчиво постояла у забора и, зевая, ушла досыпать.

— Хорошо хоть Полкан старый и вообще…
— Кстати, Василькова, я тебе не Лешенька.

Машка поджала губы:

— Ох, ну извините, господин Иванов…
— Ладно. Ты знаешь, куда идти?
— Ну… Где-то тут книгохранилище…

Коридор был мрачный. Заперто, заперто… Лешка неодобрительно качал головой. Наконец, одна дверь поддалась. В комнате пахло чем-то сладким, вокруг лежали горы блестящих украшений, свертки странного вида, кубики, ящики…

— Кажется, это склад… Нет тут книжек.
— Ну, может, хоть одна найдется? Давай поищем?
— Давай…

Через полчаса Машка стала шмыгать носом.

— И чего я тебя послушала?
— Не дрейфь…
— Сейчас как придет кто-нибудь…
— Ты чего — боишься?
— Я не боюсь… я есть хочу… Очень. Я всегда, когда нервничаю, есть хочу.
— А чего дома не поела? Заранее? — ядовито спросил Лешка.
— Мамы с утра не было, а я готовить не умею еще… Ты только никому не говори.
— Ну ты даешь, Василькова… Все умеют готовить! Я вот умею. Мужчины вообще самые лучшие повара!
— Нет, женщины!
— Нет, мужчины!
— А ты вообще не мужчина!
— А ты готовить не умеешь!

Оба надулись. Молчание затянулось бы надолго, но вдруг Лешка пихнул подругу в бок.

— Чего толкаешься?
— Не толкаюсь, показываю. Глянь туда! Сейчас все будет. А то помрешь еще с голоду, возиться с тобой…
— И что ты собираешься делать?
— Не видишь, что ли? Вон, комбайн стоит кухонный. Я на

нем все, что хочешь, могу сделать!

— Все-все?

— Все-все.

— И торт?

— И торт.

В шкафу нашлась коробка с гранулированной смесью. Голубое облако на картинке, видимо, означало «нечто воздушное». «Для девчонки сойдет», — решил Лешка. Он торопливо защелкал кнопками. Комбайн мигнул и загудел. Машка спохватилась:

— А ты инструкцию прочитал?

— А чего ее читать, — отмахнулся Лешка. — И так все ясно.

Гудение прекратилось. Лешка со сложным выражением лица разглядывал получившиеся бурые шарики.

— А говорил, умеешь… — Машка была разочарована.

— Да умею я!

— Вот сам и ешь!

С видом оскорбленного повара Лешка сунул в рот один шарик. Надкусил… и зажмурился от удовольствия.

— На, держи!

— Это что — можно есть? — недоверчиво спросила Машка.

— Еще как! Ты попробуй!

Она брезгливо, двумя пальцами, взяла бурый комочек.

— Слушай, похоже на конфеты! Вкусно-о-о!

— Я же говорил — со мной не пропадешь!

Машка с готовностью закивала, но тут послышались голоса.

— Ой! Это жрецы! — Машка заметалась по комнате, едва не свернув стопку разноцветных кульков.

— Тихо, — зашипел Лешка, одной рукой придерживая свертки, а другой хватая девчонку за руку. — Прячемся!

Под столом было тесно. Сердце колотилось уже где-то в коленках, постепенно спускаясь ниже. Жрецы беседовали, ни о чем не подозревая.

— …и амброзия готова?
— Пока в сухом виде.
— Я надеюсь, вы поставили охрану?
— Я… гхм… Разумеется…
— Смотрите. В наших руках равновесие мира. На этот раз все должно получиться…

Голоса постепенно стихли. Теперь можно было вылезать.

— Уф, пронесло…
— Леш, я боюсь. У меня аж все трясется и голова кружится. Пошли домой, а?..

Лешка промолчал, хотя у него тоже все внутри немножко дрожало, и перед глазами плыли цветные пятна, как во время гриппа. Надо было уходить. Вот только что делать с конфетами? Лешка задумчиво потер глаз.

— А давай с собой заберем?
— Ты сдурел?! Положи на место.
— Не можем же мы просто их здесь оставить? Любой дурак догадается, что тут кто-то был.
— Точно… Что же делать…
— Все, берем с собой. Ребят угостим.
— Ну, я не знаю…
— Берем, берем.

Лешка схватил первый попавшийся пакетик, сгреб сладости и запихнул в рюкзак.

Выбираться было страшновато. Вздрагивая от каждого шороха, они выскользнули из здания и припустили по улице. Через пару кварталов пришлось остановиться, чтобы перевести дух.

— Эх. Так я тебе и не помогла, — заметила, отдышавшись, Машка.
— Да ладно, — великодушно ответил Лешка. — Зато какое приключение!
— Ага, — она улыбнулась и потерла глаза.
— Ты что — спать хочешь? — удивился Лешка.
— Нет, что-то глаза чешутся.
— Слушай, и у меня.

— Может, это аллергия? — неуверенно спросила Машка.

— А что это?

— Ну, болезнь такая. Там глаза чешутся… не помню точно. Кажется, от пыли бывает.

— Да, пыли мы с тобой нанюхались в этом дурацком храме…

— Храм не дурацкий!

— Ладно, ладно, идиотский…

— Сам ты идиотский!

— Да ну тебя, иди уже домой. Мне еще к контрольной готовиться…

Утром Лешка проспал. Плеснул в лицо водой, глянул в зеркало и — остолбенел. Глаза были голубые. Он осторожно присел на край ванны. И что это значит? И что теперь делать? Может, врача вызвать? Мысли путались… От звуков электронной кукушки Лешка подлетел. Восемь часов! Контрольная!!

Путаясь в лямках рюкзака, он сбежал по лестнице и едва не сбил с ног Машку.

— Ты что — тоже опаздываешь? — тупо спросил Лешка.

— А что — не видно? — огрызнулась девочка. Она выглядела заплаканной.

— Ревела, Василькова? — голосом Гиты Иванны спросил Лешка.

— Нет, — потупилась Машка.

Лешка пригляделся.

— У тебя что — тоже??

Машка посмотрела на него и открыла рот.

— Ой… Голубые… Ужас!

— Подумаешь! — упавшим голосом сказал Лешка. — Я же не рыдаю из-за этого!

— Как ты не понимаешь, меня теперь выберут! Двадцать лет, как дуре, во дворце сидеть!

— Машк, да чего ты, в самом деле! У меня вот тоже поголубели, что ж и меня теперь… этой… великой богиней Кумани сделают, буду судьбы мира решать? Ты же сама говорила — аллергия. Пройдет!

— Думаешь? — недоверчиво спросила Машка.

— Точно тебе говорю. Плюнь. Ты что — забыла, у нас

контрольная сейчас!

Машка ойкнула, схватила портфель, и они побежали в школу. Лешка мог вообразить, как разорется Гита Иванна. И вообразил. Ему не понравилось.

— Не успел я ничего… — выпалил он на бегу. — Хоть бы отменили, хоть бы отменили…

— Ага, как же, отменят, — бормотала Машка. — Это все равно, что… все равно, что…

— Что?

Машка глянула на рекламный плакат, на котором улыбалась красавица в декольтированном мини-платье.

— Все равно, что наша Гита Иванна напялит мини-юбку и серьги до плеч!

Лешка фыркнул. Представить себе в таком виде учительницу, страшную, как Шива-разрушитель вселенной, было невозможно.

— Ну, ты скажешь…

— Ага. Хотела бы я на это посмотреть.

Они влетели в класс. Как ни странно, никакой контрольной и не пахло. Класс гудел.

— Народ, а где Гита?

— А кто ее знает…

В этот момент дверь распахнулась. Класс замер. На Гите была крошечная юбка алого цвета и блестящие серьги. Этот кошмар двинулся к столу и, как ни в чем не бывало, сказал:

— Здравствуйте, дети!

— Здравствуйте, — растерянно ответили дети.

— Сегодня контрольная отменяется. У нас будет только один урок, на котором мы обсудим вчерашнюю экскурсию.

Класс потрясенно молчал. Гита невозмутимо закинула ногу на ногу, тряхнула серьгами и в десятый раз стала разливаться соловьем о важности пришествия божества на землю, о сельском хозяйстве, о чем-то еще нудном…

Лешка повернулся к Машке:

— Что это было?

— Не знаю, — сказала Машка. — А чего ты так на меня смотришь?

Лешка хмыкнул:

— Зеркало есть?

— А что? Я испачкалась, да? — испугалась Машка, спешно ныряя в портфель за зеркальцем.

— Нет, ты глянь.

Машка посмотрела на себя и пискнула, зажав рот рукой. К счастью, Гита уже добралась до макроэкономики и не реагировала на внешние раздражители.

— Опять карие! У тебя тоже, — возбужденно прошептала Машка.

— Я же говорил, пройдет. Обычная аллергия.

— Точно. Ты ужасно умный!

Лешка подавился словом «наверное» и расправил плечи.

Урок закончился, но никто не расходился. Девочкам хотелось обсудить явление Гиты в мини-юбке, мальчики строили гипотезы об отмене контрольной. Лешка сунул тетрадь в рюкзак и наткнулся на кулек с конфетами.

— Народ! — хлопнув себя по лбу, завопил он. — Ну ее, эту Гиту, смотрите, что у меня есть!

Его обступили.

— Вот, — гордо заявил Лешка. — Сам делал.

— Да ну, сам, у тебя даже на уроках труда ничего не получается, — прощебетали с соседней парты близняшки.

— Не хотите — не надо.

Конфеты разобрали. Лешке вдруг вспомнилась экскурсия во дворец Кумани. Ворота, мозаика… Он попытался сообразить, почему, но тут Пашка-Бублик вскочил на парту и произнес речь:

— Я пью… тьфу, я ем эту конфету за то, чтобы в школе

никогда не было контрольных по богословию!

Все засмеялись и начали вопить — кто во что горазд:

— За то, чтобы Гита влюбилась в вахтера дядю Васю!
— Чтобы лето длилось три месяца!
— Чтобы кошки научились летать!
— Чтобы солнце стало желтым!
— Чтобы мне подарили динозавра!
— Чтобы я никогда не стал взрослым!
— Чтобы…

10 Чаш
Насыщенный раствор

Все уже исполнилось. Ангелы-хранители выполнили и перевыполнили годовой план. Их подопечный испытывает "чувство глубокого удовлетворения". Почему всех слегка подташнивает, отдельный вопрос.

Выход из этой ситуации — делиться. Учиться превращать чужую жизнь в праздник. И тошнота незаметно пройдет.

Ольга Недорубова
Полная чаша

Это же счастье невероятное! В честь твоего приезда в Москве включили небо иссиня-черного бархата, и по нему звезды россыпью — я представляю себе, как ты выйдешь ночью из метро, вдохнешь глубоко, поправишь сумку на плече — и потопаешь к моему дому, глядя на все это великолепие. А я буду выглядывать тебя в окошко, звонить постоянно на мобильный — "ну где ты уже?!", — и, увидев, запрыгаю от радости и понесусь встречать, и буду топтаться на пороге, распахнув дверь — и на шум лифта завоплю "ну наконец-то!", и буду тебя обнимать, пока ты не начнешь задыхаться.

А потом ты пойдешь в душ, а я включу кофейник и поставлю в печку рыбу в маринаде из терияки и кунжутного масла; и гренки твои любимые поджарю, пока ты будешь плескаться, смывая с себя дорожную усталость. И ты будешь ужинать — неторопливо, с удовольствием, — а потом мы накрутим сигарет и разольем кофе по рыжим керамическим чашкам; и слова будут перебивать и отталкивать друг друга, потому что мы черт знает сколько не виделись, я соскучилась, наконец-то ты здесь, мне правда не верится.

А потом ты будешь спать — я уже и постельное белье постирала и высушила на балконе, чтобы твои сны пахли зимним ветром. А утром дети будут на цыпочках ходить мимо закрытой двери, шепотом рассказывая друг другу, как они тебя нацелуют, когда ты уже наконец-то проснешься. А заполдень я начну потихоньку шуметь, поставлю вариться кофе и стану готовить завтрак, умиляясь на то, как ты спишь; а дети будут шепотом восхищаться рядом; и на запах кофе и наш восторженный шепот ты наконец-то проснешься, и мы тут же примемся скакать вокруг тебя, поить тебя кофеями и кормить блинчиками — с паштетом, с малиновым вареньем, с вареной сгущенкой и просто со сметаной.

А потом ты уедешь куда-нибудь в город, а я оставлю детей с няней и рвану на рыбный рынок, потому что ты любишь жареную рыбу, и притащу свежего карпа и здоровенную форель; карпа запеку в кисло-сладком китайском соусе, а форель засолю — тебе понравится, я делаю самую вкусную соленую рыбу в этой части Вселенной. А потом я буду печь пироги, предвкушая твое возвращение вечером.

И мы снова будем разговаривать — я не знаю, сколько мне нужно тебя, чтобы уже наговориться, мне тебя всегда не хватает;

мы будем разговаривать под красный малиновый чай, и под оранжевый апельсиновый вермут, и под алую клюквенную настойку, и еще я специально для тебя сделала имбирную водку. А еще в этот вечер включат местные туманы, и ты будешь смотреть, не отрываясь, на то, как мягкий туман наползает на бескрайнюю заснеженную равнину, а надо всем этим — небо темно-синего бархата, а на столе — твой любимый пирог и яблочный грог; и тепло, и желтый свет китайской лампы. Как же тебе будет здорово!

2 Меча
Перемирие

Равновесие, перемирие, обещание, что конфликт практически сам собой сойдет на нет. И настойчивое требование не возобновлять конфликт.

В неблагоприятном раскладе Двойка Мечей означает, что перемирие будет недолгим. А в некоторых случаях предупреждает, что может с новой силой возобновиться какой-то очень старый, всеми давно забытый конфликт.

Лора Белоиван
Критические игры в ночь полнолуния

Когда на камни острова Скриплёв высадился очередной сухогруз, в спасательно-координационном центре только ахнули и развели руками. За неполные полгода это было уже пятое судно, на полном ходу воткнувшееся в береговую кромку Скриплёва. Удивляться было чему: в спокойном как нирвана проливе Босфор Восточный небольшой островок на траверзе Владивостока является единственной помехой судоходству, обойти которую не составляет никакой сложности: ни сколько-нибудь мощных течений, ни узкостей в этом месте нет; вдобавок ко всему, на Скриплёве имеется маяк. Суда же продолжали выскакивать на скалистый пляж острова с упорством оттаявших по весне лягушек.

Капитаны несли чушь. Двое из них долдонили во время следствия и продолжали утверждать в суде, что никакого острова не видели. Это была глупейшая позиция, для защиты глупей и не придумаешь; тем не менее, преступных драйверов не смогли разубедить даже их адвокаты. В самом деле: Скриплёв отмечен во всех лоциях, и пусть даже у мастера случилось умопомрачение — такое с капитанами бывает — и он проглядел остров, мимо которого сотни раз водил пароходы… нет, это невозможно представить! — ну, забыл, ну, не смотрел вперёд, но локатор, локатор-то показывал тебе жирнющую колбасу коралькой — задолго до того, как твое судно слилось с нею в общем пересечении долготы и широты. А маяк? Как можно не увидеть маяк?!

Разумеется, следственные комиссии обратили внимание на тот факт, что все аварии случались в ночь полной луны, однако объяснения капитанов не лезли ни в какие ворота. Кстати, двое других говорили, в сущности, о том же, о чем и их предшественники. То есть — что острова не было, а появлялся он лишь тогда, когда днища их судов уже вовсю гремели о камни. Лишь тогда они внезапно видели перед собой черную громадину, освещенную красными всполохами скриплёвского маяка. Пятый капитан (вообще-то он стал самой первой жертвой острова) не сказал ничего: в ту секунду, как его судно, скомкав киль, разворотило себе скулы, а забортная вода хлынула меж шпангоутов в носовой трюм, мастера хватил паралич. Сейчас его уже выписан из больницы и продолжает молча умирать на руках

своей жены.

Расследование всей этой глупейшей чертовщины затруднялось тем обстоятельством, что в момент столкновения с островом капитаны — и это естественно — не успевали сделать никаких записей в судовых журналах. Вахтенных помощников и матросов опрашивали досконально, и все они как один подтверждали показания капитанов, повторяя, что перед катастрофой не видели по курсу никакой помехи. Равно как и маяка.

> *Полнолуние — время тревожных снов, поэтому лучше не спать. Пятнадцатый лунный день щекочет мои нервы, заигрывает с ними, вытягивает в струнку и исполняет на них — для начала — соло из Smoke On The Water. Я знаю: это сигнал, после которого сумасшедший блэкмор смешает партии и примется за страшное. Постепенно напрягаясь, я жду, когда ночь смоет с неба декадентскую акварель заката и воплотится в своей излюбленной графической технике — вода, желтая бумага, тушь. Луна не терпит беспорядка. Я вижу, как она делает заливку, и в тот момент, когда её главная кисть касается перигея, в меня вступают ударные.*
>
> *И так каждый раз.*

Капитан с театральной фамилией Немирович поведал на пресс-конференции, что с островом не всё ладно. Его танкер «Механик Пономарёв», избежавший, к счастью, столкновения со Скриплёвым, доставил во Владивосток 5 тысяч тонн высокооктанового бензина. Не пустись Немирович на простенькую хитрость, в Японском море случилась бы экологическая катастрофа.

Немирович наплевал на то, что его могут поднять на смех. Пять крушений — веский повод рискнуть репутацией серьезного мужчины. Немирович действительно рисковал, потому что его версия, выдержанная в духе «Секретных материалов», вполне могла остаться непонятой. Так по началу и произошло; тот факт, что Немировичу удалось нормально провести танкер мимо острова, не слишком повлиял на ситуацию. В конце концов, он был далеко не единственным капитаном, чье судно не разбилось о Скриплёв: действительно, аварий случилось всего пять (хотя этого и много чертовски), а пароходы заходят в пролив абсолютно каждую ночь.

Немирович рассказал, что встал на якорь в двух милях от острова, когда Скриплёв был прекрасно виден не только на локаторе, но и невооруженным глазом. Маяк исправно посылал

сигналы в интервале 50 тире 6 секунд, и визуализация острова была отличной: над заливом поднималась полная, как на открытке в честь Хэллоуина, луна. И тогда, поведал капитан, он решил выйти на связь с диспетчером порта. Немирович сообщил берегу о поломке главного двигателя, после чего, вежливо отказавшись от буксира, заявил, что до утра экипаж справится с ремонтом собственными силами.

> *Я живу циклами луны, раз и навсегда совпав с нею в безукоризненно-патологической пульсации. Двадцать девять дней — наш с нею общий ритм. Мне не нужно обводить цифры календаря. Я могу даже не глядеть в небо, ориентируясь лишь по лунной дорожке на поверхности Босфора Восточного. Когда она становится особенно яркой и дотягивается до моего дома, мои нервы — так уж совпало — начинают исполнять рок-композиции. А еще один раз была совершенно другая музыка. В ту ужасную пасмурную ночь, когда туман занавесил моё окно душной маскировочной шторой, мне не оставалось ничего иного, как лезть на стены под ансамбль из японских барабанов и шотландских волынок.*

Капитан «Механика Пономарёва» засек момент, когда остров исчез не только из виду, но и с экрана локатора. Вернее, Скриплёв пропал из капитанского поля зрения, но в ту же секунду бдивший у радара второй помощник заорал на весь мостик: «Есть!», после чего протёр глаза и поправился: «То есть нету». Факт исчезновения острова капитан лично, в присутствии вахтенных — штурмана и матроса — зафиксировал в судовом журнале. Подписи всех троих были предъявлены экспертам, а потом и журналистам. Имелись также автографы и других членов экипажа «Механика Пономарёва»: команда была поднята по тревоге «человек за бортом», и каждый расписался под текстом служебной записки в подтверждение того, что *«в условиях хорошей видимости и отсутствии волнения на море по курсу судна не отмечено никаких плавучих объектов, в т. ч. островов».*

Немирович и вправду был готов простоять на якоре до утра, но этого не понадобилось: остров появился через четыре часа там, где ему и положено быть — в пяти милях от берега и в двух — от танкера. Как будто никуда и не исчезал. С моста отдали команду запускать главный двигатель, якорь с утробным масляным грохотом всосался в клюз, и «Механик Пономарёв» малым ходом, дабы оставался максимум возможности для маневрирования, двинулся по направлению к внутреннему рейду. В судовом журнале было записано, что Немирович приказал расходиться с

островом правым бортом, потому что при расхождении левым судно оказывалось между берегом и островом, а от этого Скриплёва можно было ожидать всего, чего угодно.

> *В такое время нельзя солить капусту и ходить в церковь. Если наплевать на приметы и запреты, капуста отомстит отсутствием хруста, а церковь — ощущением мелового круга, посреди которого, словно проклятый Хома Брут, стоишь ты. Но это ерунда. Главное — пережить первую ночь.*

Вопреки аргументированному докладу Немировича, в прессе возникли слухи, что злополучный Скриплёв обладает способностью исчезать и возникать по несколько раз за ночь. Впрочем, выводы из наблюдений капитана всё же сделали. Но не считать же, в самом деле, серьезным результатом инструкцию, строго-настрого велевшую капитанам вызывать лоцмана за три мили до подхода к Скриплёву. Не прошло и месяца после ночной стоянки «Механика Пономарёва» супротив острова, как в его скалы со всей дури влепился вьетнамский сухогруз «Binjong ga», следовавший в сопровождении лоцманского катера. На этот раз, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

> *Может быть, мне только кажется, но именно тварная боль, раскаляющая низ моего живота, помогает мне чувствовать фактуру лунного света, графику которого я последние полгода пыталась перевести в живопись. Когда я в полном порядке, лунный свет ускользает от меня, течет сквозь пальцы и кисть, не оставляя следов на холсте. Так что к «Ночному этюду с натуры» мне приходилось возвращаться только на пересечении четырнадцатого-пятнадцатого лунных дней, когда нервы начинают играть бесконечное вступление сразу к трем вещам Deep Purple. Тогда я бралась за работу, перекачивая физиологический напряг в свой «Ночной этюд»: как оказалось, этот процесс невероятно успокаивает, и в какофонии звуков появляется гармония. Вид из окна комнаты у меня потрясающий. Работала я часа по четыре: до тех пор, пока луна не смещалась слишком уж вправо.*
>
> *Не знаю, что же я стану делать теперь, когда «Этюд» наконец завершен. Я всё-таки закончила его несмотря на то, что всякий раз мне приходилось счищать мастихином остров Скриплёв. Он у меня ну никак не получался: торчит посреди пролива и ломает всю*

композицию, бросая совершенно ненужную тень на широкую и гладкую лунную дорожку.

Расследование загадочных крушений возле Скриплёва зашло в тупик, несмотря на то, что к местным экспертам, бригаду которых теперь возглавляет кдп Немирович, присоединились прилетевшие из Англии специалисты Ллойдовского Регистра. Еще раньше во Владивосток прибыли представители Европейского Банка Реконструкции и Развития, на чьи кредиты были построены три из шести покалеченных судов. Отель «Хёндэ» кишмя кишит экспертами международных страховых компаний, ломающих головы в попытке уйти от гигантских компенсационных выплат судовладельцам и грузоотправителям. До окончания расследования введен запрет на ночное судоходство в проливе Босфор Восточный, и треть персонала диспетчерских служб сидит без работы. Никаких более-менее внятных версий ЧП пока так и не возникло, тем более, что в силу предпринятых мер аварийность в проливе была полностью сведена к нулю.

А мне опять не спится. Я стою на кухне и курю в форточку. Из кухонного окна видно половину Владивостока, залитого топлёным молоком полнолуния. Красиво. Я курю и смотрю на город.

3 Меча
Горе, удар

Эта карта описывает конфликт, который происходит не по вине (и не по воле) участников, а под влиянием какой-то внешней, сторонней силы.

Может означать глубокие страдания по поводу давным-давно минувших дел такого рода. Может указывать на человека, чья жизнь была когда-то сломана вот таким, не по его инициативе случившимся конфликтом.

В благоприятном раскладе Тройка Мечей сохраняет свое значения, меняется лишь масштаб происходящего. Это уже не трагедия, а пустяковая ссора.

Отелло: Меня сегодня насморк одолел.
Дай мне платок.
Дездемона: Пожалуйста.
Отелло: Не этот.
Ты знаешь, тот.
Дездемона: Его со мною нет.
Отелло: Действительно?
Дездемона: Ах, вот о чем ты! Милый,
Быть может, мы на прозу перейдем?
А то я свой язык ломать устала…
Отелло: Переходи, изменница, на прозу,
Но твой обман и прозой не сокрыть!
Дездемона: Я знаю, где проклятый тот платок:
Эмилия мне правду рассказала…

Тьфу ты, нет, это просто невозможно! От этого белого стиха так легко не отвяжешься! Ну, так в двух словах. Всю эту интригу затеял твой любимый Яго — недаром мне всегда его физиономия не нравилась. Попросил свою бедную женушку стащить мой платок, подкинул его Кассио, а тебе наплел бог весть чего. Эмилия, бедняжка и не догадывалась, зачем это ему мой платок понадобился, а как узнала, тут же прибежала ко мне. Хочешь, сам ее расспроси.

Отелло: Так просто вы с ней в сговоре, наверно…

Дездемона: Милый, сам подумай: даже если бы я оказалась такой дурой, чтобы передаривать твои подарки какому-то мужику, зачем бы я сама об этом заговорила? Ну, сказала бы, что потерялся платок, или при стирке порвали. Показала бы драные кружева какие-нибудь…

Отелло: Так говоришь, что Яго…

Дездемона: Точно так!

Я тебе уже сто раз говорила: как бы он к тебе не подлизывался, он тебя ненавидит! Кстати, как и всех вообще. Вот и решил одним махом со всеми разобраться: и со мной, и с Кассио, и с тобой. Я же всё еще дочка дожа, не забывай. Что с тобой за моё убийство сделают, а?

Отелло: Да, верно, по головке не погладят…

Дездемона: Дурачок ты всё-таки ревнивый! Подумал бы хоть, когда нам с Кассио встречаться! Днем ты — на службе, и он — на службе. А вечером ты дома, со мной. На учения вы вместе

уезжаете…

Отелло: Да, ерунда какая-то выходит…

Дездемона: Вот видишь! А ты «платок, платок»! Слава богу, что всё вовремя благополучно выяснилось!

Отелло: Благополучно ли? Ведь этот Яго,
Раз он такой подлец, уж распустил
По всей Венеции такие слухи.
И твой платок у Кассио видали.
Допустим, даже Яго я убью,
Но всё равно мне станут вслед хихикать,
И тыкать пальцем, и шептать: «Рогач!»
А я ведь генерал. Как мне солдатам
Приказы отдавать под их смешок?!

Дездемона: Но что же делать? Как нам оправдаться?!

Отелло: Пожалуй, что никак. Я заколюсь…

Дездемона: А мне как жить?! Ведь будут говорить,
Что мужа довела своей изменой
До смерти я. И бедный мой отец…
Убей уж и меня. Пускай жалеют.
А там, глядишь, и истина всплывает…

Отелло: Да, я не вижу выхода иного.
(разминает пальцы) Ох, бедная моя! Ну, помолись…

4 Меча
Мир

Другое название этой карты — Ангел отдыха после битвы. Четверка Мечей твердо обещает, что конфликт не возобновится ни при каких обстоятельствах. Предлагает исцелять раны, полученные во время былых сражений, напоминает о пользе медитации, уединения и просто тихого отдыха на лоне природы, или с книжкой на диване.

Эс Эфэлти
ФФ

Попробовать еще раз набрать Алёнкин номер?

Бессмысленно. Если телефон был отключен и час назад и два и вчера — вряд ли он включится хоть когда-то. Она поменяла номер, поменяла работу, поменяла образ жизни, вышла замуж и развелась — и всё это уже не один раз.

Она пять лет как уехала в Архангельск, тогда же прислала смс с этим номером, но с тех пор ни разу не позвонила, ну так и я тоже не звонил.

Еще есть Карик, но я не знаю его телефона, знаю электронную почту двухлетней давности. Не ответит.

Есть ещё несколько человек, имена которых я вспомню с трудом, не говоря уже о прочей контактной информации. Не подготовился.

Что это значит? Это значит, что я остался в Архангельске без своего персонального Вергилия. Это не так страшно, я уже почти привык, городов много, вергилиев — мало. Да и не так уж ужасно большинство городов, чтобы невозможно было самостоятельно перебрести их из вечера в утро, без поддержки опытного вергилия.

Я справлюсь.

Я — сильный и красивый. У меня великолепное пивное пузико, спортивная одышка, а тяжелые переговоры и вежливое предложение поужинать вместе с деловыми партнерами бесстрашно оставлены в прошлом.

Кроме силы и красоты, во мне есть множество изумительных человеческих качеств.

Я умею общаться с женщинами. Я недавно придумал гениальную диету для женского журнала. Это пирамида. В основе её — фрукты. Их можно есть без ограничения.

Потом красная рыба. Но её можно есть с ограничениями: ровно столько, сколько хочется, ни грамма больше.

Потом сыр. Его как раз много не съешь.

Ну и на вершине — красное вино в разумных количествах, потому что мы не забываем, женский алкоголизм — штука страшная и неизлечимая.

То есть, очевидно, что я могу с женщинами общаться на одном языке.

Ещё из достоинств укажу что я отлично готовлю, а когда-то неплохо бегал и прыгал в длину.

Ещё, хотя это и не относится к делу, мне нравится название Архангельск — очень красивые ассоциации. Когда-то я играл в игру «Герои меча и магии 3» и там был город, в котором жили архангелы, я для себя называл его Архангельск. В целом оказалось похоже.

Так что я не разочарован.

Слегка смущают названия. Такое ощущение, что здесь не должны разговаривать на русском языке. Вот, например, мой отель называется «Пур-наволок», а еще здесь есть такой район Соламбола — разве человек, говорящий на русском языке, мог придумать такие названия? Не мог. Мы, я так думаю, здесь захватчики.

Как в Мурманске, но там хоть всё открыто. Вот — индейцы, которые живут в резервации Ловозеро. А вот мы на ощетинившихся ракетами, пушками и минами гигантских крейсерах, ходим по городу в военно-морской форме и отдаем друг другу честь. Всё по-честному.

А здесь нет.

В отеле, хоть и называется так, что начинаешь опасаться мести исконных духов, очень красиво и никаких следов военного присутствия. У меня вид на ночную Двину (это, между прочим, терпимое название), две комнаты, чистенько и ухожено и прочие приметы провинциальной командировочной роскоши.

В отеле есть хорошие люди охранники. Они обычно бесплатно снабжают гостей информацией, за которую им платят деньги, и за деньги информацией, которая досталась им, условно говоря, бесплатно. Охранник забесплатно рекомендует ресторан «Боброфф» неподалеку и, за деньги, стрип-клуб «Искра» подалеку.

Вообще ходить в ресторан, название которого заканчивается на идиотское фф, и в стрип-клуб, котрый называется «Искра», да еще и в одиночку — всё это глупо, но охранник утверждает, что не очень даже и глупо. Стало быть, надо сходить.

Рестораны, название которых заканчивается на фф, мне вот так сразу не вспоминаются. То есть, есть ощущение, что вспоминаются, но почему-то постоянно оказывается, что я ошибся и ни на какое фф название этих ресторанов не заканчивается.

Один, в котором знакомый журналист, будучи совершенно трезвым, изображал енота-полоскуна, проданного в витрину за долги, называется «Идиот».

Другой, где я ни разу не оказался трезвым и раньше полуночи, называется никак. В том смысле, что ну не может никак называться грязный и замызганный кабак, в котором самое дешевое пиво стоит двести рублей. И даже если я вспомню его название, то сразу же и забуду, чтобы не оказаться в нем

случайно трезвым и до полуночи. Опасно это.

А ресторан «Боброфф» честно называется «фф» и выглядит не так плохо как называется. Если не считать громко поющих звезд местной эстрады и танцующих по всему залу припозднившихся маленьких детей. Больше всего удивило то, что на входе висел герб ресторана. И даже не наличие герба удивило — я знаю заведения, у которых даже гимн собственный есть и флаг и даже олимпийские чемпионы и известные актеры в хозяевах. Удивила картинка на гербе: ёжик из четырех больших ножей, художник, видимо, имел в виду мечи, но получились просто большие столовые ножики, никаких ассоциаций ни с бобрами, ни с «Боброффым» не вызывающие.

Кормят, несмотря на герб, хорошо, наливают местное нефильтрованное пиво, которое тоже называется «Боброфф». Да, из напитков на фф я помню только водку «Смирнофф», которая, говорят, неплохая. Но, на мой непросвещенный взгляд, всякая водка неплохая, если ее пить совсем немного, а это мало у кого получается. Поэтому о качестве водки людей слушать не стоит — вряд ли они хоть что-то понимают из того, что об этом говорят.

Обычно когда пьешь водку, то концентрация алкоголя в крови непременно доходит до уровня бытового героизма и начинаются подвиги. Подвиги эти как один заключаются в том, что в пять утра группа людей идёт, сама не зная куда, но все твердо уверены, что они идут веселиться.

Настоящий подвиг в таком состоянии совершил только один человек и это снова был я. Как-то в глухой деревушке под Владимиром, упившись, ушел к себе в номер, разделся, но передумал спать, нашел на ноутбуке кучу музыки в стиле «такой-пульс-бывает-только-при-установлении-рекорда-в-спринте», включил и начал танцевать.

Полуголый полноватый пьяный субъект, с озверелой рожей танцующий в одиночестве в деревенском люксе в темноте среднерусской ночи — до сих пор жалею, что себя со стороны не видел.

А в туалетах в провинциальных ресторанах пахнет древним-древним освежителем «Сирень», целый флакон которого я как-то в детстве с научными целями вылил на переводную картинку с трогательным олимпийским мишкой. Вот французы — они хорошо знают, что в памяти остается только самое хорошее, а запахи — лучший способ это хорошее из памяти извлечь.

Поэтому когда бродишь по Парижу, то, когда он не воняет очередной кучей сыра, повсюду пахнет разными хорошими вещами, которые когда-то с тобой произошли. Я даже, поддавшись, купил там набор старых запахов, где были и анаис-

анаис и шанель № 5 и прочая классика. Но в первый же день в родном Питере моя, тогда еще трехлетняя, дочка нашла этот набор и с явным наслаждением вылила все запахи в большую кровать в спальне. Поэтому за спальней надолго укрепилось название «Французская комната».

Самым удивительным предметом на моем столе в ресторане «Боброфф» оказался клочок бумаги с каким-то посланием. Точно такой же я в свое время обнаружил в кафе «Чердак», в котором как-то раз сидел часов шесть и читал «Основание» Азимова. Точно так же, отлучившись в туалет, по возвращению я обнаружил записку с именем и номером телефона. Наверно, девушке показалось чрезвычайно интеллектуальным то, что я сидел шесть часов и читал «Основание». Возможно, она из этого сделала правильный вывод, что я умею общаться с женщинами. То есть, вывод-то правильный, но непонятно из чего она его сделала.

Надо сказать, что для человека, умеющего общаться с женщинами, я их на редкость плохо понимаю.

Да, по поводу послания на столе. Оно оказалось счетом на довольно смешную сумму.

Такси в Архангельске, кстати, тоже очень дешево стоит.

Поэтому когда меня привезли в «Искру» и выяснилось, что заведение сегодня не работает. После короткого совещания с таксистом и скучающим охранником запертого клуба было решено устроить мне обзорную экскурсию по городу. Особенно на Соламболу. Меня вот это название почему-то пугает. Мне постоянно кажется, что язык, на котором это слово что-то значит, уже давно умер, и местные жители изо дня в день называя этот район древним словом исчезнувшего языка, повторяют нехитрое заклинание доисторического шамана. А потом с удивлением жалуются, что в их городе гораздо холоднее, чем в более северном Мурманске. Потому что, повторюсь, порабощение Мурманска прошло более открыто и честно. И индейцев, которые знают, что значат все эти древние названия, сохранили, и, на всякий случай, переименовали все без исключения древние муста-тунтури в улицы Ленина и Фадеевы ручьи.

Оказалось, что и здесь нет ничего особенного. Почему не переименовали район во что-нибудь стандартное типа «Заречный», «Воронья слободка», «Погорельский» или совсем современно «Страна дураков» — непонятно. Ведь как раз наличие страны дураков делает современный российский город современным российским городом. Всё в нем хорошо: и экономика развивается, и климат терпимый, и люди улыбчивые — а все только потому, что в городе есть страна дураков. А в котором городе нет страны дураков, тому несравненно хуже.

Факт.

Вокруг была ночь и обычный спящий город и ночное такси никуда особенно меня не везло. Я спал на заднем сиденье и мне снилось то, чего со мной никогда не происходило. А северное сияние протянулось зеленой бородой из одного конца неба в другой, наверняка суля мне что-то великое и грандиозное, но я этого не видел. Я спал на заднем сиденье в такси, водитель которого совершенно не знал, куда меня везти и не мог разбудить, а поэтому просто продолжил обзорную экскурсию по городу — уже неизвестно для кого.

5 Мечей
Поражение

Эта карта весьма недвусмысленно сообщает, что пришло время платить за совершенные ошибки. Насколько высокой будет плата, зависит от общего контекста. При очень благоприятном раскладе ясно, что можно обойтись малой кровью. При самом неблагоприятном — и вовсе голова с плеч.

Сергей Кошкин
Подарок

Утром отец ушел на рынок, а в доме завертелась каруселью предпраздничная суета. Мы с братом мыли полы, мыли окна, протирали влажною губкой книжные полки и посуду в серванте, а на кухне, в духовке, шипел гусь: там колдовала мать. Иногда она заходила в комнату и приносила с собою запахи уксуса, пряностей, подсолнечного масла, мандаринов, а посреди гостиной мы уже завешивали игрушками огромную, как гора, ель, и пронзительно пахло свежей хвоей, морозом, праздником. Нам так хотелось на улицу, что мы, закончив, сами спрятали на антресоль опорожненную коробку из-под украшений и, не предупредив мать, осторожно оделись и сбежали во двор. И там — играли в снежки, охотились друг на друга в коридорах сугробов и гаражей, гоняли криками кошек на заваленном мусором пустыре за домом, а когда вернулись, увидели: отец уже вернулся, и в его сумке, кроме банок и брикетов с продуктами, лежали подарки: две небольшие картонные коробки, обёрнутые блестящей мишурой. Мать тот час же спрятала их на антресоль, к пустой коробке из-под игрушек: "Откроете в полночь, как все", и мы снова сбежали на улицу, где носились друг за другом, словно угорелые, а с неба лохматыми хлопьями шел снег. Подошли несколько соседских ребят, все мы вместе начали строить Великую Крепость: мы катали снежные шары, возводили из них стену до самого неба, ровняли поверхность стены ладонями, резали ступени, окна, сверлили бойницы, а затем леденили поверхность стен и щели водой. Когда стены крепости была возведены, брат предложил залить площадку перед стеною, чтобы сделать крепость совершенно неприступной врагам. Мы с братом выпросили у матери ведро и долго, в две руки, носили к крепости воду из колонки — до тех пор, пока крепость не оказалась в кольце льда. Теперь врагам будет тяжело: отныне они вынуждены наступать медленно, чтобы не поскользнуться, превращаясь, таким образом, отличные мишени для нас, а если кто-то из них, разбежавшись, подкатится по льду к основанию стены, то он обязательно упадёт у подножья, и безжалостно мы завалим его сверху снежными комьями…

Помню, в какой-то момент предложил брату: "Давай посмотрим, что в коробках, пока мать не видит. Она сейчас на кухне занята!" Но брат отказался — все, и он вместе со всеми,

лихорадочно заготавливали боезапасы: лепили снежки, складывали их в пирамидки у бойниц, чтобы позже, в бою, не отвлекаться на них… Где-то неподалёку, готовились к штурму наши враги. И вдруг тишина как будто бы испугалась, сбежала от нас в чужие дворы — враги начали наступление. Я водрузил ведро себе на голову, вместо шлема, но мать крикнула в форточку: "Неси ведро домой немедленно!" — и мне пришлось это сделать. Стараясь успеть до начала боя, я, задыхаясь, взлетаю на этаж, как на крыльях, но бой уже начался, и врагов так много, что даже ледяное поля помогает слабо, и нам, оставшимся в крепости, с большим трудом удаётся выдерживать их натиск. Шаг за шагом, враги продвигаются всё ближе и ближе к стенам: они — словно стая больших, чёрных, неуклюжих крикливых птиц, утративших крылья. Я тороплюсь обратно, в крепость, но мать говорит мне: "Смени перчатки, эти уже совсем мокрые". Я не слушаюсь, пытаюсь сбежать, но мать становится в проходе и не даёт мне выйти. И мне приходится идти в комнату, я становлюсь на табурет, роюсь на антресоли, но вместо перчаток мне под руку попадаются лишь эти коробки с подарками — коробки, которые мы должны с братом открыть в полночь, со всеми. Я слышу, что мать уже на кухне: она гремит кастрюлями, она открывает духовку, и я чувствую запах пригоревшего жира, и вдруг, неожиданно для себя, решаюсь: я, содрав мишуру, открываю одну коробку из двух…

Милая моя… Ты помнишь, был день, мы прощались, и ты обнимала меня двумя руками, сцепив ладони у меня за спиной? Я шептал тебе на ухо глупости: что у тебя в одной руке — наше прошлое, а другая рука — пуста… Ты хмурилась, будто сердилась, но, скорее всего, ты просто не понимала, о чём я. Ты, вообще всегда бежала куда-то, словно ветер, перемещающийся оттуда, где его много, в пустоту. Меж рук, лишенных возможности сомкнуться, появляется ветер. Когда руки размыкаются, в одной руке слишком много чего-то, а в другой — совершенно нет ничего, и вот — что-то происходит, что-то появляется прямо из пустоты, знаешь? Это и есть — вечный двигатель, место между прошлым и будущим, множеством и пустотой, и ты, как и все, бежишь вперёд, только вперёд, а твоя пустая рука похожа на ту коробку, которую я нечаянно открыл тогда, в моём детстве: коробку, в которой не было ничего. Там была пустота, там всегда находится пустота, *абсолютная пустота*, а где-то внизу, во дворе моего дома, завершается штурм — мы побеждены, мы разбегаемся по своим квартирам, и наша крепость разрушена, там, где только что стояла стена, лежат

бесформенные трупы сугробов, я стою на табурете, в руках у меня пустая коробка. Падает с неба снег, и уже ничего не случится в полночь, никогда не случится.

6 Мечей
Наука

Этот аркан обещает высокую плату за труд (особенно интеллектуальный). При неблагоприятном раскладе лавровый венок не отберут, но характер его обладателя испортится: Шестерка Мечей предупреждает о таких опасностях как догматичность, излишний академизм, неприятие новых идей, чрезмерная амбициозность и все в таком духе.

Михаэль Штраух
До первой русалки

— Ты что, лебедям хлеб крошил? Я знаю, что запрещающих табличек тут нет, но лучше не надо бы, хлеб — не самая полезная еда для водоплавающей птицы. Ну ладно, немножко можно, я имею в виду чуть-чуть, по маленькому кусочку, а не полбатона на рыло, как…

Джем? Какой, вишневый? Малиновый? Конечно, держи.

А вот русалкам хлеб давать можно. Они, правда, сами его неохотно берут, боятся растолстеть, что с них возьмешь, девчонки… Ты чего смеешься? Ну да, русалки растолстеть боятся, а что тут такого?

Нет, не издеваюсь.

Ты когда приехал? Вчера вечером? А, тогда понятно. Увидишь еще. Конечно увидишь, они особо не прячутся. То есть, некоторые прячутся, по личным каким-то причинам, обижаются, или стесняются, а сейчас еще луна на ущербе, у многих депрессия, ну а что ты хочешь, жители воды от нее чаще страдают, чем люди, хотя, казалось бы, куда уж чаще…

Я тебе вот что хочу про русалок сказать. Ты их, конечно, корми, если увидишь, на здоровье, они забавные и все жрут, еще и благодарят словами, совсем как люди — ну, почти. Но если ты дашь им суши…

Да, конечно у нас есть японские рестораны, а где их сейчас нет? Даже прямо здесь, на набережной, видишь, где желтая крыша? Не то "Цветок сакуры", не то "Лепесток сакуры", не помню. Но он, честно говоря, не очень, суп у них лучше не заказывай, и храни тебя бог от тамошнего омлета, зато суши с лососем захочешь — не испортишь, лишь бы рыба была свежая, а у них свежая… Что? Нет, суши с русалками никто не делает. Равно как и с человечиной. Шутки у тебя дурацкие.

У меня? А я не шучу. Все знают, что русалки обожают суши. То есть, если ты дашь русалке суши, она не просто корм слопает и спасибо скажет, она потом на берег к тебе полезет, особенно если ей покажется, что у тебя в руках еще что-то есть. А когда нажрется до отвала — все, твоя навеки. Ну как, очень просто. Всюду будет потом за тобой таскаться, ну да, и домой к тебе пойдет, залезет в ванную и останется там жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит вас. Вот у Кривого Томаса в лавке уже лет восемь русалка живет, он ее на суши с угрем приманил, это все знают. Страшно доволен.

Ну как — зачем? Дурацкая постановка вопроса. Какая польза? Вот можно подумать, горожане домашнюю живность ради пользы держат. Какая такая великая польза от кошек? Ни шерсти, ни молока, только мяв бессмысленный, а у каждого третьего в доме кошка, или кот.

Хотя вообще-то русалки, если их вежливо попросить, могут ловить для тебя рыбу, или, скажем, добывать со дна ракушки. Ну да, и с жемчугом тоже, только жемчуг у нас речной, мелкий, миллионов особых на нем не заработаешь, так что закатай губу. Ничего, и без миллионов можно прожить, никто еще без них не умирал, насколько мне известно… И еще они здорово поют. Да ну тебя, не деньги поют, а русалки. Правда, не все, это уж как повезет. Так, на глаз, певчую русалку от обычной сразу не отличишь. Но если приманишь певчую — все, считай, пропал.

Ну что ты, в самом деле. Никто от русалочьих песен пока не умирал. «Пропал» — значит, так заслушаешься, что обо всем на свете забудешь, пока она не заткнется, а это может случиться очень нескоро, некоторые ночи напролет поют. Говоришь — поздно уже, спать пора, — а ей, глупой, дела нет. И сам сидишь, как дурак, слушаешь, и еще соседи под окна сбегаются и несут с собой свечи, сидр и пироги, разбредаются по твоему саду, подпевают русалке, приплясывают, тискают друг дружку по кустам, так что живешь, считай, в центре карнавала, какой уж тут сон.

Вот Томас с тех пор, как у него русалка поселилась, свою лавку раньше полудня не открывает, отсыпается. И, между прочим, правильно делает, потому что кому с утра может понадобиться карта пиратских кладов, чучело осьминога, или, скажем, кораблик в бутылке? Они и так-то мало кому нужны, но после обеда люди все же бывают склонны к мелким безумствам. После обеда, повторяю, а не с утра.

Нет, почему, я-то как раз люблю утро. Но не настолько, чтобы вскочить на рассвете и, едва продрав глаза, побежать к Томасу за этим его дурацким осьминогом.

Да нет, ничего особенного, чучело как чучело, просто мы поспорили, что Томас от этого чудища сорок лет не избавится, и если осьминог продержится в лавке еще две недели, я выиграю… Ха, даже не помню, что именно, но что-то очень полезное в хозяйстве. Может быть, карту пиратских кладов? Ну да, еще две недели. Правильно посчитал, мы с ним сорок лет назад поспорили, а что? Мало ли, кто как выглядит, подумаешь.

Нет, я не русалка. И больше никогда никого так не называй, люди обычно обижаются. Все равно что тебя дураком и вонючкой обругать, русалки — они все же глупенькие создания и рыбой

пахнут… Нет, я не обижаюсь, ну что ты. Я же понимаю, ты просто пошутил неудачно. Но не все такие понятливые.

Лучше скажи, а ты чучела осьминогов не коллекционируешь? Не за этим, случайно, приехал? Ну и слава богу, обидно было бы проиграть наш с Томасом спор в самый последний момент.

Давай, чашку подставляй, чаю еще налью, тебе же хочется. И не косись ты на меню, это уже не заказ, а комплимент от заведения.

Черный шоколад? Да, еще бы! Ой, какое спасибо! Давай только поделимся, кусочек мне, кусочек тебе, вот так, а остальное я заверну и вечером Томасу отнесу, он сладкое любит — прямо с ума сходит, а покупает редко, потому что русалку прокормить — это, знаешь, непросто для человека, который торгует никому не нужными сокровищами вместо нормальных человеческих сувениров.

Ну, по крайней мере, про русалок тебе теперь, надеюсь, все более-менее ясно. Если не готов заводить дома русалку, то и суши им не давай, а то потом не будешь знать, куда деться. Пусть вот батоны лопают, а лебеди перебьются, их и так приезжие раскормили — дальше некуда, это уже не птицы, а свиньи в перьях, смотреть больно. Да ладно тебе, не переживай, что сделано, то сделано, просто больше их хлебом не корми, лучше уж русалок, в самом деле, или котов — вот они у нас прожорливые и ненасытные, впрочем, как везде. А если у тебя куска колбасы при себе нет, просто вспомни, что ел на завтрак, или вчера на ужин, все равно, лишь бы что-то вкусное с кошачьей точки зрения, про ватрушки им, конечно, не очень интересно, хотя разные бывают коты и разные ватрушки.

Если честно, я не думаю, что котам достаточно одних наших воспоминаний, но они это любят, факт.

Еще чаю? Ну смотри, как хочешь.

Ты вот знаешь что? Ты мне скажи, где поселился. Нет-нет, твой адрес мне даром не нужен. Просто скажи, на каком берегу. На том? В пансионе «Люси»? О, так это аж за Красным Мостом! Ладно, тогда про будильник можно не…

Что именно про будильник? Говорю же, тебе это не надо. На том берегу можешь ставить будильник, хоть каждое утро, да хоть каждые полчаса, если приспичит.

Ну и мало ли, что отпуск. Подумаешь. Некоторые и в отпуске встают по будильнику, я точно знаю, мне Черная Эва рассказывала, она на том берегу, где ты поселился, всю жизнь проработала, в гостинице "Тихий Лев". Говорит, съедутся отдыхающие, ну, туристы, вроде тебя, казалось бы, какие у них могут быть дела, куда им спешить? А с шести утра трезвон

начинается.

Ох, да нет же! Не выдумывай. Черная, потому что волосы у нее темные. А у меня есть еще одна знакомая Эва, блондинка, туфли для сна шьет и продает у Нового Моста, так вот эта Эва — Белая, чтобы не путать.

Ну как — что за туфли? — теплые, матерчатые, с такими, знаешь, специальными метками на подошвах, чтобы во сне не заблудиться и проснуться там где заснул, а не где попало, у нас все в таких спят… Да ты сам сходи к Новому Мосту, погляди, приценись, расспроси Эву, она поговорить любит, все тебе расскажет.

Нет. Эва не русалка. С чего бы мне с русалками дружить, я пока в своем уме.

Напрасно сомневаешься.

Да, так вот. Будильники. На том берегу можно ими пользоваться, сколько влезет, а на этом не стоит. Строго говоря, нельзя ни в коем случае, но у нас тут не любят открыто запрещать, считается, это грубость, дурной тон. Поэтому когда тебе говорят: "не стоит", — имей в виду, что подразумевается "ни в коем случае". Вот, да, это мало кто из приезжих понимает, а когда объясняешь, пропускают мимо ушей и вечно влипают в неприятности.

Нет, ну дались же тебе эти будильники! И кто меня вообще за язык тянул?

Ну ладно, ладно. Но ты же сейчас опять начнешь от меня шарахаться и глазами вращать, как будто я невесть что плету… Конечно, неприятно, а ты как думаешь? Любому неприятно, когда от него шарахаются.

Хорошо, смотри. Видишь, два холма? Считается, что под тем, который чуть ближе, спит Князь. Ну как — какой? Который наш город приду… тьфу, то есть, построил. Сперва во сне увидел, а наутро вспомнил во всех подробностях и построил — так, во всяком случае, в летописях записано. Но летописи наши — дело темное, потому что в одних документах действительно говорится, будто Князь проснулся, построил город, правил много лет, а потом умер, и его под холмом похоронили. А есть и такие свитки, где черным по белому написано, вернее, процарапано, что Князь с тех пор вообще не просыпался. Ну да, спит себе сладко и видит наш город во сне. Умные княжеские волхвы быстро смекнули, что город ему снится хороший, и в стратегически правильном месте, поэтому Князю лучше бы теперь вовсе не просыпаться. Ну и спрятали его в пещере под тем холмом, там тихо, спокойно, не шумит никто над ухом.

Как — и что? Ну ты даешь. Никто же не знает, какая из

летописей правдивая. Историки, конечно, спорят. Вот сколько город стоит, примерно столько они и спорят, однако холм рыть и княжий гроб на свет вытаскивать даже самые упертые не решаются. Потому что всегда есть крошечное такое сомнение: а вдруг? Я имею в виду, а вдруг про сон — правда, и если Князь все-таки проснется, город исчезнет, и мы все вместе с ним?

Да нет, теперь-то никто в такие глупости особо не верит, но старинное "а вдруг?" все по привычке держат в уме. Поэтому лучше не рисковать, археологов к холму близко не подпускать, а продолжать теоретические споры, от них точно никакого вреда.

А три года назад мы выбрали нового мэра. Хороший такой мужик, молодой совсем — я имею в виду, для такой должности молодой — и правильно, ему пока все интересно, а это для города важно. Так вот, его дед по матери — историк, причем той школы, которая считает, что Князь все-таки спит и видит сон. И дед внука соответствующим образом накрутил. Так что не успел наш мэр вступить в должность, тут же появилось предписание: на этом берегу — никаких будильников. Вернее, не предписание, а "официальная просьба", так это у нас называется, я же говорю, тут прямые запреты считаются грубостью, и начальству приходится изворачиваться, чтобы никого не оскорбить.

Ну да, конечно смешно. Еще как! Когда вышли утренние газеты с новостью про будильники, мы тут в кафе от хохота под столы сползали, и не только мы. Но будильники все-таки попрятали, потому что одно дело — нарушить предписание и, в случае чего, заплатить штраф, а просьбу, пусть даже официальную не выполнить — некрасиво. Пожили немного без будильников, а потом как-то незаметно привыкли, что так надо, теперь даже волнуемся немного. Все гостиницы и пансионы, конечно, за рекой, но вдруг кто-нибудь из туристов снимет комнату на этом берегу, а хозяева забудут сказать ему про будильник? И что тогда?

Это, знаешь, такой хитрый момент: если очень долго исполнять ритуал, который искренне считаешь бессмысленным, со временем начинаешь думать, что ритуал этот нужен и даже важен, потому что — ну вот если я столько лет это делаю, значит без этого никак нельзя. Знакома тебе такая логика? Понимаешь, о чем я?

Хорошо, что ты хоть что-то понимаешь. Знал бы ты, как мне надоело — слова на ветер, вечно слова на ветер, ветер от моих слов уже тучен, как лебеди от булок, хоть на Рождество его режь, а я продолжаю его кормить, и конца этому не видно. Ну хоть сегодня будет у нашего ветра разгрузочный день, спасибо тебе.

Это как раз ничего. Ты молодец, слушаешь внимательно,

верить не веришь, но запоминаешь, потом еще, небось, в тетрадку запишешь, чтобы, к примеру, приятелей дома насмешить, а мне все равно, главное, что на ус волей-неволей мотаешь, до первой русалки как-нибудь на одном любопытстве продержишься, а уж потом, когда поймешь, что к чему, вернешься, небось, расспрашивать, что тут да как. Может завтра же и вернешься. Или послезавтра, или через неделю. Кто тебя знает.

Конечно раскажу.

Да ну что ты, не выдумывай. Город как город. Таких больше нет, конечно, тут ты прав. Но только потому, что все города разные. Про любой можно сказать, что таких больше нет. Если я приеду туда, где ты живешь, мне наверное тоже многое покажется удивительным.

В таких случаях принято говорить: "тебе виднее", но поверь на слово, виднее все-таки мне. Всякий город — таинственное и удивительное место, но это мало кто замечает.

Ну как. У кого глаза открыты, а ушки на макушке, тот и замечает. Знание всегда награда за доверчивость и любопытство, иных доблестей не требуется. Когда человек хоть немного любопытен — вот как ты нынче утром — ему непременно достанется пригоршня новых сведений, по большей части забавных, но бесполезных… хотя, конечно, как поглядеть. Это как наш речной жемчуг, который русалки со дна таскают, невелико богатство, а все же иметь его куда приятнее, чем не иметь.

Знакомая песня. Все говорят: "ни за что теперь не уеду", а у самих куплен заранее обратный билет. И все, конечно, уезжают, как миленькие, потому что ближе к сроку обратный билет начинает ныть в нагрудном кармане, а людям кажется, что это ноет сердце, никто этой муки не выдерживает, а билет выбросить не догадываются, да и жалко, наверное, он все-таки денег стоит. У тебя есть обратный билет?

Ну вот видишь.

Два пятьдесят с тебя за чай. Нет-нет, больше не возьму, и не уговаривай. Мало ли что в меню написано. Меню — для тех, кто не умеет слушать, я от них устаю, вот пусть и платят вдвойне.

Конечно иди. А если все-таки увидишь русалку, ни в коем случае не давай ей суши, а то полезет к тебе, дурочка, станет по утрам ракушки в постель таскать, а ты через месяц уедешь, и как она тогда?

7 Мечей
Тщетность

Эта карта всегда говорит о тщетности усилий. Но чьи именно усилия будут тщетными — ваши, или ваших противников — будет понятно из общего расклада.

Вадим Калинин
Смысл пса

Тилия бросил несколько сухих рыбешек в огонь.

Угли зажглись тем самым злым, веселым огоньком собачьих глаз. «Ну вот еще, — подумал Тилия, — Теперь-то все это к чему?»

Высокая волосатая Клара с длинными руками и ногами улыбалась в гамаке, возле плетеной стены. Тилия снял рубашку и забрался в гамак. Клара пахла тиной, сырой шерстью, голова ее пахла птицей, а живот напротив копченой рыбой и солониной. Внутри женщины было тускло, тесно и жарко, как в овине июльским вечером. Между выступающих позвонков любимой спины была живая влага. Тилия облил сзади ее крестец и, вместо обычного мгновенного отвращения, ощутил страшную, разносящую пространство хижины, нежность. Это чувство открыло стены, и словно приподняло за уголки мир, так, что Тилия увидел сквозь грудную клетку Клары острые дома в шести днях пути на севере, мертвого рыбака, лежащего в лодке, затерявшейся в одной из проток устья Соти, всадника в зеленых крагах и с малиновым арбалетом (всадник этот имел на правой ноге костяную петушью шпору и питался разведенной в масле женской кровью, отчего с каждым днем становился острей), увидел в камышах зябкую, продолговатую выпь, увидел лоснящуюся толстую молодую царевну, натирающую маслом небольшие пахучие ступни, увидел восемнадцать татуированных дударей, увидел быстрых прозрачных людей, пробивающих днища судов ножами из рыбьей кости, вооруженного топором шамана, и лежащую в лунном свете его тяжелую жену, с огромными мускусными, покрытыми короткими белыми колючими волосками, бедрами, увидел намокшего в росистой, в рост человека траве, удода, увидел ржавые, с выбитыми стеклами поезда, мчащиеся через маслянистый грохочущий виадук, и в одном из вагонов он нашел опиравшегося на пищаль, худого человека, подошел к нему и произнес: «Мы расстались в лесу». Человек поднял голову и спросил: «У тебя есть с собой?»

Тилия кивнул в знак согласия головой, достал из поясной сумки жестяную лакированную квадратную коробочку, темную от времени, на верхней крышке которой нарисованы оказались два симметричных дрозда. Незнакомец закатал рукав, обнажив темную вывернутую, гноящуюся рану на плече и высыпал на нее

часть имевшихся к коробочке красных кристаллов. Тут же рана его словно бы заколосилась. Белесая, жутковато шевелящаяся травка поднялась по берегам мясного оврага, в глубине этого оврага словно зарычал кто-то, но зарычал, словно смеясь, и блеснули желтые собачьи глаза. Но нет, это конечно, были только капельки гноя.

Тилия отвернулся, достал из той же цилиндрической поясной сумки маленькую бутылку, сделал глоток и зажмурился. Он очень давно не видел Клару, уже несколько лет… Отсюда, от семи полупустых нищих городов до реки Соть примерно шесть недель пути, так что он сможет снова увидеть Клару. Если конечно не…

Представился кургузый человек с раздвоенным на конце мечом, женщина на четвереньках, и меч прошибает ее насквозь, и жуткий этот человек бросается и тискает, и мнет ее, умирающую, а из лежащего кособоко в траве котелка течет вкусная, мутная, розоватая уха, и смотрят вареные, мертвые головы окуней. «Клара! — закричал Тилия, и в один размашистый удар разметал осиновым, зеленым мокрым бревном по всей поляне мозги кургузого. «Клара!» — Тилия перевернул женщину, но нет, это, конечно, была не Клара. Верхняя вздернутая губа убитой шевельнулась, и она сама, без помощи Тили, закрыла глаза. Да и откуда здесь, в ограбленных рыбацких поселках около железных островов могла бы оказаться Клара? Отсюда до ее хижины не меньше двух месяцев пути.

Тилия подошел к тяжелому смрадному рыбачьему срубу. За дубовым забором светилась необходимая ему большая парусная лодка. Ворот не было, их снесли лихие несколько дней назад. Путь к лодке был бы открыт, если бы не пес. Пес стоял в проеме ворот, ровно посередине. Он был желтым и большеголовым, в глазах его плескались холодные веселые оранжевые мальки. Собака обнажила щербатые зубы в улыбке почти человеческой, склонила голову. Из правого угла ее рта скользнула наземь острая, быстрая струйка слюны. Тилия нащупал в кармане маленький пистолет. Стрелять не хотелось, потому что шум, и мало патронов. Пес коротко весело рявкнул, и лай этот был как-то очень уж похож на смех. Тилия повернулся и пошел восвояси, раз и навсегда позабыв про лодку. Он отчего-то знал, что пес не прыгнет к нему на спину. Тилия закрыл глаза.

Он шел медленно, вслепую, расставив в стороны руки. Ветер усиливался, стальной брус шириною в ладонь вибрировал, весь древний, железный мост дрожал от ветра, и от каких-то своих

собственных внутренних мелких печальных вибраций. Тилия знал, что глаза открывать не стоит, он и так видел внутри себя весь ландшафт: мокрый безлесный каньон с гремящей на дне рекой, и обглоданный небом железный остов виадука, по одному из брусьев которого шел он, Тилия, человек с закрытыми глазами, балансирующий, расставив в сторону руки. Когда ветер вокруг стих, он открыл глаза и спрыгнул, наконец, на твердую почву. Тилия оказался здесь не один, прямо перед ним стоял невысокий, гибкий очень мускулистый человек, и в каждой руке его было по сабле. На шее человека висел богатый серебряный амулет из семи переплетенных серпов.

— Я видел, как ты шел, — сказал человек, — ты закрывал глаза. Скажи, зачем ты закрывал глаза?

— Я просто знаю, что не умру, что не могу оступиться, а с закрытыми глазами не так страшно.

— Ты умрешь непременно, и прямо сейчас. — Человек пошел на Тилию, выставив сабли вперед.

Тилия тоже двинулся на незнакомца, и просто прошел сквозь него. Даже показалось Тилии, что рассек он грудью того человека на две части, и две сабли коротко звякнули о камни, а медальон остался на шее у Тилии.

За рыжим выступом скалы обнаружилось сложное террасное строение, крытое свинцом. Тилия улыбнулся, и решил, что сейчас выпьет пива с кофейными зернами. Пьяный Тилия рассказывал беззубому, зеленоватому, постоянно жующему что-то человеку. «Ночь была теплой, даже душной, невиданное количество звезд. В такую ночь похоть обычно просто душит, и, как назло, у меня не было с собой ни грамма спиртного или еще чего-нибудь… Представь себе эту плоскую, ароматную степь, и нескончаемый, уходящий в две стороны частокол высотой в три человеческих роста. Вдруг возникли ворота, открытые ворота, и в лунном свете то ли рычащий то ли смеющийся желтый пес… Запах цветов и гари, и я отчетливо вижу, что там, за воротами, точно такая же пустая, на четыре дня пути во все стороны, степь».

Последний раз Тилия увидел пса в дверях Клариной хижины, когда пришел домой. «Ну уж нет!» — подумал он, обошел хижину сзади и незаметно проник в нее через окно. Клара была внутри. Она сидела на полу и острила ивовые прутья для охоты на кротов. Тилия подошел и нежно обнял ее за спину. Напуганная неожиданностью женщина, не глядя, ударила его в бедро заостренным прутом. Прут глубоко проник в мышцу, но Тилия не думал об этом, он обнимал любимую. Почти неделю они не

отходили друг от друга, и не вылезали из гамака. Все это время рана кровоточила и гноилась, на шестой день с Тилией случился горячечный бред, а потом навалилась на него горькая, сырая слабость. Тилию по ночам, в больной полудреме мучило чувство, что он вот-вот вынырнет из липкого, обрывистого страшноватого сна, однако смертельно больные часто ощущают такое. Клара сначала тихонько плакала, а потом сразу стала какой-то пепельной, сухой и словно бы что-то поняла. Когда Тилия решил про себя, что не доживет до рассвета, он позвал Клару.

— Почему столько лет я не мог умереть, а теперь вдруг умираю? — спросил он.

— Потому что ты наконец побывал со всех возможных сторон собаки, — ответила женщина и стала совсем горькой, чужой, непрозрачной.

8 Мечей
Помеха

Значение этой карты вполне однозначно. А общий контекст гадания покажет, насколько серьезной может быть обещанная помеха.

Карина Шаинян
Отдай моих тигров!

На улице Блюхера жили тигры. Они скрывались в лабиринтах сараев и старых двухэтажных домов, от которых пахло прелым деревом и канализацией. Бродили среди сугробов и натеков льда; фонари тускло светились оранжевым, и в их лучах всегда метался снег. Там, на самой короткой и страшной дороге от библиотеки до дома, жили они. Зимними вечерами они выходили из своих убежищ, гибкие и опасные, а впереди них по пустынной улице волнами катился ужас.

Ходить вечером по улице Блюхера категорически запрещалось. Поэтому Катя возвращалась только по ней.

Катя шла скользящей походкой; ранец с книжками ненадежно прикрывал спину, в коленях стыла ватная пустота, и часто-часто билось сердце. Если ставить ногу по-особому, снег не заскрипит под валенком, и тигры не услышат. Иногда впереди сквозь пургу мелькала тень, и Катя замирала в обморочном страхе, но прорыв ветра утихал, тень превращалась в дворнягу или ворону, и Катя шла дальше, пружиня и стараясь не оставлять следов.

Кабинет Главного Библиотекаря — в дальнем тупике, затерян в шелестящей полутьме, замаскирован изгибами проходов между стеллажами. Катя всегда выходила на него неожиданно, заплутав между полками и лесенками, заблудившись в нагромождениях старой бумаги. Комната всегда была заперта, и замочная скважина под медной ручкой походила на золотистый глаз. Иногда Катя бросала листать книги и подкрадывалась к двери. Из щели над полом лился жаркий свет, пахло сухой травой и кофе. Говорили, Библиотекарь слеп, носит за пазухой кинжал и не боится времени. Говорили, что когда-то в его кабинете безумолчно стрекотала пишущая машинка, но уже много лет там царит тишина. Это было неправдой: порой до Кати доносились голоса, говорящие быстро и горячо, и обрывки танго; но чаще было слышно, как вздыхает и жалуется на незнакомых языках Библиотекарь. Временами бормотание становилось разборчивее, скрипели половицы под тяжелыми шагами, и Катя опрометью бросалась туда, где с холодным весельем мигали лампы дневного света, а полки пестрели обложками детских книжек. Она отбирала стопку и робко подходила столу, уставленному ящичками с карточками абонементов.

— Ты опять взяла «Маугли», — укоризненно улыбалась ей

женщина, вечно закутанная в пуховый платок. Катя молча кивала в ответ. Маугли — ее талисман, лучший друг и защитник. С ним не так страшно было идти домой.

Катя совала книжки в ранец, за спиной хлопала тяжелая и толстая, обитая дерматином дверь. С воем набрасывался буран. Катя прикрывала лицо шарфом и ныряла в переулок, ведущий на улицу Блюхера.

Буйствовал снежный январь, катилась по городу эпидемия гриппа, и Катя то пряталась с головой под одеяло, то разбрасывала постель, отбиваясь от температурных теней. Приходила мама, приносила стакан воды с лимоном. Подкладывала на батарею новую ватку, пропитанную пихтовым маслом, ставила градусник и грустно качала головой. Ночник отбрасывал теплый свет, медленно шевелились розы, оплетающие шпалеры, на обоях, и стена Катиной комнаты превращалась в фасад двухэтажки на улице Блюхера: штукатурка обвалилась, обнажив деревянную решетку и куски пакли, хлопает под ветром жесть на козырьке подъезда. Квадрат света превращался в окно, и сквозь щель в шторах Катя видела развешанные на светлых обоях детские рисунки: солнце, траву и тигров. Она замирала, и между спиной и ранцем протискивался холод. К окну подбегал смуглый мальчик с тетрадью в руке и прижимал к стеклу первую страницу. «Царь леса», — читала Катя. Мальчик вдруг начинал трясти кулаком, из его глаз катились злые слезы, и окно гасло. Розы превращались в деревья, и только вдалеке светился фонарь. Катя бежала к нему, но тело не слушалось, а потом становилось понятно, что это не фонарь, это огонь костра в ночном лесу… нет, это тигр, похожий на пламя. Он надвигался на Катю, от него несло дымом, силой и почему-то псиной, когти походили на ножи, а в рычании слышался гитарный звон. Лес заливало солнцем, становилось жарко, и тропинка превращалась в улицу. Пахло кровью, пролитой на горячий асфальт, кофе, потом. Двери сараев распахивались, выворачивая нутро темных кабачков — там пили вино, тянули из серебряных трубочек горький мате и танцевали танго. Черноволосые парни выходили на улицу плечом к плечу, и у каждого за пазухой ждал нож. Здесь не было места ни страху, ни холоду. Катя благосклонно улыбалась и расправляла плечи, обмахиваясь веером. Прекрасная северянка с улицы Серрано, тайная причина многих и многих дуэлей, лучшая танцовщица окраин, она привыкла к блеску злой стали и жару в крови. Подкатывала повозка, запряженная храпящими тонконогими конями, лихие гаучо увозили сеньориту Катерину в пампу, где текли воды рыже-свинцовой реки, и оставляли наедине

с солнцем и травой.

Катя стояла на берегу, и к ней сплошным потоком шли тигры. Они сливались в еще одну реку, черно-рыжую, и были они прекрасны, и шли к ней в объятия, и Катя любила их, а они — ее; тигры падали в реку, и Катя падала в реку, но одно было неизменно: к ней бесконечным потоком шли тигры. Где-то на другом краю света плакал смуглый мальчик, похожий на слепого старика, и просил их вернуться. Но лишь бесформенные уродцы, лишенные страсти и силы, едва стоящие на ногах, похожие на чучела тени с холодной и темной улицы Блюхера оборачивались на его зов, и Катя заливалась счастливым смехом: их ли она боялась потревожить скрипом снега под ногой?

Приходила мама, подбирала презрительно отброшенного «Маугли», осторожно касалась горячего лба, и в уголках ее губ появлялись морщинки. Но постепенно Катя выздоравливала, жар спадал, глуше звучали гитары, и огненные полосы на тигриных шкурах выцветали — царственные звери все больше походили на нелепо огромных и головастых палевых собак. В глубине души Катя чувствовала, что теперь все тигры — лишь внутри нее, и немного стыдилась, что не оставила ни одного для пампы: без них бесконечные травяные просторы казались безжизненными. Над улицей Серрано нависала печаль, и под ее туманным пологом Катю настиг последний кошмар.

Сеньорита Катерина, прогуливаясь с соседскими девушками, встретила слепого старика. В его глазах застыли тысячи потерянных миров и непридуманных книг, пиджак лоснился на локтях, вытертых о сотни столов и кафедр. «Вот ученый человек, который доживает в бедности, — сказала Катерине одна из подруг, — вся слава досталась другому с тем же именем». Она подала ему монетку, но старик не взял денег. Он обратил невидящие глаза на Катерину.

«Это чужой сон, — сказал он и слепо зашарил руками. — Отдай моих тигров и уходи», — когтистые пальцы впились в рукав платья. Катя испуганно вскрикнула и бросилась прочь из сна. «Отдай моих тигров!» — кричал вслед слепец, но Катя уже проснулась, чувствуя, как тесно в ее душе громадным полосатым зверям.

— Далеко не убираю, — с улыбкой сказала женщина в пуховом платке, откладывая «Маугли» в сторонку.

— Я больше не буду его брать, — сердито ответила Катя, — надоело. Поищу что-нибудь новое.

Плутать среди сумрачных стеллажей не пришлось — первый же поворот вывел к кабинету Библиотекаря. Из-под двери по-

прежнему бил свет, но Кате показалось, что его золото потускнело. Она прислушалась: в комнате стояла мертвая тишина, и было слышно, как бесконечно далеко, за лабиринтом из тысяч полок с книгами, покашливает женщина в платке. Катя почувствовала внимательный и укоризненный взгляд, проникший через толстые резные доски двери, и гордо вскинула голову: сеньорите Катерине не к лицу жаться на пороге. Она толкнула протяжно заскрипевшую створку и вошла, насмешливо кривя губы.

Пахло кожей, пылью и кофе. Солнечный свет пробивался сквозь щели в плотных шторах, ложился широкими полосами на стол черного дерева, заваленного картами, старинными книгами с медными застежками и оборванными на середине строчки рукописями. Библиотекарь неподвижно сидел в тяжелом кресле: морщинистое лицо обращено к стоящим на каминной полке песочным часам, рука сжимает чашку, исходящую густым ароматным паром. Скрежет двери стих, и Кате стало слышно, как шуршит песок, пересыпаясь в нижнюю воронку, — звук сливался с тихим, шелестящим дыханием Библиотекаря.

— Это не твой сон, — сказал наконец он.

Катя молча кивнула. Дрогнули солнечные лучи, и по комнате потек тигр. Литые мышцы перекатывались под блестящей шкурой, и глаза горели вечным пламенем. Тигр покосился на Катю — она снова кивнула, — прислонился огромной лобастой головой к пергаментной щеке Библиотекаря и тихо, нежно заурчал. Упала последняя песчинка в часах, и Катя вышла в холодный лабиринт стеллажей. Постояла, прислушиваясь. За дверью часто и сухо трещало, и Катя не сразу поняла, что это стучат клавиши пишущей машинки.

Тонкая книжица в рыжей, истертой до ворсистости обложке упала с полки и раскрылась посередине. Катя прочитала последнюю строчку. Опасливо оглянувшись, сунула книгу за пазуху. Прокралась в раздевалку, накинула пальто и, не застегиваясь, выскочила из библиотеки.

Бураны наконец закончились, стало морозно и ясно, и маленькая зеленоватая луна в рыжем ореоле была похожа на глаз. По опустевшей улице Блюхера далеко разносился громкий скрип снега под ногами. Катя больше не боялась тигров, и не боялась, что они уйдут навсегда. Ее власть была безграничной.

9 Мечей
Жестокость

Эта карта говорит о страдании, у которого есть реальные причины. То есть, за страданием стоит не из пальца высосанная, а реальная, серьезная проблема.

Негативные эмоции, о которых предупреждает Девятка Мечей, разрушительно действуют на организм. Тот самый случай, когда говорят: "все болезни от нервов". Даже в самом благоприятном окружении Девятка Мечей указывает на душевную рану, которая не заживает и в ближайшее время не заживет.

Юлия Бурмистрова
Королева

Она умирает, как и положено умирать королевам…

Мишель де Гильдерод
"Эскориал"

Ее готовили к этому с детства.

С тех самых пор, как старая няня принесла ее простыню, сняв чепец, отрезала свои волосы, кинула все это в камин и ушла в лес, что означало, что она из девочки превратилась в девушку, к ее урокам пения, танцев, хороших манер и королевской чести, добавился еще один.

Она, кстати, потом спрашивала, почему няня ушла в лес, почему босой и что с ней стало, но ей ответили, что такие вопросы не соответствуют королевской чести. Но она еще долго потом плакала по ночам, когда слышала, как воют волки в лесу.

Это была странная наука.

С одним единственным заданием — молчать и улыбаться, что бы не происходило вокруг.

Ей показывали пытки. Много и разных.

Она слушала хруст костей, крики мучеников, плачь детей.

Если она вздрагивала или отварачивала лицо, а еще хуже того, плакала и просила пощадить невинных, ее лишали обеда и запирали в башню на три дня.

Пока она не научилась молчать.

Но это был только первый этап обучения.

Кода она научилась молчать, ее выдали замуж за короля и она стала королевой.

После рожденья первенца — наследника трона, когда ему исполнился три дня, учение продолжилось.

К ней приводили самых несчастных и уродливых людей королевства и она должна была слушать их слезы, мольбы, несчастья.

Она молчала, но если в ее взгляде сквозило состраданье, ее не подпускали к ребенку.

Пока она не научилась улыбаться.

Когда королю доложили о том, что королева наконец стала

настоящей королевой, по всей науке, он молчал и улыбался.

По традиции, все покинули замок, оставив короля и королеву одних.

Через семь дней, когда все вернулись, король и королева сидели на троне и молча улыбались.

Король сам отбирал шута.

По всем правилам — посещал смертные казни, слушал последнее слово приговоренного, но никто не подходил. Наконец кандидат нашелся.

Он был очень красив — широк в плечах, высок, с привычкой небрежно откидывать непослушную прядь со лба.

Никто не знал какое преступление он совершил, да это было и неважно.

Он сумел своим последним словом рассмешить не только толпу, но даже палача, который от смеха выронил топор и пришиб себе ногу.

Король поднялся со своего места и кинул парню монетку — тот весьма ловко поймал ее, повертел в руках и кинул обратно королю, который даже не повел бровью — молчал и улыбался.

Парня раздели — он стоял совершенно голый и смеясь смотрел, как казнят его одежду.

Это было рожденье нового шута.

А уже через месяц королю доложили, что королева тайно пошла на первое свиданье с шутом.

Она лежала на небольшом возвышении, молчала и улыбалась. Она умирала.

Люди толпились перед дверью в залу, всем хотелось посмотреть на настоящую королеву, но все равно пускали только по десять человек.

Она умирала семь дней.

"Она умирает, как и положено умирать королевам — от яда."

* * *

В народе потом долго говорили об этом.

Говорили, что это была очень молодая королева, но очень способная — она быстро выучилась науке умирать.

Ведь бывали и такие королевы, которые до старости так и не научились этому, поэтому умерли как простые собаки — от

старости. Какой позор.

Одни говорили, что король очень любил королеву, а другие, что наоборот, совсем не любил — сходились только в одном — он самый настоящий король.

Рассказывали, что в те семь дней, что король и королева провели одни, они ходили босиком по замку, королева была простоволоса и сама готовила королю суп. Что они много смеялись, страстно любили друг друга, а по вечерам сидели у костра и плакали.

Но были и такие, кто говорил, что они так и просидели все семь дней на троне — молча и улыбаясь.

Единственное о чем никто никогда не говорил — это любила ли королева короля или шута. И куда потом делся этот веселый парень. И почему в ночь, когда умерла королева из королевской башни, где была королевская спальня, раздавался нечеловеческий то ли крик, то ли плач, и кто это кричал.

10 Мечей
Руины

Десятка Мечей предвещает крушение; самая большая опасность в том, что крушение это может оказаться внутренним.

Даже в самом благоприятном окружении эта карта сулит огромное перенапряжение, состояние, которое прекрасно описывается термином "доконали".

В самом неблагоприятном Десятка Мечей грозит безумием.

Если человек, которому гадают, пришел просить совета, Десятка Мечей внятно говорит: не ходи по этому пути.

Единственное несомненное достоинство этой карты — она обещает, что весь этот ужас очень скоро закончится. Просто потому что не может продолжаться вечно.

Юкка Малека
Февраль

Это февраль его доконал, чертов февраль.

Унес его голову, скормил голубям его сердце, оставил в снегу одного.

Пурга несла его до дома четыре квартала и швырнула об стену возле самого крыльца. Сил осталось только неуклюже скрежетать ключом, а выскрежетав три щелчка, скрыться в квартире, чтобы больше её не покидать.

Телефонные провода он, кажется, вырвал из стены сам, но из его рассуждений следовало, что лживые собеседники сами приходили расправляться с проводами: секретарь утром понедельника, директор вечером среды и друзья каждый вечер резали, топтали, перетирали провод в десятках мест. А потом вроде бы соседка спустилась со своих верхних этажей, разгрызла дверной звонок и унесла с собой белую кнопку. Хотя, возможно, тоже показалось?

Вслед за бумажными деньгами сгнили ржой и рассеялись железные. Было нечем отвлечься, нечем забыться, он хотел надышаться газу, но газ тоже был отключен — видимо, чтобы он не смог увести за собою весь подъезд. Глупо, глупо, неглубоко и недолго топился в облезающей ванне. Но терялся, начиная пускать пузыри, мылился и вылезал розовым и чистым обратно в февраль.

Гнулся и ломался от холода.

В доме было мерзло. Каждый из тяжелых дней он начинал с того, что сворачивал в трубочки подсунутые под дверь газеты и прокладывал ими щели окон. Газеты были меньше щелей, куда меньше, уже к вечеру падали в темный двор, а утром их снова приносил под дверь дворник. Пробовал их читать — но непослушные руки рвали страницы.

Он две недели ревел, заставляя дрожать стекла и дворовых детей.

Он две недели молчал, и пальцами сжимал свой рот, когда тошнило словами.

А двадцать восьмым днем его февраль оборвался.

2 Диска Перемены

Значение этого аркана предельно просто. Если у вас все плохо, скоро станет замечательно. А возможно — наоборот (тут, как всегда, нужно смотреть на общий расклад).

Сергей Гришунин
Сторож Яков

В черте города Зеленогорска, на песчаном берегу Финского залива, лежит большой каменный шар. Какой-то привокзальный газетчик сболтнул одной мороженщице, что тому, кто этот шар с места сдвинет принесёт он достаток и счастье, потому что под этим шаром есть потайной ход, который идёт под заливом до самого Петербурга. Та было взялась выспрашивать, где он выходит, на какой улице, но тут к ней подошли покупатели, а когда отошли, то газетчик уже переменился и вместо него при газетах стояла востроносая девица в очках и грызла зелёное яблоко. Мороженщица рассказала про шар и потайной ход буфетчице, та — двум электрикам-близнецам, из них кто-то или оба вместе — путевому обходчику, а тот — уборщице. Ну, а что известно хотя бы одной уборщице рано или поздно становится известно всем. С тех пор пошло к этому шару самое настоящее паломничество. К нему даже из Москвы люди с лопатами приезжали. Катали его туда-сюда, в песке рылись, а напоследок ещё и кувалдой по нему долбанули. Наверное, со временем этот шар и вовсе в песок разотрут или разобьют на кусочки. Потому что, кто его знает, может секрет внутри есть какой-то, если столько о нём разговоров?

Говорят, что от шара этого в паре километров, если налево идти вдоль берега, зелёный домик стоит — лыжная база. Живёт в нём сторож по фамилии Яков. Как уйдёт солнце за горизонт, и наступят непроглядные сумерки, поставит он на горячую плиту сковородку и масла нальёт. А когда масло на сковороде разогреется хорошенько, то глаза свои выколупает он из орбит и поджарит. Присядет у стола и глаза его перед ним дрожат на тарелочке. Поест Яков, оденется по сезону и вслепую вдоль берега к шару идёт. Подходит к нему, цифры какие-то шепчет и тычет рукой, проверяет, пока по локоть рука не уйдёт. Тогда чуть отступит назад и ныряет в камень. Объявляется он, рассказывают, возле Александроневской лавры. Встаёт у метро и подаяние просит. Как случатся от прохожих монеты, он ими глазницы свои закладывает, пока не заполнятся. И вот, кто после этого ему лишнюю монетку подаст, он за руку того хватает и немеет от этого человек до беспамятства. Ведёт Яков его тогда через весь Невский проспект к чёрному шару на улице Малой Садовой. Тому самому, который под напором воды вертится. Суёт этого беднягу

под него плашмя и двумя руками тот шар крутит. Выныривает после этого человек сухим из-под шара в Зеленогорске, и становится внешне как в точности сторож Яков, но уже зрячий. А сторож под его обликом к нему в семью жить идёт, но там ни об чём таком не догадываются. Тем более что если дела у них там как-то плохо шли, то с этого момента они реально налаживаются, так что те только тому и рады. Ну, а тот, который с Малой Садовой в Зеленогорск попал, живёт себе, ничего не подозревая, как сторож на лыжной базе, пока опять с кем-то через эти шары не поменяется. Известно ещё, что он иногда газетчиком на вокзале подрабатывает. Сплетни всякие распускает. Вот, мол, приносит шар достаток и счастье, и про потайной ход этот. Какая ему только с этого выгода? Непонятно. Надеется, наверное, что раздолбают этот шар, наконец, или в пыль от жадности разотрут, чтобы вся эта маята кончилась.

3 Диска
Труды

Эта карта предупреждает, что вам вскоре придется как следует потрудиться. Будет ли от этого хоть какой-то прок, покажет ее окружение. Но хулы уж точно не будет.

Марина Богданова, Оксана Санжарова
Часы

Всю ночь Кириллу Матвеевичу снилось что-то большое и доброе. Он так и не успел понять, что же это такое маячило перед ним, а Мелкий уже захрипел, задребезжал, зазвякал на тумбочке и затих под хозяйской рукой. Через пару минут, вздохнув, старинные Часы галантно отзвенели четверть. Кирилл Матвеевич выкупил их тогда в комиссионке, залез в долги, потом приводил в порядок, перевивал старую пружину, выправлял чудные ажурные стрелки, заново покрывал темным бархатным лаком узкий дубовый футляр. Зато теперь не часы — игрушечка. Сейчас бы, наверное, не стал возиться, а тогда — как в сердце ударили его эти часы. Мелкий рядом с ними что шавка подле арабского скакуна, а вот поди ж — тоже механизм. Ну пора уже, пора, не разлежишься.

За окном плыло жемчужно-серое небо, старый чайник закипал медленно и лениво, Кирилл Матвеевич не спеша вспоминал, что он отдаст сегодня, а что бы еще пообсмотреть. На площадке курила соседка Лена. Поздоровалась, заулыбалась.

— Здравствуй, Леночка. Ну как, ходят?

— Ходят, дядя Кира! Ко мне бы так ходили!

Ленку он помнил еще пятиклашкой. Теперь Ленка вымахала, заматерела, оплыла с боков и стала самой натуральной шалавой. Бабки из подъезда ее ненавидели, но вреда Ленка никому не приносила, чужих мужиков не отбивала, скандалов у нее никогда не случалось. Даже вот сейчас — курит, а в руках здоровенная пепельница колесом, под хрусталь. Жалко, что беспутная, но тут уж дело такое.

А вчера Правый сказал, что нас нет. Он вообще-то и раньше так говорил, но вчера получилось особенно досадно. Раньше это значило, что нет нас всех, и что сам Правый в это не верит, а теперь он говорит, что он есть, а нас нет. Он нас, видите ли, выдумал. Он даже сказал мне, как это называется — очень красивое слово, почти как Мы, — «солипсизм». Я не слишком обижаюсь: у Правого край неудобный, там всё время подтекает… или просачивается?.. то, что сверху думают, а он очень впечатлительный. Ну, если ему так удобно — пусть я буду выдуманным. Главное, чтобы не отвлекался. А ещё вчера Левый сказал, что ему дует и в центре лучше. А Правый пошутил, что я соблюдаю политику нейтралитета. Я спросил, что это, а он

сказал: это трое под одним одеялом — тому, кто в центре, всегда тепло. Только я не знаю, что такое одеяло. Я бы предложил Левому поменяться, но вчера мы уже менялись. Или не вчера. Правый говорит, что я неправильно понимаю темпоральность, что моё «вчера» на самом деле «позавчера» или «позапозавчера» или «давным-давно». Он даже пытался мне объяснить, как вчера зависит от смены дня и ночи, но, если честно, я их не замечаю. То есть, когда стоял Левым, может, и замечал, но уже не помню, а в середине всегда сумерки. Так вот, Левый вчера-когда-был-Средним так ныл, что я сказал: ладно, если посредине так тяжело, давай меняться, только стой спокойно, не перекашивай. Но пока менялись, потрясли, конечно. Я же не знал… Про ледниковый период мне Правый только вчера сказал. Но он меня утешил — сказал, что когда Левый в центре переминался, было ещё хуже, кто-то даже вымер. Он говорил кто, но я плохо запоминаю длинные названия.

Но вообще-то теперь Левый ворчит меньше: вчера Правый сказал ему про «эндорфины» и «алкоголь», и теперь он иногда немножко поёт — это приятно — и чуть-чуть шатается — это неудобно, но я выпрямляю спину, и, наверное, наверху ничего не замечают. Правый говорит "цунами больше — цунами меньше…»

Своей мастерской у Кирилла Матвеевича не было — он ютился в углу аптеки, сам построил выгородку, развесил полочки, провел свет. В витрине аптеки выставил свой фанерный плакатик с расписанием. На плакатике резвились мыши: одна похвалялась золотой луковкой, три другие выглядывали из прогрызенного футляра напольных часов, еще две мышонка тащили будильник с развевающимися пружинами. Добротная работа, настоящими акриловыми красками, Кирилл Матвеевич сам потом лакировал фанеру. Заведующая аптекой, дама вообще-то предобрая, даже расстраивалась порой, что у часовщика такая красота, а в витрине у аптеки — красный крест да пластиковая стандартная бутылка с козырьком. Вывеску написала приезжая художница — летом ей Кирилл Матвеевич быстро и недорого починил карманную луковицу, старинную, с репетиром. Даже не столько чинил, сколько исправлял топорную починку столичных халтурщиков. Тонкий механизм, песенка чистая, а они его долотом ковыряли, не иначе. Больно было смотреть на несчастную луковку. То ли дело потом, когда часики запели: низким мелодичным звоном отбили часы и потом сдвоенным, как хрустальные рюмочки — три четверти. Изволите слышать, барышня, без пятнадцати четыре, получите и распишитесь. Художница прямо вспыхнула от удовольствия, чуть на шею ему не кинулась, а денег за своих

мышей не взяла категорически. Хотела еще нарисовать кота, починяющего часики, да Кирилл Матвеевич деликатно отказался. Затейница уедет, а ему здесь жить. Точно котом прозовут, к гадалке не ходи.

Дождя не было. И слава Богу, потому что зонтик давным-давно ощерился двумя выломанными спицами. Купить новый все было как-то не с руки, а починить старый Кирилл Матвеевич постоянно забывал. Дожди заставали врасплох, ну их совсем, эти дожди. Аптека всего час как открыта, и девчонки еще толком не проснулись, а бабки в это время сидят дома, досматривают повторение вечерних сериалов. Если хочешь поработать в тишине и спокойствии — самое милое дело сейчас прийти. На столе Кирилла Матвеевича ждал желтый поцарапанный слоник-будильник. Не китайская штамповка, а родной аляповатый слоник с циферблатом в боку, мечта советского первоклашки. Только последние советские первоклашки уже взрослые люди, и нужны им теперь такие слоники, как рыбке зонтик. Пластмассовый уродец жизнерадостно топорщил хобот и смотрелся крайне убого. Антонида Михайловна, божий одуванчик, отыскала слоника на антресолях, притащила в мастерскую, хочет подарить внучонку, чтоб тот учился-не ленился. Кирилл Матвеевич внучонка видел и насчет дальнейшей судьбы слоника не сомневался. Но механизм в уродце был крепкий, качественный, и верещал будильник тоже исправно. Не жаль было потратить время. И, если честно, в детстве он тоже мечтал о таком слоне.

Теперь Диск иногда вздрагивает сам, признаюсь, я думал на Левого, но вчера центр как-то мягко шевельнулся у меня над лопатками. Правый сказал, что это они сами, те, кто на диске. Это всё оттого, что они (мне Правый вчера сказал) теперь думают, что Диск — шар, а нас под ним нет. То есть он сказал немного по-другому, он сказал, «с тех пор, как они узнали, что Диск — это шар, у них всё развивается быстрее».

Я думаю, ничего особо хорошего в том, чтобы трясти Диск, нет, поэтому лучше помнить про нас, а то ведь я могу захотеть потянуться. Да-да, я знаю, я совсем не умею шутить, Правый говорит — "нет чувства юмора". И всё же я не очень понимаю — почему если шар, то нас нет. Можно ведь справиться и с шаром. И ещё он вращается, даже два раза: сам по себе и вокруг Солнца. Солнце я немножко помню.

А ещё раньше мы были «китами». "Кит" — это когда нет ног и хобота. По-моему, ужасно неудобно. Зато есть мощный хвост,

хвоста я никогда не видел, но я его чувствую — не сказал бы, что он особо мощный. И если держать на голове и хвосте, придётся сильно выгибать спину — я думаю, это очень неудобно. Я бы запомнил. Мне кажется, что я никогда не был китом.

В 12 часов дождь все-таки хлынул. Сразу стало темно, пришлось включать свет, и вскоре привычно заломил висок, глаза от напряжения и электрического света заныли и захотели вон из глазниц. Дождь стучал и стучал, не было ему ни конца, ни края, в аптеке стало сыро и холодно. Отряхиваясь, как пес, из дождя вышел Серега. «День добрый, Кирилл Матвеевич, к вам можно?» Да можно, отчего ж нет. Ну, показывай, в чем беда. В кулаке Серега держал «Роллекс». «Вот, не фурычат. А ведь бешеных бабок стоили, честно, они ж фирма!» Кирилл Матвеевич отодвинул слоника и потянулся за часами. Развинтил и не удивился. Под благородной крышечкой, конечно же, вибрировал полузадушенный китайский механизм. «Сережа, где ты их покупал, фирму свою?» Больше всего Кириллу Матвеевичу хотелось подарить Сереже кулек, чтобы тот сгреб свои часики и аккуратно отнес их в урну. Меньше всего хотелось их чинить. Серега, большой, мокрый и облапошенный, стоял перед окошечком часовщика и медленно соображал. Китайский самозванец дрожал и стыдливо покачивал пружинкой. Зик-зик, глупый мальчик. Зик-зик, неразумный мальчик. А давно ли твое сокровище тикать-то перестало? Серега очнулся и промямлил, что тикать-то перестало только вчера, когда они в баню пошли. Ну да, в них пошел, а чо, он и раньше в них ходил, там же написано, что ватерпруф и вообще фирма же. Бабок бешеных стоят! Кирилл Матвеевич только вздохнул. И вдруг Серега наклонился к нему и тихо попросил: «Дядь Кира! Вы, пожалуйста, только не говорите никому. Пусть мужики думают, что я реальные «Роллексы» разъ…убил». «Тьфу на тебя, дуболом, — вздохнул Кирилл Матвеевич. — Починю их, ладно. Все равно, как вы живете — ни одни «Роллексы» не выдержат». Серега просиял, полез в штаны за мятыми бумажками, вывалил много, велел сделать быстро-круто и канул в дождь. Кирилл Матвеевич махнул рукой и купил у Тани цитрамон.

Ах да, я ведь говорил про время? Так вот — каждое вчера, это ещё и сутки, а в сутках есть часы, в часах минуты, потом что-то ещё, а работать надо восемь часов, а иногда шесть. А потом? А потом надо идти отдыхать. Я спросил Правого, а как узнают, что надо идти отдыхать, и он рассказал про часы, нет, не те часы, которые время, а «Часы». Они ходят на месте и бывают круглые, и

некруглые, и вообще очень разные (тут Правый отчего-то хихикнул и сказал «сальвадордали» — не понимаю), но круглые мне проще представить.

В час дня Светка повесила на дверь аптеки табличку «ЗАКРЫТО», а Таня ткнула в розетку электрический чайник. Кирилл Матвеевич посмотрел на девочек, унылых и постных (до зарплаты еще неделя) и решительно шагнул под дождь. Он вернулся, как Гарун-аль-Рашид. Он достал из пакета пухлый батон розовой колбасы, несколько саек, пачку чая со слоником и полкило конфет «Ласточка». Почему-то именно конфеты «Ласточка» окончательно убедили девочек в бескорыстности намерений старого часовщика. Таня даже согласилась взять домой пару штучек для Иринки.

В два часа пополудни дождь перестал, зато пришла бабка Антонида «за будильничком» и вообще поговорить с людьми. Слоник деликатно клацал, секундная стрелка на его боку мелкими рывками бежала по кругу. Бабка поблагодарила мастера, отсчитала ему тридцатку мелочью за работу, и слоник, упакованный в застиранный целлофановый пакетик, канул на дно бабкиной хозяйственной сумки. Потом Антонида Михайловна походила по аптеке и попросила Светку объяснить, что это за лекарство такое — вон то, в красном. Вроде и по-русски написано, а не разберешь ничего. Светка подробно объяснила все про лекарство — вязать, как Таня, она не умела, а делать в это время в аптеке было совершенно нечего. Бабка приободрилась и спросила у Светки чего-нибудь такого от дурного сна. Нет, не снотворного, спит-то бабка отменно. А вот чтоб сон дурной не тревожил. Светка показала пару пузыречков с успокоительным и предложила в церковь сходить. «Ну, доченька, — замялась бабка, — я и сама знаю, что в церковь, а неловко. Поп все же мужчина, а у меня сон женский, плотский». Светка хихикнула, но бабку поняла — у нее самой часто случались плотские сны. Заговорили о снах. Тане сегодня снилась Иринка, как бегает она по дому с вишнями и говорит Тане "Мама, кушай!". «Вишня — это к сладким приятностям и мимолетным радостям», — авторитетно молвила бабка. Светка и Таня, переглянувшись, прыснули, а Кирилл Матвеевич покраснел и ушел в работу. Он терпеть не мог оказываться в центре внимания. «Были у нас сегодня сладкие приятности», — рассмеялась Светка и пошла тормошить часовщика — что же ему такого снилось в эту ночь. Кирилл Матвеевич отмахнулся от озорницы, мол, отстань, не помню, ничего не снилось. Антонида Михайловна вдруг обронила: «Ничего не снилось — слоны снились. Так матушка моя, Царствие

ей Небесное, всегда говорила». Но Светка уже расшалилась — не унять. «Скромничаете, дядя Кира! Небось, девушки снились, а вы не сознаетесь!» "Светка, ну что ты пристала, как маленькая!" — воскликнула Таня. Кирилл Матвеевич взял отверточку поменьше и сконцентрировался на упорном винтике. Старые ходики должны быть готовы к завтрашнему утру, пока еще не натащили — надо сделать. «Роллекс» китайский подождет, там все равно работы часа на три, да еще и просохнуть бы ему неплохо. Непросто с братцами-китайцами: могут сварганить такие часики, что легче об камень, чем починить, а могут расстараться и сработать крепче оригинала. Поди пойми — не часы, а лотерея. Почему слоны? С чего бы слоны? Рехнуться можно!

Теперь я иногда задумываюсь (Правый называет это "спать") про «отдыхать»: вот прошли шесть часов, ну или там восемь, и мы идём отдыхать. Сначала Левый чуть подгибает колени, наклоняет голову и неторопливо вылезает из-под своего края. Диск проседает слева, я делаю маленький шажок или два в сторону, чтобы компенсировать крен. А что будет дальше, я думаю по-разному: иногда Правый никуда не уходит, и мы говорим долго-долго, пусть даже про то, что меня на самом деле нет, и про то, как трудно Философу без Ученика. Потом он просит: не мог бы ты сегодня называть меня Платоном? И я говорю: конечно, Платон. Но иногда (про это я думать не люблю) он извиняется и очень медленно, так, чтобы я успел вернуться в центр, освобождает свой край, и я остаюсь один. Потом я думаю — очень ли это будет тяжело (наверное, очень) и выдержу ли я. Иногда я так и стою, а однажды — вчера, кажется, — я увидел, как осторожно опускаюсь на колени, пригибаюсь как можно ниже, вытягиваю вперёд хобот, и Диск начинает скользить по нему, опасно наклоняясь, пока я на коленях пячусь назад, а всё, что НА ДИСКЕ сверху… Тут я представил, что творится на Диске сверху, вздрогнул и перестал думать эту мысль.

Лучше думать, что я стою… стою… а потом приходит Правый — у него виноватый вид — и, пригнувшись, лезет под свой край. А потом, немножко позже… на несколько минут?.. часов?.. приходит недовольный Левый. Пока он лезет, мы с Правым изо всех сил тянемся вверх, чтобы у него было больше места и он не тряс Ношу. Но чаще всего Правый никуда не уходит. Я сказал ему об этом, и он немного обиделся, а потом, вчера, сказал, что, как большинство философов, не слишком силён в практике. А ещё сказал "ты прав, я — мягкотелая интеллигенция". Слово мне понравилось: оно почти такое же красивое, как Мы, но

«элефантум» всё-таки лучше. Теперь я иногда, чтобы сделать Правому приятно, говорю не «вчера», а "час назад" или "минуту назад". Я думаю, он доволен, хотя ворчит, что все это одно и то же.

К вечеру, как обычно, в аптеку набилось полно народу — кому по делу, кому так, погалдеть. Перепало несколько заказов и часовщику. Конечно, луковица с репетиром — это такой подарок судьбы, два раза в наших краях не случится. Некому тут носить луковицы, и скелетонов тут не найдешь. Скелетоны, впрочем, Кирилл Матвеевич видел только в дедовом альбоме по истории часового дела: кружевные колесики, яркие вспышки камешков, ювелирные стрелочки. Его самого в детстве дразнили «скелетоном», это он сейчас раздобрел от сидячей работы, вот уже и одышка появилась, и животик. Так ведь не поверили ему дружбаны, что скелетоны — это такие часы, а дед строго-настрого запретил выносить альбом из дома. Деду Арону, городскому часовщику, досталось еще на долю разных интересных диковинок, даже, помнится, дореволюционную музыкальную шкатулку дед исправлял. Теперь же на интересненькое рассчитывать не приходится — работа, в основном, рутинная: будильник убегает, или стекло треснуло, или батарейки поменять в корейских пикалках. Работа как работа — не хуже, чем цитрамоном торговать. Таня иной раз спросит: «Как вам только не скучно, Кирилл Матвеевич!» А чем скучно? С кварцевыми — скучно, да. А механика — это песня, это ребус, это загадка. Городок маленький, замшелый, здесь еще часы любят. Берегут. Надо будет потом кругляху настенную в аптеке подвести поточнее, профилактику ей сделать. От напряжения заныли глаза. Что-то они часто в последнее время.

Но даже если бы мы и уходили «отдыхать», далеко уйти всё равно не получится. Тут не слишком светло, но я думаю, твердь под нами невелика. Я думаю, это ещё один диск, причём немного выпуклый: когда я стоял Левым, то замечал это сильнее. Ещё эта твердь разделена бороздами — неглубокими, но я стараюсь на них не наступать, а ещё она немножко живёт — мне кажется, я слышу дыхание. А ещё она иногда качается, совсем чуть-чуть, так что если спружинить ногами, то на диске никто и не почувствует. Я спрашивал вчера Правого, но он сказал "пустые фантазии". Я думаю, он просто забыл, как вчера… ну ладно, пусть «позавчера», он говорил, что под нами есть «Черепаха». Я думаю — жаль, что мысли просачиваются только сверху. Я бы с ней поговорил.

Девочки поторапливают последних клиентов и запирают

двери, сейчас придет баба Клава, уборщица, а она не любит, когда ее задерживают. Опять же, снять кассу, пересчитать выручку — тоже время нужно. Кирилл Матвеевич со стоном разгибается, ноги затекли, сколько ж он сегодня неподвижной статуей отсидел? На столе разложены отремонтированные часики, в ушах слегка постукивает, ну хоть голова прошла. Надо сегодня побольше прогуляться по весеннему ветерочку, а еще пельменей на ужин купить. «До завтра, девочки!» — «До свидания, дядя Кира!» Он выходит на улицу. На какой-то момент небо над головой старого часовщика вспыхивает сапфировым стеклом, сквозь прореху в неопрятной туче внезапно сверкает солнце.

4 Диска
Могущество

Слова «могущество», и «могу», как мы понимаем, однокоренные. То есть, эта карта указывает, что вы можете абсолютно все (по крайней мере, из того, что вам сейчас требуется). Вплоть до полета на Луну (просто это мало кому по-настоящему нужно бывает).

В плохом раскладе Четверка Дисков указывает на косность, ограниченность персоны, о которой идет речь, или же показывает, что вы сейчас жестко ограничены обстоятельствами (например, не можете выйти из дома, или уволиться с работы до окончания определенного срока, и т. п.)

Дмитрий Дейч
К.525

Вена, 4 июля 1787 г.

Mon très cher Père!

Сегодня с утра я был занят уроками и только к вечеру появилось время для работы. Теперь я закончил, и вот, несмотря на усталость, — сажусь за письмо, чтобы наверстать упущенное. Надеюсь, Вы исправно получили предыдущее об успехе моего концерта, а с тех пор у меня не было и минуты, чтобы написать Вам, и даже — увы — подумать о том, чтобы сесть к столу и заняться чем-нибудь, кроме композиции. Представьте: я в подштанниках, за столом. Почти час ночи. Весь дом уснул, и я один-одинёшенек, как солдат на посту. Зеваю после каждого слова, но не могу прерваться: теперь, когда мы с Вами так близки, эти письма означают для меня последнюю возможность сказать о себе то, что я бы никогда не осмелился сказать раньше.

Вы очень сильно обманывались в сыне, если могли поверить, что я не вспоминаю о Вас по сто раз на день. Вчера говорил с фон Жакеном, и тот заметил, что если бы Вы услышали мой последний квартет, у Вас появилась бы ещё одна причина гордиться мною. Это что! Когда бы вы услышали вещицу, которую я окончил теперь же ночью! Я даже не помышляю о публичном исполнении, хоть и собираюсь записать её в каталог. Возможно, я мог бы выручить за неё какие-то деньги, но чем больше думаю об этом, тем меньше хочется вообще кому-то её показывать. Будем считать, что я приберёг её для Вас лично, и дождусь того момента, когда она будет исполнена в Вашем присутствии, пусть придётся ждать хоть до Страшного Суда. Сегодняшнее происшествие побудило меня прервать работу над оперой и заняться этой пьесой, и — будьте покойны — я делал это с таким пылом и удовольствием, что служанка, услышав моё пение, поднялась наверх — а было уже довольно поздно, и она успела уснуть — чтобы спросить не нужно ли мне чего. Оказывается, я пел слишком громко, и разбудил её, хотя комната прислуги расположена довольно далеко от моей.

А всё началось ещё утром, когда м-ль Адамбергер во время урока неожиданно расплакалась. Я сделал строгое лицо (Вы

знаете как плохо это у меня получается) и решительным тоном попросил её не реветь (фу, чёрт! как грубо!). Тем не менее она продолжала ронять слёзы на клавиши, и каждая — величиной с кулак. Мне не оставалось ничего иного как попросить её объяснить столь неожиданный припадок скорби. Бедная девочка сообщила, что её кот Кауниц умер вчера вечером, и она всё никак не может забыть об этом.

Тогда я рассказал ей, что у меня самого недавно умер любимый скворец, и даже прочёл стихотворение, которое написал самолично в день его смерти. Я стал перечислять все его шалости и приключения, и на какое-то время удалось отвлечь бедняжку, но затем она разрыдалась пуще прежнего: теперь ей, видите ли, стало жаль не только почившего кота, но и мою птичку. Не зная что предпринять, кляня себя за глупость, я ударил по клавишам и симпровизировал небольшой марш. К моему немалому облегчению это оказалось достойным лекарством: слёзы м-ль Адамбергер немедленно высохли, она прилежно закончила урок, и отправилась домой в карете, которую прислал Его Сиятельство.

У меня оставалось пол часа до прибытия следующего ученика, и я кое-как записал тему, пообещав себе ближе к вечеру взяться за неё всерьёз. В ней было нечто странное, нечто, напомнившее мне гармонические лабиринты Генделя, когда из глубины вдруг выглядывает чьё-то лицо, и как не старайся, невозможно избавиться от ощущения, что ты знаешь подробно чьё это лицо и как оно тут очутилось. Прошу простить меня за путанные слова, я вижу, Вы и так поймёте что я хотел сказать, но мне всё же хочется перенести это на бумагу — возможно, чтобы самому лучше понять в чём тут дело.

Итак, я набросал марш, и забыл о нём — до обеда. После обеда от Его Сиятельства прибыла записка. Там было сказано буквально следующее: "Моцарт, оставьте кота в покое". Вначале я рассмеялся, потом нахмурился, потом вспомнил утренний урок, и подумал о том, что, вероятно, в записке речь идёт о животном, послужившем причиной слёз юной м-ль Адамбергер. Всё это никак не объясняло каким боком я причастен к смерти несчастного создания. Впрочем, у меня было столько дел после обеда, что я немедленно забыл обо всём. Я был в театре, затем встретился с г-ном Де Понте, он предложил небольшие изменения текста, с которыми мне, скрипя сердце, пришлось согласиться (и это после того как опера уже почти готова!). Мы много спорили, и в какой-то момент, чтобы разрядить обстановку, я припомнил

утреннее происшествие и даже наиграл марш, который произвёл утром столь благотворное действие. Сказать по чести, я слегка преувеличил свою заслугу, и Де Понте добродушно посмеивался, зная мою (невинную!) склонность к комическим преувеличениям, но как только я окончил играть, был совершенно потрясён. "Чёрт возьми, Моцарт! Что за варварская музыка!"

Вы знаете, для меня нет большего оскорбления чем несправедливые слова о моей музыке, но раньше, чем я успел обидеться, мне пришло в голову, что этот марш и впрямь напоминает восточную музыку, но не так, например, как турецкие мелодии и орнамент, которые я использовал в «Похищении», а, скорее, так, будто это и в самом деле написано каким-нибудь мусульманином или славянином. Теперь уже настал мой черёд удивляться: я решительно не мог понять почему часом раньше та же музыка напомнила мне Генделя. Я немедленно распрощался с Де Понте и отправился домой, к инструменту, чтобы, наконец, разобраться во всём основательно, но — не тут-то было: дома меня уже ждали. И кто бы Вы думали — доктор Мессмер собственной персоной, мой любезный друг и поклонник. При себе у него был небольшой сундук, и в нём (не смейтесь!) — окоченевшее тело Кауница, кота прелестной м-ль Адамбергер.

Оказалось, что кот не умер (это утверждал доктор, хотя, признаюсь честно, от кота попахивало ровно так, как пахло бы от обычного дохлого кота, коих на венских улицах — пруд пруди), но спал особого рода мёртвым сном, который временами прерывался бодрствованием. Первый такой случай произошёл во время нашего с м-л Адамбергер урока (чур меня!) и до смерти напугал прислугу Его Сиятельства, ибо в этот самый момент кота собирались похоронить (воспользовавшись тем, что дочь Его Сиятельства была вне дома, и можно было сделать это, не расстраивая её понапрасну), и уже было завернули его в похоронную тряпицу, как он очнулся и дал дёру, при том расквасив физиономию одному из слуг. Представляю себе эту сцену! Умора! Я бы кричал как резаный!

Кота принялись искать, и нашли четверть часа спустя — на столе у Его Сиятельства, где при жизни кот любил почивать, свернувшись калачиком. В таком виде он и пребывал на столе, среди письменных приборов и документов разного калибра, но — снова мёртвым. Правда, на сей раз он был ещё тёплым. Вызвали Его Сиятельство, тот немедленно послал за Мессмером. К тому времени как прибыл доктор, вернулась м-л Адамбергер и

(невинное дитя!) сообщила папеньке, что г-н Моцарт сочинил мелодию, которая оживляет (!) котов. Ни больше, ни меньше!

Откуда она это взяла, позвольте узнать?

И, как бы в доказательство её слов, минуту или две спустя кот снова очнулся у всех на глазах, каковое происшествие так напугало супругу Его Сиятельства, что Мессмеру пришлось приложить все усилия, чтобы привести её в сознание. Кот прыгнул на колени м-л Адамбергер и некоторое время наслаждался лаской хозяйки, после чего снова благополучно испустил дух, что Мессмер и засвидетельствовал, приложив зеркало к пасти.

Тогда-то хозяйка и послала мне дурацкую записку, решив, видимо, что я злонамеренно оживляю кота (Бог знает что она обо мне думала в этот момент! Хорошо, что мой друг был при этом и может засвидетельствовать мою невиновность).

Мессмер пообещал во всём разобраться, невзирая на протесты девочки, велел упаковать тело (Вы не находите, что ситуация всё больше напоминает сюжет одной из моих опер?!) и немедленно направился ко мне. Меня он не застал (я как раз был у Де Понте) и принялся ждать. В это время кот снова очнулся, и доктору пришлось бегать за ним по всей комнате, и, кстати сказать, он разбил ненароком голландскую вазу — ту, что мне подарил Чекарелли. Basta! Этот кот обошёлся мне в круглую сумму!

Но самое неприятное было потом, когда я вернулся, и Мессмер посвятил меня в эту историю. Он признался, что ни минуты не верил в сказку про волшебную мелодию, но на всякий случай (его к этому обязывает долг учёного и исследователя) решил проверить. Тут начинается такое безумие, что я бы ни в коем случае не стал Вам всего этого пересказывать, если бы не был целиком и полностью уверен, что эта история так или иначе станет Вам известна — хочу я того или нет, несмотря на то, что кроме нас двоих (меня и Мессмера) никто об этом пока не знает, и мы единодушно решили не придавать её гласности.

Оказалось, что марш и в самом деле способен пробудить кота. Мессмер тут же признался, что его первоначальное заявление о том, что кот спит не стоит выеденного яйца. Кот не спит. Он мёртв. И — как только звучит этот марш, он встаёт и ходит, и сердце его бьётся, и выглядит он так, будто не умирал

совсем. Вы знаете как я отношусь к разного рода магам, волхвователям и прочим прохиндеям рода человеческого. Но (во-первых!) я полностью и целиком доверяю Мессмеру, и уж он-то не стал бы выдавать желаемое за действительное. Тем более (и это — во-вторых!) никто из нас в глубине души не желал этого. Я не хочу писать музыку, оживляющую котов. Совсем нет! Увольте! Я желаю писать музыку для людей (живых!!!), а не… Бог знает что происходит когда звучит этот марш, на Его усмотрение я оставляю все последствия своего деяния. Клянусь, я не ведал что творил!

Когда всё выяснилось (самым жутким образом, поверьте мне!), мы решили, что этой музыке не бывать. Я уничтожил единственный экземпляр, какой у меня был (хоть, разумеется, и запомнил всё наизусть), мы пожали друг другу руки и поклялись никому не говорить о случившемся. Мессмер заявил, что это происшествие переменило полностью его представление о природе жизни и смерти, что было мне чрезвычайно лестно услышать, несмотря на то, что я чувствовал сильный озноб и головокружение.

Как только он ушёл, я поднялся к себе, и не выходил из комнаты, пока не написал всю пьесу целиком. Теперь я знаю, что марш был только первой частью, всего же частей этой пьесы — пять, и написана она для небольшого оркестра. Вот она, передо мной — целиком. И я уже знаю, что её придётся испортить, коль скоро мне захотелось сохранить хоть что-то. Если оставить все пять частей, то — как нам уже известно, при исполнении первой из них из мёртвых восстанет кот Кауниц, и это будет началом непрерывной череды воскрешений, а что будет дальше, я совершенно не могу себе представить. Скажу только, что меня пугает сама мысль о том какие тайны звука внезапно открылись человеку и как можно было бы использовать это знание.

С другой стороны, если изъять только эту, первую часть, представляющую собой ничто иное как ключ ко всем остальным, вся пьеса приобретает совершенно иной смысл. Она превращается в ноктюрн, местами — потешный и немного тяжеловесный, местами — ажурный и лёгкий, и весь целиком будто сотканый из света. При том, смею надеяться, весьма искусно написанный.

Уверен, что Вы поймёте меня, и не станете сетовать на то, что ваш сын отказался от возможности, превышающей все мыслимые силы и потенции музыканта. Я думаю, что этот отказ сам по себе

— явление силы, но — силы человека, который хочет прожить свою жизнь и умереть по-человечески, и, если так будет угодно Создателю, однажды воскреснуть. Я уже писал Вам однажды, что образ смерти для меня не только не заключает ничего пугающего, но, напротив, даёт немало успокоения и утешения! И я благодарю Бога за то, что он мне даровал счастье (Вы меня понимаете) понять смерть как *источник* нашего подлинного блаженства.

1000 раз целую Вам руки и остаюсь Ваш преданный сын
В.А.Моцарт

P.S.: Боюсь, мне придётся сжечь это письмо (как и все предыдущие) — иного способа отправить его Вам я не знаю, да и не стану хранить его у себя. Если Констанца узнает, что я пишу Вам спустя полтора месяца после Вашей кончины, она огорчится. А я не хотел бы её огорчать, Вы же знаете как я люблю мою чудесную жёнушку.

5 Дисков
Беспокойство, мучение

Говорит о предстоящих беспокойствах, часто (но не всегда) беспричинных.

При более-менее благоприятном раскладе часто просто указывает на трудоголика.

В любом случае, эта карта предупреждает, что человек наносит серьезный ущерб своему здоровью. При очень плохом раскладе следует немедленно, вот прямо сейчас начинать спасать себя, забив на все остальное.

Дина Суворова
Все входящие — бесплатно

Масла не было в доме ни крошки. Еще не было сигарет и хлеба. Сыра остался окаменевший кусок, с плесенью. Чая не было тоже. Надо было идти в магазин. Саше в магазин идти не хотелось. Ему вообще никуда не хотелось. Вот уже вторую неделю он искал безболезненные способы закончить свое никчемное, унылое существование. Однако голодная смерть не казалась Саше безболезненной. От голода у него начинали обычно болеть голова и живот.

Две недели назад Саша написал девушке Маше письмо, где признавался ей в любви. Девушка Маша была его коллегой по работе. Она иногда приходила к Саше стрельнуть сигарет. Спрашивала как дела, говорила «спасибо» и уходила. Сначала Саша долго и мучительно боролся со своей безответной любовью, а потом однажды утром написал письмо. Отправил его по электронной почте. Через час ответа все еще не было. Через два Саша был весь красный от смущения и встрепанный от беспокойства. К обеду Маша ни разу не зашла к нему за сигаретами. К пяти часам вечера Саша был раздавлен, разбит и унижен. Он закрывал глаза и представлял себе, что когда-нибудь она все же зайдет к нему и будет сочувственно на него смотреть, или они встретятся случайно у лифта, и она будет смотреть на него насмешливо, или, еще хуже, вообще на него не посмотрит. К семи часам вечера Саша понял, что больше не может работать с ней в одной компании. К половине восьмого он стоял на улице — безработный, одинокий, раздавленный и потерянный. По дороге домой он умудрился промочить ноги и напиться. К утру следующего дня Саша окончательно решил, что теперь жизнь его будет состоять из серых, колючих килотонных утр и неловких тягостных снов. Так жить не имело смысла. Он несколько раз проверил почту — в ящике ничего не было, даже спама.

За последующие две недели Саша дважды пытался попасть под машину. Один раз его покрыли трехэтажным матом, во второй водитель не поленился и набил Саше лицо, предварительно убедившись, что у него ничего не сломано и не поцарапано. Тогда Саша решил напиться и после этого принять снотворное. План провалился еще на подготовительном этапе: водку ему продали какую-то несвежую. Саша до утра блевал в

туалете и еще два дня после этого даже думать не смел об алкоголе. Он пытался спрыгнуть с крыши соседней шестнадцатиэтажки. Не смог попасть на чердак. Пытался отравиться газом, но вовремя вспомнил, что плита у него электрическая. Резать вены не стал — в доме отключили горячую воду. Идея с самоповешеньем была отвергнута с самого начала: Саша не хотел болтаться под потолком с синим языком и засохшей спермой на джинсах. Включив фантазию, Саша даже съездил в зоопарк, в серпентарий, надеясь на укус сбежавшей из террариума смертельно-ядовитой змеи. В зоопарке был выходной день.

А теперь вот в доме кончилась еда и нужно было идти в магазин. Саша на всякий случай проверил почту и обнаружил там непрочитанное сообщение. Содрогаясь и холодея желудком, Саша нажал на кнопочку inbox. Письмо оказалось от старого приятеля — тот звал в гости.

Саша вздохнул, написал, что приедет к обеду и выключил компьютер. Очередное самоубийство пришлось отложить на завтра, зато в магазин можно было не идти.

Саша доехал до метро на маршрутке, спустился под землю. У кассы толпилась очередь. Саша вздохнул и провел еще минут десять, переминаясь с ноги на ногу и погромыхивая мелочью в кармане. Когда подошла его очередь, кассирша закрыла окошко и ушла сдавать смену.

Поезд ушел практически у него из-под носа. Саша обреченно встал у края платформы и стал прикидывать, когда лучше прыгнуть на рельсы, чтобы поезд не успел затормозить. Потом вспомнил, что едет в гости, и опять тяжело вздохнул. Платформа постепенно заполнялась людьми. Рядом с Сашей ждали поезда два суворовца, пятеро подростков неопределенного пола, все — в рваных штанах и разноцветных кедах. Сбоку от него стояла жещина с двумя близнецами лет пяти. Мальчик-близнец держал в руке робота-трансформера, девочка — плюшевого серого медведя. Близнецы выясняли, кто сильнее — робот или медведь. Саша вполуха прислушивался к разговору.

«Медведь слопает твоего робота». — «Не слопает. Робот железный, твой медведь сломает зубы и подавится. А робот железный, он никогда не сломается». — «Если его бросить под поезд, сломается». — «Не сломается». — «Сломается». — «Нет, не сломается». — «Нет, сломается».

Саша опять вздохнул и почти сразу взрогнул от отчаянного визга. На рельсы прямо перед ним упал робот-трансформер. Пока Саша с ужасом оглядывался на близнецов, мимо него пролетел

серый плюшевый медведь и приземлился метрах в двух от робота. Теперь визжали в два голоса. Мама близнецов, бледная и потрясенная не меньше Саши, пыталась одновременно их ругать и успокаивать. Дети самозабвенно орали. Саша встретился взглядом с женщиной и понял, что ему не отвертеться.

Он присел на корточки и встряхнул близнецов. — Не орите, — сказал он. — Сейчас я их достану, только прекратите выть. — Близнецы прекратили. Саша уселся на пол и спустил ноги с платформы. Посмотрел на табло с часами. До поезда оставалось минуты полторы. В тоннеле было темно. Саша легко спрыгнул между рельсами, стараясь не задеть ни один провод, смутно помня, что контактный рельс где-то сбоку под платформой. Люди на станции притихли и смотрели на него как на сумасшедшего. Саша поднял робота, бросил его мальчику. Сделал два осторожных шага, поднял медведя. В этот момент в начале платформы раздался свист — вдоль желтой ограничительной линии бежала дежурная по станции и не переставая свистела в милицейский свисток. Саша растерянно посмотрел на нее. В животе у него раздалось странное бурчание, что-то заворочалось и зашевелилось. Левой рукой — в правой сжался медведь — Саша полез под свитер и нащупал свисающий на шнуре вибрирующий мобильный. Номер высветился незнакомый.

Саша автоматически нажал на кнопку и сказал «Алло».

«Саша? Саша, это Маша» — сказала трубка. Саша перестал дышать, слышать и соображать. Люди на платформе замахали ему руками и начали широко открывать рты.

«Привет, — сказал он телефону. — Как дела?»

Дежурная стояла уже напротив Саши на платформе и тоже махала ему руками, продолжая, видимо, свистеть. Саша ничего не слышал, кроме машиного голоса в трубке.

«Дела хорошо, — отвечала Маша. — Я тут уезжала на пару недель в командировку. Я только сегодня получила твое письмо, а ты, оказывается, уже уволился».

«Нуууу…» — сказал Саша и услышал свой голос как будто в кинотеатре с долби-стерео. Его «уууууу» длилось слишком долго и шло как будто сразу со всех сторон. Саша переступил с ноги на ногу и растерянно оглянулся. Из тоннеля на него надвигался ослепительный белый свет.

«Саша? — спросила трубка. — Ты меня слушаешь? Я хотела тебе сказать…» Люди на платформе замерли. Поезд несся прямо на Сашу, свирепо скрежеща тормозами. Саша зажмурился и покрепче сжал медведя в кулаке.

«Я тоже тебя люблю», — сказала Маша.

6 Дисков
Успех

Гарантирует успех любого предприятия, хорошие доходы и приятную, гармоничную жизнь в мире с собой. При неблагоприятном раскладе появляется опасность зазнаться, всерьез почувствовать себя "избранником небес", со всеми вытекающими непригляными последствиями.

Ольга Эмдин
Как теплый дождь

Бессмертие, как у нас принято говорить, в конце концов, вопрос традиции. Как всегда, некоторая неточность только придает законченности *bon mot*, но к традиции мы, безусловно, относимся серьезно.

Так, в соответствии с нашей традицией, я, очень молодой четырехсотлетний человек, с удовольствием обживался в городе, который выбрал для своего сатурнового цикла.

Этот город я присмотрел для себя уже давно: как предписано, в меру старый, в меру заброшенный — и безмерно прекрасный.

Ни слова о барокко. Ни слова о каштанах, сумерках, мощеных улицах и их именах, дежурном «прошу пана», запахе — то кофе, то шоколада, трамвайном звоне, сирени, — пока не вберу в себя самый строй города, пока не сольюсь с его брамами и кавярнями, пока «прошу пана» не будет точиться из меня сколь учтиво, столь же и надменно, — я не оскорблю визгливыми признаниями этот воздух, этот туман, этот дождь.

Сатурновый цикл надлежало провести, «позволяя измениться изменяемому и укрепляя неизменное». Мы держимся за нашу телесность и не считаем связанные с ней хлопоты высокой ценой за радость, которую она нам приносит — за каждое упругое, эластичное мгновение причастности, за гордость победы. И за горчащий привкус отверженности — оттого что этот прекрасный мир — не наш, и создан не для нас.

А пока я обустраивался в своей квартире. (Смешное слово. В нянькином произношении — «кватира» — оно будет звучать эпически и обозначать нечто очень значительное: Кватира — с большой буквы, sic). Потолки в ней были достаточно высокими, полы — дубовыми, печи, пускай и с газовыми горелками, — кафельными. Я также остался удовлетворен состоянием и благородными очертаниями тяжелых фаянсовых «удобств»; глаз задержался на надписи PANAMA и передал сознанию кириллический образ, с зеркально перевернутым «и», слова «раиама», и оно мне тоже понравилось, как и состояние странной ненапряженности, в котором перещелкивание тумблера при переходе с языка на язык настолько утрачивает свою молниеносность, что его возможно уследить, растянуть, а то и отменить.

Нянька появилась в один из этих совершенных моментов — возможно, я очаровано рассматривал красно-белую плитку

пустоватого кухонного помещения, когда раздался звонок. Она искала место прислуги, и соседи… и может, пан захочет… Она была голодной. У меня нашлось холодное мясо, и она рвала его зубами.

Она была просто толстой сварливой и глупой старухой, но, в своем ситцевом переднике, она вошла в мою жизнь легко и прочно, как скользит на свое место недостающая деталь механизма — и умиротворенное стрекотанье свидетельствует о том, что и дальше все будет хорошо.

Как и мы, она была изгоем: в городе царили особый стиль и диалект, полный полонизмов, инверсированных возвратных окончаний, «эль», нежно катаемых во рту до перехода в «в», восходящих интонаций, — а нянька щеголяла холопским восточным выговором, отчетливо артикулируя «фист» — но «прохвессор», а кекс называла «текст». Скупая, как сатана, она торговалась на рынке до вылезших глаз, и когда на соседней улице с грузовика упал гигантский бумажный пакет с содой, она в жаркой схватке отбила его у толпы и триумфально приволокла в дом, а на балконе посадила душистый горошек и маттиолу. Она принесла в мою жизнь тепло и живое дыхание абсурда, которых мне, оказывается, так недоставало в нашем величавом семейном укладе.

Возвращаясь домой ранним утром, я заставал на кухне бьющую ключом прекрасную жизнь: то там топтался мясник, в темно-бирюзовом кителе, с усами, как у Франца-Иосифа, то гремела бидоном молочница, то просто сияла груда зелени, звенела медь, пыхтел кофейник, нянька вела дозволенные речи:

— А я кажу: «Есть в вас чўлки, у резинку, взросли?» А вона мени каже: «Нет! Только децьки!»

— Ужас какой, — сказал Г., прибывший для рутинной проверки безопасности условий моего проживания и окружения. — Ладно еще все эти твои бесконечные девицы, но это… Как, кстати, поживают сестрички? Как их зовут на этот раз?

— Йоля, Эля и Анжеля. Они прекрасны. И я люблю, когда их много. Эти — страшно милые. Вчера одна из них мне рассказала, что очень любила в детстве рассказ из букваря. Рассказ примерно такой: «У девочки была кукла. У куклы были платья, туфли, гребни и даже маленькая щетка для волос, совсем как настоящая». И как она мечтала, чтобы у ее куклы тоже все было.

— Ну, как я понимаю, у твоей куклы будет все, — заключил он, легко поднимаясь. — Няньку тоже можешь оставить. Но объясни мне, почему объектами твоей заботы не становятся действительно достойные люди? Ну что ты нашел в этом чучеле?

— «Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна:
Тем, кто дает и кто берет ее»,

— ответил я, и мы еще постояли у дверей, глядя друг на друга и улыбаясь.

Я проводил его, и с удивлением ощутил, как камень свалился с души.

Нянька тут же высунулась из своей комнаты. Она определенно толклась под дверью. Я видел, она что-то чувствовала и волновалась.

— Прохвессор пишов? — осведомилась она. — А звидки вин сам? З-за границы?

(«Г» она произносила почти как «х» — «з-за храницы»).

— Да, он очень важный человек за границей, — ответил я.

Нянька замолчала, и на ее лице отразилась работа мысли.

— З-загранцы, — задумчиво повторила она. — Еще приедет?

— Да, но нескоро.

Глаза ее блеснули, и она проорала:

— А скажи ему, нехай мне тогда грелку привезеть!

И вид у нее при этом был победный.

7 Дисков
Неудача

Эта карта говорит, что будет (или уже) допущен очень серьезный промах, и теперь все (или многое) пропало. Эта карта способна испортить самое хорошее окружение. Та самая ложка дегтя, которая портит бочку мёда.

Ю. Каюк
Путь познания

Лето бесшумно скользит за ним на цыпочках, и улучив момент, бьет макушкой об стену. Едва дав отдышаться, подсовывает рабочий мобильный телефон, двадцать долларов на счету и невыносимое желание провести вечер в беседе с живым теплым другом.

Он набирает номер:

— Алло, — кричит в трубку. — Где ты, милый друг?

— В Англии, на пути познания! — отвечает друг, и из слухового отверстия пахнет счастьем мудрости.

Он ударяет пальцем кнопку сброса и переходит к следующему номеру.

— Здравствуй, моё солнце! — начинает он ласково и чувствует брызги на лице.

— Я не солнце, я рыба! — кричит ему в ответ избранница. — Меня сегодня учат плавать со связанными руками и ногами!

И трубка вылетает из рук и тонет в полу. Выловив её, он видит, что третий номер набрался сам и тянет к нему гудки.

— Эй, чувак! — хохочет он, вспомнив последние пьянки с этим товарищем. — Как насчет того, чтобы потусоваться сегодня на моей территории?

— Я прошу прощения, — отвечает голосом товарища совсем чужой серьезный человек. — В данный момент я нахожусь на задании и считаю, что наша встреча может повредить делу и привлечь к нам внимание спецслужб.

Из телефона раздается довольный выстрел.

Следующие несколько часов он говорит с кормящими волков, пьющими чай на вершине горы, прячущимися на третьей полке плацкарта, рвущими одежду на бессознательном юном теле, танцующими летку-енку, копающими червей, вытачивающими деревянную ложку, сдающими экзамен в театральную академию и играющими в покер на надзирателя.

Аккумулятор садится, и на последнем жалобном писке он успевает набрать наудачу последний номер.

— Привет, ты сейчас где?

— Во Владивостоке, на пути познания!

— Но мне ещё утром сказали, что путь познания — в Англии.

— О, это совсем другое познание, — говорит друг. — Совсем другое.

8 Дисков
Осмотрительность

Восьмерка Дисков напоминает нам, что **береженого бог бережет** и советует какое-то время действовать соответствующим образом.

В неблагоприятном раскладе эта карта недвусмысленно указывает на косность, а то и тупость человеческую.

Светлана Букина
Счастливого пути

В 60-е годы маленькие деревянные одно- и двухэтажки снесут, построят на их месте хрущобы, установят во дворе качели, посадят несколько кустов, и этот дворик на Преображенке станет точно таким же, как сотни других по всей Москве. А пока на улице конец 40-х, дворик населён семьями, вернувшимися из эвакуации,

дома отапливаются печками, детям играть негде, и в Ларкиной жизни всего две радости: тряпичная кукла и радио. Лара болезненно худенькая и бледная: уже третий год носит одно и то же платье и никак не вырастает из него. Она равнодушно смотрит, как другие дети жадно бросаются на хлеб — ей не хочется. Что-то надломилось в организме во время эвакуации, когда Ларисе было семь. Она долго болела тогда зимой, с трудом выжила, да так и не восстановилась полностью, потеряв с тех пор аппетит. Как ни старается бабушка накормить девочку, как ни убивается мама, Лара не ест. Так, поклюёт что-то и отложит. А репертуар-то невелик: картошка, каша, чёрный хлеб, иногда молоко — не вкусно.

В 48-м в соседний дом вселились Найманы, и Лёвочка вышел во двор с белым хлебом с маслом. Лариса не помнила первую встречу с Лёвой, запомнился только бутерброд.

— Бабуля, мне сегодня Лёвочка дал белого хлеба с маслом! Бабуля, это так вкусно, — кричит Лариска с порога.

Бабушка идёт к Найманам, о чём-то долго там говорит с Цилей Соломоновной, а на следующий день приносит домой какую-то ткань и садится за швейную машинку. Бабушка очень хорошо шьёт, а у Цили Соломоновны муж — снабженец, и в жизни Лары появляется белый хлеб с маслом и даже сахар. Она начинает понемногу набирать вес и обращает, наконец, внимание не только на бутерброды, но и на их владельца. Лёва старше на три года и чертовски красив — высокий, кудрявый, стройный, к тому же круглый отличник и даже призёр математических олимпиад. На следующий год он поступает в институт — Лёве прочат большое будущее. Под ногами у Лёвы вечно болтается Мотька — смешной, ушастый младший брат, которого и в компанию бы не приняли, не стой за него Лёвка горой. Мотька —

Ларин ровесник, маленький, некрасивый и далеко не такой умный как «звёздный» братец, хотя не будь рядом Лёвиного примера, считался бы неплохим учеником. Он всегда в тени брата, но не особо по этому поводу переживает — у Моти ровный, добрый характер, по уверению родителей он с рождения мало плакал и много улыбался. У Лёвки же характер тот ещё, но ему прощают — принц. Мотя старшего брата боготворит, и оба они боготворят маму. Властная, некрасивая, усатая Циля Соломоновна вызывает у своих мальчиков обожание и поклонение: она «жизнь на них положила», и не устаёт им об этом напоминать. «Аидишэ момэ», — вздыхает Ларина бабушка.

— Ви плохо её кормите! — бросает Циля Соломоновна бабушке. — Кости торчат! Уже приготовьте ребёнку бульён!

Бабушка не любит Цилю Соломоновну, с поджатыми губами носит ей на примерки очередной костюм и советует Ларе поменьше ошиваться «у этих Найманов». Она видит, какими глазами Лара смотрит на Лёвочку и только вздыхает.

* * *

В начале 50-х годов в домах проводят газ, еда становится разнообразнее, и Ларочка, давно выросшая из своего эвакуционного пальто, превращается в очаровательную хрупкую девушку, на которую заглядываются ребята. Но её по-прежнему интересует только один мужчина — Лёва. Лара с Мотькой учатся в одном классе — заканчивают школу. Они всегда вместе идут домой, вместе делают уроки, вместе ходят в библиотеку, и Циля Соломоновна пребывает в уверенности, что у Моти с Ларочкой роман. Она не слишком любит эту тощую глазастую пигалицу и её «голоштанную» семью, но Мотя сам звёзд с неба не хватает, да и нравится она ему — пусть бы. Лара, конечно, знает, для чего она просиживает часами в доме Найманов, под совиным взглядом Цили Соломоновны, знает это и Мотя. Как только на пороге появляется Лёвка, Мотя спешно ретируется на второй план и под любым предлогом исчезает из поля зрения. Рано или поздно эта тактика срабатывает, Лёва вдруг замечает, что соседская Ларка превратилась из гадкого утёнка в лебедя и смотрит на него совершенно влюблёнными глазами.

Они начинают тайком встречаться — Мотька работает «крышей». Работает исправно, полтора года. Лара и Лёва ходят по

городу, держась за руки, не могут оторвать глаз друг от друга, не в силах насытиться друг другом. Счастливая, молодая, беспечная, всепоглощающая любовь, которая заканчивается, как водится, Ларкиной беременностью. И Лёвка идёт признаваться маме. Циля Соломоновна закатывает истерику. Её обманывали всё это время! Она пигалица! Она окрутила тебя вокруг пальца! У них гроша за душой нет! Где её отец? Где её отец, я тебя спрашиваю? Нет, не на фронте, мы бы об этом знали. Ты красавец, ты комсомолец, ты талантливый учёный, у тебя светлое будущее, она потянет тебя на дно, ты ничего не добьёшься, ты будешь никем, это крушение всего, Лёвочка, одумайся!

Циля Соломоновна бьётся в истерике три дня, валяется у сына в ногах, грозится, плачет, умоляет, опять угрожает, заламывает руки, и на четвёртый день Лёвочка с поджатым хвостом приходит к Ларке и говорит, что не может пойти против маминой воли, что мама — самый дорогой человек, что он не хочет её потерять, что у неё уже плохо с сердцем, что он сам найдёт врача….

А на следующий день прибегает, размазывая слёзы по распухшему лицу, Мотька. Лара никогда не видела его плачущим. Мотька, боготворивший брата, набил ему морду, получил сдачи, братья подрались, у Цили Соломоновны случилась очередная истерика, она заорала, что Мотя сам виноват, прикрывал всё это безобразие полтора года, что если ему так жалко Ларку, так пусть сам на ней и женится, ему-то она как раз по зубам, и ушла пить валерианку. Зарёванный Мотька трясёт Ларку за плечи, уверяет, что только её всегда и любил, что уступил брату, потому что брат всегда заступался за него и он обожал брата больше всего на свете, что она должна оставить ребёнка и выйти за него замуж, что всё так глупо получилось, но теперь-то будет хорошо…

Ларка высвободила плечи, посмотрела мимо Моти невидящим взглядом и вежливо сказала, что с семейством Найманов ей давно всё понятно, и что Мотя может идти к своей любимой мамочке по стопам старшего брата.

* * *

В 60-е годы дома снесли, а жителей выселили. Ларина бабушка к тому времени умерла, а им с мамой дали однокомнатную квартиру где-то на окраине. Ларкина жизнь потихоньку налаживалась, она с отличием закончила институт,

получила хорошее распределение, и работу свою любила. Замуж, правда, так и не вышла, но начала оттаивать, и даже стала встречаться с вполне милым и перспективным молодым человеком. В один, ничем не отличающийся от остальных, вечер в квартире раздался звонок. Лариса открыла дверь и отпрянула: на пороге стояла Циля Соломоновна. Она мало изменилась, только поседела: те же усики, непримиримый взгляд и дорогой, искусной портнихой пошитый костюм. Циля Соломоновна нервно теребила сумочку.

— Можно войти?

— Заходите, — совершенно растерялась Лариса, не зная, что и думать.

Незваная гостья прошла в комнату, села на стул, но упорно молчала, покусывая губу и продолжая теребить сумочку.

— Чаю? — спохватилась Лариса.

— Нет, спасибо, я на минутку.

И вновь гнетущая тишина.

— Чем я могу вам помочь? — не выдержала Лариса.

— Лариса, я была не права, — со вздохом произнесла Циля Соломоновна, достала носовой платок и начала промакивать им уголки глаз. — Я была не права. Сыновей моих как подменили. Лёвочка долго был один, ну, ты знаешь, вы тогда ещё рядом жили, потом с какими-то девицами встречался, но никто у нас не задерживался. А теперь у него шикса с двумя детьми! — Циля Соломоновна зарыдала. — Ларочка, я спрашивала вокруг, у тебя до сих пор никого нет, отбей его у неё, а? Я ведь знаю, он тебя до сих пор любит, он к тебе уйдёт! Она старше его, ей 37 лет, разведена, двое детей, и шикса! Зачем мне нееврейки в доме, ты мне скажи?

— А как Мотя?

— Мотечка с Лёвочкой лучшими друзьями были, а после той истории как кошка чёрная между ними пробежала, едва разговаривают. Мотя всё время один, девочки у него нет… Но Мотя сам за себя постоит, меня волнует Лёвочка, он же угробит себя! Он слишком много курит, кашляет, у него плохо со здоровьем, а он такие надежды подавал, Ларочка! Ларочка, пойди к нему, возьми его назад!

— Циля Соломоновна, у меня есть жених, что было, то прошло, и нам с вами не о чем разговаривать.

* * *

В 80-е годы Лариса поменяла работу, и на новом месте быстро сдружилась с начальницей отдела. Им обеим было за 40, разведённые, воспитывали сыновей примерно одного возраста. Подруга иногда намекала, что у неё есть ухажёр, но знакомить его с Ларисой не спешила. Ухажёр в какой-то момент сделал предложение, начальница ответила утвердительно, и Ларису пригласили на свадьбу. К немалому своему удивлению, Лара узнала в женихе Мотю. Мотя женился в первый раз — устал от одиночества, хотел разделить с кем-то старость. Своих детей уже не видать, а тут вроде парень хороший у жены, хоть его воспитает. Лёва? А ты не знаешь? Лёва умер от инфаркта в 41 год. Шёл, шёл и упал. Нет, он так и не женился. Вроде любил ещё раз, лет 20 назад, но она старше была, и двое детей, и не еврейка, так мама такое устроила… Ну, ты знаешь Лёвку, он маму не ослушался. Мама? Мама ничего. Отец умер несколько лет назад, а она держится, крепкий орешек. Всё плачет по Лёвке, после его смерти так и не оправилась. Очень внуков всегда хотела, а внуков-то и нету… Да ладно, чего мы о грустном, свадьба у меня, пей давай.

Они много лет дружили семьями, Ларка опять вышла замуж и опять развелась, Мотя оказался отличным отчимом, его мальчишка по прежнему дружил с Ларкиным сыном, они часто общались. В 90-х годах сначала Мотя с матерью, женой и её сыном, а потом и Ларка со своей совсем уже старенькой мамой и сыном уехали в Америку. Мотина жена очень скоро по приезду заболела раком и умерла, потом умерла Ларкина мама, сыновья выросли и уехали, а Мотя с матерью и Ларка оказались в одном субсидированном доме. Лара теперь часто видела совсем уже дряхлую Цилю Соломоновну, сидящую на кресле-качалке около дома и обсуждающую, с такими же древними бабулями, всех мимо проходящих. Никаких эмоций эта старуха давно уже не вызывала — 50 лет прошло. Женщины вежливо здоровались. Мотя даже как-то предложил Ларисе пожениться, но она вежливо отказалась. Незачем. Они дружили, ходили друг к другу чай пить, вместе ездили по магазинам и даже сопровождали друг друга на выставки и концерты.

* * *

Как всегда, звонок был неожиданным.

— Ларка, мама умерла.
— …
— Ты придёшь на похороны?

Кроме Моти, Ларки и сыновей с семьями, на похоронах были только бабули-соседки по дому. Мотя сказал прощальное слово, и раввин спросил, не хочет ли ещё кто-нибудь что-то сказать. Неловкое молчание повисло в зале. Неудобно как-то, ну хоть кто-то ещё кроме сына… Но кто? Увидев на себе просящий Мотин взгляд, Лариса встала и нехотя пошла к микрофону, никакой речи она не готовила. Лара стояла и бубнила что-то про «долгую жизнь и двух замечательных сыновей, одного из которых, к сожалению, нет с нами», потом осеклась и не знала, как закончить речь. В ней вдруг проснулась юная пионерка. Неожиданно звонким голосом Ларка произнесла: «Всего вам хорошего, Циля Соломоновна, счастливого пути!», и сошла с подиума. Увидев недоумённые взгляды бабулек и поднятые брови раввина, Лара остановилась и добавила: «Хотя что в этом пути может быть хорошего…»

— Слушай, ты извини меня, я не знаю, что на меня нашло, правда, — вдруг расплакалась Ларка когда все гости уже ушли, а она осталась помогать Моте собирать посуду после поминок.

— Ларка, Ларка, ну ты чего, ну перестань, — успокаивал её Мотя, — ну сказала, как сказала, так и сказала, какая теперь разница. Ларка… Ларка, 50 лет прошло, да больше уже, отпусти.

— Да я давно отпустила уже, — всхлипывала Лара, — только вот я сегодня шла с кладбища и поняла вдруг, что за всю жизнь у меня одна всего любовь настоящая была. Одна.

— Ну и у меня одна, — вздохнул Мотя. — И у Лёвки. Давай, старушка, посуду мыть.

9 Дисков
Прибыль

Гарантирует успех в делах, хорошую прибыль и прочие рекордные надои. Обещает исполнение всех (вернее, самых актуальных) желаний из области материального, вещественного.

В плохом раскладе Девятка Дисков обещает ровно то же самое, просто указывает, что доходы, скорее всего, будут незаконными и предлагает заранее позаботиться об отмывании денег.

Алексей Толкачев
Деньги на ветер

Он проснулся от звуков собственного голоса, с трубкой в руке. К моменту пробуждения он уже три минуты разговаривал по телефону. Собеседником был хозяин дома, на крыше которого он играл в одну из прошлых ночей. Хозяин звонил, чтобы сказать спасибо за музыку. Это было очень кстати. На спасибо музыкант мог купить хлеба и папирос.

На часах было девятое января. Вчера, двадцать четвертого декабря, он играл на трубе бумажной фабрики. После концерта понеслось праздничное застолье. Живая вода лилась рекой. Так для музыканта началась рождественская ночь, которая растянулась на две недели. За это время он побывал в разных местах. Ездил в деревню и выступал на водонапорной башне. Крестьяне тоже любили живую воду. Под его музыку они пели, веселились, играли в недотягивание каната и в круговую поруку. В городе устраивали танцы для школьников, и он музицировал на крыше школы. Потом участвовал в концерте духовной музыки в соборе Святого Места. Там пришлось играть в составе трио: он с арфой расположился под куполом храма, на колокольне свою партию исполнял звонарь, а внутри здания собора сам настоятель импровизировал на внутреннем органе. Концерт духовной музыки закончился скандалом: вошедший в раж музыкант забыл, где находится, и заиграл сельский танец "Чтоб тебе пусто было". Из храма Святого Места он вылетел как пробка из бутылки. Здание собора тут же заполнилось живой водой по самое горлышко. Потом он несколько часов играл на крыше ночного трамвая, то и дело задевая головой за провода, так что в волосах его застревали электрические искры.

Но ничего этого он не помнил. Ему снился театр восковых пассажиров в вагоне метро и дурацкая трясущаяся обезьянка. Ввалившись в свой подъезд под утро мертвецки пьяным, он напугал чердачную кошку. Впрочем, ей он тоже всего лишь приснился.

Итак, девятое января. Полдень. Спасибо за музыку.

Что-то мешало ему сидеть. В заднем кармане штанов обнаружилось еще одно спасибо за музыку. И еще два с половиной — в кармане куртки. Да он неплохо заработал в это Рождество! Некоторое время можно прокормиться. Но на ветер, конечно, не хватит. На ветер нужны деньги. Он закусил папиросу, вытащил из волос электрическую искру и прикурил. Получившая

свободу искра выпорхнула в окно и полетела к трамвайным проводам.

Он был музыкантом. Играл на эоловой арфе. Это такой ящик со струнами, который ставят обычно где-нибудь повыше, чтобы ветер мог заставить струны звучать. Музыкант зажимал на струнах аккорды, а ветер… А ветра у него не было! В чем и состояла проблема. Надо было его купить, но накопить денег на ветер никак не удавалось.

Так он и играл — без ветра. Ну не совсем, конечно — у него, все-таки, был ветер в голове, который позволял ему слышать свою собственную музыку. Сочинял ее он обычно, сидя на дне колодца. Ему нравилось смотреть на небо, а из колодца даже ночью можно увидеть солнце. Он записывал музыкальные альбомы и называл их именами планет. Первый, сочиненный еще в юности, весь состоял из быстрых, жидких и блестящих композиций, ядовитых как пары ртути. Он назвал его «Меркурий». Второй альбом получился совсем другим — музыкант был влюблен и наплодил целую кучу серенад. Эта программа получила название «Венера». Потом он стал взрослее, романтизма в душе поубавилось, он записал «Землю» (сложную сюиту, построенную чисто на исполнительской технике) и «Марс» (концептуальный диск, вся музыка на котором состояла только из красных нот). И так далее, год за годом. За плечами у него было уже девять альбомов. Последний, «Плутон», был записан прошлым летом.

Его диски никто не покупал. Ведь вся эта музыка была сыграна на эоловой арфе без ветра, так что на пыльных звуковых дорожках можно было повстречаться только с тишиной. Музыку способны были услышать лишь те, у кого в голове имелся собственный ветер. Такие люди были. Но и они не покупали его альбомов — у людей с ветром в голове денег не водилось.

Иногда его приглашали поиграть для публики. Если устроителям вечеринки удавалось арендовать где-нибудь ветер. Тогда его композиции могли послушать все. Ему говорили спасибо за музыку, а деньги платили хозяину ветра. Спасибо хватало музыканту на жизнь. Денег на ветер не было.

Были и места, где его диски слушали постоянно. Например, в соборе. Там в качестве ветра выступал местный святой дух. И многие специально приходили в собор для того, чтобы насладиться музыкой. За эти заслуги музыканту было зарезервировано место в раю. Еще он был чрезвычайно популярен среди школьников. Они слушали музыку на переменах. Веселый ветер перемен заставлял его диски греметь на всю школу, загоняя гибкие мелодии в самые труднодоступные места здания. Школьники были в восторге от его музыки, и многие из них

клялись себе, что тоже непременно станут музыкантами, пусть нищими, но гениальными, такими же, как он! За это ему было забронировано место в аду. Таким образом, будущее музыканта было обеспечено.

Да и в настоящем он вовсе не был нищим. (Школьники, со свойственным юности максимализмом, несколько романтизировали его образ). Спасибо за музыку ему хватало не только на то, чтобы кормиться самому, но и на продукты для холодильника, на котором он обычно ездил. Конечно, холодильник не самое быстрое средство передвижения, зато и продуктов требует немного. Что же касается скорости, то в городе, а особенно в северной его части, лучше вообще особо не разгоняться. Иначе сам не заметишь, как налетишь на трамвай, а ведь трамвай только с виду кажется безобидным препятствием! Ни для кого не секрет, что над рельсами возвышается лишь малая часть трамвая, а основная, подземная, которая называется метро — она во много раз больше. Поэтому столкновение с трамваем грозит неминуемым крушением и погружением под асфальт.

Словом, жил музыкант нормально. Не хватало только денег на ветер. А ветра хотелось! Чтобы раздобыть монету-другую, он иногда приходил на берег моря и бродил по кромке прибоя, выискивая в песке потерянные морем по рассеянности осколки раковин и унитазов. Затем он шел на дальний конец волнореза и бросал свои находки в воду, возвращая морю его имущество. В ответ море кидалось в него монетами. Не то, чтобы оно расплачивалось за услуги, просто море верило в примету: если кинуть в человека монетку, он обязательно еще вернется на этот берег.

Время от времени ему удавалось немного заработать и арфой. В городе была традиция — если ждали гостей, то непременно заказывали у булочника традиционное блюдо: хлеб-соль. И тогда булочник (он же пекарь, он же мельник) покупал у музыканта соль — ноту, издаваемую одной из струн эоловой арфы. Разумеется, для звучания ноты требовался ветер. У мельника он был.

Кто-то сдает жилье, кто-то стирает белье, кто-то сидит в засаде, кто-то возвращается домой из цирка, а мы вернемся в тот день, с которого началось наше повествование.

Итак, девятое января. Полдень. Спасибо за музыку.

Музыкант подумал, что давно уже не был у мельника. А ведь миновали праздники, к людям приходили гости, и очень-очень может быть, что запасы соли у мельника подходят к концу. Значит, есть смысл нанести ему визит. Музыкант открыл дверцу холодильника и бросил в него пару бутербродов. Холодильник

довольно заурчал. Можно было занимать водительское место и трогаться в путь.

У мельника-пекаря-булочника в эти праздничные дни, действительно, была куча заказов. Так что просто голова шла кругом. И это роковое обстоятельство сыграло с ним злую шутку. Вышло так: у мельника зазвонил будильник. Казалось бы, что тут такого? Ну, будильник и будильник — привычная опасность. Но дело в том, что голова мельника в этот самый момент, как раз, зашла на очередной круг. Не разобравшись, что, собственно, звонит, мельник решил, что это телефон. Он снял трубку будильника и сказал: «Алло». Это его и погубило.

Никогда, никогда не снимайте трубку будильника! По будильнику вам не позвонят ни друзья, ни подруги, ни враги, ни овраги. По будильнику вам может звонить только один абонент — время. А оно даже не станет с вами разговаривать. Ему достаточно лишь услышать в трубке ваше «Алло» — и всё, время тут же узнает о вашем существовании. И тогда — конец. Посылайте за красками и садитесь рисовать завещание. Как только время о вас узнало — вы в его власти.

Войдя в дом мельника, музыкант сразу понял, что тот нездоров. Бросив работу и закутавшись в плед, мельник сидел в кресле с хронометром подмышкой. Голова его, чувствуя себя виноватой, склонилась к груди. Нормальный возраст для взрослого человека — тридцать шесть лет и шесть месяцев. Но ртутный столбик хронометра давно миновал отметку 36,6 и показывал уже сорок два года. К вечеру возраст подскочил под семьдесят и мельник стал старым. А ночью, во сне, он умер. Музыкант, оставшийся ухаживать за больным, заметил, что мельник умер, но не стал ничего ему говорить. Не хотелось огорчать спящего.

Однако, проснувшись на следующее утро, мельник и сам понял, что мертв. Стало ясно, что отныне всё для него пойдет по-другому. И не нужны ему больше ни булочная, ни пекарня, ни мельница. А раз не нужна мельница, значит, не нужен больше и ветер, который крутил ее крылья. И мертвый мельник подарил ветер музыканту.

С этого дня жизнь музыканта круто изменилась. Настолько круто, что не всякий лыжник решился бы съехать с этого склона. Ветру, привыкшему вращать тяжелые мельничные жернова, ничего не стоило заставить петь струны эоловой арфы. Мощный вихрь пронесся над дорожками дисков с музыкой, сдувая с них песок и пыль и вырывая с корнями сорняки тишины, которыми поросли звуковые треки! Теперь, когда у музыканта был ветер, его произведения стали доступны каждому. И тогда его альбомы

стали продаваться. Не то слово — продаваться! Они просто пошли нарасхват. Его диски — все девять, от «Меркурия» до «Плутона», стали приносить ему деньги. Приносили, высыпали их прямо на пол квартиры и уходили опять, за новыми деньгами. Теперь, когда у него был свой собственный ветер, он в любой момент мог где угодно выступить с концертом, взяв за выступление, опять-таки, деньги, а не спасибо за музыку. Вскоре он стал одним из самых состоятельных людей города. По улицам он теперь разъезжал не в холодильнике, а на шикарном блестящем черном рояле. А денег у него становилось все больше. Они текли к нему отовсюду. Случалось даже так, что он закуривал папиросу и не успевал выкурить ее до конца, как она уже превращалась в свернутую трубочкой денежную купюру. Он уже вполне мог позволить купить себе новый, свежий ветер, но не делал этого. Его нравился старый.

Его музыку теперь слушали все. Она звучала круглосуточно из каждого окна, из каждого канализационного люка, из каждой собачьей будки. В любой момент она могла выскочить из-за угла, щелкнуть вас по носу и с дурацким хохотом помчаться дальше по улице.

Для того, чтобы услышать его музыку, людям уже не надо было идти в собор, так что количество прихожан заметно поубавилось. В силу этого факта музыкант лишился места в раю, ранее зарезервированного для него. Администрация рая прислала ему вежливое письмо с извинениями и надеждой на дальнейшее сотрудничество. Вскоре аналогичное письмо он получил и из адской канцелярии. Музыкант перестал быть культовым персонажем в глазах школьников. У этих господ никогда не бывают в моде те мелодии, которые слушают на каждом углу взрослые. Никто из школьников уже не мечтал посвятить свою жизнь музыке, и выходило так, что места в аду городской музыкант более не заслуживает.

Он начал испытывать неуверенность в завтрашнем дне.

Получив в свое распоряжение ветер, музыкант утратил свою элитарность. И первыми прокляли его «избранные» — те немногие, которые раньше могли слушать его музыку вне храма и школы — люди с ветром в голове.

И однажды настал день, когда музыкант решился. Он взял корзину, насыпал на дно осенних листьев (в минуты отдыха ветер любил чем-нибудь пошуршать), посадил ветер в корзину и вышел из дома. Дойдя до перекрестка, музыкант задумался: куда пойти? Направо или налево? Справа жил один хороший человек, который хотел пожать бурю. Можно было отдать ветер ему, чтобы он его посеял. А слева жил другой хороший человек —

воздухоплаватель. У него был безвоздушный шар. С помощью ветра он мог бы сделать свой шар воздушным. Так куда же пойти, направо или налево?

Ветер в корзине тихонько шуршал листьями.

И тут музыкант подумал: "А с какого, собственно, перепугу? Почему это я, всю жизнь мечтавший играть музыку с помощью ветра, должен теперь от него отказываться? Из-за чего? Из-за кого? Что же это получится — я, переживший испытания бедностью и неизвестностью, не выдержу испытания деньгами и славой? Ха! Не дождетесь!"

Он развернулся и решительно зашагал к дому, крепко сжимая в кулаке ручку корзины.

"Пора приступать к десятому альбому! Назову его «Седна». И пускай все идут к черту!"

И все пошли к черту. Надо сказать, получилась очень душевная вечеринка. Давненько уже в доме у черта не собирались все! Гости пили живую воду и закусывали мертвым хлебом, который принес мертвый мельник. Черт был рад гостям. Ведь все явились к нему с благими намерениями. А черт как раз недавно приобрел себе освободившееся местечко в аду, и теперь ему надо было вымостить туда дорогу.

10 Дисков
Богатство

Эта карта не столько обещает богатство (считается, что у вас уже есть больше, чем нужно), сколько констатирует, что пришло время делиться. Советует учиться получать удовольствие от меценатства. В противном случае вам грозит ожирение души, сердца и головного мозга.

Александра Володина
Пирог и Алиса

женская версия

Иногда начинает казаться, что всё смещается. То ли перемешивается в странных, болезненных пропорциях, то ли смещается на одну ступеньку и кажется совершенно другим. как будто вскрывается маслянистая полиэтиленовая плёнка, которой тебя когда-то замотали, да так и забыли. как будто одно зеркало накладывается на другое.

Алиса сидела на развалинах солнцепёка рядом с двумя точно такими же алисами, болтала ногами, считала секунды и ждала, пока что-то произойдёт. Две точно такие же сидели по бокам, шуршали одинаковыми синими платьицами, перебирали пальчиками и давили ногтями алисино удивление. Пусть считает, что всё так и задумано. К тому же ей совершенно по-сартровски казалось, что прозвенел едва слышимый звоночек, что пошёл отсчёт, который она может начать и закончить сама, и она прилежно считала секунды. раз уж попала в сказку, задребезжал сантиметр нерва, то должно что-то случиться.

Правая алиса повернулась к ней и прищурила глаза. "Ты ничего не забыла?". Алиса вынула из жилетного кармана часы. Да-да, именно часы и именно из жилетного кармана. Где-то она уже слышала эти фразы; впрочем, воздух дрожал, гнулись валяющиеся повсюду обрывки геометрии, и ей было не до воспоминаний.

На часах стрелка подошла к тройке, уселась, закурила. "Время обеда, — сказала левая алиса и нетерпеливо постучала ноготком по удивлению. — Пора".

После этого слова Алису что-то ударило изнутри, как будто тронулся тот самый поезд, о скором отходе которого предупреждал звоночек. И она согнулась пополам, прижимая локти к животу, пытаясь не выйти из ума и тела, не заперев дверь, потому что запирать дверь она была бы уже не в состоянии. Удар, ещё один, сдавленный крик, поезд нагревает-царапает рельсы, чшшш, девочка, кусай губы до подбородка, а когда всё успокоилось, и она разогнула руки, на застывшие ладони выкатился пирог.

"Ну что ж, неплохо", — сказала одна из алис, дуя на пирог, чтобы он немножко остыл. "Алиса, это пирог. Пирог, это Алиса", — после этого представления пирог заёрзал, разлепил

спёкшиеся веки и посмотрел Алисе в глаза. Кажется он даже кивнул ей, и она кивнула ему в ответ, обжигая руки и пытаясь положить подгоревшее тесто на блюдо, катающееся кругами по краям жары.

"А теперь раздай нам по куску пирога". Алиса, подняв с земли нож, тут же его уронила. Пирог окружало блестящее облако с тысячей его осмысленных взглядов. "Я не могу его резать, раз я с ним знакома". Незнакомого ей было бы не жалко — чего стоит существо, которое ты ещё не отметил ценником своих слов. Ничего, так что подбирай стекающий с пальцев нож и давай живее.

Пирог удивлённо посмотрел на неё и опять заёрзал, подставляя бок для того, чтобы воткнуть нож было легче. Ему как-то проще — в конце концов, запутаться в своих расчерченных на мишени боках почти невозможно, а бессмысленно прицелиться — девочка не поверит, девочка споткнётся.

Алиса открыла глаза пошире, чтобы ничего не упустить и вонзила нож. Рука, привычно ожидая препятствий, остановилась, успокоила тело, но нож прошёл сквозь блюдо, не повредив пирога, и вышел с другой стороны. Поправил воротник, заметил, что скучно на этом свете, и ушёл на тот.

Алиса в ужасе посмотрела на двух таких же, которые, посмеиваясь, сказали, что нужно сначала раздать пирог, а потом разрезать. Иначе это туфта, сиреневые фонарики из разлитой бумаги, игрушки для взрослых или на худой конец следы на песке, но ничуть не жертва и выглядит бессмысленным, согласись, девочка.

Девочка согласна. Девочка начинает смеяться и, зажмурившись, раздаёт пирог всему подошедшему сброду, царапая пальцы о его подгоревшую корку. А пирогу было всё равно, он молчал, делился, меняясь на глазах, упуская из зеркал отражение за отражением, господи, его же не хватит, уже скрипят колёса и разматывается полиэтиленовая плёнка, но Алисе-то уже тоже без разницы, Алиса идёт с конца, твёрдо зная, что у каждого в руке уже есть пирог и что на блюде уже лежит его смерть, которую он видел несколько секунд назад. Алиса считает секунды, пока хватает дыхания и тех, кому нужен пирог. Когда секунды кончаются, она открывает глаза.

Живая вода из тел доедает пирог. А у Алисы перед глазами пустое блюдо с зеркальным блеском, а за ним — пустая дыра в животе, откуда появился пирог, нора с рваными краями. Из норы появился нож, встряхнулся, скользнул в руку. Алиса порезала зеркальный блеск, порезала какую-то парочку в одинаковых платьицах, помахала рукой обедавшим и шагнула в дыру.

Кажется, она кого-то там увидела.

Да и вообще где-то это всё уже было.

мужская версия

Алису всё настолько задолбало, что награждать этих фигляров казалось страшным, мученическим подвигом, к которому её, как всегда, принудил неизвестно кто и почему. Но у Кэрролла всегда так — вырастает из под ног обаятельный хам и выражает уверенность. И будь добра.

Боже, покарай Англию!

Лев и Единорог сидели неподалеку, выглядели двумя обаятельными хамами и ждали от СВОЕГО чудовища награды. Да я, вообще, первый раз с вами в вагоне — и это проходное купе — какого чёрта? И где я возьму вам пирог?

Вот такую дребедень думала Алиса целый день. Вслух она говорила много другого и, как всегда, неправду.

Это мучило её, но взрослеть она не собиралась, исходя из теории Войта-Кампфа о психологии детской лжи, фрустрации отложенного наказания и "родимых пятен" раннего взросления.

Поэтому Лев и Единорог глотали ложь Алисы и становились всё загадочней. Вокруг шумела дворцовая челядь. Карлики увешивали Алису кружевами подвенечного наряда: с чёрными чулками, красным бантом и — боже! — подведёнными чёрными глазами — она выглядела как мертвенный ангел декаданса. Алиса смотрела на себя в зеркальный поднос и понимала, что ей до слёз, до колик жаль себя. Уроды! Нелюди! Куклы! Как она ненавидела весь этот фиглярский сброд, как хотела домой!

Но, похоже, враньё приобрело самостоятельность и слетало с губ независимо от Алисы.

— А где пирог? — спрашивало враньё. — Я охотно разрежу пирог. Вы должны бы знать, что я мастер разрезать пироги. Пожалуй, никто в мире не разрежет пирог столь правильно, на ровные, аккуратные куски, способные восхитить истинного ценителя ровного среза. Даже самый никудышный нож в этих руках, как по волшебству, преображается и начинает бегать туда-сюда, по мягким изделиям кондитерского треста, и — не скрою — собираются толпы восторженных почитателей и знатоков, когда происходит это священнодейство. Разве что библейское преломление хлебов может соперничать с тем, как я режу пирог, — утверждало враньё.

Лев нервно стучал хвостом, публика тоскливо шепталась, Единорог опустил голову и будто уснул. Все забыли о битве, которая кипела несколько минут назад и слушали враньё

маленькой девочки.

Наконец, Лев взревел.

— Я не Единорог! — рычал он. — На меня не действует писк девственниц! Давай дели уже этот проклятый пирог и свалимся слушать Тригви Сейма, на кровати, в темноте, аппаратура за шесть тысяч евро. Или ты считаешь, мы рождены, чтоб сказку сделать былью? Попрыгай, малолетка, ветер перемен давно зашил тебе рот!

И, правда, рот Алисы оказался зашит. На блюде лежал пирог, в руках нож.

— Дели! — потребовал Лев.

Вот сволочи, уроды мягкотелые болваны с несчастными лицами, чтоб вас стошнило — разрезать — раздать — и утопиться. Упасть умереть застрелиться. Не хочу. Зачем это всё? — думала Алиса, разрезая пирог. — Вшивая оболонь. Стоило рождаться, чтобы. Подсыпали бы уже сразу мышьяку, что ли. А ведь ещё потребуют стать королевой, будут жрать мою икру и хамить из-за стола. Мразь! Ничтожества! Лягушки! — Алиса думала с такой ненавистью, что из-под ножа и правда, выскакивали лягушки. Но пирог не хотел делиться.

Может пусть оно всё идёт поездом, размышляла Алиса, распиливая срастающийся пирог, может ну его нафик, и платформа номер шесть, и я давно дома, среди белых халатов, и можно поливать георгины… Если поезд приходит на платформу, где я встречаю саму себя, вернувшуюся из зазеркалья, и раз, два, три — я уже иду домой, а со мной — она, которой выпало пилить проклятый пирог, и я могу думать о любовнике, с которым сейчас встречусь, и слушать рассеяно, даже, зевая, и с улыбкой обещать позвонить, какая чушь, нам не интересны двойники, львы и единороги, мы космополитические суки, запутывающие очами пути юношей, нам ли быть в печали, марья искусница валентина златоцвет…

Алиса очнулась от громового рыка над ухом.

— Ты что там мешкаешь! Мы тоже не из стали! — Лев казался измученным.

— Вы живее всех живых, — парировало враньё Алисы через зашитый рот. — Вас заморишь, как же!

Хотя единорог, похоже, загибался от тоски. Мысли Алисы проносились перед глазами присутствующих как наяву — и жертв становилось всё больше.

Подите нахер суки, — рычала про себя Алиса. — Думаю, как умею. Я не виновата, что привычка вашего прекрасного мира к социопатическому онанизму воплощается в неразрезаемые пироги.

— Да ты не пили его, дурака, — наставлял Лев. — Ты подели его сначала. Обойди народ, пусть каждый окажется не обделёнышем внимания, а частичкой общего целого, ферштейн? Мы чем тут, по-твоему, занимаемся? Лицедействуем, что ли?

Ишь какие, думала Алиса, поднимая тяжёлый поднос и мечтая о постели, клубнике со сливками и котёнке в ногах. Понастроили караван-сараев бесплатного счастья, и ты, девочка отдувайся тут за всех, обноси пирогами… А почему не мальчик? Почему не шведский стол, японская мать? Где хвалёная демократичность глобализации? Или это сказочное занудство воспринимать как подарок судьбы, счастье, неопалимую купину? Может надои молока вам повысить и мычать, приветственно махая хвостом по утрам? Сволочи недорезанные… Теперь Алиса понимала персонажа Ирвина Шоу, подсыпавшего яд в булочки, с желанием сделать подарок миру.

Так какого хрена меня сюда родили, уточните раз и навсегда, — думала Алиса, и пирог с ядом таял на подносе. Каждому доставалось по кусочку смерти, позади идущей Алисы возились врачи и возводились погребальные конторы.

Вздувшийся, синий Лев катался по земле и просил прощения за всё, Единорог напротив, всех прощал. Алиса одна шла посреди этого содома, не ведя бровью и не ведясь на панику. Алиса была прекрасна, как именины костлявой. Она, наконец-то, почувствовала, что боль внутри утихает, пружины распрямляются и какой-то окраинный смысл вылезает из подполья вперёд.

НЕ ДЕРЖИ В СЕБЕ, ДЕЛИСЬ СО ВСЕМИ!

И ТВОЯ ВОЗМЁТ!

notes

1

Цитируется по Н.Куну "Легенды и мифы Древней Греции".

2

Бромий (шумный) — прозвище Диониса.

3

Феб (блистающий) — прозвище Аполлона.

4

Бафомет — идол или изображение неизвестного происхождения, отображающий некое еретическое существо. Б. изображается в виде получеловека-полукозла. Является официальным символом в Церкви Сатаны. Происхождение самого имени неясно. По одной из версий, это комбинация двух греческих слов, baphe и metis, означающая "поглощение знания".